М. Шолохов

3

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений в восьми томах



Москва
«Художественная литература»
1985

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

Том 3

ТИХИЙ ДОН

Роман
в четырех
книгах



Москва
«Художественная
литература»
1985

Составление
М. Манохиной

Оформление художника
Ю. Боярского

Шолохов М. А.
Ш78 Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. 3. Тихий Дон: Роман в 4-х кн./Сост. М. Манохиной.— М.: Худож. лит., 1985. 368 с.

В третий том Собрания сочинений Михаила Шолохова вошел роман «Тихий Дон» (книга третья).

Ш $\frac{4702010200-155}{028(01)-85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ТИХИЙ ДОН

Книга третья

Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как, бывало, ты все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек,
А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как то мне все мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов — донских казаков.
Размываются без них мои круты бережки,
Высыпаются без них косы желтым песком».

Старинная казачья песня

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтовики северных округов — Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхне-Донского — пошли с Мироновым и отступавшими частями красноармейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области, с боями освобождая каждую пядь родной земли.

Хоперцы ушли с Мироновым почти поголовно, усть-медведицкие—наполовину, верхнедонцы — лишь в незначительном числе.

Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкасска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом.

Даже в позднейшие времена, когда все Войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атаманами, трясли царевы устои: бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье.

К концу апреля Дон на две трети был оставлен красными. После того как явственно наметилась необходимость создания областной власти, руководящими чинами боевых

групп, сражавшихся на юге, было предложено созвать Круг. На 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей.

На хуторе Татарском была получена от вешенского станичного атамана бумага, извещавшая о том, что в станице Вешенской 22-го сего месяца состоится станичный сбор для выборов делегатов на Войсковой круг.

Мирон Григорьевич Коршунов прочитал на сходе бумагу. Хутор послал в Вешенскую его, деда Богатырева и Пантелея Прокофьевича.

На станичном сборе в числе остальных делегатов на Круг избрали и Пантелея Прокофьевича. Из Вешенской возвратился он в тот же день, а на другой решил вместе со сватом ехать в Миллерово, чтобы загодя попасть в Новочеркасск (Мирону Григорьевичу нужно было приобрести в Миллерове керосину, мыла и еще кое-чего по хозяйству, да, кстати, хотел и подработать, закупив Мохову для мельницы сит и баббиту).

Выехали на зорьке. Бричку легко несли вороные Мирона Григорьевича. Сваты рядком сидели в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились; в Миллерове стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил не без опаски:

— А что, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ, в рот им дышлину!

— Нет,— уверил Пантелей Прокофьевич.— Матвей Кашулин надысь был там, гутарил — робеют немцы... Опасаются казаков трогать.

— Ишь ты! — Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень бороды и поиграл вишневым кнутовищем; он, видно успокоившись, перевел разговор: — Какую же власть установить, как думаешь?

— Атамана посодим. Своего! Казака!

— Давай бог! Выбирайте лучше! Шшупайте генералов, как цыган лошадей. Чтоб без браку был.

— Выберем. Умными головами ишо не обеднел Дон.

— Так, так, сваток... Их и дураков не сеют — сами родятся.— Мирон Григорьевич сощурился, грусть легла на его веснушчатое лицо.— Я своего Митьку думал в люди вывесть, хотел, чтоб на офицера учился, а он и приходской не кончил, убег на вторую зиму.

На минуту умолкли, думая о сыновьях, ушедших кудато вслед большевикам. Бричку лихорадило по кочковатой дороге; правый вороной засекался, щелкая нестертой под-

конем; качалась люлька, и, как рыбы на нересте, терлись бок о бок тесно сидевшие сваты.

— Гдей-то наши казаки? — вздохнул Пантелей Прокофьевич.

— Пошли по Хопру. Федотка Калмык вернулся из Кумылженской, конь у него загубился. Гутарил, кубыть держут шлях на Тишанскую станицу.

Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Позади, за Доном, на розовом костре зари величаво и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян. Краюхой желтого сотового меда лежало песчаное взгорье, верблюжьи горбы бурунов скупо отсвечивали бронзой.

Весна шла недружно. Аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым густо-зеленым опереньем, зацветала степь, сошла полая вода, оставив в займище бесчисленное множество озер-блесток, а в ярах под крутыми склонами еще жался к суглинку изъеденный ростепелью снег, белел вызывающе-ярко.

На вторые сутки к вечеру приехали в Миллерово, заночевали у знакомого украинца, жившего под бурым боком элеватора. Утром, позавтракав, Мирон Григорьевич запряг лошадей, поехал к магазинам. Беспрепятственно миновал железнодорожный переезд и тут первый раз в жизни увидел немцев. Трое ландштурмистов шли ему наперерез. Один из них, мелкорослый, заросший по уши курчавой каштановой бородой, позывно махнул рукой.

Мирон Григорьевич натянул вожжи, беспокойно и выжидающе жуя губами. Немцы подошли. Рослый упитанный пруссак, искрясь белозубой улыбкой, сказал товарищу:

— Вот самый доподлинный казак! Смотри, он даже в казачьей форме! Его сыновья, по всей вероятности, дрались с нами. Давайте его живьем отправим в Берлин. Это будет прелюбопытнейший экспонат!

— Нам нужны его лошади, а он пусть идет к черту! — без улыбки ответил клешнятый, с каштановой бородой.

Он опасливо околесил лошадей, подошел к бричке.

— Слезай, старик. Нам необходимы твои лошади — перевезти вот с этой мельницы к вокзалу партию муки. Ну же, слезай, тебе говорят! За лошадьми придешь к коменданту.— Немец указал глазами на мельницу и жестом, не допускавшим сомнений в назначении его, пригласил Мирона Григорьевича сойти.

Двое остальных пошли к мельнице, оглядываясь, смеясь. Мирон Григорьевич оделся иссера-желтым румянцем.

Намотав на грядушку люльки вожжи, он молодо прыгнул с брички, зашел наперед лошадям.

«Свата нет,— мельком подумал он и похолодел.— Заберут коней! Эх, врюхался! Черт понес!»

Немец, плотно сжав губы, взял Мирона Григорьевича за рукав, указал знаком, чтобы шел к мельнице.

— Оставь! — Мирон Григорьевич потянулся вперед и побледнел заметней.— Не трожь чистыми руками! Не дам коней.

По голосу его немец догадался о смысле ответа. У него вдруг хищно ощерился рот, оголив иссиня-чистые зубы,— зрачки угрожающе расширились, голос залязгал властно и крикливо. Немец взялся за ремень висевшей на плече винтовки, и в этот миг Мирон Григорьевич вспомнил молодость: бойцовским ударом, почти не размахиваясь, ахнул его по скуле. От удара у того с хряском мотнулась голова и лопнул на подбородке ремень каски. Упал немец плашмя и, пытаясь подняться, выронил изо рта бордовый комок сгустелой крови. Мирон Григорьевич ударил еще раз, уже по затылку, зыркнул по сторонам и, нагнувшись, рывком выхватил винтовку. В этот момент мысль его работала быстро и невероятно четко. Поворачивая лошадей, он уже знал, что в спину ему немец не выстрелит, и боялся лишь, как бы не увидели из-за железнодорожного забора или с путей часовые.

Даже на скачках не ходили вороные таким бешеным наметом! Даже на свадьбах не доставалось так колесам брички! «Господи, унеси! Ослобони, господи! Во имя отца!..» — мысленно шептал Мирон Григорьевич, не снимая с конских спин кнута. Природная жадность чуть не погубила его: хотел заехать на квартиру за оставленной полстью; но разум осилил,— повернул в сторону. Двадцать верст до слободы Ореховой летел он, как после сам говорил, шибче, чем пророк Илья на своей колеснице. В Ореховой заскочил к знакомому украинцу и, ни жив ни мертв, рассказал хозяину о происшествии, попросил укрыть его и лошадей. Украинец укрыть — укрыл, но предупредил:

— Я сховаю, но як будуть дуже пытать, то я, Григорич, укажу, бо мэни ж расчету нэма! Хатыну спалють, тай и на мэнэ наденуть шворку.

— Уж ты укрой, родимый! Да я тебя отблагодарю, чем хошь! Только от смерти отведи, схорони где-нибудь,—овец пригоню гурт! Десятка первеющих овец не пожалею! — упрашивал и сулил Мирон Григорьевич, закатывая бричку под навес сарая.

Пуще смерти боялся он погони. Простоял во дворе у украинца до вечера и смылся, едва смерклось. Всю дорогу от Ореховой скакал по-оглашенному, с лошадей по обе стороны сыпалось мыло, бричка тарахтела так, что на колесах спицы сливались, и опомнился лишь под хутором Нижне-Яблоновским. Не доезжая его, из-под сиденья достал отбитую винтовку, поглядел на ремень, исписанный изнутри чернильным карандашом, облегченно крякнул:

А что — догнали, чертовы сыны? Мелко вы плавали!

Овец украинцу так и не пригнал. Осенью побывал проездом, на выжидающий взгляд хозяина ответил:

Овечки-то у нас попередохли. Плохо насчет овечков... А вот груш с собственного саду привез тебе по доброй памяти! — Высыпал из брички меры две избитых за дорогу груш, сказал, отводя шельмовские глаза в сторону: — Груши у нас хороши-расхороши... улежалые...— и распрощался.

В то время, когда Мирон Григорьевич скакал из Миллерова, сват его торчал на вокзале. Молодой немецкий офицер написал пропуск, через переводчика расспросил Пантелея Прокофьевича и, закуривая дешевую сигару, покровительственно сказал:

— Поезжайте, только помните, что вам необходима разумная власть. Выбирайте президента, царя, кого угодно, лишь при условии, что этот человек не будет лишен государственного разума и сумеет вести лояльную по отношению к нашему государству политику.

Пантелей Прокофьевич посматривал на немца довольно недружелюбно. Он не был склонен вести разговоры и, получив пропуск, сейчас же пошел покупать билет.

В Новочеркасске поразило его обилие молодых офицеров: они толпами расхаживали по улицам, сидели в ресторанах, гуляли с барышнями, сновали около атаманского дворца и здания судебных установлений, где должен был открыться Круг.

В общежитии для делегатов Пантелей Прокофьевич встретил нескольких станичников, одного знакомого из Еланской станицы. Среди делегатов преобладали казаки, офицеров было немного, и всего лишь несколько десятков — представителей станичной интеллигенции. Шли неуверенные толки о выборе областной власти. Ясно намечалось одно: выбрать должны атамана. Назывались популярные имена казачьих генералов, обсуждались кандидатуры.

Вечером в день приезда, после чая, Пантелей Прокофь-

евич присел было в своей комнате пожевать домашних харчишек. Он разложил звено вяленого сазана, отрезал хлеба. К нему подсели двое мигулинцев, подошло еще несколько человек. Разговор начался с положения на фронте, постепенно перешел к выборам власти.

— Лучше покойного Каледина — царство ему небесное! — не сыскать,— вздохнул сивобородый шумилинец.

— Почти что,— согласился еланский.

Один из присутствовавших при разговоре, подъесаул, делегат Бессергеневской станицы, не без горячности заговорил:

— Как это нет подходящего человека? Что вы, господа? А генерал Краснов?

— Какой это Краснов?

— Как, то есть, какой? И не стыдно спрашивать, господа? Знаменитый генерал, командир Третьего конного корпуса, умница, георгиевский кавалер, талантливый полководец!

Восторженная, захлебывающаяся речь подъесаула взбеленила делегата, представителя одной из фронтовых частей.

— А я вам говорю фактично: знаем мы его таланты! Никудышный генерал! В германскую войну отличался неплохо. Так и захряс бы в бригадных, кабы не революция!

— Как же это вы, голубчик, говорите, не зная генерала Краснова? И потом, как вы вообще смеете отзываться подобным образом о всеми уважаемом генерале? Вы, по всей вероятности, забыли, что вы рядовой казак?

Подъесаул уничтожающе цедил ледяные слова, и казак растерялся, оробел,— тушуясь, забормотал:

— Я, ваше благородие, говорю, как сам служил под ихним начальством... Он на астрицком фронте наш полк на колючие заграждения посадил! Потому и считаем мы его никудышным... А там кто его знает... Может, совсем навыворот...

— А за что ему Георгия дали? Дурак! — Пантелей Прокофьевич подавился сазаньей костью; откашлявшись, напал на фронтовика: — Понабрались дурацкого духу, всех поносите, все вам нехороши... Ишь какую моду взяли! Поменьше б гутарили — не было б такой разрухи. А то ума много нажили. Пустобрехи!

Черкасня, низовцы горой стояли за Краснова. Старикам был по душе генерал — георгиевский кавалер; многие служили с ним в японскую войну. Офицеров прельщало прошлое Краснова: гвардеец, светский, блестяще образо-

военный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского величества. Либеральную интеллигенцию удовлетворяло то обстоятельство, что Краснов не только генерал, человек строя и военной муштровки, но, как-никак, и писатель, чьи рассказы из быта офицерства с удовольствием читались в свое время в приложениях к «Ниве»; а раз писатель,— значит, все же культурный человек.

По общежитию за Краснова ярая шла агитация. Перед именем его блекли имена прочих генералов. Об Африкане Богаевском офицеры — приверженцы Краснова — шепотком передавали слухи, будто у Богаевского с Деникиным одна чашка-ложка, и если выбрать Богаевского атаманом, то, как только похерят большевиков и вступят в Москву,— капут всем казачьим привилегиям и автономии.

Были противники и у Краснова. Один делегат-учитель без успеха пытался опорочить генеральское имя. Бродил учитель по комнатам делегатов, ядовито, по-комариному звенел в заволосатевшие уши казаков.

— Краснов-то? И генерал паршивый и писатель ни к черту! Шаркун придворный, подлиза! Человек, который хочет, так сказать, и национальный капитал приобрести и демократическую невинность сохранить. Вот, поглядите, продаст он Дон первому же покупателю, на обчин! Мелкий человек. Политик из него равен нулю. Агеева надо выбирать! Тот — совсем иное дело.

Но учитель успехом не пользовался. И когда 1 мая, на третий день открытия Круга, раздались голоса:

— Пригласить генерала Краснова!

— Милости...

— Покорнейшее...

— Просим!

— Нашу гордость!

— Нехай придет, расскажет нам про жизню! — весь обширный зал заволновался.

Офицеры басисто захлопали в ладоши, и, глядя на них, неумело, негромко стали постукивать и казаки. От черных, выдубленных работой рук их звук получался сухой, трескучий, можно сказать — даже неприятный, глубоко противоположный той мягкой музыке аплодисментов, которую производили холеные подушечки ладоней барышень и дам, офицеров и учащихся, заполнивших галерею и коридоры.

А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, несмотря на годы, красавец генерал, в мундире, с густым засевом крестов и медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия,— зал покрылся

рябью хлопков, ревом. Хлопки выросли в овацию. Буря восторга гуляла по рядам делегатов. В этом генерале, с растроганным и взволнованным лицом, стоявшем в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи.

Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки, утирку. «Вот это — генерал! Сразу видать, что человек! Как сам инператор ажник подходимей на вид. Вроде аж шибается на покойного Александра!» — думал он, умиленно разглядывая стоявшего у рампы Краснова.

Круг — названный «Кругом спасения Дона» — заседал неспешно. По предложению председателя Круга, есаула Янова, было принято постановление о ношении погонов и всех знаков отличия, присвоенных военному званию. Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувствованно говорил о «России, поруганной большевиками», о ее «былой мощи», о судьбах Дона. Обрисовав настоящее положение, коротко коснулся немецкой оккупации и вызвал шумное одобрение, когда, кончая речь, с пафосом заговорил о самостоятельном существовании Донской области после поражения большевиков.

— Державный Войсковой круг будет править Донской областью! Казачество, освобожденное революцией, восстановит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в старину наши предки, скажем полнозвучным, окрепшим голосом: «Здравствуй. белый царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону!»

3 мая на вечернем заседании сто семью голосами против тридцати и при десяти воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов. Он не принял атаманского пернача из рук войскового есаула, поставив условия: утвердить основные законы, предложенные им Кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти.

— Страна наша накануне гибели! Лишь при условии полнейшего доверия к атаману я возьму пернач. События требуют работать с уверенностью и отрадным сознанием исполняемого долга, когда знаешь, что Круг — верховный выразитель воли Дона — тебе доверяет, когда, в противовес большевистской распущенности и анархии, будут установлены твердые правовые нормы.

Законы, предложенные Красновым, представляли собою наспех перелицованные, слегка реставрированные законы прежней империи. Как же Кругу было не принять

ны? Приняли с радостью. Все, даже неудачно переделанный флаг, напоминало прежнее: синяя, красная и желтая продольные полосы (казаки, иногородние, калмыки), и лишь правительственный герб, в угоду казачьему духу, претерпел радикальное изменение: взамен хищного двуглавого орла, распростершего крылья и расправившего когти, изображен был нагой казак в папахе, при шашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на винной бочке.

Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос:

— Может, их превосходительство что-нибудь предложит изменить либо переделать в принятых за основу законах?

Краснов, милостиво улыбаясь, разрешил себе побаловаться шуткой. Он обещающе оглядел членов Круга и голосом человека, избалованного всеобщим вниманием, ответил:

— Могу. Статьи сорок восьмую, сорок девятую и пятидесятую — о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне любой флаг — кроме красного, любой герб — кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн — кроме «Интернационала».

Смеясь, Круг утвердил законы. И после долго из уст в уста переходила атаманская шутка.

5 мая Круг был распущен. Отзвучали последние речи. Командующий Южной группой, полковник Денисов, правая рука Краснова, сулил в самом скором времени вытравить большевистскую крамолу. Члены Круга разъезжались успокоенные, обрадованные и удачным выбором атамана, и сводками с фронта.

Глубоко взволнованный, начиненный взрывчатой радостью, ехал из донской столицы Пантелей Прокофьевич. Он был неколебимо убежден, что пернач попал в надежные руки, что вскоре разобьют большевиков и сыны вернутся к хозяйству. Старик сидел у окна вагона, облокотившись на столик; в ушах еще полоскались прощальные звуки донского гимна, до самого дна сознания просачивались живительные слова, и казалось, что и в самом деле по-настоящему «всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон».

Но отъехав несколько верст от Новочеркасска, Пантелей Прокофьевич увидел из окна аванпосты баварской конницы. Группа конных немцев двигалась по обочине железнодорожного полотна навстречу поезду. Всадники спокойно сутулились в седлах, упитанные широкозадые лошади мотали куце обрезанными хвостами, лоснились под

ярким солнцем. Клонясь вперед, страдальчески избочив бровь, глядел Пантелей Прокофьевич, как копыта немецких коней победно, с переплясом попирают казачью землю, и долго после понуро горбатился, сопел, повернувшись к окну широкой спиной.

II

С Дона через Украину катились красные составы вагонов, увозя в Германию пшеничную муку, яйца, масло, быков. На площадках стояли немцы в бескозырках, в сине-серых куртках, с привинченными к винтовкам штыками.

Добротные, желтой кожи, немецкие сапоги с окованными по износ каблуками трамбовали донские шляхи, баварская конница поила лошадей в Дону... А на границе с Украиной молодые казаки, только что обученные в Персиановке, под Новочеркасском, призванные под знамена, дрались с петлюровцами. Почти половина заново сколоченного 12-го Донского казачьего полка легла под Старобельском, завоевывая области лишний кус украинской территории.

На севере станица Усть-Медведицкая гуляла из рук в руки: занимал Миронов с отрядом казаков-красноармейцев, стекшихся с хуторов Глазуновской, Ново-Александровской, Кумылженской, Скуришенской и других станиц, а через час выбивал его отряд белых партизан офицера Алексеева, и по улицам мелькали шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда.

На север из станицы в станицу перекатами валили верхнедонские казаки. Миронов уходил к границам Саратовской губернии. Почти весь Хоперский округ был оставлен ими. К концу лета Донская армия, сбитая из казаков всех возрастов, способных носить оружие, стала на границах. Реорганизованная по пути, пополненная прибывшими из Новочеркасска офицерами, армия обретала подобие подлинной армии: малочисленные, выставленные станицами, дружины сливались; восстанавливались прежние регулярные полки с прежним, уцелевшим от германской войны, составом; полки сбивались в дивизии; в штабах хорунжих заменили матерые полковники; исподволь менялся и начальствующий состав.

К концу лета боевые единицы, скомпонованные из сотен мигулинских, мешковских, казанских и шумилинских ка-

ков, по приказу генерал-майора Алферова перешли донскую границу и, заняв Донецкое — первую на рубеже слободу Воронежской губернии, повели осаду уездного города Богучара.

* * *

Уже четверо суток сотня татарских казаков под командой Петра Мелехова шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их спешно, не принимая боя, отступали к линии железной дороги красные. За все время татарцы не видели противника. Переходы делали небольшие. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти спешить нет расчета, и переход оставляли за собой не больше трех десятков верст.

На пятые сутки вступили в станицу Кумылженскую. Через Хопер переправлялись на хуторе Дундуковом. На лугу кисейной занавесью висела мошка. Тонкий вибрирующий звон ее возрастал неумолчно. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам и лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, беспрестанно чадили табаком-самосадом.

— Вот забава, будь она проклята! — крякнул Христоня, вытирая рукавом слезившийся глаз.

— Вскочила, что ль? — улыбнулся Григорий.

— Глаз щипет. Стал быть, она ядовитая, дьявол!

Христоня, отдирая красное веко, провел по глазному яблоку шершавым пальцем; оттопырив губу, долго тер глаз тыльной стороной ладони.

Григорий ехал рядом. Они держались вместе со дня выступления. Прибивался к ним еще Аникушка, растолстевший за последнее время и от этого еще более запохожившийся на бабу.

Отряд насчитывал неполную сотню. У Петра помощником был вахмистр Латышев, вышедший на хутор Татарский в зятья. Григорий командовал взводом. У него почти все казаки были с нижнего конца хутора: Христоня, Аникушка, Федот Бодовсков, Мартин Шамиль, Иван Томилин, жердястый Борщев и медвежковатый увалень Захар Королев, Прохор Зыков, цыганская родня — Меркулов, Епифан Максаев, Егор Синилин и еще полтора десятка молодых ребят-одногодков.

Вторым взводом командовал Николай Кошевой, третьим — Яков Коловейдин и четвертым — Митька Коршунов, после казни Подтелкова спешно произведенный генералом Алферовым в старшие урядники.

Сотня грела коней степной рысью. Дорога обегала залитые водой музги, ныряла в лощинки, поросшие молодой кугой и талами, вилюжилась по лугу.

В задних рядах басисто хохотал Яков Подкова, тенорком подголашивал ему Андрюшка Кашулин, тоже получивший урядницкие лычки, заработавший их на крови подтелковских сподвижников.

Петро Мелехов ехал с Латышевым сбочь рядов. Они о чем-то тихо разговаривали. Латышев играл свежим темляком шашки. Петро левой рукой гладил коня, чесал ему промеж ушей. На пухлощеком лице Латышева грелась улыбка, обкуренные, с подточенными коронками зубы изжелта чернели из-под небогатых усов.

Позади всех, на прихрамывающей пегой кобыленке трусил Антип Авдеевич, сын Бреха, прозванный казаками Антипом Бреховичем.

Кое-кто из казаков разговаривал, некоторые, изломав ряды, ехали по пятеро в ряд, остальные внимательно рассматривали незнакомую местность, луг, изъязвленный оспяной рябью озер, зеленую изгородь тополей и верб. По снаряжению видно было, что шли казаки в дальний путь: сумы седел раздуты от клажи, вьюки набиты, в тороках у каждого заботливо увязана шинель. Да и по сбруе можно было судить: каждый ремешок испетлян дратвой, все прошито, подогнано, починено. Если месяц назад верилось, что войны не будет, то теперь шли с покорным безотрадным сознанием: крови не избежать. «Нынче носишь шкуру, а завтра, может, вороны будут ее в чистом поле дубить»,— думал каждый.

Проехали хутор Крепцы. Крытые камышом редкие курени замигали справа. Аникушка достал из кармана шаровар бурсак, откусил половину, хищно оголив мелкие резцы, и суетливо, как заяц, задвигал челюстями, прожевывая.

Христоня скосился на него.

— Оголодал?

— А то что ж... Женушка напекла.

— А и жрать ты здоров! Черево у тебя, стало быть, как у борова.— Он повернулся к Григорию и каким-то сердитым и жалующимся голосом продолжал: — Жрет, нечистый дух, неподобно! Куда он столько пихает? Пригля-

дивлюсь к нему эти дни, и вроде ажник страшно: сам, стал быть, небольшой, а уж лопает, как на пропасть.

Свое ем, стараюсь. К вечеру съешь барана, а утром захочешь рано. Мы всякий фрукт потребляем, нам все полезно, что в рот полезло.

Аникушка похохатывал и мигал Григорию на досадливо плевавшего Христоню.

Петро Пантелеев, ночевку где делаешь? Вишь, конишки-то поподбились! — крикнул Томилин.

Его поддержал Меркулов:

— Ночевать пора. Солнце садится.

Петро махнул плетью.

— Заночуем в Ключах. А может, и до Кумылги потянем.

В черную курчавую бородку улыбнулся Меркулов, шепнул Томилину:

— Выслуживается перед Алферовым, сука! Спешит...

Кто-то, подстригая Меркулова, из озорства окорнал ему бороду, сделал из пышной бороды бороденку, застругал ее кривым клином. Выглядел Меркулов по-новому, смешно,— это и служило поводом к постоянным шуткам. Томилин не удержался и тут:

— А ты не выслуживаешься?

— Чем это?

— Бороду под генерала подстриг. Небось думаешь, как обрезал под генерала, так тебе сразу дивизию дадут? А шиша не хочешь?

— Дурак, черт! Ты ему всурьез, а он гнет.

За смехом и разговорами въехали в хутор Ключи. Высланный вперед квартирьером Андрюшка Кашулин встретил сотню у крайнего двора.

— Наш взвод — за мною! Первому — вот три двора, второму — по левой стороне, третьему — вон энтот двор, где колодезь, и ишо четыре сподряд.

Петро подъехал к нему.

— Ничего не слыхал? Спрашивал?

— Ими тут и не воняет. А вот медо́в, парень, тут до черта. У одной старухи триста колодок. Ночью обязательно какой-нибудь расколем!

— Но-но, не дури! А то я расколю! — Петро нахмурился, тронул коня плетью.

Разместились. Убрали коней. Стемнело. Хозяева дали казакам повечерять. У дворов, на ольхах прошлогодней порубки расселись служивые и хуторные казаки. Поговорили о том о сем и разошлись спать.

Наутро выехали из хутора. Почти под самой Кумылженской сотню догнал нарочный. Петро вскрыл пакет, долго читал его, покачиваясь в седле, натужно, как тяжесть, держа в вытянутой руке лист бумаги. К нему подъехал Григорий.

— Приказ?

— Ага!

— Чего пишут?

— Дела... Сотню велят сдать. Всех моих одногодков отзывают, формируют в Казанке Двадцать восьмой полк. Батарейцев — тоже, и пулеметчиков.

— А остальным куда ж?

— А вот тут прописано: «В Арженовской поступить в распоряжение командира Двадцать второго полка. Двигаться безотлагательно». Ишь ты! «Безотлагательно»!

Подъехал Латышев, взял из рук Петра приказ. Он читал, шевеля толстыми тугими губами, косо изогнув бровь.

— Трогай! — крикнул Петро.

Сотня рванулась, пошла шагом. Казаки, оглядываясь, внимательно посматривали на Петра, ждали, что скажет. Приказ объявил Петро в Кумылженской. Казаки старших годов засуетились, собираясь в обратную дорогу. Решили передневать в станице, а на зорьке другого дня трогаться в разные стороны. Петро, весь день искавший случая поговорить с братом, пришел к нему на квартиру.

— Пойдем на плац.

Григорий молча вышел за ворота. Их догнал было Митька Коршунов, но Петро холодно попросил его:

— Уйди, Митрий. Хочу с братом погутарить.

— Эт-то можно.— Митька понимающе улыбнулся, отстал.

Григорий, искоса наблюдавший за Петром, видел, что тот хочет говорить о чем-то серьезном. Отводя это разгаданное намерение, он заговорил с напускной оживленностью:

— Чудно все-таки: отъехали от дома сто верст, а народ уж другой. Гутарят не так, как у нас, и постройки другого порядка, вроде как у полипонов. Видишь, вот ворота накрыты тесовой крышей, как часовня. У нас таких нету. И вот,— он указал на ближний богатый курень,— завалинка тоже обметана тесом: чтоб дерево не гнило, так, что ли?

— Оставь.— Петро сморщился.— Не об этом ты гутаришь... Погоди, давай станем к плетню. Люди глядят.

На них любопытствующе поглядывали шедшие с плаца бабы и казаки. Старик в синей распоясанной рубахе и в казачьей фуражке с розовым от старости околышем приостановился.

Днюете?

Хотим передневать.

Овесец коням есть?

Есть трошки,— отозвался Петро.

- А то зайдите ко мне, всыплю мерки две.

Спаси Христос, дедушка!

— Богу святому... Заходи. Вон мой курень, зеленой жестью крытый.

— Ты об чем хочешь толковать? — нетерпеливо, хмурясь, спросил Григорий.

— Обо всем.— Петро как-то виновато и вымученно улыбнулся, закусил углом рта пшеничный ус.— Время, Гришатка, такое, что, может, и не свидимся...

Неосознанная враждебность к брату, ужалившая было Григория, внезапно исчезла, раздавленная жалкой Петровой улыбкой и давнишним, с детства оставшимся обращением «Гришатка». Петро ласково глядел на брата, все так же длительно и нехорошо улыбаясь. Движением губ он стер улыбку,— огрубел лицом, сказал:

— Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом проехались: один — в одну сторону, другой — в другую, как под лемешом. Чертова жизня, и время страшное! Один другого уж не угадывает... Вот ты,— круто перевел он разговор,— ты вот — брат мне родной, а я тебя не пойму, ей-богу! Чую, что ты уходишь как-то от меня... Правду говорю? — и сам себе ответил: — Правду. Мутишься ты... Боюсь, переметнешься ты к красным... Ты, Гришатка, до се себя не нашел.

— А ты нашел? — спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой Хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат и обожженными черными хлопьями несутся оттуда облака.

— Нашел. Я на свою борозду попал. С нее меня не спихнешь! Я, Гришка, шататься, как ты, не буду.

— Хо? — обозленную выжал Григорий улыбку.

— Не буду! — Петро сердито потурсучил ус, часто замигал, будто ослепленный.— Меня к красным арканом не притянешь. Казачество против них, и я против. Суперечить не хочу, не буду! Да ить как сказать... Незачем мне к ним, не по дороге!

— Бросай этот разговор,— устало попросил Григорий.

Он первый пошел к своей квартире, старательно печатая шаг, шевеля сутулым плечом.

У ворот Петро, приотставая, спросил:

— Ты скажи, я знать буду... скажи, Гришка, не переметнешься ты к ним?

— Навряд... Не знаю.

Григорий ответил вяло, неохотно. Петро вздохнул, но расспрашивать перестал. Ушел он взволнованный, осунувшийся. И ему и Григорию было донельзя ясно: стежки, прежде сплетавшие их, поросли непролазью пережитого, к сердцу не пройти. Так над буераком по кособокому склону скользит, вьется гладкая, выстриженная козьими копытами тропка и вдруг где-нибудь на повороте, нырнув на днище, кончится, как обрезанная,— нет дальше пути, стеной лопушится бурьян, топырясь неприветливым тупиком.

...На следующий день Петро увел назад, в Вешенскую, половину сотни. Оставшийся молодняк под командой Григория двинулся на Арженовскую.

С утра нещадно пекло солнце. В буром мареве кипятилась степь. Позади голубели лиловые отроги прихоперских гор, шафранным разливом лежали пески. Под всадниками шагом качались потные лошади. Лица казаков побурели, выцвели от солнца. Подушки седел, стремена, металлические части уздечек накалились так, что рукой не тронуть. В лесу и то не осталось прохлады,— парная висела духота, и крепко пахло дождем.

Густая тоска полонила Григория. Весь день он покачивался в седле, несвязно думая о будущем; как горошины стеклянного мониста, перебирал в уме Петровы слова, горько нудился. Терпкий бражный привкус полыни жег губы, дорога дымилась зноем. Навзничь под солнцем лежала золотисто-бурая степь. По ней шарили сухие ветры, мяли шершавую траву, сучили пески и пыль.

К вечеру прозрачная мгла затянула солнце. Небо вылиняло, посерело. На западе грузные появились облака. Они стояли недвижно, прикасаясь обвислыми концами к невнятной, тонко выпряденной нити горизонта. Потом, гонимые ветром, грозно поплыли, раздражающе низко волоча бурые хвосты, сахарно белея округлыми вершинами.

Отряд вторично пересек речку Кумылгу, втиснулся под купол тополевого леса. Листья под ветром рябили молочно-голубой изнанкой, согласно басовито шелестели. Где-то по ту сторону Хопра из ярко-белого подола тучи сыпался и сек землю косой дождь с градом, перепоясанный цветастым кушаком радуги.

Ночевали на хуторе, небольшом и пустынном. Григорий убрал коня, пошел на пасеку. Хозяин, престарелый курчавый казак, выбирая из бороды засетившихся пчел, встревоженно говорил Григорию:

— Вот эту колодку надысь купил. Перевозил сюда, и детва отчегой-то вся померла. Видишь, тянут пчелы.— Остановившись около долбленого улья, он указал на летку: пчелы беспрестанно вытаскивали на лазок трупики детвы, слетали с ними, глухо жужжа.

Хозяин жалостливо щурил рыжие глаза, огорченно чмокал губами. Ходил он порывисто, резко и угловато размахивая руками. Чересчур подвижной, груботелый, с обрывчатыми спешащими движениями, он вызывал какое-то беспокойство и казался лишним на пчельнике, где размеренно и слаженно огромнейший коллектив пчел вел медлительную мудрую работу. Григорий присматривался к нему с легким чувством недоброжелательства. Чувство это непроизвольно порождал состряпанный из порывов пожилой широкоплечий казак, говоривший скрипуче и быстро:

— Нонешний год взятка хороша. Чабор цвел здорово, несли с него. Рамошные — способней ульи. Завожу вот...

Григорий пил чай с густым, тянким, как клей, медом. Мед сладко пахнул чабрецом, троицей, луговым цветом. Чай разливала дочь хозяина — высокая красивая жалмерка. Муж ее ушел с Мироновым, поэтому хозяин был угодлив, смирен. Он не замечал, как дочь его из-под ресниц быстро поглядывала на Григория, сжимая тонкие неяркие губы. Она тянулась рукой к чайнику, и Григорий видел смолисто-черные курчеватые волосы под мышкой. Он не раз встречал ее щупающий, любознательный взгляд, и даже показалось ему, что, столкнувшись с ним взглядом, порозовела в скулах молодая казачка и согрела в углах губ припрятанную усмешку.

— Я вам в горнице постелю,— после чая сказала она Григорию, проходя с подушкой и полстью мимо и обжигая его откровенным голодным взглядом. Взбивая подушку, будто между прочим сказала невнятно и быстро: — Я под сараем лягу... Душно в куренях, блохи кусают...

Григорий, скинув одни сапоги, пошел к ней под сарай, как только услышал храп хозяина. Она уступила ему место рядом с собой на снятой с передка арбе и, натягивая на себя овчинную шубу, касаясь Григория ногами, притихла. Губы у нее были сухи, жестки, пахли луком и незахватанным запахом свежести. На ее тонкой и смуглой руке Григорий

прозоревал до рассвета. Она с силой всю ночь прижимала его к себе, ненасытно ласкала и со смешками, с шутками в кровь искусала ему губы и оставила на шее, груди и плечах лиловые пятна поцелуев-укусов и крохотные следы своих мелких зверушечьих зубов. После третьих кочетов Григорий собрался было перекочевать в горницу, но она его удержала.

— Пусти, любушка, пусти, моя ягодка! — упрашивал Григорий, улыбаясь в черный поникший ус, мягко пытаясь освободиться.

— Полежи ишо чудок... Полежи!

— Да ить увидют! Гля, скоро рассвенет!

— Ну и нехай!

— А отец?

— Батяня знает.

— Как знает? — Григорий удивленно подрожал бровью.

— А так...

— Вот так голос! Откель же он знает?

— Он, видишь... он вчерась мне сказал: дескать, ежели будет офицер приставать, переспи с ним, примолви его, а то за Гераську коней заберут либо ишо чего... Муж-то, Герасим мой, с Мироновым...

— Во-о-он как! — Григорий насмешливо улыбнулся, но в душе был обижен.

Неприятное чувство рассеяла она же. Любовно касаясь мышц на руке Григория, она вздрогнула:

— Мой-то разлюбезный не такой, как ты...

— А какой же он? — заинтересовался Григорий, потрезвелыми глазами глядя на бледнеющую вершину неба.

— Никудышный... квёлый...— Она доверчиво потянулась к Григорию, в голосе ее зазвучали сухие слезы.— Я с ним безо всякой сладости жила... Негож он по бабьему делу...

Чужая, детски наивная душа открывалась перед Григорием просто, как открывается, впитывая росу, цветок. Это пьянило, будило легкую жалость. Григорий, жалея, ласково гладил растрепанные волосы своей случайной подруги, закрывал усталые глаза.

Сквозь камышовую крышу навеса сочился гаснущий свет месяца. Сорвалась и стремительно скатилась к горизонту падучая звезда, оставив на пепельном небе фосфорический стынущий след. В пруду закрякала матерка, с любовной сипотцой отозвался селезень.

Григорий ушел в горницу, легко неся опорожненное, налитое сладостным звоном устали тело. Он уснул, ощущая на губах солонцеватый запах ее губ, бережно храня в памяти охочее на ласку тело казачки и запах его — сложный запах чабрецового меда, пота и тепла.

Через два часа его разбудили казаки. Прохор Зыков оседлал ему коня, вывел за ворота. Григорий попрощался с хозяином, твердо выдержав его задымленный враждебностью взгляд,— кивнул головой проходившей в курень хозяйской дочери. Она наклонила голову, тепля в углах тонких, неярко окрашенных губ улыбку и невнятную горечь сожаления.

По проулку ехал Григорий, оглядываясь. Проулок полудугой огибал двор, где он ночевал, и он видел, как пригретая им казачка смотрела через плетни ему вслед, поворачивая голову, щитком выставив над глазами узкую загорелую ладонь. Григорий с неожиданно ворохнувшейся тоской оглядывался, пытался представить себе выражение ее лица, всю ее — и не мог. Он видел только, что голова казачки в белом платке тихо поворачивается, следя глазами за ним. Так поворачивается шляпка подсолнечника, наблюдающего за медлительным кружным походом солнца.

* * *

Этапным порядком гнали Кошевого Михаила из Вешенской на фронт. Дошел он до Федосеевской станицы, там его станичный атаман задержал на день и под конвоем отправил обратно в Вешенскую.

— Почему отсылаете назад? — спросил Михаил станичного писаря.

— Получено распоряжение из Вёшек,— неохотно ответил тот.

Оказалось, что Мишкина мать, ползая на коленях на хуторском сборе, упросила стариков, и те написали от общества приговор с просьбой Михаила Кошевого как единственного кормильца в семье назначить в атарщики. К вешенскому станичному атаману с приговором ездил сам Мирон Григорьевич. Упросил.

В станичном правлении атаман накричал на Мишку, стоявшего перед ним во фронт, потом сбавил тон, сердито закончил:

— Большевикам мы не доверяем защиту Дона! Отправляйся на отвод, послужишь атарщиком, а там видно будет.

Смотри у меня, сукин сын! Мать твою жалко, а то бы... Ступай!

По раскаленным улицам Мишка шел уже без конвоира. Скатка резала плечо. Натруженные за полтораста верст ходьбы ноги отказывались служить. Он едва дотянул к ночи до хутора, а на другой день, оплаканный и обласканный матерью, уехал на отвод, увозя в памяти постаревшее лицо матери и впервые замеченную им пряжу седин на ее голове.

К югу от станицы Каргинской, на двадцать восемь верст в длину и шесть в ширину, разлеглась целинная, извеку не паханная заповедная степь. Кус земли во многие тысячи десятин был отведен под попас станичных жеребцов, потому и назван — отводом. Ежегодно на Егорьев день из Вешенской, из зимних конюшен, выводили атарщики отстоявшихся за зиму жеребцов, гнали их на отвод. На станичные деньги была выстроена посреди отвода конюшня с летними открытыми станками на восемнадцать жеребцов, с рубленой казармой около для атарщиков, смотрителя и ветеринарного фельдшера. Казаки Вешенского юрта пригоняли маток-кобылиц, фельдшер со смотрителем следили при приеме маток, чтоб ростом каждая была не меньше двух аршин и возрастом не моложе четырех лет. Здоровых отбивали в косяки штук по сорок. Каждый жеребец уводил свой косяк в степь, ревниво соблюдая кобылиц.

Мишка ехал на единственной в его хозяйстве кобыле. Мать, провожая его, утирая завеской слезы, говорила:

— Огуляется, может, кобылка-то... Ты уж блюди ее, не заезживай. Ишо одну лошадь — край надо!

В полдень за парны́м маревом, струившимся поверх ложбины, увидел Мишка железную крышу казармы, изгородь, серую от непогоды тесовую крышу конюшни. Он заторопил кобылу: выправившись на гребень, отчетливо увидел постройки и молочный разлив травы за ними. Далеко-далеко на востоке гнедым пятном темнел косяк лошадей, бежавших к пруду; в стороне от них рысил верховой атарщик — игрушечный человек, приклеенный к игрушечному коньку.

Въехав во двор, Мишка спешился, привязал поводья к крыльцу, вошел в дом. В просторном коридоре ему повстречался один из атарщиков, невысокий веснушчатый казак.

— Кого надо? — недружелюбно спросил он, оглядывая Мишку с ног до головы.

— Мне бы до смотрителя.

— Струкова? Нету, весь вышел... Сазонов, помочник

ний, тут. Вторая дверь с левой руки... А на что понадобился? Ты откель?

— В атарщики к вам.

— Пихают абы кого...

Бормоча, он пошел к выходу. Веревочный аркан, перекинутый через плечо, волочился за ним по полу. Открыв дверь и стоя к Мишке спиной, атарщик махнул плетью, уже миролюбиво сказал:

— У нас, братушка, служба чижелая. Иной раз по двое суток с коня не слазишь.

Мишка глядел на его нераспрямленную спину и резко выгнутые ноги. В просвете двери каждая линия нескладной фигуры казака вырисовывалась рельефно и остро. Колесом изогнутые ноги атарщика развеселили Мишку. «Будто он сорок лет верхом на бочонке сидел»,— подумал, усмехаясь про себя, разыскивая глазами дверную ручку.

Сазонов принял нового атарщика величественно и равнодушно.

Вскоре приехал откуда-то и сам смотритель, здоровенный казачина, вахмистр Атаманского полка Афанасий Струков. Он приказал зачислить Кошевого на довольствие, вместе с ним вышел на крыльцо, накаленное белым застойным зноем.

— Неуков учить умеешь? Объезживал?

— Не доводилось,— чистосердечно признался Мишка и сразу заметил, как посоловевшее от жары лицо смотрителя оживилось, струей прошло по нему недовольство.

Почесывая потную спину, выгибая могучие лопатки, смотритель тупо глядел Мишке меж глаз.

— Арканом могешь накидывать?

— Могу.

— А коней жалеешь?

— Жалею.

— Они — как люди, немые только. Жалей,— приказал он и, беспричинно свирепея, крикнул: — Жалеть, а не то что — арапником!

Лицо его на минуту стало и осмысленным и живым, но сейчас же оживление исчезло, твердой корой тупого равнодушия поросла каждая черта.

— Женатый?

— Никак нет.

— Вот и дурак! Женился бы,— обрадованно подхватил смотритель.

Он выжидающе помолчал, с минуту глядел на распахнутую грудину степи, потом, зевая, пошел в дом. Больше за

месяц службы в атарщиках Мишка не слышал от него ни единого слова.

Всего на отводе было пятьдесят пять жеребцов. На каждого атарщика приходилось по два, по три косяка. Мишке поручили большой косяк, водимый могучим старым жеребцом Бахарем, и еще один, поменьше, насчитывавший около двадцати маток, с жеребцом по кличке Банальный. Смотритель призвал атарщика Солдатова Илью, одного из самых расторопных и бесстрашных, поручил ему:

— Вот новый атарщик, Кошевой Михаил с Татарского хутора. Укажи ему косяки Банального и Бахаря, аркан ему дай. Жить будет в вашей будке. Указывай ему. Ступайте.

Солдатов молча закурил, кивнул Мишке:

— Пойдем.

На крыльце спросил, указывая глазами на сомлевшую под солнцем Мишкину кобыленку:

— Твоя животина?

— Моя.

— Сжеребая?

— Нету.

— С Бахарем случи. Он у нас Королёвского завода, полумесок с англичанином. Ай да и резвён!.. Ну, садись.

Ехали рядом. Лошади по колено брели в траве. Казарма и конюшня остались далеко позади. Впереди, повитая нежнейшим голубым куревом, величественно безмолвствовала степь. В зените, за прядью опаловых облачков, томилось солнце. От жаркой травы стлался тягучий густой аромат. Справа, за туманно очерченной впадиной лога жемчужно-улыбчиво белела полоска Жирова пруда. А кругом,— насколько хватал глаз,— зеленый необъятный простор, дрожащие струи марева, полуденным зноем скованная древняя степь и на горизонте — недосягаем и сказочен — сизый грудастый курган.

Травы от корня зеленели густо и темно, верхушки просвечивали на солнце, отливали медянкой. Лохматился невызревший султанистый ковыль, круговинами шла по нему вихристая имурка, пырей жадно стремился к солнцу, вытягивая обзерненную головку. Местами слепо и цепко прижимался к земле низкорослый железняк, изредка промереженный шалфеем, и вновь половодьем расстилался взявший засилье ковыль, сменяясь разноцветьем: овсюгом, желтой сурепкой, молочаем, чингиской — травой суровой, однолюбой, вытеснявшей с занятой площади все остальные травы.

Казаки ехали молча. Мишка испытывал давно не виданное им чувство покорной умиротворенности. Степь давила его тишиной, мудрым величием. Спутник его просто спал в седле, клонясь к конской гриве, сложив на луке веснушчатые руки словно перед принятием причастия.

Из-под ног взвился стрепет, потянул над балкой, искрясь на солнце белым пером. Приминая травы, с юга поплыл ветерок, с утра, может быть, бороздивший Азовское море.

Через полчаса наехали на косяк, пасшийся возле Осинового пруда. Солдатов проснулся,— потягиваясь в седле, лениво сказал:

— Ломакина Пантелюшки косяк. Чтой-то его не видно.

— Как жеребца кличут? — спросил Мишка, любуясь светло-рыжим длинным донцом.

— Фразер. Злой, проклятый! Ишь вылупился как! Повел!

Жеребец двинулся в сторону, и за ним, табунясь, пошли кобылицы.

Мишка принял отведенные ему косяки и сложил свои пожитки в полевой будке. До него в будке жили трое: Солдатов, Ломакин и наемный косячник — немолодой молчаливый казак Туроверов. Солдатов числился у них старшим. Он охотно ввел Мишку в курс обязанностей, на другой же день рассказал ему про характеры и повадки жеребцов и, тонко улыбаясь, посоветовал:

— По праву должон ты службу на своей коняке несть, но ежли на ней изо дня в день мотаться — поставишь на постав. А ты пусти ее в косяк, чужую заседлай и меняй их почаще.

На Мишкиных глазах он отбил от косяка одну матку и, расскакавшись, привычно и ловко накинул на нее аркан. Оседлал ее Мишкиным седлом, подвел, дрожащую, приседающую на задние ноги, к нему.

— Садись. Она, видно, неука, черт! Садись же! — крикнул он сердито, правой рукой с силой натягивая поводья, левой сжимая кобылицын раздувающийся храп.— Ты с ними помягче. Это на конюшне зыкнешь на жеребца: «К одной!» — он и жмется к одной стороне станка, а тут не балуйся! Бахаря особливо опасайся, близко не подъезжай, зашибет,— говорил он, держась за стремя и любовно лапая переступавшую с ноги на ногу кобылку за тугое атласно-черное вымя.

III

Неделю отдыхал Мишка, целые дни проводя в седле. Степь его покоряла, властно принуждала жить первобытной, растительной жизнью. Косяк ходил где-нибудь неподалеку. Мишка или сидя дремал в седле, или, валяясь на траве, бездумно следил, как, пасомые ветром, странствуют по небу косяки опушенных изморозной белью туч. Вначале такое состояние отрешенности его удовлетворяло. Жизнь на отводе, вдали от людей, ему даже нравилась. Но к концу недели, когда он уже освоился в новом положении, проснулся невнятный страх. «Там люди свою и чужую судьбу решают, а я кобылок пасу. Как же так? Уходить надо, а то засосет»,— трезвея, думал он. Но в сознании сочился и другой, ленивый нашепот: «Пускай там воюют, там смерть, а тут — приволье, трава да небо. Там злоба, а тут мир. Тебе-то что за дело до остальных?..» Мысли стали ревниво точить покорную Мишкину успокоенность. Это погнало его к людям, и он уже чаще, нежели в первые дни, искал встреч с Солдатовым, гулявшим со своими косяками в районе Дударева пруда, пытался сблизиться с ним.

Солдатов тягот одиночества, видимо, не чувствовал. Он редко ночевал в будке и почти всегда — с косяком или возле пруда. Жил он звериной жизнью, сам промышлял себе пищу и делал это необычайно искусно, словно всю жизнь только этим и занимался. Однажды увидел Мишка, как он плел лесу из конского волоса. Заинтересовавшись, спросил:

— На что плетешь?

— На рыбу.

— А где она?

— В пруду. Караси.

— За глиста ловишь?

— За хлеб и за глиста.

— Варишь?

— Подвялю и ем. На вот,— радушно угостил он, вынимая из кармана шаровар вяленого карася.

Как-то следуя за косяком, напал Мишка на пойманного в силок стрепета. Возле стояло мастерски сделанное чучело стрепета и лежали искусно скрытые в траве силки, привязанные к колышку. Стрепета Солдатов в этот же вечер изжарил в земле, предварительно засыпав ее раскаленными угольями. Он пригласил вечерять и Мишку. Раздирая пахучее мясо, попросил:

— В другой раз не сымай, а то мне дело попортишь.

Ты как попал сюда? — спросил Мишка.

Кормилец я.

Солдатов помолчал и вдруг спросил:

Слухай, а правду брешут ребяты, что ты из красных?

Кошевой, не ожидавший такого вопроса, смутился.

Нет... Ну, как сказать... Ну да, уходил я к ним... Поймали.

Зачем уходил? Чего искал? — суровея глазами, тихо спросил Солдатов и стал жевать медленней.

Они сидели возле огня на гребне сухой балки. Кизяки чадно дымили, из-под золы просился наружу огонек. Сзади сухим теплом и запахом вянущей полыни дышала им в спины ночь. Вороное небо полосовали падучие звезды. Падала одна, и потом долго светлел ворсистый след, как на конском крупе после удара кнутом.

Мишка настороженно всматривался в лицо Солдатова, тронутое позолотой огневого отсвета, ответил:

— Правóв хотел добиться.

— Кому? — с живостью встрепенулся Солдатов.

— Народу.

— Каких же правóв? Ты расскажи.

Голос Солдатова стал глух и вкрадчив. Мишка секунду колебался,— ему подумалось, что Солдатов нарочно положил в огонь свежий кизяк, чтобы скрыть выражение своего лица. Решившись, заговорил:

— Равноправия всем — вот каких! Не должно быть ни панов, ни холопов. Понятно? Этому делу решку наведут.

— Думаешь, не осилют кадеты?

— Ну да — нет.

— Ты, значит, вон чего хотел...— Солдатов перевел дух и вдруг встал.— Ты, сукин сын, казачество жидам в кабалу хотел отдать?! — крикнул он пронзительно, зло.— Ты... в зубы тебе, и все вы такие-то, хотите искоренить нас?! Ага, вон как!.. Чтоб по степу жиды фабрик своих понастроили? Чтоб нас от земли отнять?!

Мишка, пораженный, медленно поднялся на ноги. Ему показалось, что Солдатов хочет его ударить. Он отшатнулся, и тот, видя, что Мишка испуганно ступил назад,— размахнулся. Мишка поймал его руку на лету; сжимая в запястье, обещающе посоветовал:

— Ты, дядя, оставь, а то я тебя помету! Ты чего расшумелся?

Они стояли в темноте друг против друга. Огонь, затоптанный ногами, погас; лишь с краю ало дымился откатившийся в сторону кизяк. Солдатов левой рукой

схватился за ворот Мишкиной рубахи; стягивая его в кулаке, поднимая,— пытался освободить правую руку.

— За грудки не берись! — хрипел Мишка, ворочая сильной шеей.— Не берись, говорю! Побью, слышишь?..

— Не-е-ет, ты... побью... погоди! — задыхался Солдатов.

Мишка, освободившись, с силой откинул его от себя и, испытывая омерзительное желание ударить, сбить с ног и дать волю рукам, судорожно оправлял рубаху.

Солдатов не подходил к нему. Скрипя зубами, он вперемежку с матюками выкрикивал:

— Донесу!.. Зараз же к смотрителю! Я тебя упеку!.. Гадюка! Гад!.. Большевик!.. Как Подтелкова, тебя надо! На сук! На шворку!

«Донесет... набрешет... Посадят в тюрьму... На фронт не пошлют — значит, к своим не перебегу. Пропал!» Мишка похолодел, и мысль его, ища выхода, заметалась отчаянно, как мечется сула в какой-нибудь ямке, отрезанная сбывающей полой водой от реки. «Убить его! Задушу сейчас... Иначе нельзя...» И уже подчиняясь этому мгновенному решению, мысль подыскивала оправдания: «Скажу, что кинулся меня бить... Я его за глотку... нечаянно, мол... Сгоряча...»

Дрожа, шагнул Мишка к Солдатову, и если бы тот побежал в этот момент, скрестились бы над ними смерть и кровь. Но Солдатов продолжал выкрикивать ругательства, и Мишка потух, лишь ноги хлипко задрожали да пот проступил на спине и под мышками.

— Ну, погоди... Слышишь? Солдатов, постой. Не шуми. Ты же первый затеял...

И Мишка стал униженно просить. У него дрожала челюсть, растерянно бегали глаза.

— Мало ли чего не бывает между друзьями... Я ж тебя не вдарил... А ты — за грудки... Ну, чего я такого сказал? И все это надо доказывать?.. Ежели обидел, ты прости... ей-богу! Ну?

Солдатов стал тише, тише покрикивать и умолк. Минуту спустя сказал, отворачиваясь, вырывая свою руку из холодной, потной руки Кошевого:

— Крутишь хвостом, как гад! Ну да уж ладно, не скажу. Дурость твою жалею... А ты мне на глаза больше не попадайся, зрить тебя больше не могу! Сволочь ты! Жидам ты продался, а я не жалею таких людей, какие за деньги продаются.

Мишка приниженно и жалко улыбался в темноту, хотя

Солдатов лица его не видел, как не видел и того, что кулаки Мишкины сжимаются и пухнут от прилива крови.

Они разошлись, не сказав больше ни слова. Кошевой крестно хлестал лошадь, скакал, разыскивая свой косяк. На востоке вспыхивали сполохи, погромыхивал гром.

В эту ночь над отводом прошлась гроза. К полуночи, как запаленный, сапно дыша, с посвистом пронесся ветер, за ним невидимым подолом потянулись густая прохлада и горькая пыль.

Небо нахмарилось. Молния наискось распахала взбугренную черноземно-черную тучу, долго копилась тишина, и где-то далеко предупреждающе громыхал гром. Ядреный дождевой сев начал приминать травы. При свете молнии, вторично очертившей круг, Кошевой увидел ставшую в полнеба бурую тучу, по краям обугленно-черную, грозную, и на земле, распростертой под нею, крохотных, сбившихся в кучу лошадей. Гром обрушился с ужасающей силой, молния стремительно шла к земле. После нового удара из недр тучи потоками прорвался дождь, степь невнятно зароптала, вихрь сорвал с головы Кошевого мокрую фуражку, с силой пригнул его к луке седла. С минуту черная полоскалась тишина, потом вновь по небу заджигитовала молния, усугубив дьявольскую темноту. Последующий удар грома был столь силен, сух и раскатисто-трескуч, что лошадь Кошевого присела и, вспрянув, завилась в дыбки. Лошади в косяке затопотали. Со всей силой натягивая поводья, Кошевой крикнул, желая ободрить лошадей:

— Стой!.. Тррр!..

При сахарно-белом зигзаге молнии, продолжительно скользившем по гребням тучи, Кошевой увидел, как косяк мчался на него. Лошади стлались в бешеном намёте, почти касаясь лоснящимися мордами земли. Раздутые ноздри их с храпом хватали воздух, некованые копыта выбивали сырой гул. Впереди, забирая предельную скорость, шел Бахарь. Кошевой рванул лошадь в сторону и едва-едва успел проскочить. Лошади промчались и стали неподалеку. Не зная того, что косяк, взволнованный и напуганный грозой, кинулся на его крик, Кошевой вновь еще громче зыкнул:

— Стойте! А ну!

И опять — уже в темноте — с чудовищной быстротой устремился к нему грохот копыт. В ужасе ударил кобыленку свою плетью меж глаз, но уйти в сторону не успел. В круп его кобылицы грудью ударилась какая-то обезумевшая лошадь, и Кошевой, как кинутый пращой, вылетел

из седла. Он уцелел только чудом: косяк основной массой шел правее него, поэтому-то его не затоптали, а лишь одна какая-то матка вдавила ему копытом правую руку в грязь. Мишка поднялся и, стараясь хранить возможную тишину, осторожно пошел в сторону. Он слышал, что косяк неподалеку ждет крика, чтобы вновь устремиться на него в сумасшедшем намёте, и слышал характерный, отличимый похрап Бахаря.

В будку пришел Кошевой только перед светом.

IV

15 мая атаман Всевеликого войска Донского Краснов, сопутствуемый председателем совета управляющих, управляющим отделом иностранных дел генерал-майором Африканом Богаевским, генерал-квартирмейстером Донской армии полковником Кисловым и кубанским атаманом Филимоновым, прибыл на пароходе в станицу Манычскую.

Хозяева земли донской и кубанской скучающе смотрели с палубы, как причаливает к пристани пароход, как суетятся матросы и, закипая, идет от сходней бурая волна. Потом сошли на берег, провожаемые сотнями глаз собравшейся у пристани толпы.

Небо, горизонты, день, тонкоструйное марево — все синее. Дон — и тот отливает не присущей ему голубизной, как вогнутое зеркало, отражая снежные вершины туч.

Запахами солнца, сохлых солончаков и сопревшей прошлогодней травы напитан ветер. Толпа шуршит говором. Генералы, встреченные местными властями, едут на плац.

В доме станичного атамана через час началось совещание представителей донского правительства и Добровольческой армии. От Добровольческой армии прибыли генералы Деникин и Алексеев в сопровождении начштаба армии генерала Романовского, полковников Ряснянского и Эвальда.

Встреча дышала холодком. Краснов держался с тяжелым достоинством. Алексеев, поздоровавшись с присутствующими, присел к столу; подперев сухими белыми ладонями обвислые щеки, безучастно закрыл глаза. Его укачала езда в автомобиле. Он как бы ссохся от старости и пережитых потрясений. Излучины сухого рта трагически опущены, голубые, иссеченные прожилками веки припухлы и тяжки. Множество мельчайших морщинок веером

рассыпалось к вискам. Пальцы, плотно прижавшие дряблую кожу щек, концами зарывались в старчески желтоватые, коротко остриженные волосы. Полковник Ряснянский бережно расстилал на столе похрустывающую карту, ему помогал Кислов. Романовский стоял около, придерживая ногтем мизинца угол карты. Богаевский прислонился к невысокому окну, с щемящей жалостью вглядываясь в бесконечно усталое лицо Алексеева. Оно белело, как гипсовая маска. «Как он постарел! Ужасно как постарел!» — мысленно шептал Богаевский, не спуская с Алексеева влажных миндалевидных глаз. Еще не успели присутствовавшие усесться за стол, как Деникин, обращаясь к Краснову, заговорил взволнованно и резко:

— Прежде чем открыть совещание, я должен заявить вам: нас крайне удивляет то обстоятельство, что вы в диспозиции, отданной для овладения Батайском, указываете, что в правой колонне у вас действует немецкий батальон и батарея. Должен признаться, что факт подобного сотрудничества для меня более чем странен... Вы позволите узнать, чем руководствовались вы, входя в сношение с врагами родины — с бесчестными врагами! — и пользуясь их помощью? Вы, разумеется, осведомлены о том, что союзники готовы оказать нам поддержку?.. Добровольческая армия расценивает союз с немцами как измену делу восстановления России. Действия донского правительства находят такую же оценку и в широких союзнических кругах. Прошу вас объясниться.

Деникин, зло изогнув бровь, ждал ответа.

Только благодаря выдержке и присущей ему светскости Краснов хранил внешнее спокойствие; но негодование все же осиливало: под седеющими усами нервный тик подергивал и искажал рот. Очень спокойно и очень учтиво Краснов отвечал:

— Когда на карту ставится участь всего дела, не брезгают помощью и бывших врагов. И потом вообще правительство Дона, правительство пятимиллионного суверенного народа, никем не опекаемое, имеет право действовать самостоятельно, сообразно интересам казачества, кои призвано защищать.

При этих словах Алексеев открыл глаза и, видимо, с большим напряжением пытался слушать внимательно. Краснов глянул на Богаевского, нервически крутившего выхоленный в стрелку ус, и продолжал:

— В ваших рассуждениях, ваше превосходительство, превалируют мотивы, так сказать, этического порядка. Вы

сказали очень много ответственных слов о нашей якобы измене делу России, об измене союзникам... Но я полагаю, вам известен тот факт, что Добровольческая армия получала от нас снаряды, проданные нам немцами?..

— Прошу строго разграничивать явления глубоко различного порядка! Мне нет дела до того, каким путем вы получаете от немцев боеприпасы, но — пользоваться поддержкой их войск!..— Деникин сердито вздернул плечами.

Краснов, кончая речь, вскользь, осторожно, но решительно дал понять Деникину, что он не прежний бригадный генерал, каким тот видел его на австро-германском фронте.

Разрушив неловкое молчание, установившееся после речи Краснова, Деникин умно перевел разговор на вопросы слияния Донской и Добровольческой армий и установления единого командования. Но предшествовавшая этому стычка, по сути, послужила началом дальнейшего, непрестанно развивавшегося между ними обострения отношений, окончательно порванных к моменту ухода Краснова от власти.

Краснов от прямого ответа ускользнул, предложив взамен совместный поход на Царицын, для того чтобы, во-первых, овладеть крупнейшим стратегическим центром и, во-вторых, удержав его, соединиться с уральскими казаками.

Прозвучал короткий разговор:

— ...Вам не говорить о той колоссальной значимости, которую представляет для нас Царицын.

— Добровольческая армия может встретиться с немцами. На Царицын не пойду. Прежде всего я должен освободить кубанцев.

— Да, но все же взятие Царицына — кардинальнейшая задача. Правительство Войска Донского поручило мне просить ваше превосходительство.

— Повторяю: бросить кубанцев я не могу.

— Только при условии наступления на Царицын можно говорить об установлении единого командования.

Алексеев неодобрительно пожевал губами.

— Немыслимо! Кубанцы не пойдут из пределов области, не окончательно очищенной от большевиков, а в Добровольческой армии две с половиной тысячи штыков, причем третья часть — вне строя: раненые и больные.

За скромным обедом вяло перебрасывались незначащими замечаниями,— было ясно, что соглашение достигнуто не будет. Полковник Рясняиский рассказал о каком-то веселом полуанекдотическом подвиге одного из марковцев,

и постепенно, под совместным действием обеда и веселого рассказа, напряженность рассеялась. Но когда после обеда, закуривая, разошлись по горнице, Деникин, тронув плечо Романовского, указал острыми прищуренными глазами на Краснова, шепнул:

— Наполеон областного масштаба... Неумный человек, знаете ли...

Улыбнувшись, Романовский быстро ответил:

— Княжить и володеть хочется... Бригадный генерал упивается монаршей властью. По-моему, он лишен чувства юмора...

Разъехались, преисполненные вражды и неприязни. С этого дня отношения между Добрармией и донским правительством резко ухудшаются, ухудшение достигает апогея, когда командованию Добрармии становится известным содержание письма Краснова, адресованного германскому императору Вильгельму. Раненые добровольцы, отлеживавшиеся в Новочеркасске, посмеивались над стремлением Краснова к автономии и над слабостью его по части восстановления казачьей старинки, в кругу своих презрительно называли его «хузяином», а Всевеликое войско Донское переименовали во «всевеселое». В ответ на это донские самостийники величали их «странствующими музыкантами», «правителями без территории». Кто-то из «великих» в Добровольческой армии едко сказал про донское правительство: «Проститутка, зарабатывающая на немецкой постели». На это последовал ответ генерала Денисова: «Если правительство Дона — проститутка, то Добровольческая армия — кот, живущий на средства этой проститутки».

Ответ был намеком на зависимость Добровольческой армии от Дона, делившего с ней получаемое из Германии боевое снаряжение.

Ростов и Новочеркасск, являвшиеся тылом Добровольческой армии, кишели офицерами. Тысячи их спекулировали, служили в бесчисленных тыловых учреждениях, ютились у родных и знакомых, с поддельными документами о ранениях лежали в лазаретах... Все наиболее мужественные гибли в боях, от тифа, от ран, а остальные, растерявшие за годы революции и честь и совесть, по-шакальи прятались в тылах, грязной накипью, навозом плавали на поверхности бурных дней. Это были еще те нетронутые, залежалые кадры офицерства, которые некогда громил, обличал, стыдил Чернецов, призывая к защите России. В большинстве они являли собой самую пако-

стную разновидность так называемой «мыслящей интеллигенции», облаченной в военный мундир: от большевиков бежали, к белым не пристали, понемножку жили, спорили о судьбах России, зарабатывали детишкам на молочишко и страстно желали конца войны.

Для них было все равно, кто бы ни правил страной,— Краснов ли, немцы ли, или большевики,— лишь бы конец.

А события грохотали изо дня в день. В Сибири — чехословацкий мятеж, на Украине — Махно, возмужало заговоривший с немцами на наречии орудий и пулеметов. Кавказ, Мурманск, Архангельск... Вся Россия стянута обручами огня... Вся Россия — в муках великого передела...

В июне по Дону широко, как восточные ветры, загуляли слухи, будто чехословаки занимают Саратов, Царицын и Астрахань с целью образовать по Волге восточный фронт для наступления на германские войска. Немцы на Украине неохотно стали пропускать офицеров, пробиравшихся из России под знамена Добровольческой армии.

Германское командование, встревоженное слухами об образовании «восточного фронта», послало на Дон своих представителей. 10 июля в Новочеркасск прибыли майоры германской армии — фон Кокенхаузен, фон Стефани и фон Шлейниц.

В этот же день они были приняты во дворце атаманом Красновым в присутствии генерала Богаевского.

Майор Кокенхаузен, упомянув о том, как германское командование всеми силами, вплоть до вооруженного вмешательства, помогало Великому войску Донскому в борьбе с большевиками и восстановлении границ, спросил, как будет реагировать правительство Дона, если чехословаки начнут против немцев военные действия. Краснов уверил его, что казачество будет строго блюсти нейтралитет и, разумеется, не позволит сделать Дон ареной войны. Майор фон Стефани выразил пожелание, чтобы ответ атамана был закреплен в письменной форме.

На этом аудиенция кончилась, а на другой день Краснов написал следующее письмо германскому императору:

Ваше императорское и королевское величество! Податель сего письма, атаман Зимовой станицы (посланник) Всевеликого Войска Донского при дворе вашего императорского величества и его товарищи уполномочены мною, донским атаманом, приветствовать ваше императорское величество, могущественного монарха великой Германии, и передать нижеследующее:

Два месяца борьбы доблестных донских казаков, которую они ведут за свободу своей Родины с таким мужеством, с каким в недавнее время вели

против англичан родственные германскому народу буры, увенчались на всех фронтах нашего государства полной победой, и ныне земля Всевеликого Войска Донского на $^9/_{10}$ освобождена от диких красногвардейских банд. Государственный порядок внутри страны окреп, и установилась полная законность. Благодаря дружеской помощи войск вашего императорского величества создалась тишина на юге Войска, и мною приготовлен корпус казаков для поддержания порядка внутри страны и воспрепятствования натиску врагов извне. Молодому государственному организму, каковым в настоящее время является Донское Войско, трудно существовать одному, и поэтому оно заключило тесный союз с главами астраханского и кубанского войска, полковником князем Тундутовым и полковником Филимоновым, с тем чтобы, по очищении земли астраханского войска и Кубанской области от большевиков, составить прочное государственное образование на началах федерации из Всевеликого Войска Донского, астраханского войска с калмыками Ставропольской губ., кубанского войска, а также народов Северного Кавказа. Согласие всех этих держав имеется, и вновь образуемое государство, в полном согласии со Всевеликим Войском Донским, решило не допускать до того, чтобы земли его стали ареной кровавых столкновений, и обязалось держать полный нейтралитет. Атаман Зимовой станицы нашей при дворе вашего императорского величества уполномочен мною:

Просить ваше императорское величество признать права Всевеликого Войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения последних кубанских, астраханских и терских войск и Северного Кавказа — право на самостоятельное существование и всей федерации под именем Доно-Кавказского союза.

Просить признать ваше императорское величество границы Всевеликого Войска Донского в прежних географических и этнографических его размерах, помочь разрешению спора между Украиной и Войском Донским из-за Таганрога и его округа в пользу Войска Донского, которо владеет Таганрогским округом более 500 лет и для которого Таганрогский округ является частью Тмутаракани, от которой и стало Войско Донское.

Просить ваше величество содействовать о присоединении к Войску, по стратегическим соображениям, городов Камышина и Царицына, Саратовской губернии, и города Воронежа и станции Лиски и Поворино и провести границу Войска Донского, как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице.

Просить ваше величество оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого Войска Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов Красной Армии и дать возможность восстановить нормальные, мирные отношения между Москвой и Войском Донским. Все убытки населения Войска Донского, торговли и промышленности, происшедшие от нашествия большевиков, должны быть возмещены советской Россией.

Просить ваше императорское величество помочь молодому нашему государству орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом и, если признаете это выгодным, устроить в пределах Войска Донского орудийный, оружейный, снарядный и патронный заводы.

Всевеликое Войско Донское и прочие государства Доно-Кавказского союза не забудут дружеские услуги германского народа, с которым казаки бились плечом к плечу еще во время Тридцатилетней войны, когда донские полки находились в рядах армии Валленштейна, а в 1807-1813 годы донские казаки со своим атаманом, графом Платовым, боролись за свободу Германии, и теперь почти за $3^1/_2$ года кровавой войны на полях Пруссии, Галиции, Буковины и Польши, казаки и германцы взаимно

научились уважать храбрость и стойкость своих войск и ныне, протянув друг другу руки, как два благородных бойца, борются вместе за свободу родного Дона.

Всевеликое Войско Донское обязуется за услугу вашего императорского величества соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дали свое согласие и атаман астраханского войска князь Тундутов, и кубанское правительство, а по присоединении — и остальные части Доно-Кавказского союза.

Всевеликое Войско Донское предоставляет Германской империи права преимущественного вывоза избытков, за удовлетворением местных потребностей, хлеба — зерном и мукой, кожевенных товаров и сырья, шерсти, рыбных товаров, растительных и животных жиров и масла и изделий из них, табачных товаров и изделий, скота и лошадей, вина виноградного и других продуктов садоводства и земледелия, взамен чего Германская империя доставит сельскохозяйственные машины, химические продукты и дубильные экстракты, оборудование экспедиции заготовления государственных бумаг с соответственным запасом материалов, оборудование суконных, хлопчатобумажных, кожевенных, химических, сахарных и других заводов и электротехнические принадлежности.

Кроме того, правительство Всевеликого Войска Донского предоставит германской промышленности особые льготы по помещению капиталов в донские предприятия промышленности и торговли, в частности по устройству и эксплуатации новых водных и иных путей.

Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами.

К вашему императорскому величеству обращается с этим письмом не дипломат и тонкий знаток международного права, но солдат, привыкший в честном бою уважать силу германского оружия, а поэтому прошу простить прямоту моего тона, чуждую всяких ухищрений, и прошу верить в искренность моих чувств.

Уважающий вас

Петр Краснов, донской атаман, генерал-майор.

* * *

15 июля письмо было рассмотрено советом управляющих отделами, и, несмотря на то, что отношение к нему было весьма сдержанное, а со стороны Богаевского и еще нескольких членов правительства даже явно отрицательное, Краснов не замедлил вручить его атаману Зимовой станицы в Берлине герцогу Лихтенбергскому, который выехал с ним в Киев, а оттуда, с генералом Черячукиным, в Германию.

Не без ведома Богаевского письмо до отправления было перепечатано в иностранном отделе, копии его широко пошли по рукам и, снабженные соответствующими комментариями, загуляли по казачьим частям и станицам. Письмо послужило могущественным средством пропаганды. Всё громче стали говорить о том, что Краснов продался немцам. На фронтах бугрились волнения.

А в это время немцы, окрыленные успехами, возили русского генерала Черячукина под Париж, и он, вместе с чинами немецкого генерального штаба, наблюдал внушительнейшее действие крупповской тяжелой артиллерии, разгром англо-французских войск.

V

Во время ледяного похода[1] Евгений Листницкий был ранен два раза: первый раз — в бою за овладение станицей Усть-Лабинской, второй — при штурме Екатеринодара. Обе раны были незначительны, и он вновь возвращался в строй. Но в мае, когда Добровольческая армия стала в районе Новочеркасска на короткий отдых, Листницкий почувствовал недомогание, выхлопотал себе двухнедельный отпуск. Как ни велико было желание поехать домой, он решил остаться в Новочеркасске, чтобы отдохнуть, не теряя времени на переезды.

Вместе с ним уходил в отпуск его товарищ по взводу, ротмистр Горчаков. Горчаков предложил пожить у него:

— Детей у меня нет, а жена будет рада видеть тебя. Она ведь знакома с тобой по моим письмам.

В полдень, по-летнему горячий и белый, они подъехали к сутулому особнячку на одной из привокзальных улиц.

— Вот моя резиденция в прошлом,— торопливо шагая, оглядываясь на Листницкого, говорил черноусый, голенастый Горчаков.

Его выпуклые черные до синевы глаза влажнели от счастливого волнения, мясистый, как у грека, нос клонила книзу улыбка. Широко шагая, сухо шурша вытертыми леями защитных бриджей, он вошел в дом, сразу наполнив комнату прогорклым запахом солдатчины.

— Где Леля? Ольга Николаевна где? — крикнул спешившей из кухни улыбающейся прислуге.— В саду? Идем туда.

В саду под яблонями — тигровые, пятнистые тени, пахнет пчельником, выгоревшей землей. У Листницкого в стеклах пенсне шрапнелью дробятся, преломляясь, солнечные лучи. Где-то на путях ненасытно и густо ревет паровоз; разрывая этот однотонный стонущий рев, Горчаков зовет:

---

[1] Ледяным походом корниловцы назвали свое отступление от Ростова к Кубани. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

— Леля! Леля! Где же ты?

Из боковой аллейки, мелькая за кустами шиповника, вынырнула высокая, в палевом платье, женщина.

На секунду она стала, испуганным прекрасным жестом прижав к груди ладони, а потом, с криком вытянув руки, помчалась к ним. Она бежала так быстро, что Листницкий видел только бившиеся под юбкой округло-выпуклые чаши колен, узкие носки туфель да золотую пыльцу волос, взвихренную над откинутой головой.

Вытягиваясь на носках, кинув на плечи мужу изогнутые, розовые от солнца, оголенные руки, она целовала его в пыльные щеки, нос, глаза, губы, черную от солнца и ветра шею. Короткие чмокающие звуки поцелуев сыпались пулеметными очередями.

Листницкий протирал пенсне, вдыхая заклубившийся вокруг него запах вербены, и улыбался,— сам сознавая это,— глупейшей, туго натянутой улыбкой.

Когда взрыв радости поутих, перемеженный секундным перебоем,— Горчаков бережно, но решительно разжал сомкнувшиеся на его шее пальцы жены и, обняв ее за плечи, легонько повернул в сторону.

— Леля... мой друг Листницкий.

— Ах, Листницкий! Очень рада! Мне о вас муж...— Она, задыхаясь, бегло скользила по нему смеющимися, незрячими от счастья глазами.

Они шли рядом. Волосатая рука Горчакова с неопрятными ногтями и заусеницами охватом лежала на девичьей талии жены Листницкий, шагая, косился на эту руку, вдыхал запах вербены и нагретого солнцем женского тела и чувствовал себя по-детски глубоко несчастным, кем-то несправедливо и тяжко обиженным. Он посматривал на розовую мочку крохотного ушка, прикрытого прядью золотисто-ржавых волос, на шелковистую кожу щеки, находившейся от него на расстоянии аршина; глаза его по-ящериному скользили к вырезу на груди, и он видел невысокую холмистую молочно-желтую грудь и пониклый коричневый сосок. Изредка Горчакова обращала на него светлые голубоватые глаза, взгляд их был ласков, дружествен, но боль, легкая и досадливая, точила Листницкого, когда эти же глаза, устремляясь на черное лицо Горчакова, лучили совсем иной свет...

Только за обедом Листницкий как следует рассмотрел хозяйку. И в ладной фигуре ее и в лице была та гаснущая, ущербная красота, которой неярко светится женщина, прожившая тридцатую осень. Но в насмешливых холодно-

мытых глазах, в движениях она еще хранила нерастраченный запас молодости. Лицо ее с мягкими, привлекательными в своей неправильности чертами было, пожалуй, самое заурядное. Лишь один контраст резко бросался в глаза: тонкие смугло-красные растрескавшиеся, жаркие губы, какие бывают только у черноволосых женщин юга, и просвечивающая розовым кожа щек, белесые брови. Она охотно смеялась, но в улыбке, оголявшей густые мелкие, как срезанные, зубы, сквозило что-то заученное. Низкий голос ее был глуховат и беден оттенками. Листницкому, два месяца не видавшему женщин, за исключением измызганных сестер, она казалась преувеличенно красивой. Он смотрел на гордую в посадке голову Ольги Николаевны, отягченную узлом волос, отвечал невпопад и вскоре, сославшись на усталость, ушел в отведенную ему комнату.

...И вот потянулись дни, сладостные и тоскливые. После Листницкий благоговейно перебирал их в памяти, а тогда он мучился по-мальчишески, безрассудно и глупо. Голубиная чета Горчаковых уединялась, избегала его. Из комнаты, смежной с их спальней, перевели его в угловую под предлогом ремонта, о котором Горчаков говорил, покусывая ус, храня на помолодевшем, выбритом лице улыбчивую серьезность. Листницкий сознавал, что стесняет друга, но перейти к знакомым почему-то не хотел. Целыми днями валялся он под яблоней, в оранжево-пыльном холодке, читая газеты, наспех напечатанные на дрянной, оберточной бумаге, засыпая тяжким, неосвежающим сном. Истомную скуку делил с ним красавец пойнтер, шоколадной в белых крапинах масти. Он молчаливо ревновал хозяина к жене, уходил к Листницкому, ложился, вздыхая, с ним рядом, и тот, поглаживая его, прочувствованно шептал:

Мечтай, мечтай... Все у́же и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами...

С любовью перебирал все сохранившиеся в памяти, пахучие и густые, как чабрецовый мед, бунинские строки. И опять засыпал...

Ольга Николаевна чутьем, присущим лишь женщине, распознала тяготившие его настроения. Сдержанная прежде, она стала еще сдержанней в обращении с ним. Как-то, возвращаясь вечером из городского сада, они шли вдвоем (Горчакова остановили у выхода знакомые офицеры Марковского полка), Листницкий вел Ольгу Николаевну под руку, тревожил ее, крепко прижимая ее локоть к себе.

— Что вы так смотрите? — спросила она, улыбаясь.

В низком голосе ее Листницкому почудились игривые, вызывающие нотки. Только поэтому он и рискнул козырнуть меланхолической строфой (эти дни одолевала его поэзия, чужая певучая боль).

Он нагнул голову, улыбаясь, шепнул:

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль —
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Она тихонько высвободила свою руку, сказала повеселевшим голосом:

— Евгений Николаевич, я в достаточной степени... Я не могу не видеть того, как вы ко мне относитесь... И вам не стыдно? Подождите, подождите! Я вас представляла немножко... иным... Так вот, давайте оставим это. А то как-то и недосказанно и нечестно... Я — плохой объект для подобных экспериментов. Приволокнуться вам захотелось? Ну, так вот давайте-ка дружеских отношений не порывать, а глупости оставьте. Я ведь не «прекрасная незнакомка». Понятно? Идет? Давайте вашу руку!

Листницкий разыграл благородное негодование, но под конец, не выдержав роли, расхохотался вслед за ней. После того как их догнал Горчаков, Ольга Николаевна оживилась и повеселела еще больше, но Листницкий приумолк и до самого дома мысленно жестоко издевался над собой.

Ольга Николаевна, при всем своем уме, искренне верила в то, что после объяснения они станут друзьями. Наружно Листницкий поддерживал в ней эту уверенность, но в душе почти возненавидел ее, и через несколько дней, поймав себя на мучительном выискивании отрицательных черт в характере и наружности Ольги, понял, что стоит на грани подлинного, большого чувства.

Иссякали дни отпуска, оставляя в сознании невыбродивший осадок. Добровольческая армия, пополненная и отдохнувшая, готовилась наносить удары; центробежные силы влекли ее на Кубань. Вскоре Горчаков и Листницкий покинули Новочеркасск.

Ольга провожала их. Черное шелковое платье подчеркивало ее неяркую красоту. Она улыбалась заплаканными глазами, некрасиво опухшие губы придавали ее лицу волнующе-трогательное, детское выражение. Такой она и запечатлелась в памяти Листницкого. И он долго и бережно хранил в воспоминаниях, среди крови и грязи

пережитого, ее светлый немеркнущий образ, облекая его ореолом недосягаемости и поклонения.

В июне Добровольческая армия уже втянулась в бои. В первом же бою ротмистру Горчакову осколком трехдюймового снаряда разворотило внутренности. Его выволокли из цепи. Час спустя он, лежа на фурманке, истекая кровью и мочой, говорил Листницкому:

— Я не думаю, что умру... Мне вот сейчас операцию сделают... Хлороформу, говорят, нет... Не стоит умирать. Как ты думаешь?.. Но на всякий случай... Находясь в твердом уме и так далее... Евгений, не оставь Лелю... Ни у меня, ни у нее родных нет. Ты — честный и славный. Женись на ней... Не хочешь?..

Он смотрел на Евгения с мольбой и ненавистью, щеки его, синевшие небритой порослью, дрожали. Он бережно прижимал к разверстому животу запачканные кровью и землей ладони, говорил, слизывая с губ розоватый пот:

— Обещаешь? Не покинь ее... если тебя вот так же не изукрасят... русские солдатики. Обещаешь? Молчишь? Она хорошая женщина,— и весь нехорошо покривился.— Тургеневская женщина... Теперь таких нет... Молчишь?

— Обещаю.

— Ну, и ступай к черту!.. Прощай!..

Он вцепился в руку Листницкого дрожливым пожатием, а потом неловким, отчаянным движением потянул его к себе и, еще больше бледнея от усилий, приподнимая мокрую голову, прижался к руке Листницкого запекшимися губами. Торопясь, накрывая полой шинели голову, отвернулся, и потрясенный Листницкий мельком увидел холодную дрожь на его губах, серую влажную полоску на щеке.

Через два дня Горчаков умер. Спустя еще один день Листницкого отправили в Тихорецкую, с тяжелым ранением левой руки и бедра.

Под Кореновской завязался длительный и упорный бой. Листницкий со своим полком два раза ходил в атаку и контратаку. В третий раз поднялись цепи его батальона. Подталкиваемый криками ротного: «Не ложись!», «Орлята, вперед!», «Вперед — за дело Корнилова!» — он бежал по нескошенной пшенице тяжелой трусцой, щитком держа в левой руке над головой саперную лопатку, правой сжимая винтовку. Один раз пуля с звенящим визгом скользнула по покатому желобу лопатки, и Листницкий, выравнивая в руке держак, почувствовал укол радости: «Мимо!» А потом руку его швырнуло в сторону коротким, поразительно

сильным ударом. Он выронил лопатку и сгоряча, с незащищенной головой, пробежал еще десяток саженей. Попробовал было взять винтовку наперевес, но не смог поднять руку. Боль, как свинец в форму, тяжело вливалась в каждый сустав. Прилег в борозду, несколько раз, не осилив себя, вскрикнул. Уже лежачего, пуля куснула его в бедро, и он медленно и трудно расстался с сознанием.

В Тихорецкой ему ампутировали раздробленную руку, извлекли из бедра осколок кости. Две недели лежал, терзаемый отчаянием, болью, скукой. Потом перевезли в Новочеркасск. Еще тридцать томительных суток в лазарете. Перевязки, наскучившие лица сестер и докторов, острый запах йода, карболки... Изредка приходила Ольга Николаевна. Щеки ее отсвечивали зеленоватой желтизной. Траур усугублял невыплаканную тоску опустошенных глаз. Листницкий подолгу глядел в ее выцветшие глаза, молчал, стыдливо, воровски прятал под одеяло порожний рукав рубашки. Она словно нехотя выспрашивала подробности о смерти мужа, взгляд ее плясал по койкам, слушала с кажущейся рассеянностью. Выписавшись из лазарета, Листницкий пришел к ней. Она встретила его у крыльца, отвернулась, когда он, целуя ее руку, низко склонил голову в густой повити коротко остриженных белесых волос.

Он был тщательно выбрит, защитный щегольской френч сидел на нем по-прежнему безукоризненно, но пустой рукав мучительно тревожил,— судорожно шевелился внутри него крохотный забинтованный обрубок руки.

Они вошли в дом. Листницкий заговорил, не садясь.

— Борис перед смертью просил меня... взял с меня обещание, что я вас не оставлю...

— Я знаю.

— Откуда?

— Из его последнего письма...

— Желание его, чтобы мы были вместе... Разумеется, если вы согласитесь, если вас устроит брак с инвалидом... Прошу вас верить... речи о чувствах прозвучали бы сейчас... Но я искренне хочу вашего благополучия.

Смущенный вид и бессвязная, взволнованная речь Листницкого ее тронули.

— Я думала об этом... Я согласна.

— Мы уедем в имение к моему отцу.

— Хорошо.

— Остальное можно оформить после?

— Да.

Он почтительно коснулся губами ее невесомой, как фарфор, руки и, когда поднял покорные глаза, увидел бегущую с губ ее тень улыбки.

Любовь и тяжелое плотское желание влекли Листницкого к Ольге. Он стал бывать у нее ежедневно. К сказке тянулось уставшее от боевых будней сердце... И он наедине с собой рассуждал, как герой классического романа, терпеливо искал в себе какие-то возвышенные чувства, которых никогда и ни к кому не питал,— быть может, желая прикрыть и скрасить ими наготу простого чувственного влечения. Однако сказка одним крылом касалась действительности: не только половое влечение, но и еще какая-то незримая нить привязывали его к этой, случайно ставшей поперек жизни, женщине. Он смутно разбирался в собственных переживаниях, одно лишь ощущая с предельной ясностью: что им, изуродованным и выбитым из строя, попрежнему властно правит разнузданный и дикий инстинкт — «мне все можно». Даже в скорбные для Ольги дни, когда она еще носила в себе, как плод, горечь тягчайшей утраты, он, разжигаемый ревностью к мертвому Горчакову, желал ее, желал исступленно... Бешеной коловертью пенилась жизнь. Люди, нюхавшие запах пороха, ослепленные и оглушенные происходившим, жили стремительно и жадно, одним нынешним днем. И не потому ли Евгений Николаевич и торопился связать узлом свою и Ольгину жизнь, быть может смутно сознавая неизбежную гибель дела, за которое ходил на смерть.

Он известил отца подробным письмом о том, что женится и вскоре приедет с женой в Ягодное.

«...Я свое кончил. Я мог бы еще и с одной рукой уничтожать взбунтовавшуюся сволочь, этот проклятый «народ», над участью которого десятки лет плакала и слюнявилась российская интеллигенция, но, право, сейчас это кажется мне дико-бессмысленным... Краснов не ладит с Деникиным; а внутри обоих лагерей — взаимное подсиживание, интриги, гнусь и пакость. Иногда мне становится жутко. Что же будет? Еду домой обнять вас теперь единственной рукой и пожить с вами, со стороны наблюдая за борьбой. Из меня уже не солдат, а калека, физический и духовный. Я устал, капитулирую. Наверное, отчасти этим вызвана моя женитьба и стремление обрести «тихую пристань»,— грустно-иронической припиской заканчивал он письмо.

Отъезд из Новочеркасска был назначен через неделю. За несколько дней до отъезда Листницкий окончательно переселился к Горчаковой. После ночи, сблизившей их,

Ольга как-то осунулась, потускнела. Она и после уступала его домоганиям, но создавшимся положением мучительно тяготилась и в душе была оскорблена. Не знал Листницкий или не хотел знать, что разной мерой меряют связывающую их любовь и одной — ненависть.

До отъезда Евгений думал об Аксинье нехотя, урывками. Он заслонялся от мыслей о ней, как рукой от солнца. Но помимо его воли, все настойчивее — полосками света — стали просачиваться, тревожить его воспоминания об этой связи. Одно время он было подумал: «Не буду прерывать с ней отношений. Она согласится». Но чувство порядочности осилило,— решил по приезде поговорить и, если представится возможность, расстаться.

На исходе четвертого дня приехали в Ягодное. Старый пан встретил молодых за версту от имения. Еще издали увидел Евгений, как отец тяжело перенес ногу через сиденье беговых дрожек, снял шапку.

— Выехали встретить дорогих гостей. Ну, дайте-ка взглянуть на вас...— забасил он, неловко обнимая невестку, тычась ей в щеки зеленовато-седыми прокуренными пучками усов.

— Садитесь к нам, папа! Кучер, трогай! А, дед Сашка, здравствуй! Живой? На мое место садитесь, папа, я вот рядом с кучером устроюсь.

Старик сел рядом с Ольгой, платком вытер усы и сдержанно, с кажущейся молодцеватостью оглядел сына.

— Ну, как, дружок?

— Очень уж я рад вам!

— Инвалид, говоришь?

— Что же делать? Инвалид.

Отец с напускной подтянутостью посматривал на Евгения, пытаясь за суровостью скрыть выражение сострадания, избегая глядеть на холостой, заткнутый за пояс зеленый рукав мундира.

— Ничего, привык.— Евгений пошевелил плечом.

— Конечно, привыкнешь,— заторопился старик,— лишь бы голова была цела. Ведь со щитом... а? Или как? Со щитом, говорю, прибыл. И даже со взятой в плен прекрасной невольницей?

Евгений любовался изысканной, немного устаревшей галантностью отца, глазами спрашивал у Ольги: «Ну как старик?» — и по оживленной улыбке, по теплу, согревшему ее глаза, без слов понял, что отец ей понравился.

Серые полурысистые кони шибко несли коляску под изволок. С бугра завиднелись постройки, зеленая размет-

нии грива левады, дом, белевший стенами, заслонившие окна клены.

— Хорошо-то как! Ах, хорошо! — оживилась Ольга.

От двора, высоко вскидываясь, неслись черные борзые. Они окружили коляску. Сзади дед Сашка щелкнул одну, прыгавшую в дрожки, кнутом, крикнул запальчиво:

— Под колесо лезешь, дьява-а-ал! Прочь!

Евгений сидел спиной к лошадям; они изредка пофыркивали, мелкие брызги ветер относил назад, кропил ими его шею.

Он улыбался, глядя на отца, Ольгу, дорогу, устланную колосьями, на бугорок, медленно поднимавшийся, заслонивший дальний гребень и горизонт.

Глушь какая! И как тихо...

Ольга улыбкой провожала безмолвно летевших над дорогой грачей, убегавшие назад кусты полынка и донника.

— Нас вышли встречать.— Пан пощурил глаза.

— Кто?

— Дворовые.

Евгений, оглянувшись, еще не различая лиц стоявших, почувствовал в одной из женщин Аксинью, густо побагровел. Он ждал, что лицо Аксиньи будет отмечено волненьем, но когда коляска, резво шурша, поравнялась с воротами и он с дрожью в сердце взглянул направо и увидел Аксинью,— его поразило лицо ее, сдержанно-веселое, улыбающееся. У него словно тяжесть свалилась с плеч, он успокоился, кивнул на приветствие.

— Какая порочная красота! Кто это?.. Вызывающе красива, не правда ли? — Ольга восхищенными глазами указала на Аксинью.

Но к Евгению вернулось мужество; спокойно и холодно согласился:

— Да, красивая женщина. Это наша горничная.

* * *

Присутствие Ольги на все в доме налагало свой отпечаток. Старый пан, прежде целыми днями ходивший по дому в ночной рубахе и теплых вязаных подштанниках, приказал извлечь из сундуков пропахшие нафталином сюртуки и генеральские, навыпуск, брюки. Прежде неряшливый во всем, что касалось его персоны, теперь кричал на Аксинью за какую-нибудь крохотную складку на выглаженном белье и делал страшные глаза, когда она подавала ему утром

невычищенные сапоги. Он посвежел, приятно удивляя глаз Евгения глянцем неизменно выбритых щек.

Аксинья, словно предчувствуя плохое, старалась угодить молодой хозяйке, была заискивающе покорна и не в меру услужлива. Лукерья из кожи лезла, чтобы лучше сготовить обед, и превосходила самое себя в изобретении отменно приятных вкусу соусов и подливок. Даже деда Сашки, опустившегося и резко постаревшего, коснулось влияние происходивших в Ягодном перемен. Как-то встретил его пан около крыльца, оглядел всего с ног до головы и зловеще поманил пальцем.

— Ты что же это, сукин сын? А? — Пан страшно поворочал глазами.— В каком у тебя виде штаны, а?

— А в каком? — дерзко ответил дед Сашка, но сам был слегка смущен и необычным допросом и дрожащим голосом хозяина.

— В доме молодая женщина, а ты, хам, ты меня в гроб вогнать хочешь? Почему мотню не застегиваешь, козел вонючий? Ну?!

Грязные пальцы деда Сашки коснулись ширинки, пробежались по длинному ряду ядреных пуговиц, как по клапанам беззвучной гармошки. Он хотел еще что-то предерзкое сказать хозяину, но тот, как в молодости, топнул ногой, да так, что на остроносом, старинного фасона сапоге подошва ощерилась, и гаркнул:

— На конюшню! Марш! Лукерью заставлю кипятком тебя ошпарить! Грязь соскобли с себя, конское быдло!

Евгений отдыхал, бродил с ружьем по суходолу, около скошенных просяников стрелял куропаток. Одно тяготило его: вопрос с Аксиньей. Но однажды вечером отец позвал Евгения к себе; опасливо поглядывая на дверь и избегая встретиться глазами, заговорил:

— Я, видишь ли... Ты простишь мне вмешательство в твои личные дела. Но я хочу знать, как ты думаешь поступить с Аксиньей.

Торопливостью, с какой стал закуривать, Евгений выдал себя. Он опять, как в день приезда, вспыхнул и, чувствуя, что краснеет, покраснел еще больше.

— Не знаю... Просто не знаю...— чистосердечно признался он.

Старик веско сказал:

— А я знаю. Иди и сейчас же поговори с ней. Предложи ей денег, отступное,— тут он улыбнулся в кончик уса,— попроси уехать. Мы найдем еще кого-нибудь.

Евгений сейчас же пошел в людскую.

Аксинья, стоя спиной к двери, месила тесто. На спине ее, с заметным желобом посредине, шевелились лопатки. На смуглых полных руках, с засученными по локоть рукавами, играли мускулы. Евгений посмотрел на ее шею в крупных кольцах пушистых волос, сказал:

Я попрошу вас, Аксинья, на минутку.

Она живо повернулась, стараясь придать своему просиявшему лицу выражение услужливости и равнодушия. Но Евгений заметил, как дрожали ее пальцы, опуская рукава.

– Я сейчас.— Метнула пугливый взгляд на кухарку и, не в силах побороть радости, пошла к Евгению со счастливой просящей улыбкой.

На крыльце он сказал ей:

— Пойдем в сад. Поговорить надо.

— Пойдемте,— обрадованно и покорно согласилась она, думая, что это — начало прежних отношений.

По дороге Евгений вполголоса спросил:

— Ты знаешь, зачем я тебя позвал?

Она, улыбаясь в темноте, схватила его руку, но он рывком освободил ее, и Аксинья поняла все. Остановилась.

— Что вы хотели, Евгений Николаевич? Дальше я не пойду.

— Хорошо. Мы можем поговорить и здесь. Нас никто не слышит...— Евгений спешил, путался в незримой сети слов.— Ты должна понять меня. Теперь я не могу с тобой, как раньше... Я не могу жить с тобой... Ты понимаешь? Ведь теперь я женат и как честный человек не могу делать подлость... Долг совести не позволяет...— говорил он, мучительно стыдясь своих выспренних слов.

Ночь только что пришла с темного востока.

На западе еще багровела сожженная закатом делянка неба. На гумне при фонарях молотили «за погоду»,— там повышенно и страстно бился пульс машины, гомонили рабочие; зубарь, неустанно выкармливавший прожорливую молотилку, кричал осипло и счастливо: «Давай! Давай! Дава-а-ай!» В саду зрела тишина. Пахло крапивой, пшеницей, росой.

Аксинья молчала.

— Что ты скажешь? Что же ты молчишь, Аксинья?

— Мне нечего говорить.

— Я тебе дам денег. Ты должна уехать отсюда. Я думаю, ты согласишься... Мне будет тяжело видеть тебя постоянно.

— Через неделю мне месяц кончается. Можно дослужить?

— Конечно, конечно!

Аксинья помолчала, потом как-то боком, несмело, как побитая, подвинулась к Евгению, сказала:

— Ну что же, уйду... Напоследок аль не пожалеешь? Меня нужда такой бессовестной сделала... Измучилась я одна... Ты не суди, Женя.

Голос ее был звучен и сух. Евгений тщетно пытался разобраться, серьезно она говорит или шутит.

— Чего ты хочешь?

Он досадливо кашлянул и вдруг почувствовал, как она снова робко ищет его руку...

Через пять минут он вышел из-за куста мокрой пахучей смородины, дошел до прясла и, пыхая папироской, долго тер носовым платком брюки, обзелененные в коленях сочной травой.

Всходя на крыльцо, оглянулся. В людской, в желтом просвете окна, виднелась статная фигура Аксиньи,— закинув руки, Аксинья поправляла волосы, смотрела на огонь, улыбалась...

VI

Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго приминал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где пробегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа.

Отцвели разномастные травы. На гребнях никла безрадостная выгоревшая полынь. Короткие ночи истлевали быстро. По ночам на обугленно-черном небе несчетные сияли звезды; месяц — казачье солнышко, темнея ущербленной боковиной, светил скупо, бело; просторный Млечный Шлях сплетался с иными звездными путями. Терпкий воздух был густ, ветер сух, полынен; земля, напитанная все той же горечью всесильной полыни, тосковала о прохладе. Зыбились гордые звездные шляхи, не попранные ни копытом, ни ногой; пшеничная россыпь звезд гибла на сухом, черноземно-черном небе, не всходя и не радуя ростками; месяц — обсохлым солончаком, а по степи — сушь, сгибшая трава, и по ней белый неумолчный перепелиный бой да металлический звон кузнечиков...

А днями — зной, духота, мглистое курево. На выцветшей голубени неба — нещадное солнце, бестучье да ко-

ричневые стальные полудужья распростертых крыльев коршуна. По степи слепяще, неотразимо сияет ковыль, дымится бурая, верблюжьей окраски, горячая трава; коршун, кренясь, плывет в голубом,— внизу, по траве неслышно скользит его огромная тень.

Суслики свистят истомно и хрипло. На желтеющих норных отвалах нор дремлют сурки. Степь горяча, но мертво, и все окружающее прозрачно-недвижимо. Даже курган синеет на грани видимого сказочно и невнятно, как во сне...

Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Разложины балок суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!

* * *

У него маленькая сухая змеиная голова. Уши мелки и подвижны. Грудные мускулы развиты до предела. Ноги тонкие, сильные, бабки безупречны, копыта обточены, как речной голыш. Зад чуть висловат, хвост мочалист. Он — кровный донец. Мало того: он очень высоких кровей, в жилах его ни капли иномеси, и порода видна во всем. Кличка его Мальбрук.

На водопое он, защищая свою матку, бился с другим, более сильным и старым жеребцом, и тот сильно зашиб ему левую переднюю ногу, несмотря на то, что жеребцы на попасе всегда раскованы. Они вставали на дыбы, грызли друг друга, били передними ногами, рвали один на другом кожу...

Атарщика возле не было,— он спал в степи, подставив солнцу спину и раскоряченные ноги в пыльных накаленных сапогах. Противник свалил Мальбрука на землю, потом гнал далеко-далеко от косяка и, оставив там истекающего кровью, занял оба косяка, увел вдоль по обочине Топкой балки.

Раненого жеребца поставили на конюшню, фельдшер залечил ему ушибленную ногу. А на шестой день Мишка

Кошевой, приехавший к смотрителю с докладом, стал свидетелем того, как Мальбрук, управляемый могучим инстинктом продолжателя рода, перегрыз чумбур, выскочил из станка и, захватив пасшихся возле казармы стреноженных кобылиц, на которых ездили атарщики, смотритель и фельдшер, погнал их в степь — сначала рысью, потом начал покусывать отстававших, торопить. Атарщики и смотритель выскочили из казармы, слышали только, как на кобылицах звучно лопались живцы [1].

— Спѐшил нас, проклятый сын!..

Смотритель выругался, но смотрел вслед удалявшимся лошадям не без тайного одобрения.

В полдень Мальбрук привел и поставил лошадей на водопой. Маток отняли у него пешие атарщики, а самого, заседлав, увел Мишка в степь и пустил в прежний косяк.

За два месяца службы в атарщиках Кошевой внимательно изучил жизнь лошадей на отводе; изучил и проникся глубоким уважением к их уму и нелюдскому благородству. На его глазах покрывались матки; и этот извечный акт, совершаемый в первобытных условиях, был так естественно-целомудрен и прост, что невольно рождал в уме Кошевого противопоставления не в пользу людей. Но много было в отношениях лошадей и людского. Например, замечал Мишка, что стареющий жеребец Бахарь, неукротимо-злой и грубоватый в обращении с кобылицами, выделял одну рыжую четырехлетнюю красавицу, с широкой прозвездью во лбу и горячими глазами. Он всегда был около нее встревожен и волнующе резок, всегда обнюхивал ее с особенным, сдержанным и страстным похрапом. Он любил на стоянке класть свою злую голову на круп любимой кобылицы и дремать так подолгу. Мишка смотрел на него со стороны, видел, как под тонкой кожей жеребца вяло играют связки мускулов, и ему казалось, что Бахарь любит эту кобылицу по-старчески безнадежно-крепко и грустно.

Служил Кошевой исправно. Видно, слух о его усердии дошел до станичного атамана, и в первых числах августа смотритель получил приказ откомандировать Кошевого в распоряжение станичного правления.

Мишка собрался в два счета, сдал казенную экипировку, в тот же день нáвечер выехал домой. Кобылку свою торопил неустанно. На закате солнца выбрался уже за Каргин и там на гребне догнал подводу, ехавшую в направлении Вешенской.

[1] Живцы — путы, треноги.

Возница-украинец погонял упаренных сытых коней. В задке рессорных дрожек полулежал статный широкоплечий мужчина в пиджаке городского покроя и сдвинутой на затылок серой фетровой шляпе. Некоторое время Мишка ехал позади, посматривая на вислые плечи человека в шляпе, подрагивавшие от толчков, на белую запыленную полоску воротничка. У пассажира возле ног лежал желтый саквояж и мешок, прикрытый свернутым пальто. Нюх Мишки остро щекотал незнакомый запах сигары. «Чин какой-нибудь едет в станицу»,— подумал Мишка, ровняя кобылу с дрожками. Он искоса глянул под поля шляпы — и полураскрыл рот, чувствуя, как от страха и великого изумления спину его проворно осыпают мурашки: Степан Астахов полулежал на дрожках, нетерпеливо жуя черный огрызок сигары, щуря лихие светлые глаза. Не веря себе, Мишка еще раз оглядел знакомое, странно изменившееся лицо хуторянина, окончательно убедился, что рессоры качают подлинно живого Степана, и, запотев от волнения, кашлянул:

— Извиняюсь, господин, вы не Астахов будете?

Человек на дрожках кивком бросил шляпу на лоб; поворачиваясь, поднял на Мишку глаза.

— Да, Астахов. А что? Вы разве... Постой, да ведь ты — Кошевой? — Он привстал и, улыбаясь из-под подстриженных каштановых усов одними губами, храня в глазах, во всем постаревшем лице неприступную суровость, растерянно и обрадованно протянул руку.— Кошевой? Михаил? Вот как увиделись!.. Очень рад...

— Как же? Как же так? — Мишка бросил поводья, недоуменно развел руками.— Гутарили, что убили тебя. Гляжу: Астахов...

Мишка зацвел улыбкой, заерзал, засуетился в седле, но внешность Степана, чистый глухой выговор его смутили; он изменил обращение и после в разговоре все время называл его на «вы», смутно ощущая какую-то невидимую грань, разделявшую их.

Между ними завязался разговор. Лошади шли шагом. На западе пышно цвел закат, по небу лазоревые шли в ночь тучки. Сбоку от дороги в зарослях проса оглушительно надсаживался перепел, пыльная тишина оседала над степью, изжившей к вечеру дневную суету и гомон. На развилке чукаринской и кружилинской дорог виднелся на фоне сиреневого неба увядший силуэт часовни; над ним отвесно ниспадала скопившаяся громада кирпично-бурых кучевых облаков.

— Откель же вы взялись, Степан Андреич? — радостно допытывался Мишка.

— Из Германии. Выбрался вот на родину.

— Как же наши казаки гутарили: мол, убили на наших глазах Степана?

Степан отвечал сдержанно, ровно, словно тяготясь расспросами:

— Ранили в двух местах, а казаки... Что казаки? Бросили они меня... Попал в плен... Немцы вылечили, послали на работу...

— Писем от вас не было вроде...

— Писать некому.— Степан бросил окурок и сейчас же закурил вторую сигару.

— А жене? Супруга ваша живая-здоровая.

— Я ведь с ней не жил,— известно, кажется.

Голос Степана звучал сухо, ни одной теплой нотки не вкралось в него. Упоминание о жене его не взволновало.

— Что же, не скучали в чужой стороне? — жадно пытал Мишка, почти ложась грудью на луку.

— Вначале скучал, а потом привык. Мне хорошо жилось.— Помолчав, добавил: — Хотел совсем остаться в Германии, в подданство перейти. Но вот домой потянуло — бросил все, поехал.

Степан, в первый раз смягчив черствые излучины в углах глаз, улыбнулся.

— А у нас тут, видите, какая росторопь идет?.. Воюем промеж себя.

— Да-а-а... слыхал.

— Вы каким же путем ехали?

— Из Франции, пароходом из Марселя — город такой — до Новороссийска.

— Мобилизуют и вас?

— Наверное... Что нового в хуторе?

— Да рази всего расскажешь? Много новья.

— Дом мой целый?

— Ветер его колышет...

— Соседи? Мелеховы ребята живые?

— Живые.

— Про бывшую нашу жену слух имеете?

— Там же она, в Ягодном.

— А Григорий... живет с ней?

— Нет, он с законной. С Аксиньей вашей разошелся...

— Вот как... Не знал.

С минуту молчали. Кошевой продолжал жадно разглядывать Степана. Сказал одобрительно и с почтением:

— Видать, хорошо вам жилось, Степан Андреич. Одежа у вас справная, как у благородного.

— Там все чисто одеваются.— Степан поморщился, тронул плечо возницы: — Ну, поторапливайся.

Возница невесело махнул кнутом, усталые лошади недружно дернули барки. Дрожки, мягко шепелявя колесами, закачались на выбоинах, и Степан, кончая разговор, поворачиваясь к Мишке спиной, спросил:

— На хутор едешь?

— Нет, в станицу.

На развилке Мишка свернул вправо, привстал на стременах.

— Прощайте покеда, Степан Андреич!

Тот примял запыленное поле шляпы тяжелой связкой пальцев, ответил холодно, четко, как нерусский, выговаривая каждый слог:

— Будьте здоровы!

VII

По линии Филоново — Поворино выравнивался фронт. Красные стягивали силы, копили кулак для удара. Казаки вяло развивали наступление; испытывая острую нехватку огнеприпасов, не стремились выходить за пределы области. На Филоновском фронте боевые операции проходили с переменным успехом. В августе установилось относительное затишье, и казаки, приходившие с фронта в краткосрочные отпуска, говорили о том, что к осени надо ждать перемирия.

А в это время в тылу, по станицам и хуторам, шла уборка хлебов. Не хватало рабочих рук. Старики и бабы не управлялись с работой; к тому же мешали постоянные назначения в обывательские подводы, доставлявшие фронту боеприпасы и продовольствие.

С хутора Татарского почти ежедневно по наряду отправлялось к Вешенской пять-шесть подвод, в Вешенской грузили их ящиками с патронами и снарядами, направляли до передаточного пункта в хуторе Андроповском, а иногда, по недостатку, загоняли и дальше, в прихоперские хутора.

Хутор жил суетливо, но глухо. К далекому фронту тянулись все мыслями, с тревогой и болью ждали черных вестей о казаках. Приезд Степана Астахова взволновал весь хутор: в каждом курене, на каждом гумне об этом только и говорили. Приехал казак, давно похороненный, запи-

санный лишь у старух, да и то «за упокой», о ком уже почти забыли. Это ли не диво?

Степан остановился у Аникушкиной жены, снес в хату свои пожитки и, пока хозяйка собирала ему вечерять, пошел к своему дому. Тяжелым хозяйским шагом долго мерял увитый белым светом месяца баз, заходил под навесы полуразрушенных сараев, оглядывал дом, качал сохи плетней... У Аникушкиной бабы давно уж остыла на столе яичница, а Степан все еще осматривал свое затравевшее поместье, похрустывая пальцами, и что-то невнятно, как косноязычный, бормотал.

К нему вечером же наведались казаки — посмотреть и порасспросить о жизни в плену. В Аникушкину горницу полно набилось баб и мальчат. Они стояли плотной стеной, слушали Степановы рассказы, чернели провалами раскрытых ртов. Степан говорил неохотно, постаревшего лица его ни разу не освежила улыбка. Видно было, что круто, до корня погнула его жизнь, изменила и переделала.

Наутро — Степан еще спал в горнице — пришел Пантелей Прокофьевич. Он басисто покашливал в горсть, ждал, пока проснется служивый. Из горницы тянуло рыхлой прохладой земляного пола, незнакомым удушливо-крепким табаком и запахом дальней путины, каким надолго пропитывается дорожный человек.

Степан проснулся, слышно было: чиркал спичкой, закуривая.

— Дозволишь взойтить? — спросил Пантелей Прокофьевич и, словно к начальству являясь, суетливо оправил складки топорщившейся новой рубахи, только ради случая надетой на него Ильиничной.

— Входите.

Степан одевался, пыхая окурком сигары, от дыма жмуря заспанный глаз. Пантелей Прокофьевич шагнул через порог не без робости и, пораженный изменившимся Степановым лицом и металлическими частями его шелковых подтяжек, остановился, лодочкой вытянул черную ладонь.

— Здравствуй, сосед! Живого видеть...

— Здравствуйте!

Степан одел подтяжками вислые могучие плечи, пошевелил ими и с достоинством вложил свою ладонь в шершавую руку старика. Бегло оглядели друг друга. В глазах Степана сине попыхивали искры неприязни, в косых выпуклых глазах Мелехова — почтение и легкая, с иронией, удивленность.

Постарел ты, Степа... постарел. милушка.

Да, постарел.

Тебя-то уж отпоминали, как Гришку моего...— Сказал и досадливо осекся: не ко времени вспомнил. Попробовал исправить обмолвку: — Слава богу, живой-здоровый пришел... Слава те, господи! Гришку так же отпоминали, а он, как Лазарь, очухался и с тем пошел. Уж двое детишков имеет, и жена его Наталья, слава богу, справилась. Ладная бабочка... Ну, а ты, чадушко, как?

Благодарю.

К соседу на гости-ти придешь? Приходи, честь сделай, погутарим.

Степан отказался, но Пантелей Прокофьевич просил неотступно, обижался, и Степан сдался. Умылся, зачесал вверх коротко остриженные волосы, на вопрос старика: «Куда ж чуб задевал? Аль прожил?» — улыбнулся и, уверенно кинув на голову шляпу, первый вышел на баз.

Пантелей Прокофьевич был заискивающе-ласков, так, что Степан невольно подумал: «За старую обиду старается...»

Ильинична, следуя молчаливым указаниям мужниных глаз, проворно ходила по кухне, торопила Наталью и Дуняшку, сама собирала на стол. Бабы изредка метали в сторону сидевшего под образами Степана любопытные взгляды, щупали глазами его пиджак, воротничок, серебряную часовую цепку, прическу, переглядывались с плохо скрытыми, изумленными улыбками. Дарья пришла с подворья румяная; конфузливо улыбаясь и утирая тонкую выпрядь губ углом завески, сощурила глаза:

— Ах, соседушка, а я вас и не призначила. Вы и на казака стали непохожие.

Пантелей Прокофьевич, времени не теряя, бутылку самогонки — на стол, тряпочку-затычку из горлышка долой, понюхал сладко-горький дымок, похвалил.

— Спробуй. Собственного заводу. Серник поднесешь — синим огнем дышит, ей-бо!

Шли разбросанные разговоры. Степан пил неохотно, но, выпив, начал быстро хмелеть, помягчел.

— Жениться теперя тебе надо, соседушка.

— Что вы! А старую куда дену?

— Старая... Что же — старая... Старой жене, думаешь, износу не будет? Жена — что кобыла: до той поры ездишь, покеда зубы в роте держатся... Мы тебе молодую сыщем.

— Жизнь наша стала путаная... Не до женитьбов... Отпуск имею себе на полторы недели, а там являть-

ся в правление, и небось, на фронт,— говорил Степан, хмелея и понемногу утрачивая заграничный свой выговор.

Вскоре ушел, провожаемый Дарьиным восхищенным взглядом, оставив после себя споры и толки.

— Как он образовался, сукин сын! Гля, гутарил-то как! Как акцизный али ишо какой благородного звания человек... Прихожу, а он встает и сверх исподней рубахи надевает на плечи шелковые шлейки с бляхами, ей-бо! Как коню, подхватило ему спину и грудья. Это как? К чему-нибудь это пристроено? Он все одно как и ученый человек теперя,— восхищался Пантелей Прокофьевич, явно польщенный тем, что Степан его хлебом-солью не побрезговал и, зла не помня, пришел.

Из разговоров выяснилось, что Степан будет по окончании службы жить на хуторе, дом и хозяйство восстановит. Мельком упомянул он, что средства имеет, вызвав этим у Пантелея Прокофьевича тягучие размышления и невольное уважение.

— При деньгах он, видно,— говорил Пантелей Прокофьевич после его ухода,— капитал имеет, стерва. Из плену казаки приходют в мамушкиной одеже, а он ишь выщелкнулся... Человека убил либо украл деньги-то.

Первые дни Степан отлеживался в Аникушкиной хате, изредка показываясь на улице. Соседи наблюдали за ним, караулили каждое его движение, даже Аникушкину жену пробовали расспрашивать, что-де собирается Степан делать. Но та поджимала губы, скрытничала, отделываясь незнанием.

Толки густо пошли по хутору после того, как Аникушкина баба наняла у Мелеховых лошадь и рано утром в субботу выехала неизвестно куда. Один Пантелей Прокофьевич почуял, в чем дело. «За Аксиньей поедет»,— подмигнул он Ильиничне, запрягая в тарантас хромую кобылу. И не ошибся. Со Степановым наказом поехала баба в Ягодное: «Выспросишь у Аксиньи, не вернется ли она к мужу, кинув прошлые обиды?»

Степан в этот день невозвратно потерял выдержку и спокойствие, до вечера ходил по хутору, долго сидел на крыльце моховского дома с Сергеем Платоновичем и Цацой, рассказывал о Германии, о своем житье там, о дороге через Францию и море. Говорил, слушая жалобы Мохова, и все время жадно посматривал на часы.

Хозяйка вернулась из Ягодного в сумерках. Собирая вечерять в летней стряпке, рассказывала, что Аксинья

испугалась нежданной вести, много расспрашивала о нем, но вернуться отказалась наотрез.

— Нужды ей нету ворочаться, живет барыней. Гладкая стала, лицо белое. Тяжелую работу не видит. Чего ишо надо? Так одета она — и не вздумаешь. Будний день, а на ней юбка, как снег, и ручки чистые-пречистые...— говорила, глотая завистливые вздохи.

У Степана розовели скулы, в опущенных светлых глазах возгорались и тухли злобно-тоскливые огоньки. Ложкой черпал из обливной чашки кислое молоко, удерживая дрожь в руке. Вопросы ронял с обдуманной неторопливостью.

— Говоришь, хвалилась Аксинья житьем?

— Где же там! Так жить каждая душа не против.

— Обо мне спрашивала?

— А то как же! Побелела вся, как сказала, что вы пришли.

Повечеряв, вышел Степан на затравевший баз.

Быстротеком пришли и истухли короткие августовские сумерки. В сыроватой прохладе ночи навязчиво стучали барабаны веялок, слышались резкие голоса. Под желтым щитнистым месяцем в обычной сутолоке бились люди: веяли намолоченные за день вороха хлеба, перевозили в амбары зерно. Горячим терпким духом свежеобмолоченной пшеницы и мякинной пыли обволакивало хутор. Где-то около плаца стукотела паровая молотилка, брехали собаки. На дальних гумнах тягучая сучилась песня. От Дона тянуло пресной сыростью.

Степан прислонился к плетню и долго глядел на текучее стремя Дона, видневшееся через улицу, на огнистую извилистую стежку, наискось протоптанную месяцем. Мелкая курчавая рябь вилась по течению. На той стороне Дона дремотные покоились тополя. Тоска тихо и властно обняла Степана.

* * *

На заре шел дождь, но после восхода солнца тучи разошлись, и часа через два только свернувшиеся над колесниками комки присохшей грязи напоминали о непогоде.

Утром Степан прикатил в Ягодное. Волнуясь, привязал лошадь у ворот, резко-увалисто пошел в людскую.

Просторный, в выгоревшей траве, двор пустовал. Около

конюшни в навозе рылись куры. На упавшем плетне топтался вороной, как грач, петух. Скликая кур, он делал вид, что клюет ползавших по плетню красных божьих коровок. Зажиревшие борзые собаки лежали в холодке возле каретника. Шесть черно-пегих куцых щенят, повалив мать, молоденькую первощенную суку, упираясь ножонками, сосали, оттягивая вялые серые сосцы. На теневой стороне железной крыши барского дома глянцем лежала роса.

Степан, внимательно оглядываясь, вошел в людскую, спросил у толстой кухарки:

— Могу я видеть Аксинью?

— А вы кто такие? — поинтересовалась та, вытирая потное рябое лицо завеской.

— Вам это не нужно. Аксинья где будет?

— У пана. Обождите.

Степан присел, жестом страшной усталости положил на колени шляпу. Кухарка совала в печь чугуны, стучала рогачами, не обращая внимания на гостя. В кухне стоял кислый запах свернувшегося творога и хмелин. Мухи черной россыпью покрывали камель печки, стены, обсыпанный мукой стол. Степан, напрягаясь, вслушивался, ждал. Знакомый звук Аксиньиной поступи словно пихнул его с лавки. Он встал, уронив с колен шляпу.

Аксинья вошла, неся стопку тарелок. Лицо ее помертвело, затрепыхались углы пухлых губ. Она остановилась, беспомощно прижимая к груди тарелки, не спуская со Степана напуганных глаз. А потом как-то сорвалась с места, быстро подошла к столу, опорожнила руки.

— Здравствуй!

Степан дышал медленно, глубоко, как во сне, губы его расщепляла напряженная улыбка. Он молча, клонясь вперед, протягивал Аксинье руку.

— В горницу ко мне...— жестом пригласила Аксинья.

Шляпу Степан поднимал, как тяжесть; кровь била ему в голову, заволакивало глаза. Как только вошли в Аксиньину комнату и присели, разделенные столиком, Аксинья, облизывая ссохшиеся губы, со стоном спросила:

— Откуда ты взялся?..

Степан неопределенно и неестественно-весело, по-пьяному махнул рукой. С губ его все еще не сходила все та же улыбка радости и боли.

— Из плену... Пришел к тебе, Аксинья...

Он как-то нелепо засуетился, вскочил, достал из кармана небольшой сверточек и, жадно срывая с него тряпку, не владея дрожащими пальцами, извлек серебряные дамские

часы-браслет и кольцо с дешевым голубым камешком... Все это он протягивал ей на потной ладони, а Аксинья глаз не сводила с чужого ей лица, исковерканного униженной улыбкой.

— Возьми, тебе берег... Жили вместе...

— На что оно мне? Погоди...— шептали Аксиньины помертвевшие губы.

— Возьми... не обижай... Дурость нашу бросать надо...

Заслоняясь рукой, Аксинья встала, отошла к лежанке.

— Говорили, погиб ты...

— А ты бы рада была?

Она не ответила; уже спокойнее разглядывала мужа всего, с головы до ног, бесцельно оправила складки тщательно выглаженной юбки. Заложив руки за спину, сказала:

— Аникушкину бабу ты присылал?.. Говорила, что зовешь к себе... жить...

— Пойдешь? — перебил Степан.

— Нет,— голос Аксиньи зазвучал сухо.— Нет, не пойду.

— Что так?

— Отвыкла, да и поздновато трошки... Поздно.

— А я вот хочу на хозяйство стать. Из Германии шел — думал, и там жил — об этом не переставал думать... Как же, Аксинья, ты будешь? Григорий бросил... Или ты другого нажила? Слыхал, будто с панским сыном... Правда?

Щеки Аксиньи жгуче, до слез, проступивших под веками отягощенных стыдом глаз, крыла кровь.

— Живу теперь с ним. Верно.

— Я не в укор,— испугался Степан.— Я к тому говорю, что, может, ты свою жизнь не решила? Ему ты ненадолго нужна, баловство... Вот морщины у тебя под глазами... Ведь бросит, надоешь ты ему — прогонит. Куда прислонишься? В холопках не надоело быть? Гляди сама... Я денег принес. Кончится война, справно будем жить. Думал, сойдемся мы. Я за старое позабыть хочу...

— Об чем же ты раньше думал, милый друг Степа? — с веселыми слезами, с дрожью заговорила Аксинья и оторвалась от лежанки, в упор подошла к столу.— Об чем раньше думал, когда жизнь мою молодую в прах затолочил? Ты меня к Гришке пихнул... Ты мне сердце высушил... Да ты помнишь, что со мной сделал?

— Я не считаться пришел... Ты... почем знаешь? Я, может, об этом изболелся весь. Может, я другую жизню прожил, вспоминая...— Степан долго рассматривал свои вы-

кинутые на стол руки, слова вязал медленно, словно выкорчевывал их изо рта.— Думал об тебе... Сердце кровью запеклось... День и ночь из ума не шла... Я жил там со вдовой, немкой... богато жил — и бросил... Потянуло домой...

— К тихой жизни поклонило? — яростно двигая ноздрями, спрашивала Аксинья.— Хозяйничать хочешь? Небось, детишков хочешь иметь, жену, чтоб стирала на тебя, кормила и поила? — И нехорошо, темно улыбнулась.— Нет уж, спаси Христос! Старая я, морщины вон разглядел... И детей родить разучилась. В любовницах нахожусь, а любовницам их не полагается. Нужна ли такая-то?

— Шустрая ты стала...

— Уж какая есть.

— Значит — нет?

— Нет, не пойду. Нет.

— Ну, бывай здорова.— Степан встал, никчемно повертел в руках браслет и опять положил его на стол.— Надумаешь, тогда сообщи.

Аксинья провожала его до ворот. Долго глядела, как из-под колес рвется пыль, заволакивает широкие Степановы плечи.

Бороли ее злые слезы. Она редко всхлипывала, смутно думая о том, что не сбылось,— оплакивая свою, вновь по ветру пущенную жизнь. После того как узнала, что Евгению она больше не нужна, услышав о возвращении мужа, решила уйти к нему, чтобы вновь собрать по кусочкам счастье, которого не было... С этим решением ждала Степана. Но увидала его, приниженного, покорного,— и черная гордость, гордость, не позволявшая ей, отверженной, оставаться в Ягодном, встала в ней на дыбы. Неподвластная ей злая воля направляла слова ее и поступки. Вспомнила пережитые обиды, все вспомнила, что перенесла от этого человека, от больших железных рук и, сама не желая разрыва, в душе ужасаясь тому, что делала, задыхалась в колючих словах: «Нет, не пойду к тебе. Нет».

Еще раз потянулась взглядом вслед удалявшемуся тарантасу. Степан, помахивая кнутом, скрывался за сиреневой кромкой невысокой придорожной полыни...

* * *

На другой день Аксинья, получив расчет, собрала пожитки. Прощаясь с Евгением, всплакнула:

— Не поминайте лихом, Евгений Николаевич.

— Ну, что ты, милая!.. Спасибо тебе за все.

Голос его, прикрывая смущение, звучал наигранно весело.

И ушла. Ввечеру была на хуторе Татарском.

Степан встретил Аксинью у ворот.

— Пришла? — спросил он, улыбаясь.— Навовсе? Можно надежду иметь, что больше не уйдешь?

— Не уйду,— просто ответила Аксинья, со сжавшимся сердцем оглядывая полуразрушенный курень и баз, бурно заросший лебедой и черным бурьяном.

VIII

Неподалеку от станицы Дурновской Вешенский полк в первый раз ввязался в бой с отступавшими частями красноармейцев.

Сотня под командой Григория Мелехова к полудню заняла небольшой, одичало заросший левадами хутор. Григорий спéшил казаков в сыроватой тени верб, возле ручья, промывшего через хутор неглубокий ярок. Где-то неподалеку из черной хлюпкой земли, побулькивая, били родники. Вода была ледениста; ее с жадностью пили казаки, черпая фуражками и потом с довольным покряхтыванием нахлобучивая их на потные головы. Над хутором, сомлевшим от жары, в отвес встало солнце. Земля калилась, схваченная полуденным дымком. Травы и листья верб, обрызганные ядовито-знойными лучами, вяло поникли, а возле ручья в тени верб тучная копилась прохлада, нарядно зеленели лопухи и еще какие-то вскормленные мочажинной почвой, пышные травы; в небольших заводях желанной девичьей улыбкой сияла ряска; где-то за поворотом щелоктали в воде и хлопали крыльями утки. Лошади, храпя, тянулись к воде, с чавканьем ступая по топкой грязи, рвали из рук поводья и забредали на середину ручья, мутя воду и разыскивая губами струю посвежее. С опущенных губ их жаркий ветер срывал ядреные алмазные капли. Поднялся серный запах взвороченной илистой земли, тины, горький и сладостный дух омытых и сопревших корней верб...

Только что казаки полегли в лопухах с разговорцами и куревом,— вернулся разъезд. Слово «красные» вмиг вскинуло людей с земли. Затягивали подпруги и опять шли к ручью, наполняли фляжки, пили, и небось каждый думал: «То ли придется еще попить такой воды — светлой, как детская слеза, то ли нет...»

По дороге переехали ручей, остановились.

За хутором, по серо-песчаному чернобылистому бугру, в версте расстояния, двигалась неприятельская разведка. Восемь всадников сторожко съезжали к хутору.

— Мы их заберем? Дозволишь? — предложил Митька Коршунов Григорию.

Он кружным путем выехал с полувзводом за хутор; но разведка, обнаружив казаков, повернула обратно.

Час спустя, когда подошли две остальные конные сотни полка, выступили. Разъезды доносили, что красные, силой приблизительно в тысячу штыков, идут им навстречу. Сотни вешенцев потеряли связь с шедшим справа 33-м Еланско-Букановским полком, но все же решили дать бой. Перевалив через бугор, спешились. Коноводы свели лошадей в просторный, ниспадавший к хутору лог. Где-то правее сшиблись разведки. Лихо зачечекал ручной пулемет.

Вскоре показались редкие цепи красных. Григорий развернул свою сотню у вершины лога. Казаки легли на гребне склона, поросшего гривастым мелкокустьем. Из-под приземистой дикой яблоньки Григорий глядел в бинокль на далекие цепи противника. Ему отчетливо видно было, как шли первые две цепи, а за ними, между бурыми неубранными валками скошенного хлеба, разворачивалась в цепь черная походная колонна.

И его и казаков изумило то, что впереди первой цепи на высокой белой лошади ехал всадник,— видимо, командир. И перед второй цепью порознь шли двое. И третью повел командир, а рядом с ним заколыхалось знамя. Полотнище алело на грязно-желтом фоне жнивья крохотной кровянистой каплей.

— У них комиссары попереди! — крикнул один из казаков.

— Во! Вот это геройски! — восхищенно захохотал Митька Коршунов.

— Гляди, ребятки! Вот они какие, красные!

Почти вся сотня привстала, перекликаясь. Над глазами щитками от солнца повисли ладони. Разговоры смолкли. И величавая, строгая тишина, предшествующая смерти, покорно и мягко, как облачная тень, легла над степью и логом.

Григорий смотрел назад. За пепельно-сизым островом верб, сбоку от хутора, бугрилась колышущаяся пыль: вторая сотня на рысях шла противнику во фланг. Балка пока маскировала продвижение сотни, но версты через четыре развилом выползала на бугор, и Григорий мысленно

определял расстояние и время, когда сотня сможет выровняться с флангом.

— Ложи-и-ись! — скомандовал Григорий, круто поворачиваясь, пряча бинокль в чехол.

Он подошел к своей цепи. Лица казаков, багрово-масленые и черные от жары и пыли, поворачивались к нему. Казаки, переглядываясь, ложились. После команды: «Изготовься!» — хищно заклацали затворы. Григорию сверху видны были одни раскоряченные ноги, верхи фуражек да спины в выдубленных пылью гимнастерках, с мокрыми от пота желобками и лопатками. Казаки расползались, ища прикрытия, выбирая места поудобней. Некоторые попробовали шашками рыть черствую землю.

В это время со стороны красных ветерок на гребне своем принес невнятные звуки пения...

Цепи шли, туго извиваясь, неровно, качко. Тусклые, затерянные в знойном просторе, наплывали оттуда людские голоса.

Григорий почуял, как, сорвавшись, резко, с перебоем стукнуло его сердце... Он слышал и раньше этот стонущий напев, слышал, как пели его мокроусовские матросы в Глубокой, молитвенно сняв бескозырки, возбужденно блестя глазами. В нем вдруг выросло смутное, равносильное страху беспокойство.

— Чего они ревут? — встревоженно вертя головой, спросил престарелый казак.

— Вроде как с какой молитвой,— ответил ему другой, лежавший справа.

— Чертячья у них молитва! — улыбнулся Андрей Кашулин; дерзко глядя на Григория, стоявшего возле него, спросил: — Ты, Пантелев, был у них,— небось знаешь, к чему песню зараз играют? Небось сам с ними дишканил?

«...владе-еть землей!» — ликующим вскриком взвихрились невнятные от расстояния слова, и вновь тишина расплеснулась над степью. Казаки нехорошо повеселели. Кто-то захохотал в середине цепи. Митька Коршунов суетливо заерзал:

— Слышите, эй, вы?! Землей владеть им захотелось!..— и похабно выругался.— Григорь Пантелев! Дай, я вон энтого, что на коне, спéшу! Я вдарю раз?

Не дожидаясь согласия, выстрелил. Пуля побеспокоила всадника. Он спешился, отдал коня, пошел впереди цепи, поблескивая обнаженной шашкой.

Казаки стали постреливать. Красные легли. Григорий приказал пулеметчикам открыть огонь. После двух пуле-

метных очередей первая цепь поднялась в перебежке. Саженей через десять снова легла. В бинокль Григорий видел, как красноармейцы заработали лопатками, окапываясь. Над ними запорхала сизая пыль, перед цепью выросли крохотные, как возле сурчиных нор, бугорки. Оттуда полыхнули протяжным залпом. Перестрелка возгорелась. Бой грозил стать затяжным. Через час у казаков появился урон: одного из первого взвода пуля сразила насмерть, трое раненых уползли к коноводам в лог. Вторая сотня показалась с фланга, запылила в атаке. Атаку отбили пулеметным огнем. Видно было, как панически скакали назад казаки, грудясь в кучи и рассыпаясь веером. Отступив, сотня выровнялась и без сплошного крика, молчком пошла опять. И опять шквальный пулеметный огонь, как ветер листья, погнал ее обратно.

Но атаки поколебали стойкость красноармейцев,— первые цепи смешались, тронулись назад.

Григорий, не прекращая огня, поднял сотню. Казаки пошли, не ложась. Некоторая нерешительность и тягостное недоумение, владевшие ими вначале, как будто исчезли. Бодрое настроение их поддерживала батарея, на рысях прискакавшая на позиции. Первый батарейный взвод, выдвинутый в огневое положение, открыл огонь. Григорий послал коноводам приказ подвести коней. Он готовился к атаке. Возле той яблоньки, откуда он в начале боя наблюдал за красными, снималось с передков третье орудие. Высокий, в узких галифе офицер тенористо, свирепо кричал на замешкавшихся ездовых, подбегая к орудию, щелкая по голенищу плетью:

— Отводи! Ну?! Черт вас мордует!..

Наблюдатель со старшим офицером в полуверсте от батареи, спешившись, с кургашка глядели в бинокль на отходившие цепи противника. Телефонисты бегом тянули провод, соединяя батарею с наблюдательным пунктом. Крупные пальцы пожилого есаула — командира батареи — нервно крутили колесико бинокля (на одном из пальцев золотом червонело обручальное кольцо). Он зряшно топтался около первого орудия, отмахиваясь головой от цвенькавших пуль, и при каждом его резком движении сбоку болталась поношенная полевая сумка.

После рыхлого и трескучего гула Григорий проследил место падения пристрельного снаряда, оглянулся: номера, налегая, с хрипом накатывали орудие. Первая шрапнель покрыла ряды неубранной пшеницы, и долго на синем фоне таял раздираемый ветром белый хлопчатый комочек дыма.

Четыре орудия поочередно слали снаряды туда, за поваленные ряды пшеницы, но, сверх Григорьева ожидания, орудийный огонь не внес заметного замешательства в цепи красных,— они отходили неспешно, организованно и уже выпадали из поля зрения сотни, спускаясь за перевал, в балку. Григорий, понявший бессмысленность атаки, все же решил поговорить с командиром батареи. Он увалисто подошел и, касаясь левой рукой спаленного солнцем, порыжелого курчавого кончика уса, дружелюбно улыбнулся:

— Хотел в атаку пойтить.

— Какая там атака! — Есаул норовисто махнул головой, тылом ладони принял стекавшую из-под козырька струйку пота.— Вы видите, как они отходят, сукины дети? Не дадутся! Да и смешно бы было,— ведь у них в этих частях весь начальствующий состав — кадровики-офицеры. Мой товарищ, войсковой старшина Серов — у них...

— Откуда вы знаете? — Григорий недоверчиво сощурился.

— Перебежчики... Прекратить огонь! — скомандовал есаул и, словно оправдываясь, пояснил: — Бесполезно бить, а снарядов мало... Вы — Мелехов? Будем знакомы: Полтавцев.— Он толчком всунул в руку Григория свою потную крупную ладонь и, не задержав в рукопожатье, ловко кинул ее в раскрытое зевло планшетки, достал папиросы.— Закуривайте!

С глухим громом поднялись из лога ездовые. Батарея взялась на передки. Григорий, посадив на коней, повел свою сотню вслед ушедшим за бугор красным.

Красные заняли следующий хутор, но сдали его без сопротивления. Три сотни вешенцев и батарея расположились в нем. Напуганные жители не выходили из домов. Казаки сновали по дворам в поисках съестного. Григорий спешился возле стоявшего на отшибе дома, завел во двор, поставил у крыльца коня. Хозяин — длинный пожилой казак — лежал на кровати, со стоном перекатывал по грязной подушке непомерно малую птичью головку.

— Хворый, что ли? — поздоровавшись, улыбнулся Григорий.

— Хво-о-орый..

Хозяин притворялся больным и, судя по беспокойному шмыганью его глаз, догадывался, что ему не верят.

— Покормите казаков? — требовательно спросил Григорий.

— А сколько вас? — Хозяйка отделилась от печки.

— Пятеро.

— Ну-к что жа, проходите, покормим, чем бог послал.

Пообедав с казаками, Григорий вышел на улицу.

Возле колодца стояла в полной боевой готовности батарея. Обамуниченные лошади, мотая торбами, доедали ячмень. Ездовые и номера спасались от солнца в холодке зарядных ящиков, сидели и лежали возле орудий. Один батареец спал ничком, скрестив ноги и дергая во сне плечом. Он, наверное, прежде лежал в холодке, но солнце передвинуло тени и теперь палило его обнаженные курчавые волосы, посыпанные сенной трухой.

Под широкой ременной упряжью лошадей лоснилась мокрая, желто-пенистая от пота шерсть. Привязанные к плетню верховые лошади офицеров и прислуги стояли, понуро поджав ноги. Казаки — пыльные, потные — отдыхали молча. Офицеры и командир батареи сидели на земле, прислонясь спинами к срубу колодца, курили. Неподалеку от них, ногами врозь, шестиконечной звездой лежали на выгоревшей лебеде казаки. Они истово черпали из цибарки кислое молоко, изредка кто-нибудь выплевывал попавшее в рот ячменное зерно.

Солнце смалило исступленно. Хутор простирал к бугру почти безлюдные улицы. Под амбарами, под навесами сараев, возле плетней, в желтой тени лопухов спали казаки. Нерасседланные кони, густо стоявшие у плетней, томились от жары и дремоты. Мимо проехал казак, лениво поднимая плеть до уровня конской спины. И снова улица — как забытый степной шлях, и случайными и ненужными кажутся на ней крашенные в зеленое орудия и изморенные походами и солнцем спящие люди.

Нудясь от скуки, Григорий пошел было в дом, но вдоль улицы показались трое верховых казаков чужой сотни. Они гнали небольшую кучку пленных красноармейцев. Артиллеристы засуетились, повставали, обметая пыль с гимнастерок и шаровар. Поднялись и офицеры. В соседнем дворе кто-то радостно крикнул:

— Ребята, пленных гонют!.. Брешу? И вот тебе матерь божья!

Из дворов, спеша, выходили заспанные казаки. Подошли пленные — восемь провонявших пòтом, изузоренных пылью молодых ребят. Их густо окружили.

— Где их забрали? — спросил командир батареи, разглядывая пленных с холодным любопытством.

Один из конвойных ответил не без хвастливого удальства:

— Вояки! Это мы их в подсолнухах возле хутора

переловили. Хоронились, чисто перепела от коршуна. Мы их с коней узрили и давай гонять. Одного убили...

Красноармейцы напуганно жались. Они, очевидно, боялись расправы. Глаза их беспомощно бегали по лицам казаков. Лишь один, с виду постарше, коричневый от загара, скуластый, в засаленной гимнастерке и в прах измочаленных обмотках, презрительно глядел поверх голов чуть косящими черными глазами и плотно сжимал разбитые в кровь губы. Был он коренаст, широкоплеч. На черных жестких, как конский волос, кудрях его приплюснуто, соленым блином, сидела фуражка со следом кокарды, уцелевшая, наверное, еще от германской войны. Он стоял вольно, черными толстыми пальцами с засохшей на ногтях кровью трогал расстегнутый ворот нательной рубахи и острый, в черной щетине, кадык. С виду он казался равнодушным, но вольно отставленная нога, до коленного сгиба уродливо толстая от обмотки, навернутой на портянку, дрожала мелкой ознобной дрожью. Остальные были бледны, безличны. Один он бросался в глаза дюжим складом плеч и татарским энергичным лицом. Может быть, поэтому командир батареи и обратился к нему с вопросом:

— Ты кто такой?

Мелкие, похожие на осколки антрацита глаза красноармейца оживились, и весь он как-то незаметно, но ловко подобрался.

— Красноармеец. Русский.

— Откуда родом?

— Пензенский.

— Доброволец, гад?

— Никак нет. Старший унтер-офицер старой армии. С семнадцатого попал, и так вот до этих пор...

Один из конвоиров вмешался в разговор:

— Он по нас стрелял, вражина!

— Стрелял? — кисло нахмурился есаул и, уловив взгляд стоявшего против него Григория, указал глазами на пленного.— Каков!.. Стрелял, а? Ты что же, не думал, что возьмут? А если за это сейчас в расход?

— Думал отстреляться.— Разбитые губы поежились в виноватой усмешке.

— Каков фрукт! Почему же не отстрелялся?

— Патроны израсходовал.

— А-а-а...— Есаул похолодел глазами, но оглядел солдата с нескрываемым удовольствием.— А вы, сукины сыны, откуда? — уже совсем иным тоном спросил он, скользя повеселевшими глазами по остальным.

— Нибилизованные мы, ваше высокоблагородие! Саратовские мы... балашовские...— заныл высокий длинношеий парень, часто мигая, поскребывая рыжевато-ржавые волосы.

Григорий с щемящим любопытством разглядывал одетых в защитное молодых парней, их простые мужичьи лица, невзрачный пехотный вид. Враждебность возбуждал в нем один скуластый. Он обратился к нему насмешливо и зло:

— На что признавался? Ты небось ротой у них наворачивал? Командир? Коммунист? Расстрелял, говоришь, патроны? А мы тебя за это шашками посекем — это как?

Красноармеец, шевеля ноздрями раздавленного прикладом носа, уже смелее говорил:

— Я признавался не от лихости. Чего я буду таиться? Раз стрелял — значит, признавайся... Так я говорю? Что касаемо... казните. Я от вас,— и опять улыбнулся,— добра не жду, на то вы и казаки.

Кругом одобрительно заулыбались. Григорий, покоренный рассудительным голосом солдата, отошел. Он видел, как пленные пошли к колодцу напиться. Из переулка взводными рядами выходила сотня пластунов.

IX

И после, когда полк вступил в полосу непрерывных боев, когда вместо завес уже лег изломистой вилюжиной фронт, Григорий всегда, сталкиваясь с неприятелем, находясь в непосредственной от него близости, испытывал все то же острое чувство огромного, ненасытного любопытства к красноармейцам, к этим русским солдатам, с которыми ему для чего-то нужно было сражаться. В нем словно навсегда осталось то наивно-ребяческое чувство, родившееся в первые дни четырехлетней войны, когда он под Лешнювом с кургана наблюдал в первый раз за суетой австро-венгерских войск и обозов. «А что за люди? А какие они?» Будто и не было в его жизни полосы, когда он бился под Глубокой с чернецовским отрядом. Но тогда он твердо знал обличье своих врагов,— в большинстве они были донские офицеры, казаки. А тут ему приходилось иметь дело с русскими солдатами, с какими-то иными людьми, с теми, какие всей громадой подпирали Советскую власть и стремились, как думал он, к захвату казачьих земель и угодий.

Еще раз как-то в бою почти в упор натолкнулся он на

красноармейцев, неожиданно высыпавших из отножины буерака. Он выехал со взводом в рекогносцировку, подъехал по теклине буерачка к развилку и тут вдруг услышал певучую русскую речь на жесткое «г», сыпкий шорох шагов. Несколько красноармейцев — из них один китаец — выскочили на гребень и, ошеломленные видом казаков, на секунду замерли от изумления.

— Казаки! — падая, испуганно клохчущим голосом крикнул один.

Китаец выстрелил. И сейчас же резко, захлебываясь, скороговоркой закричал тот белесый, который упал:

— Товарищи! Давай «максимку»! Казаки!

— Давай же! Казаки!..

Китайца Митька Коршунов срезал из нагана и, круто поворачивая коня, тесня им коня Григория, первый поскакал по гулкой крутобережной теклине, работая поводьями, направляя по извилинам тревожный конский бег. За ним скакали остальные, клубясь и норовя обогнать друг друга. За спинами их баритонисто зарокотал пулемет, пули общелкивали листья терна и боярышника, густо росшего по склонам и мысам, дробили и хищно рвали каменистое днище теклины...

Еще несколько раз сходился лицом к лицу с красными, видел, как пули казаков вырывали из-под ног красноармейцев землю и те падали и оставляли жизнь на этой плодовитой и чужой им земле.

...И помалу Григорий стал проникаться злобой к большевикам. Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли! Он видел: такое же чувство завладевает и остальными казаками. Всем им казалось, что только по вине большевиков, напиравших на Область, идет эта война И каждый, глядя на неубранные валы пшеницы, на полегший под копытами нескошенный хлеб, на пустые гумна, вспоминал свои десятины, над которыми хрипели в непосильной работе бабы, и черствел сердцем, зверел. Григорию иногда в бою казалось, что и враги его — тамбовские, рязанские, саратовские мужики — идут движимые таким же ревнивым чувством к земле: «Бьемся за нее, будто за любушку», — думал Григорий.

Меньше стали брать в плен. Участились случаи расправ над пленными. Широкой волной разлились по фронту грабежи; брали у заподозренных в сочувствии большевикам, у семей красноармейцев, раздевали донага пленных...

Брали все, начиная с лошадей и бричек, кончая совершенно ненужными громоздкими вещами. Брали и каза-

ки и офицеры. Обозы второго разряда пухли от добычи. И чего только не было на подводах! И одежда, и самовары, и швейные машины, и конская упряжь — все, что представляло какую-нибудь ценность. Добыча из обозов сплавлялась по домам. Приезжали родственники, охотой везли в часть патроны и продовольствие, а оттуда набивали брички грабленым. Конные полки — а их было большинство — вели себя особенно разнузданно. Пехотинцу, кроме подсумки, некуда положить, а всадник набивал сумы седла, увязывал в торока, и конь его запохаживался больше на вьючное животное, нежели на строевого коня. Распоясались братушки. Грабеж на войне всегда был для казаков важнейшей движущей силой. Григорий знал это и по рассказам стариков о прошлых войнах и по собственному опыту. Еще в дни германской войны, когда полк ходил в тылу по Пруссии, командир бригады — заслуженный генерал — говорил, выстроив двенадцать сотен, указывая плетью на лежавший под холмами крохотный городок:

— Возьмете — на два часа город в вашем распоряжении. Но через два часа первого уличенного в грабеже,— к стенке!

Но к Григорию как-то не привилось это,— он брал лишь съестное да корм коню, смутно опасаясь трогать чужое и с омерзением относясь к грабежам. Особенно отвратительным казался в его глазах грабеж своих же казаков. Сотню он держал жестко. Его казаки если и брали, то таясь и в редких случаях. Он не приказывал уничтожать и раздевать пленных. Чрезмерной мягкостью вызвал недовольство среди казаков и полкового начальства. Его потребовали для объяснений в штаб дивизии. Один из чинов обрушился на него, грубо повышая голос:

— Ты что мне, хорунжий, сотню портишь? Что ты либеральничаешь? Мягко стелешь на всякий случай? По старой памяти играешь на две руки?.. Как это на тебя не кричать?.. А ну, без разговоров! Дисциплины не знаешь? Что — сменить? И сменим! Приказываю сегодня же сдать сотню! И того, брат... не шурши!

В конце месяца полк совместно с сотней 33-го Еланского полка, шедшего рядом, занял хутор Гремячий Лог.

Внизу, по падине, густо толпились вербы, ясени и тополя, по косогору разметались десятка три белостенных куреней, обнесенных низкой, из дикого камня, огорожей. Выше хутора, на взгорье, доступный всем ветрам, стоял старый ветряк. На фоне надвигавшейся из-за бугра белой тучи мертво причаленные крылья его чернели косо накре-

пишимся крестом. День был дождлив и хмарен. По балке желтая порошила метель: листья с шепотом ложились на землю. Малиновой кровью просвечивал пышнотелый краснотал. Гумна бугрились сияющей соломой. Мягкая предзимняя наволочь крыла пресно пахнущую землю.

Со своим взводом Григорий занял отведенный квартирьерами дом. Хозяин, оказалось, ушел с красными. Взводу стала угодливо прислуживать престарелая дородная хозяйка с дочерью-подростком. Григорий из кухни прошел в горницу, огляделся. Хозяева, видно, жили ядрено: полы крашены, стулья венские, зеркало, по стенам обычные фотографии служивых и ученический похвальный лист в черной рамке. Повесив к печке промокший дождевик, Григорий свернул курить.

Прохор Зыков вошел, поставил к кровати винтовку, равнодушно сообщил:

— Обозники приехали. С ними папаша ваш, Григорий Пантелеевич.

— Ну?! Будет брехать!

— Право слово. Окромя его, наших хуторных, никак, шесть подвод. Иди встревай!

Григорий, накинув шинель, вышел.

В ворота за уздцы вводил лошадей Пантелей Прокофьевич. На бричке сидела Дарья, закутанная в зипун домашней валки. Она держала вожжи. Из-под мокрого капюшона зипуна блестела на Григория влажной улыбкой, смеющимися глазами.

— Зачем вас принесло, земляки? — крикнул Григорий, улыбаясь отцу.

— А, сынок, живого видать! Нá гости вот приехали, не спроша заезжаем.

Григорий на ходу обнял широкие отцовы плечи, начал отцеплять с барков постромки.

— Не ждал, говоришь, Григорий?

— Конешно.

— А мы вот в обувательских... Захватили. Снаряды вам привезли,— только воюйте.

Распрягая лошадей, они перебрасывались отрывистыми фразами. Дарья забирала с брички харчи и зерно лошадям.

— А ты чего приехала? — спросил Григорий.

— С батей. Он у нас хворый, со спасов никак не почунéется. Мать забоялась: случись чего, а он один на чужой стороне...

Кинув лошадям ярко-зеленого пахучего пырея, Пантелей Прокофьевич подошел к Григорию, спросил хриплым

шепотом, беспокойно расширяя черные, с нездоровыми кровянистыми белками глаза:

— Ну, как?

— Ничего. Воюем.

— Слыхал брехню, вроде дальше границы не хотят казаки выступать... Верно?

— Разговоры...— уклончиво ответил Григорий.

— Что ж это вы, братцы? — как-то отчужденно и растерянно заговорил старик.— Как же так? А у нас старики надеются... Опричь вас кто же Дон-батюшку в защиту возьмет? Уж ежели вы — оборони господь! — не схотите воевать... Да как же это так? Обозные ваши брехали... Смуту сеют, сукины дети!

Вошли в хату. Собрались казаки. Разговор вначале вертелся вокруг хуторских новостей, Дарья, пошептавшись с хозяйкой, развязала сумку с харчами, собрала вечерять.

— Гутарют, будто ты уже с сотенных снятый? — спросил Пантелей Прокофьевич, принаряжая костяной расческой свалявшуюся бороду.

— Взводным я теперь.

Равнодушный ответ Григория кольнул старика. Пантелей Прокофьевич собрал на лбу ложбины, захромал к столу и, суетливо помолившись, вытирая полой чекменька ложку, обиженно спросил:

— Это за что такая немилость? Аль не угодил начальству?

Григорию не хотелось говорить об этом в присутствии казаков, досадливо шевельнул плечом.

— Нового прислали... С образованием.

— Так им и ты служи, сынок! Распроценятся они скоро! Ишь с образованием им приспичило! Меня, мол, за германскую дивствительно образовали, небось побольше иного очкастого знаю!

Старик явно возмущался, а Григорий морщился, искоса поглядывал: не улыбаются ли казаки?

Снижение в должности его не огорчило. Он с радостью передал сотню, понимая, что ответственности за жизнь хуторян нести не будет. Но все же самолюбие его было уязвлено, и отец разговором об этом невольно причинял ему неприятность.

Хозяйка дома ушла на кухню, а Пантелей Прокофьевич, почувствовав поддержку в лице пришедшего хуторянина Богатырева, начал разговор:

— Стал быть, взаправду мыслишку держите дальше границ не ходить?

Прохор Зыков, часто моргая телячье-ласковыми глазами, молчал, тихо улыбался. Митька Коршунов, сидя на корточках у печки, обжигая пальцы, докуривал цигарку. Остальные трое казаков сидели и лежали на лавках. На вопрос что-то никто не отвечал. Богатырев горестно махнул рукой.

— Они об этих делах не дюже печалуются,— заговорил он гудящим густым басом.— По них хучь во полюшке травушка не расти...

— А зачем дальше идтить? — лениво спросил болезненный и смирный казачок Ильин.— Зачем идтить-то? У меня вон сироты после жены остались, а я буду зазря жизню терять...

— Выбьем из казачьей земли — и по домам! — решительно поддержал его другой.

Митька Коршунов улыбнулся одними зелеными глазами, закрутил тонкий пушистый ус.

— А по мне, хучь ишо пять лет воевать. Люблю!

— Выхо-ди-и!.. Седлай!..— закричали со двора.

— Вот видите! — отчаянно воскликнул Ильин.— Видите, отцы! Не успели обсушиться, а там уж — «выходи»! Опять, значит, на позицьи. А вы гутарите: границы! Какие могут быть границы? По домам надо! Замиренья надо добиваться, а вы гутарите...

Тревога оказалась ложной. Григорий, озлобленный, ввел во двор коня, без причины ударил его сапогом в пах и, бешено округляя глаза, гаркнул:

— Ты, черт! Ходи прямо!

Пантелей Прокофьевич курил у двери. Пропустив входивших казаков, спросил:

— Чего встомашились?

— Тревога!.. Табун коров за красных сочли.

Григорий снял шинель, присел к столу. Остальные, кряхтя, раздевались, кидали на лавки шашки и винтовки с подсумками.

Когда все улеглись спать, Пантелей Прокофьевич вызвал Григория на баз. Присели на крыльце.

— Хочу погутарить с тобой.— Старик тронул колено Григория, зашептал: — Неделю назад ездил я к Петру. Ихний Двадцать восьмой полк за Калачом зараз... Я, сынок, поджился там неплохо. Петро — он гожий, дюже гожий к хозяйству! Он мне чувал одежи дал, коня, сахару... Конь справный...

— Погоди! — сурово перебил его Григорий, обожженный догадкой.— Ты сюда не за этим заявился?

— А что?

— Как — что?

— Люди ить берут, Гриша..

— Люди! Берут! — не находя слов, с бешенством повторял Григорий. — Своего мало? Хамы вы! За такие штуки на германском фронте людей расстреливали!..

— Да ты не сепети! — холодно остановил его отец. — Я у тебя не прошу. Мне ничего не надо. Я нынче живу, а завтра ноги вытяну... Ты об себе думай. Скажи на милость, какой богатей нашелся! Дома одна бричка осталась, а он... Да и что ж не взять у энтих, какие к красным подались?.. Грех у них не брать! А дома каждая лычка бы годилась.

— Ты мне оставь это! А нет — я живо провожу отсель! Я казакам морды бил за это, а мой отец приехал грабить жителев! — дрожал и задыхался Григорий.

— За это и с сотенных прогнали! — ехидно поддел его отец.

— На черта мне это сдалось! Я и от взвода откажусь!.

— А то чего же! Умен, умен...

С минуту молчали. Григорий, закуривая, при свете спички мельком увидел смущенное и обиженное лицо отца. Только сейчас ему стали понятны причины отцова приезда. «Для этого и Дарью взял, чертяка старый! Грабленое оберегать», — думал он.

— Степан Астахов объявился. Слыхал? — равнодушно начал Пантелей Прокофьевич.

— Как это? — Григорий даже папиросу выронил из рук.

— А так. Оказалось — в плену он был, а не убитый. Пришел справный. Там у него одежи и добра — видимо-невидимо! На двух подводах привез, — прибрехнул старик, хвастая, как будто Степан был ему родной. — Аксинью забрал и зараз ушел на службу. Хорошую должность ему дали, етапным комендантом идей-то, никак, в Казанской.

— Хлеба много намолотили? — перевел Григорий разговор.

— Четыреста мер.

— Внуки твои как?

— Ого, внуки, брат, герои! Гостинца бы послал.

— Какие с фронта гостинцы! — тоскливо вздохнул Григорий, а в мыслях был около Аксиньи и Степана.

— Винтовкой не разживусь у тебя? Нету лишней?

— На что тебе?

— Для дому. И от зверя и от худого человека. На

всякий случай. Патрон-то я целый ящик взял. Везли, — я и взял.

— Возьми в обозе. Этого добра много. — Григорий хмуро улыбнулся. — Ну, иди спи! Мне на заставу идтить.

Наутро часть полка выступила из хутора. Григорий уехал в уверенности, что он пристыдил отца и тот уедет ни с чем. А Пантелей Прокофьевич, проводив казаков, хозяином пошел в амбар, поснимал с поветки хомуты и шлейки, понес к своей бричке. Следом за ним шла хозяйка, с лицом, залитым слезами, кричала, цепляясь за плечи:

— Батюшка! Родимый! Греха не боишься! За что сирот обижаешь? Отдай хомуты! Отдай, ради господа бога!

— Но-но, ты бога оставь, — прихрамывая, барабошил и отмахивался от бабы Мелехов. — Ваши мужья у нас тоже небось брали бы. Твой-то комиссар, никак?.. Отвяжись! Раз «твое — мое — богово», значит — молчок, не жалься!

Потом, сбив на сундуках замки, при сочувственном молчании обозников выбирал шаровары и мундиры поновей, разглядывал их на свет, мял в черных куцых пальцах, вязал в узлы...

Уехал он перед обедом. На бричке, набитой доверху, на узлах сидела, поджав тонкие губы, Дарья. Позади поверх всего лежал банный котел. Пантелей Прокофьевич выдернул его из плиты в бане, едва донес до брички, и на укоряющее замечание Дарьи:

— Вы, батенька, и с г... не расстанетесь! — гневно ответил:

— Молчи, шалава! Буду я им котел оставлять! Из тебя хозяйка — как из Гришки-поганца! А мне и котел сгодится. Так-то!.. Ну, трогай! Чего губы растрепала?

Опухшей от слез хозяйке, затворявшей за ними ворота, сказал добродушно:

— Прощай, бабочка! Не гневайся. Вы себе ишо наживете.

X

Цепь дней... Звено, вкованное в звено. Переходы, бои, отдых. Жара. Дождь. Смежные запахи конского пота и нагретой кожи седла. В жилах от постоянного напряжения — не кровь, а нагретая ртуть. Голова от недосыпания тяжелей снаряда трехдюймовки. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой пахотной борозде плугатарем, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой

трубный клич, ласково снимать со щек наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенней, поднятой плугом земли.

А взамен этого — разрубленные лезвиями дорог хлеба. По дорогам толпы раздетых, трупно-черных от пыли пленных. Идет сотня, копытит дороги, железными подковами мнет хлеба́. В хуторах любители обыскивают семьи ушедших с красными казаков, дерут плетьми жен и матерей отступников.

Тянулись выхолощенные скукой дни. Они выветривались из памяти, и ни одно событие, даже значительное, не оставляло после себя следа. Будни войны казались еще скучнее, нежели в прошлую кампанию, быть может — потому, что все изведано было раньше. Да и к самой войне все участники прежней относились пренебрежительно: и размах, и силы, и потери — все в сравнении с германской войной было игрушечно. Одна лишь черная смерть, так же, как и на полях Пруссии, вставала во весь свой рост, пугала и понуждала по-животному оберегаться.

— Рази это война? Так, одно подобие. В германскую, бывало, немец как сыпанет из орудий,— полки выкашивал под корень. А зараз двоих из сотни поранют,— урон, говорят! — рассуждали фронтовики.

Однако и эта игрушечная война раздражала. Копились недовольство, усталость, озлобление. В сотне все настойчивее говорили:

— Выбьем из донской земли краснюков — и решка! Дальше границы не пойдем. Нехай Россия — сама по себе, мы — сами по себе. Нам у них свои порядки не устанавливать.

Под Филоновской всю осень шли вялые бои. Главнейшим стратегическим центром был Царицын, туда бросали и белые и красные лучшие силы, а на Северном фронте у противных сторон не было перевеса. Те и другие копили силы для решительного натиска. Казаки имели больше конницы; используя это преимущество, вели комбинированные операции, охватывали фланги, заходили в тыл. Перевес был на стороне казаков лишь потому, что противостояли им морально шаткие части из свежемобилизованных красноармейцев преимущественно прифронтовой полосы. Саратовцы, тамбовцы сдавались тысячами. Но как только командование бросало в дело рабочий полк, матросский отряд или конницу,— положение выравнивалось, и вновь инициатива гуляла из рук в руки, и поочередно одерживались победы чисто местного значения.

Участвуя в войне, Григорий равнодушно наблюдал за ее ходом. Он был уверен: к зиме фронта не станет; знал, что казаки настроены примиренчески и о затяжной войне не может быть и речи. В полк изредка приходили газеты. Григорий с ненавистью брал в руки желтый, набранный на оберточной бумаге номер «Верхне-Донского края» и, бегло просматривая сводки фронтов, скрипел зубами. А казаки добродушно ржали, когда он читал им вслух бравурные, притворно-бодрые строки:

27 сентября на Филоновском направлении бои с переменным успехом. В ночь на 26-е доблестный Вешенский полк выбил противника из хутора Подгорного и на плечах его ворвался в хутор Лукьяновский. Взяты трофеи и огромное количество пленных. Красные части отступают в беспорядке. Настроение казаков бодрое. Донцы рвутся к новым победам!

— Сколько пленных-то забрали мы? Огромное число? Ох-ох, су-у-укины сыны! Тридцать два человека взяли-то! А они... ах-ха-ха-ха!..— покатывался Митька Коршунов, во всю ширь разевая белозубый рот, длинными ладонями стискивая бока.

Не верили казаки и сведениям об успехах «кадетов» в Сибири и на Кубани. Больно беззастенчиво и нагло врал «Верхне-Донской край». Охваткин — большерукий, огромного роста казак, прочитав статью о чехословацком мятеже, заявил в присутствии Григория:

— Вот придавют чеха, а потом как жмякнут на нас всю армию, какая под ним была,— и потекет из нас мокрая жижа... Одно слово — Расея! — И грозно закончил: — Шутишь, что ля?

— Не пужай! Аж возле пупка заноило от дурацкого разговору,— отмахнулся Прохор Зыков.

А Григорий, сворачивая курить, с тихим злорадством решил про себя: «Верно!»

Он долго сидел в этот вечер за столом, ссутулясь, расстегнув ворот выгоревшей на солнце рубахи с такими же выгоревшими защитными погонами. Загорелое лицо его, на котором нездоровая полнота сровняла рытвины и острые углы скул, было сурово. Он ворочал черной мускулистой шеей, задумчиво покручивал закурчавившийся, порыжелый от солнца кончик уса и напряженно глядел в одну точку похолодевшими за последние годы, злыми глазами. Думал с тугой, непривычной трудностью и, уже ложась спать, словно отвечая на общий вопрос, сказал:

— Некуда податься!

Всю ночь не спал. Часто выходил проведывать коня и подолгу стоял на крыльце, повитый черной, шелково шелестящей тишиной.

* * *

Знать, еще горела тихим трепетным светом та крохотная звездочка, под которой родился Григорий; видно еще не созрела пора сорваться ей и лететь, сожигая небеса падучим холодным пламенем. Три коня были убиты под Григорием за осень, в пяти местах продырявлена шинель. Смерть как будто заигрывала с казаком, овевая его черным крылом. Однажды пуля насквозь пробила медную головку шашки, темляк упал к ногам коня будто перекушенный.

— Кто-то крепко за тебя молится, Григорий,— сказал ему Митька Коршунов и удивился невеселой Григорьевой улыбке.

Фронт перевалил за линию железной дороги. Ежедневно обозы подвозили мотки колючей проволоки. Ежедневно телеграф струил по фронту слова:

Со дня на день прибудут войска союзников. Необходимо укрепиться на границах Области до прихода подкреплений, сдержать натиск красных любой ценой.

Мобилизованное население долбило пешнями мерзлую землю, рыло окопы, опутывало их колючей проволокой. А по ночам, когда казаки бросали окопы и шли к жилью обогреваться, к окопам подходили разведчики красноармейцы, валяли укрепы и цепляли на ржавые шипы проволоки воззвания к казакам. Казаки читали их с жадностью, словно письма от родимых. Было ясно, что в таких условиях продолжать войну немыслимо. Полыхали морозы, сменяясь оттепелями и обильными снегопадами. Окопы заметал снег. В окопах трудно было пролежать даже час. Казаки мерзли, отмораживали ноги и руки. В пехотных и пластунских частях у многих не было сапог. Иные вышли на фронт словно на баз скотине наметать: в одних чириках и легких шароварах. В союзников не верили. «На жуках они едут!» — горестно сказал однажды Андрюшка Кашулин. А сталкиваясь с разъездами красных, казаки слышали, как те горланили: «Эге-гей! Христосики! Вы к нам на танках, а мы к вам на санках! Мажьте пятки салом,— скоро в гости приедем!»

С середины ноября красные перешли в наступление.

Они упорно оттесняли казачьи части к линии железной дороги, однако перелом в операциях наступил позднее. 16 декабря красная конница после длительного боя опрокинула 33-й полк, но на участке Вешенского полка, развернувшегося возле хутора Колодезянского, натолкнулась на отчаянное сопротивление. Из-за оснеженной кромки гуменных прясел вешенцы-пулеметчики встречали противника, наступавшего в пешем строю, шквальным огнем. Правофланговый пулемет в опытнейших руках каргинского казака Антипова бил с рассеиванием вглубь, выкашивал перебегавшие цепи. Сотня крылась дымом выстрелов. А с левого фланга уже тронулись две сотни в обход.

К вечеру вяло наступавшие красноармейские части сменил только что прибывший на фронт отряд матросов. Они пошли в атаку на пулеметы в лоб, не ложась, без крика.

Григорий стрелял непрерывно. Задымилась накладка. Ствол накалился и обжигал пальцы. Охладив винтовку, Григорий снова вгонял обойму, ловил прижмуренным глазом далекие черные фигурки на мушку.

Матросы сбили их. Сотни, разобрав лошадей, проскакали хутор, выметнулись на бугор. Григорий оглянулся и безотчетно бросил поводья. С бугра далеко виднелось тоскливое снежное поле с мысами занесенного снегом бурьяна и лиловыми предвечерними тенями, лежавшими по склонам балок. По нему на протяжении версты черной сыпью лежали трупы порезанных пулеметным огнем матросов. Одетые в бушлаты и кожаные куртки, они чернели на снегу, как стая присевших в отлете грачей...

К вечеру, расчлененные наступлением, сотни, потерявшие связь с Еланским полком и бывшим справа от них одним из номерных полков Усть-Медведицкого округа, стали на ночевку в двух хуторах, расположенных у крохотной речонки, притока Бузулука.

Уже в сумерках Григорий, возвращаясь от места, где по приказанию командира сотни он расставил заставы, встретился в переулке с командиром полка и полковым адъютантом.

— Где третья сотня? — натягивая поводья, спросил командир.

Григорий ответил. Всадники тронули лошадей.

— Потери в сотне большие? — отъехав спросил адъютант; ответа он не расслышал, переспросил: — Как?

Но Григорий пошел, не отвечая.

Всю ночь через хутор тянулись какие-то обозы. Возле двора, где ночевал с казаками Григорий, долго стояла

батарея. Сквозь одинарное оконце слышались матерная брань, крик ездовых, суетня. В хату входили обогреваться номера, ординарцы штаба полка, каким-то образом очутившиеся в этом хуторе. В полночь, разбудив хозяев и казаков, вломились трое из прислуги батареи. Они неподалеку в речке увязили орудие и решили заночевать, чтобы утром выручить его быками. Григорий проснулся, долго глядел, как батарейцы, кряхтя, счищая с сапог липкую мерзлую грязь, разуваются и развешивают на боровке подземки мокрые портянки. Потом вошел по уши измазанный офицер-артиллерист. Он попросился переночевать, стянул шинель и долго с безразличным видом размазывал по лицу рукавом френча брызги грязи.

— Одно орудие мы потеряли,— сказал он, глядя на Григория покорными, как у усталой лошади, глазами.— Сегодня такой бой был, как под Мачехой. Нас нащупали после двух выстрелов... Ка-ак саданет — и моментально перешиб боевую ось! А орудие стояло на гумне. Уж куда лучше замаскировано было!..— К каждой фразе он привычно и, наверное, бессознательно пристегивал похабное ругательство.— Вы Вёшенского полка? А чай пить будете? Хозяюшка, вы бы нам самоварчик, а?

Он оказался болтливым, надоедливым собеседником. Чай поглощал без устали. И через полчаса Григорий уже знал, что родом тот из Платовской станицы, окончил реальное, был на германской войне и два раза неудачно женился.

— Теперь аминь Донской армии! — говорил он, слизывая пот с бритой губы острым и красным языком.— Война приходит к концу. Фронт завтра расползется, а через две недели мы будем уже в Новочеркасске. Хотели с босыми казаками штурмовать Россию! Ну не идиоты ли? А кадровые офицеры — все негодяи, ей-богу! Вы ведь из казаков? Да? Вот вашими руками они и хотят каштанчики из огня таскать. А сами по интендантствам лавровый лист да крупу отвешивают!

Он часто моргал пустоцветными глазами, шевелился, наваливаясь на стол всем крупным и плотно сбитым корпусом, а углы большого, растянутого рта были мрачно и безвольно опущены, и на лице хранилось целостным прежнее выражение покорной замордованной лошади.

— Раньше, хотя бы в эпоху Наполеона, добро было воевать! Сошлись две армии, цокнулись, разошлись. Ни тебе фронтов, ни сиденья в окопах. А теперь начни разбираться в операциях,— сам черт голову сломит. Если раньше историки брехали, то в описании этой войны такого

наворочают!.. Скука одна, а не война! Красок нет. Грязцо! И вообще — бессмыслица. Я бы этих верховодов свел один на один и сказал: «Вот вам, господин Ленин, вахмистр,— учитесь у него владеть оружием. А вам, господин Краснов, стыдно не уметь». И пускай бы, как Давид с Голиафом, бились: чей верх, того и власть. Народу все равно, кто им правит. Как вы думаете, господин хорунжий?

Григорий, не отвечая, сонно следил за тугими движениями его мясистых плеч и рук, за неприятно-часто мелькавшим в скважине рта красным языком. Хотелось спать, злил навязчивый, придурковатый артиллерист, вызывал тошноту исходивший от потных ног его запах псины...

Утром Григорий проснулся с нудным ощущением чего-то невырешенного. Развязка, которую он предвидел еще с осени, все же поразила его своей внезапностью. Проглядел Григорий, как недовольство войной, вначале журчившееся по сотням и полкам мельчайшими ручейками, неприметно слилось в могущественный поток. И теперь — видел лишь этот поток, стремительно-жадно размывающий фронт.

Так на провесне едет человек степью. Светит солнце. Кругом — непочатый лиловый снег. А под ним, невидимая глазу, вторится извечная прекрасная работа — раскрепощение земли. Съедает солнце снег, червоточит его, наливает из-под исподу влагой. Парна́я туманная ночь — и наутро уже с шорохом и гулом оседает наст, по дорогам и колесникам пузырится зеленая нагорная вода, из-под копыт во все стороны талыми комьями брызжет снег. Тепло. Отходят и оголяются супесные пригорки, первобытно пахнет глинистой почвой, истлевшей травой. В полночь мощно ревут буераки, гудят заваливаемые снежными оползнями яры, сладостным куревом дымится бархатисто-черная обнаженная зябь. К вечеру, стоная, ломает степная речушка лед, мчит его, полноводная, туго налитая, как грудь кормилицы, и, пораженный неожиданным исходом зимы, стоит на песчаном берегу человек, ищет глазами места помельче, щелкает запотевшего, перепрядывающего ушами, коня плетью. А кругом предательски и невинно голубеет снег, дремотная и белая лежит зима...

Весь день полк отступал... По дорогам скакали обозы. Где-то правее, за серой тучей, застлавшей горизонт, рыхлыми обвалами грохотали орудийные залпы. По оттаявшей унавоженной дороге хлюпали сотни, месили мокрый снег лошади с захлюстанными щетками. По обочинам дорог скакали ординарцы. Молчаливые грачи, затянутые в

блестящее синеватое оперенье, кургузые и неловкие, как пешие кавалеристы, важно и качко расхаживали сбоку от дороги, пропуская мимо себя, как на параде, отступающие казачьи сотни, колонны оборванных пластунов, валки обозов.

Григорий понял, что стремительно разматывающуюся пружину отступления уже ничто не в силах остановить. И ночью, исполненный радостной решимостью, он самовольно покинул полк.

— Ты куда собрался, Григорь Пантелев? — спросил Митька Коршунов, насмешливо наблюдавший, как Григорий надевает поверх шинели дождевик, цепляет шашку и наган.

— А тебе что?

— Любопытно.

Григорий поиграл зарозовевшими желваками скул, но ответил весело, с подмигом:

— На кудыкино поле. Понял?

И вышел.

Конь его стоял нерасседланный.

До зари он скакал по дымящимся от ночного заморозка шляхам. «Поживу дома, а там услышу, как будут они идтить мимо, и пристану к полку»,— отстраненно думал он о тех, с кем сражался вчера бок о бок.

На другой день к вечеру он уже вводил на отцовский баз сделавшего двухсотверстый пробег, исхудавшего за два дня, шатавшегося от усталости коня.

XI

В конце ноября в Новочеркасске стало известно о прибытии военной миссии держав Согласия. По городу пошли упорные слухи о том, что мощная английская эскадра уже стоит на рейде в Новороссийской гавани, что будто бы уже высаживаются, переброшенные из Салоник, огромнейшие десанты союзнических войск, что корпус цветных французских стрелков уже высажен и в самом ближайшем будущем начнет наступление совместно с Добровольческой армией. Снежным комом катились по городу слухи...

Краснов приказал выслать почетный караул казаков лейб-гвардии Атаманского полка. Спешно нарядили две сотни молодых атаманцев в высокие сапоги и белую ременную амуницию и столь же спешно отправили их в Таганрог совместно с сотней трубачей.

Представители английской и французской военных миссий на юге России, в целях своеобразной политической рекогносцировки, решили послать в Новочеркасск несколько офицеров. В задачу их входило ознакомиться с положением на Дону и перспективами дальнейшей борьбы с большевиками. Англию представляли капитан Бонд и лейтенанты Блумфельд и Монро, Францию — капитан Ошэн и лейтенанты Дюпре и Фор. Приезд этих-то небольших чинов союзнических военных миссий, по капризу случая попавших в «послы», и наделал столько переполоху в атаманском дворце.

С великим почетом доставили «послов» в Новочеркасск. Непомерным подобострастием и пресмыкательством вскружили головы скромным офицерам, и те, почувствовав свое «истинное» величие, уже стали покровительственно и свысока посматривать на именитых казачьих генералов и сановников всевеликой бутафорской республики.

У молодых французских лейтенантов сквозь внешний лоск приличия и приторной французской любезности уже начали пробиваться в разговорах с казачьими генералами холодные нотки снисходительности и высокомерия.

Вечером во дворце был сервирован обед на сто кувертов. Певчий войсковой хор стлал по залу шелковые полотнища казачьих песен, богато расшитых тенорами подголосков, духовой оркестр внушительно громыхал и вызванивал союзнические гимны. «Послы» кушали, как и полагается в таких случаях, скромно и с большим достоинством. Чувствуя историческую значимость момента, атаманские гости рассматривали их исподтишка.

Краснов начал речь:

— Вы находитесь, господа, в историческом зале, со стен которого на вас смотрят немые глаза героев другой народной войны, тысяча восемьсот двенадцатого года. Платов, Иловайский, Денисов напоминают нам священные дни, когда население Парижа приветствовало своих освободителей — донских казаков, когда император Александр Первый восстанавливал из обломков и развалин прекрасную Францию...

У делегатов «прекрасной Франции» от изрядной меры выпитого цимлянского уже повеселели и замаслились глаза, но речь Краснова они дослушали со вниманием. Пространно обрисовав катастрофические бедствия, испытываемые «угнетенным дикими большевиками русским народом», Краснов патетически закончил:

— ...Лучшие представители русского народа гибнут

в большевистских застенках. Взоры их обращены на вас: они ждут вашей помощи, и им, и только им вы должны помочь, не Дону. Мы можем с гордостью сказать: мы свободны! Но все наши помыслы, цель нашей борьбы — великая Россия, верная своим союзникам, отстаивавшая их интересы, жертвовавшая собою для них и жаждущая так страстно теперь их помощи. Сто четыре года тому назад в марте месяце французский народ приветствовал императора Александра Первого и российскую гвардию. И с того дня началась новая эра в жизни Франции, выдвинувшая ее на первое место. Сто четыре года назад наш атаман граф Платов гостил в Лондоне. Мы ожидаем вас в Москве! Мы ожидаем вас, чтобы под звуки торжественных маршей и нашего гимна вместе войти в Кремль, чтобы вместе испытать всю сладость мира и свободы! Великая Россия! В этих словах — все наши мечты и надежды!

После заключительных слов Краснова встал капитан Бонд. При звуках английской речи среди присутствовавших на банкете мертвая простерлась тишина. Переводчик с подъемом стал переводить:

— Капитан Бонд от своего имени и от имени капитана Ошэна уполномочен заявить донскому атаману, что они являются официально посланными от держав Согласия, чтобы узнать о том, что происходит на Дону. Капитан Бонд заверяет, что державы Согласия помогут Дону и Добровольческой армии в их мужественной борьбе с большевиками всеми силами и средствами, не исключая и войск.

Переводчик еще не кончил последней фразы, как зычное «ура», троекратно повторенное, заставило содрогнуться стены зала. Под бравурные звуки оркестра зазвучали тосты. Пили за процветание «прекрасной Франции» и «могущественной Англии», пили за «дарование победы над большевиками»... В бокалах пенилось донское шипучее, искрилось выдержанное игристое, сладко благоухало старинное «лампадное» вино...

Сло́ва ждали от представителей союзнической миссии, и капитан Бонд не заставил себя ждать:

— Я провозглашаю тост за великую Россию, и я хотел бы услышать здесь ваш прекрасный старый гимн. Мы не будем придавать значения его словам, но я хотел бы услышать только его музыку...

Переводчик перевел, и Краснов, поворачиваясь побледневшим от волнения лицом к гостям, крикнул сорвавшимся голосом:

— За великую, единую и неделимую Россию, ура!

Оркестр мощно и плавно начал «Боже, царя храни». Все поднялись, осушая бокалы. По лицу седого архиепископа Гермогена текли обильные слезы. «Как это прекрасно!..» — восторгался захмелевший капитан Бонд. Кто-то из сановных гостей, от полноты чувств, по-простецки рыдал, уткнув бороду в салфетку, измазанную раздавленной зернистой икрой...

* * *

В эту ночь над городом выл и ревел лютый приазовский ветер. Мертвенней блистал купол собора, овеянный первой метелицей...

В эту ночь за городом, на свалке, в суглинистых ярах по приговору военно-полевого суда расстреливали шахтинских большевиков-железнодорожников. С завязанными назад руками их по двое подводили к откосу, били в упор из наганов и винтовок, и звуки выстрелов изморозный ветер гасил, как искры из папирос...

А у входа в атаманский дворец, на стуже, на палящем зимнем ветру мертво стыл почетный караул из казаков лейб-гвардии Атаманского полка. У казаков чернели, сходились с пару сжимавшие эфесы обнаженных палашей руки, от холода слезились глаза, коченели ноги... Из дворца до зари неслись пьяные вскрики, медные всплески оркестра и рыдающие трели теноров войскового хора песенников...

* * *

А неделю спустя началось самое страшное — развал фронта. Первым обнажил занятый участок находившийся на калачовском направлении 28-й полк, в котором служил Петро Мелехов.

Казаки после тайных переговоров с командованием 15-й Инзенской дивизии решили сняться с фронта и беспрепятственно пропустить через территорию Верхне-Донского округа красные войска. Яков Фомин, недалекий, умственно ограниченный казак, стал во главе мятежного полка, но, по сути, только вывеска была фоминская, а за спиной Фомина правила делами и руководила Фоминым группа большевистски настроенных казаков.

После бурного митинга, на котором офицеры, побаиваясь пули в спину, неохотно доказывали необходимость

сражаться, а казаки дружно, напористо и бестолково выкрикивали все те же надоевшие всем слова о ненужности войны, о примирении с большевиками,— полк тронулся. После первого же перехода ночью возле слободы Солонки командир полка, войсковой старшина Филиппов, с большинством офицерского состава отбился от полка и на рассвете пристал к отступавшей, потрепанной в боях бригаде графа Мольера.

Следом за 28-м полком покинул позиции 36-й полк. Он в полном составе, со всеми офицерами, прибыл в Казанскую. Рабски заискивавший перед казаками, мелкорослый, с вороватыми глазами командир, окруженный всадниками, верхом подъехал к дому, где находился этапный комендант. Вошел воинственно, играя плетью.

— Кто комендант?

— Я — помощник коменданта,— привставая, с достоинством ответил Степан Астахов.— Закройте, господин офицер, дверь.

— Я — командир Тридцать шестого полка, войсковой старшина Наумов. Э... честь имею... Мне необходимо одеть и обуть полк. Люди у меня раздеты и босы. Слышите вы?

— Коменданта нет, а без него я не могу вам выдать со склада ни пары валенок.

— Как?

— А вот так.

— Ты!.. Ты с кем? Ар-р-рестую, черт тебя дер-р-ряі В подвал его, ребята! Где ключи от склада, тыловая ты крыса?.. Что-о-о? — Наумов хлопнул по столу плетью и, побледнев от бешенства, сдвинул на затылок лохматую маньчжурскую папаху.— Давай ключи — и без разговоров!

Через полчаса из дверей склада, вздымая оранжевую пыль, полетели на снег, на руки столпившихся казаков вязанки дубленых полушубков, пачки валенок, сапог, из рук в руки пошли кули с сахаром. Шумный и веселый говор долго будоражил площадь...

А в это время 28-й полк с новым командиром полка, вахмистром Фоминым, вступал в Вешенскую. Следом за ним, верстах в тридцати, шли части Инзенской дивизии. Красная разведка в этот день побывала уже на хуторе Дубровке.

Командующий Северным фронтом генерал-майор Иванов за четыре дня до этого вместе с начальником штаба генералом Замбржицким спешно эвакуировались в станицу Каргинскую. Автомобиль их буксовал по снегу, жена Замбржицкого в кровь кусала губы, дети плакали...

В Вешенской на несколько дней установилось безвластие. По слухам, в Каргинской сосредоточивались силы для того, чтобы бросить их на 28-й полк. Но 22 декабря из Каргинской в Вешенскую приехал адъютант Иванова и, посмеиваясь, забрал на квартире командующего забытые им вещи: летнюю фуражку с новенькой кокардой, головную щетку, бельишко и еще кое-что по мелочам...

В образовавшийся на Северном фронте стоверстный прорыв хлынули части 8-й Красной армии. Генерал Саватеев без боя отходил к Дону. На Талы и Богучар спешно отступали полки генерала Фицхелаурова. На севере на неделю стало необычно тихо. Не слышалось орудийного гула, помалкивали пулеметы. Удрученные изменой верхнедонских полков, без боя отступали бившиеся на Северном фронте низовские казаки. Красные подвигались сторожко, медленно, тщательно щупая разведками лежащие впереди хутора.

Крупнейшую для донского правительства неудачу на Северном фронте сменила радость. В Новочеркасск 26 декабря прибыла союзническая миссия: командующий британской военной миссией на Кавказе генерал Пул с начальником штаба полковником Киссом и представители Франции — генерал Франше-д'Эспере и капитан Фуке.

Краснов повез союзников на фронт. На станции Чир на перроне в холодное декабрьское утро был выстроен почетный караул. Вислоусый, пропойского вида генерал Мамонтов, обычно неряшливый, но на этот раз подтянутый, блистающий сизым глянцем свежевыбритых щек, ходил по перрону, окруженный офицерами. Ждали поезда. Около вокзала топтались и дули на посиневшие пальцы музыканты военного оркестра. В карауле живописно застыли разномастные и разновозрастные казаки низовских станиц. Рядом с седобородыми дедами стояли безусые юнцы, перемеженные чубатыми фронтовиками. У дедов на шинелях блистали золотом и серебром кресты и медали за Ловчу и Плевну, казаки помоложе были густо увешаны крестами, выслуженными за лихие атаки под Геок-Тепе, Сандепу и на германской — за Перемышль, Варшаву, Львов. Юнцы ничем не блистали, но тянулись в струнку и во всем старались подражать старшим.

Окутанный молочным паром, пригрохотал поезд. Не успели еще распахнуться дверцы пульмановского вагона, а капельмейстер уже свирепо взмахнул руками, и оркестр зычно дернул английский национальный гимн. Мамонтов, придерживая шашку, заспешил к вагону. Краснов радуш-

ным хозяином вел гостей к вокзалу мимо застывших шпалер казаков.

— Казачество все поднялось на защиту родины от диких красногвардейских банд. Вы видите представителей трех поколений. Эти люди сражались на Балканах, в Японии, Австро-Венгрии и Пруссии, а теперь сражаются за свободу отечества,— сказал он на превосходном французском языке, изящно улыбаясь, царственным кивком головы указывая на дедов, выпучивших глаза, замерших без дыхания.

Недаром Мамонтов, по распоряжению свыше, старался в подборе почетного караула. Товар был показан лицом.

Союзники побывали на фронте, удовлетворенные вернулись в Новочеркасск.

— Я очень доволен блестящим видом, дисциплинированностью и боевым духом ваших войск,— перед отъездом говорил генерал Пул Краснову.— Я немедленно отдам распоряжение, чтобы из Салоник отправили сюда к вам первый отряд наших солдат. Вас, генерал, я прошу приготовить три тысячи шуб и теплых сапог. Надеюсь, что при нашей помощи вы сумеете окончательно искоренить большевизм.

...Спешно шились дубленые полушубки, заготовлялись валенки. Но что-то не высаживался в Новороссийске союзнический десант. Уехавшего в Лондон Пула сменил холодный, высокомерный Бриггс. Он привез из Лондона новые инструкции и жестко, с генеральской прямолинейностью заявил:

— Правительство его величества будет оказывать Добровольческой армии на Дону широкую материальную помощь; но не даст ни одного солдата.

Комментарии к этому заявлению не требовались...

XII

Враждебность, незримой бороздой разделившая офицеров и казаков еще в дни империалистической войны, к осени 1918 года приняла размеры неслыханные. В конце 1917 года, когда казачьи части медленно стекались на Дон, случаи убийств и выдачи офицеров были редки, зато год спустя они стали явлением почти обычным. Офицеров заставляли во время наступления, по примеру красных командиров, идти впереди цепей — и без шума, тихонько постреливали им в спины. Только в таких частях, как

Гундоровский георгиевский полк, спайка была крепка, но в Донской армии их было немного.

Лукавый, смекалистый тугодум Петро Мелехов давно понял, что ссора с казаком накличет смерть, и с первых же дней заботливо старался уничтожить грань, отделявшую его, офицера, от рядового. Он так же, как и они, говорил в удобной обстановке о никчемности войны; причем говорил это неискренне, с великой натугой, но неискренности этой не замечали; подкрашивался под сочувствующего большевикам и неумеренно стал заискивать в Фомине, с тех пор как увидел, что того выдвигает полк. Так же, как и остальные, Петро не прочь был пограбить, поругать начальство, пожалеть пленного, в то время как в душе его припадочно колотилась ненависть и руки корежила судорога от зудящего желания ударить, убить... На службе был он покладист, прост, — воск, а не хорунжий! И ведь втерся Петро в доверие к казакам, сумел на их глазах переменить личину.

Когда под слободой Солонкой Филиппов увел офицеров, Петро остался. Смирный и тихий, постоянно пребывающий в тени, во всем умеренный, вместе с полком пришел он в Вешенскую. А в Вешенской, пробыв два дня, не выдержал и, не побывав ни в штабе, ни у Фомина, ахнул домой.

С утра в тот день в Вешенской на плацу около старой церкви был митинг. Полк ждал приезда делегатов Инзенской дивизии. По плацу толпами ходили казаки в шинелях, в полушубках — нагольных и сшитых из шинелей, в пиджаках, в ватных чекменях. Не верилось, что это пестро одетая огромная толпа — строевая часть, 28-й казачий полк. Петро уныло переходил от одного курагота к другому, по-новому оглядывал казаков. Раньше, на фронте, одежда их не бросалась в глаза, да и не приходилось видеть полк целой компактной массой. Теперь Петро, ненавидяще покусывая отросший белый ус, глядел на заиндевевшие лица, на головы, покрытые разноцветными папахами, малахаями, кубанками, фуражками, снижал глаза и видел такое же богатое разнообразие: растоптанные валенки, сапоги, обмотки поверх снятых с красноармейца ботинок.

— Босотва! Мужики проклятые! Выродки! — в бессильной злобе шептал про себя Петро.

На заборах белели фоминские приказы. Жителей не было видно на улицах. Станица выжидающе таилась. В просветах переулков виднелась белая грудина заметенного снегом Дона. Лес за Доном чернел, как нарисованный тушью. Около серой каменной громады старой церкви

овечьей отарой кучились приехавшие с хуторов к мужьям бабы.

Петро, одетый в опушенный по бортам полушубок с огромным карманом на груди и эту проклятую каракулевую офицерскую папаху, которой он недавно так гордился, ежеминутно чувствовал на себе косые, холодные взгляды. Они пронизывали его сквозняком, усугубляли и без того тревожно-растерянное состояние. Он смутно помнил, как на днище опрокинутой посредине плаца бочки вырос приземистый красноармеец в добротной шинели и новехонькой мерлушковой папашке с расстегнутыми мотузками наушников. Рукой в пуховой перчатке тот поправил обмотанный вокруг шеи дымчато-серый кроличий, казачий с махрами шарф, огляделся.

— Товарищи казаки! — резнул по ушам Петра низкий простуженный голос.

Оглянувшись, Петро увидел, как казаки, пораженные непривычным в их обиходе словом, переглядываются, подмигивают друг другу обещающе и взволнованно. Красноармеец долго говорил о Советской власти, о Красной Армии и взаимоотношениях с казачеством. Петру особенно запомнилось,— оратора все время перебивали криками:

— Товарищ, а что такое коммуния?

— А нас в нее не запишут?

— А что за коммунистическая партия?

Оратор прижимал к груди руки, поворачивался во все стороны, терпеливо разъяснял:

— Товарищи! Коммунистическая партия — это дело добровольное. В партию вступают по собственному желанию те, кто хочет бороться за великое дело освобождения рабочих и крестьян от гнета капиталистов и помещиков.

Через минуту из другого угла выкрикивали:

— Просим разъяснить насчет коммунистов и комиссаров!

После ответа не проходило и нескольких минут, как снова чей-нибудь ядовитый бас громыхал:

— Непонятно гутаришь про комунию! Покорнейше просим растолковать. Мы — люди темные. Ты нам простыми словами жарь!

Потом нудно и долго говорил Фомин и часто, к делу и не к делу, щеголял словом «экуироваться». Около Фомина вьюном вился какой-то молодой парень в студенческой фуражке и щегольском пальто. А Петро, слушая бессвязную речь Фомина, вспомнил, как в феврале 1917 года, в день, когда к нему приехала Дарья, в первый раз увидел

ни Фомина на станции по пути к Петрограду. Перед глазами его стоял строгий, влажно мерцающий взгляд широко посаженных глаз дезертира-атаманца, одетого в шинель с истертым номером «52» на урядницких погонах, медвежковатая его поступь. «Невтерпеж, братушка!» — слышались Петру невнятные слова. «Дезертир, дурак вроде Христони, а зараз — командир полка, а я в холодке»,— горячечно блестя глазами, думал Петро.

Казак, опоясанный наперекрест пулеметными лентами, сменил Фомина.

— Братцы! Я сам у Подтелкова в отряде был, и вот ишо, может, бог даст, придется со своими идтить на кадетов! — хрипло кричал он, широко кидая руками.

Петро быстро зашагал к квартире. Седлал коня и слышал, как стреляли казаки, разъезжаясь из станицы, по старому обычаю оповещая хутора о возвращении служивых.

XIII

Пугающие тишиной, короткие дни под исход казались большими, как в страдную пору. Полегли хутора глухой целинной степью. Будто вымерло все Обдонье, будто мор опустошил станичные юрты. И стало так, словно покрыла Обдонье туча густым, непросветно-черным крылом, распростерлась немо и страшно и вот-вот пригнет к земле тополя вихрем, полыхнет сухим, трескучим раскатом грома и пойдет крушить и корежить белый лес за Доном, осыпать с меловых отрогов дикий камень, реветь погибельными голосами грозы...

С утра в Татарском застилал землю туман. Гора гудела к морозу. К полудню солнце вышелушивалось из хлипкой мглы, но от этого не становилось ярче. А туман потерянно бродил по высотам Обдонских гор, валился в яры, в отроги и гибнул там, оседая мокрой пылью на мшистых плитняках мела, на оснеженных голызинах гребней.

Вечерами из-за копий голого леса ночь поднимала калено-красный огромный щит месяца. Он мглисто сиял над притихшими хуторами кровяными отсветами войны и пожаров. И от его нещадного немеркнущего света рождалась у людей невнятная тревога, нудился скот. Лошади и быки, лишаясь сна, бродили до рассвета по базам. Выли собаки, и задолго до полуночи вразноголось начинали перекликиваться кочета. К заре заморозок ледком оковы-

вал мокрые ветви деревьев. Ветром сталкивало их, и они звенели, как стальные стремена. Будто конная невидимая рать шла левобережьем Дона, темным лесом, в сизой тьме, позвякивая оружием и стременами.

Почти все татарские казаки, бывшие на Северном фронте, вернулись в хутор, самовольно покинув части, медленно оттягивавшиеся к Дону. Каждый день являлся кто-либо из запоздавших. Иной — для того, чтобы надолго расседлать строевого коня и ждать прихода красных, засунув боевое снаряжение в стог соломы или под застреху сарая, а другой, отворив занесенную снегом калитку, только вводил коня на баз и, пополнив запас сухарей, переспав ночь с женкой, поутру выбирался на шлях, с бугра в остатний раз глядел на белый, мертвый простор Дона, на родимые места, кинутые, быть может, навсегда.

Кто зайдет смерти наперед? Кто разгадает конец человечьего пути?.. Трудно шли кони от хутора. Трудно рвали от спекшихся сердец казаки жалость к близким. И по этой перенесенной поземкой дороге многие мысленно возвращались домой. Много тяжелых думок было передумано по этой дороге... Может, и соленая, как кровь, слеза, скользнув по крылу седла, падала на стынущее стремя, на искусанную шипами подков дорогу. Да ведь на том месте по весне желтый лазоревый цветок расставанья не вырастет?

* * *

В ночь, после того, как приехал из Вешенской Петро, в мелеховском курене начался семейный совет.

— Ну, что? — спросил Пантелей Прокофьевич, едва Петро перешагнул порог.— Навоевался? Без погон приехал? Ну, иди-иди, поручкайся с братом, матерю порадуй, жена вон истосковалась... Здорово, здорово, Петяша... Григорий! Григорь Пантелевич, что же ты на печи, как сурок, лежишь? Слазь!

Григорий свесил босые ноги с туго подтянутыми штрипками защитных шаровар и, с улыбкой почесывая черную, в дремучем волосе грудь, глядел, как Петро, перехилившись, снимает портупею, деревянными от мороза пальцами шарит по узлу башлыка. Дарья, безмолвно и улыбчиво засматривая в глаза мужа, расстегивала на нем петли полушубка, опасливо обходила с правой стороны, где рядом с кобурой нагана сизо посвечивала привязанная к поясу ручная граната.

На ходу коснувшись щекой заиндевевших усов брата, Дуняшка выбежала убрать коня. Ильинична, вытирая завеской губы, готовилась целовать «старшенького». Около печи хлопотала Наталья. Вцепившись в подол ее юбки, жались детишки. Все ждали от Петра слова, а он, кинув с порога хриплое: «Здорово живете!» — молча раздевался, долго обметал сапоги просяным веником и, выпрямив согнутую спину, вдруг жалко задрожал губами, как-то потерянно прислонился к спинке кровати, и все неожиданно увидели на обмороженных, почерневших щеках его слезы.

— Служивый! Чего это ты? — под шутливостью хороня тревогу и дрожь в горле, спросил старик.

— Пропали мы, батя!

Петро длинно покривил рот, шевельнул белесыми бровями и, пряча глаза, высморкался в грязную, провонявшую табаком утирку.

Григорий ушиб ласкавшегося к нему кота,— крякнув, соскочил с печки. Мать заплакала, целуя завшивевшую голову Петра, но сейчас же оторвалась от него.

— Чадушка моя! Жалкий мой, молочка-то кисленького положить? Да ты иди, садись, щи охолонуть. Голодный, небось?

За столом, нянча на коленях племянника, Петро оживился: сдерживая волнение, рассказал об уходе с фронта 28-го полка, о бегстве командного состава, о Фомине и о последнем митинге в Вешенской.

— Как же ты думаешь? — спросил Григорий, не снимая с головы дочери черножилую руку.

— И думать нечего. Завтра вот переднюю, а к ночи поеду. Вы, маманя, харчей мне сготовьте,— повернулся он к матери.

— Отступать, значит?

Пантелей Прокофьевич утопил пальцы в кисете, да так и остался с высыпавшимся из щепоти табаком, ожидая ответа.

Петро встал, крестясь на мутные, черного письма, иконы, смотрел сурово и горестно.

— Спаси Христос, наелся!.. Отступать, говоришь? А то как же? Чего же я останусь? Чтобы мне краснопузые кочан срубили? Может, вы думаете оставаться, а я... Не, уж я поеду! Офицеров они не милуют.

— А дом как же? Стал быть, бросим?

Петро только плечами повел на вопрос старика. Но сейчас же заголосила Дарья:

— Вы уедете, а мы должны оставаться? Хороши, нечего сказать! Ваше добро будем оберегать!.. Через него, может, и жизни лишишься! Сгори оно вам ясным огнем! Не останусь я!

Даже Наталья, и та вмешалась в разговор. Глуша звонкий речитатив Дарьи, выкрикнула:

— Ежели хутор миром тронется — и мы не останемся! Пеши уйдем!

— Дуры! Сучки! — исступленно заорал Пантелей Прокофьевич, перекатывая глаза, невольно ища костыль.— Стервы, мать вашу курицу! Цыцте, окаянные! Мущинское дело, а они равняются... Ну, давайте бросим все и пойдем куда глаза глядят! А скотину куда денем? За пазуху покладем? А курень?..

— Вы, бабочки, чисто умом тронулись! — обиженно поддержала его Ильинична.— Вы его, добро-то, не наживали, вам легко его кинуть. А мы со стариком день и ночь хрип гнули, да вот так-таки и кинуть? Нет уж! — она поджала губы, вздохнула.— Идите, а я с места не тронусь. Нехай лучше у порога убьют,— все легче, чем под чужим плетнем сдыхать!

Пантелей Прокофьевич подкрутил фитиль у лампы, сопя и вздыхая. На минуту все замолчали. Дуняшка, надвязывавшая паголенок чулка, подняла от спиц голову, шепотом сказала:

— Скотину с собой можно угнать... Не оставаться же из-за скотины.

И опять бешенство запалило старика. Он, как стоялый жеребец, затопал ногами, чуть не упал, споткнувшись о лежавшего у печки козленка. Остановившись против Дуняшки, оранул:

— Погоним! А старая корова починает,— это как? Докель ты ее догонишь? Ах ты, фитинов в твою дыхало! Бездомовница! Поганка! Гнида! Наживал-наживал им — и вот что припало услыхать!.. А овец? Ягнят куда денешь?.. Ох, ох, су-у-укина дочь! Молчала бы!

Григорий искоса глянул на Петра и, как когда-то давным-давно, увидел в карих родных глазах его озорную, подтрунивающую и в то же время смиренно-почтительную улыбку, знакомую дрожь пшеничных усов. Петро молниеносно мигнул, весь затрясся от сдерживаемого хохота. Григорий и в себе радостно ощутил эту, несвойственную ему за последние годы податливость на смех, не таясь засмеялся глухо и раскатисто.

— Ну, вот!.. Слава богу... Погутарили! — Старик гнев-

но шибнул в него взглядом и сел, отвернувшись к окну, расшитому белым пухом инея.

Только в полночь пришли к общему решению: казакам ехать в отступ, а бабам оставаться караулить дом и хозяйство.

Задолго до света Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила две сумы сухарей. Старик, позавтракав при огне, с рассветом пошел убирать скотину, готовить к отъезду сани. Он долго стоял в амбаре, сунув руку в набитый пшеницей-гарновкой закром, процеживая сквозь пальцы ядреное зерно. Вышел, будто от покойника: сняв шапку, тихо притворив за собой желтую дверь...

Он еще возился под навесом сарая, меняя на санях кошелку, когда на проулке показался Аникушка, гнавший на водопой корову. Поздоровались.

— Собрался в отступ, Аникей?

— Мне собраться, как голому подпоясаться. Мое — во мне, а чужое будет при мне!

— Нового что слышно?

— Новостей много, Прокофич!

— А что? — встревожился Пантелей Прокофьевич, воткнув в ручицу саней топор.

— Красные что не видно[1] будут. Подходят к Вёшкам. Человек видал с Большого Громка, рассказывал, будто нехорошо идут. Режут людей... У них жиды да китайцы, нагреби их в пыль! Мало мы их, чертей косоглазых, побили!

— Режут?

— Ну, а то нюхают! А тут чигуня[2] проклятая! — Аникушка заматерился и пошел мимо плетня, на ходу договаривая: — Задонские бабы дымки наварили, пòют их, чтоб лиха им не делали, а они напьются, другой хутор займут и шебаршат.

Старик установил кошелку, обошел все сараи, оглядывая каждый стоянок и плетень, поставленный его руками. А потом взял вахли[3], захромал на гумно надергать на дорогу сена. Он вытащил из прикладка железный крюк и, все еще не почувствовав неотвратимости отъезда, стал дергать сено похуже, с бурьяном (доброе он всегда прибéрегал к весенней пахоте), но одумался и, досадуя на себя, перешел к другому стогу. До его сознания как-то не дошло, что вот через несколько часов он покинет баз и хутор и пое-

---

[1] Что не видно — вот-вот, очень скоро.

[2] Чига, чигуня — насмешливое прозвище верхнедонских казаков.

[3] Вахли — сетка, в которой носят сено.

дет куда-то на юг и, может быть, даже не вернется. Он надергал сена и снова, по-старому, потянулся к граблям, чтобы подгрести, но, отдернув руку, как от горячего, вытирая вспотевший под треухом лоб, вслух сказал:

— Да на что ж мне его беречь-то теперь? Все одно ить помечут коням под ноги, потравют зазря али сожгут.

Хряпнув об колено грабельник, он заскрипел зубами, понес вахли с сеном, старчески шаркая ногами, сгорбясь и постарев спиной.

В курень он не вошел, а, приоткрыв дверь, сказал:

— Собирайтесь! Зараз буду запрягать. Как бы не припоздниться.

Уже накинул на лошадей шлейки, уложил в задок чувал с овсом и, дивясь про себя, что сыны так долго не выходят седлать коней, снова пошел к куреню.

В курене творилось чудное: Петро ожесточенно расшматовывал узлы, приготовленные в отступ, выкидывал прямо на пол шаровары, мундиры, праздничные бабьи наряды.

— Это что же такое? — в совершенном изумлении спросил Пантелей Прокофьевич и даже треух снял.

— А вот! — Петро через плечо указал большим пальцем на баб, закончил: — Ревут. И мы никуда не поедем! Ехать — так всем, а не ехать — так никому! Их, может, тут сильничать красные будут, а мы поедем добро спасать? А убивать будут — на ихних глазах помрем.

— Раздевайся, батя! — Григорий, улыбаясь, снимал с себя шинель и шашку, а сзади ловила и целовала его руку плачущая Наталья и радостно шлепала в ладоши маково-красная Дуняшка.

Старик надел треух, но сейчас же снова снял его и, подойдя к переднему углу, закрестился широким, машистым крестом. Он положил три поклона, встал с колен, оглядел всех.

— Ну, коли так — остаемся! Укрой и оборони нас, царица небесная! Пойду распрягать.

Прибежал Аникушка. В мелеховском курене поразили его сплошь смеющиеся, веселые лица.

— Чего же вы?

— Не поедут наши казаки! — за всех ответила Дарья.

— Вот так хны! Раздумали?

— Раздумали! — Григорий нехотя оскалил рафинадно-синюю подковку зубов, подмигнул: — Смерть — ее нечего искать, она и тут налапает.

— Офицерья не едут, а нам и бог велел! — И Аникушка, как на копытах, прогрохотал с крыльца и мимо окон.

XIV

В Вешенской на заборах трепыхались фоминские приказы. С часу на час ждали прихода красных войск. А в Каргинской, в тридцати пяти верстах от Вешенской, находился штаб Северного фронта. В ночь на 4 января пришел отряд чеченцев, и спешно, походным порядком, от станицы Усть-Белокалитвенской двигался на фоминский мятежный полк карательный отряд войскового старшины Романа Лазарева.

Чеченцы должны были 5-го идти в наступление на Вешенскую. Разведка их уже побывала на Белогорке. Но наступление сорвалось: перебежчик из фоминских казаков сообщил, что значительные силы Красной Армии ночуют на Гороховке и 5-го должны быть в Вешенской.

Краснов, занятый прибывшими в Новочеркасск союзниками, пытался воздействовать на Фомина. Он вызвал его к прямому проводу Новочеркасск — Вешенская. Телеграф, до этого настойчиво выстукивавший «Вёшенская, Фомина», связал короткий разговор:

«Вёшенская Фомину точка Урядник Фомин зпт приказываю образумиться и стать с полком на позицию точка Двинут карательный отряд точка Ослушание влечет смертную казнь точка Краснов».

При свете керосиновой лампы Фомин, расстегнув полушубок, смотрел, как из-под пальцев телеграфиста бежит, змеясь, испятнанная коричневыми блестками тонкая бумажная стружка, говорил, дыша в затылок телеграфисту морозом и самогонкой:

— Ну, чего там брешет? Образумиться? Кончил он?.. Пиши ему... Что-о-о? Как это — нельзя? Прика́зываю, а то зараз зоб с потрохами вырву!

И телеграф застучал:

«Новочеркасск атаману Краснову точка Катись под такую мать точка Фомин».

Положение на Северном фронте стало чревато такими осложнениями, что Краснов решил сам выехать в Каргинскую, чтобы оттуда непосредственно направить «карающую десницу» против Фомина и, главное, поднять дух деморализованных казаков. С этой целью он и пригласил союзников в поездку по фронту.

В слободе Бутурлиновке был устроен смотр только что вышедшему из боя Гундоровскому георгиевскому полку. Краснов после смотра стал около полкового штандарта. Поворачиваясь корпусом вправо, зычно крикнул:

— Кто служил под моей командой в Десятом полку — шаг вперед!

Почти половина гундоровцев вышла перед строй. Краснов снял папаху, крест-накрест поцеловал ближнего к нему немолодого, но молодецкого вахмистра. Вахмистр рукавом шинели вытер подстриженные усы, обмер, растерянно вытаращил глаза. Краснов перецеловался со всеми полчанинами. Союзники были поражены, недоуменно перешептывались. Но удивление сменили улыбки и сдержанное одобрение, когда Краснов, подойдя к ним, пояснил:

— Это те герои, с которыми я бил немцев под Незвиской, австрийцев у Белжеца и Комарова и помогал нашей общей победе над врагом.

...По обеим сторонам солнца, как часовые у денежного ящика, мертво стояли радужные, в белой опояси столбы. Холодный северо-восточный ветер горнистом трубил в лесах, мчался по степи, разворачиваясь в лаву, опрокидываясь и круша ощетиненные каре бурьянов. К вечеру 6 января (над Чиром уже завесой повисли сумерки) Краснов, в сопутствии офицеров английской королевской службы — Эдвардса и Олкотта, и французов — капитана Бартело и лейтенанта Эрлиха, прибыл в Каргинскую. Союзники — в шубах, в мохнатых заячьих папахах, со смехом, ежась и постукивая ногами, вышли из автомобилей, овеянные запахами сигар и одеколона. Согревшись на квартире богатого купца Левочкина, напившись чаю, офицеры вместе с Красновым и командующим Северным фронтом генерал-майором Ивановым пошли в школу, где должно было состояться собрание.

Краснов долго говорил перед настороженными толпами казаков. Его слушали внимательно, хорошо. Но когда он в речи стал живописно изображать «зверства большевиков», творимые в занимаемых ими станицах, из задних рядов, из табачной сини кто-то крикнул в сердцах:

— Неправда! — и сорвал впечатление.

Наутро Краснов с союзниками спешно уехал в Миллерово.

Столь же поспешно эвакуировался штаб Северного фронта. По станице до вечера рыскали чеченцы, вылавливали не хотевших отступать казаков. Ночью был подожжен склад огнеприпасов. До полуночи, как огромный ворох горящего хвороста, трещали винтовочные патроны; обвально прогрохотали взорвавшиеся снаряды. На другой день, когда на площади шло молебствие перед отступлением, с Каргинского бугра застрочил пулемет. Пули вешним

градом забарабанили по церковной крыше, и все в беспорядке хлынуло в степь. Лазарев со своим отрядом и немногочисленные казачьи части пытались заслонить отступавших: пехота цепью легла за ветряком, 36-я Каргинская батарея под командой каргинца, есаула Федора Попова, обстреляла беглым огнем наступавших красных, но вскоре взялась на передки. А пехоту красная конница обошла с хутора Латышева и, прижучив в ярах, изрубила человек двенадцать каргинских стариков, в насмешку окрещенных кем-то «гайдамаками».

XV

Решение не отступать вновь вернуло в глазах Пантелея Прокофьевича силу и значимость вещам.

Вечером вышел он метать скотине и, уже не колеблясь, надергал сена из худшего прикладка. На темном базу долго со всех сторон охаживал корову, удовлетворенно думая: «Починает, дюже толстая. Уж не двойню ли господь даст?» Все ему опять стало родным, близким; все, от чего он уже мысленно отрешился, обрело прежнюю значительность и вес. Он уже успел за короткий предвечерний час и Дуняшку выругать за то, что мякину просыпала у катуха и не выдолбила льда из корыта, и лаз заделать, пробитый в плетне боровом Степана Астахова. Кстати, спросил у Аксиньи, выскочившей закрыть ставни, про Степана — думает ли ехать в отступ? Аксинья, кутаясь в платок, певуче говорила:

— Нет, нет, где уж ему уехать! Лежит зараз на печи, вроде лихоманка его трепет... Лоб горячий, и на нутро жалится. Захворал Степа. Не поедет...

— И наши тоже. И мы, то есть, не поедем. Чума его знает, к лучшему оно али нет...

Смеркалось. За Доном, за серой пропастью леса, в зеленоватой глубине жгуче горела Полярная звезда. Окраина неба на востоке крылась багрянцем. Вставало зарево. На раскидистых рогах осокоря торчала срезанная горбушка месяца. На снегу смыкались невнятные тени. Темнели сугробы. Было так тихо, что Пантелей Прокофьевич слышал, как на Дону у проруби кто-то, наверное Аникушка, долбил лед пешней. Льдинки брызгали и бились, стеклянно вызванивая. Да на базу размеренно хрустели сеном быки.

В кухне зажгли огонь. В просвете окна скользнула Наталья. Пантелея Прокофьевича потянуло к теплу. Он

застал всех домашних в сборе. Дуняшка только что пришла от Христониной жены. Опорожняла чашку с накваской и, боясь, как бы не перебили, торопливо рассказывала новости.

В горнице Григорий смазал винтовку, наган, шашку; завернул в полотенце бинокль, позвал Петра:

— Ты свое прибрал? Неси. Надо схоронить.

— А что, ежели обороняться придется?

— Молчал бы уж! — усмехнулся Григорий.— Гляди, а то найдут, за мотню на ворота повесют.

Они вышли на баз. Оружие, неведомо почему, спрятали порознь. Но новенький черный наган Григорий сунул в горнице под подушку.

Едва лишь поужинали и среди вялых разговоров стали собираться спать,— на базу хрипато забрехал цепной кобель, кидаясь на привязи, хрипя от душившего ошейника. Старик вышел посмотреть, вернулся с кем-то, по брови укутанным башлыком. Человек при полном боевом, туго стянутый белым ремнем, войдя, перекрестился; изо рта, обведенного инеем, похожего на белую букву «о», повалил пар.

— Должно, не узнаете меня?

— Да ить это сват Макар! — вскрикнула Дарья.

И тут только Петро и все остальные угадали дальнего родственника, Макара Ногайцева,— казака с хутора Сингина,— известного во всем округе редкостного песенника и пьяницу.

— Каким тебя лихом занесло? — улыбался Петро, но с места не встал.

Ногайцев, содрав с усов, покидал к порогу сосульки, потопал ногами в огромных, подшитых кожей валенках, не спеша стал раздеваться.

— Одному, сдается, скучно ехать в отступ,— дай-ка, думаю, заеду за сватами. Слух поимел, что обои вы дома. Заеду, говорю бабе, за Мелеховыми, все веселей будет.

Он отнес винтовку и поставил у печки рядом с рогачами, вызвав у баб улыбки и смех. Подсумок сунул под загнетку, а шашку и плеть почетно положил на кровать. И на этот раз Макар пахуче дышал самогонкой, большие, навыкате, глаза дымились пьяным хмельком, в мокром колтуне бороды белел ровный набор голубоватых, как донские ракушки, зубов.

— С Сингиных аль не выступают казаки? — спросил Григорий, протягивая шитый бисером кисет.

Гость кисет отвел рукой.

— Не займаюсь табачком... Казаки-то? Кто уехал, а кто сурчину ищет, где бы схорониться. Вы-то поедете?

— Не поедут наши казаки. Ты уж не мани их! — испугалась Ильинична.

— Неужли остаетесь? Ажник не верю! Сват Григорий, верно? Жизни решаетесь, братушки!

— Что будет...— вздохнул Петро и, внезапно охваченный огневым румянцем, спросил: — Григорий! Ты как? Не раздумал? Может, поедем?

— Нет уж.

Табачный дым окутал Григория и долго колыхался над курчеватым смоляным чубом.

— Коня твоего отец убирает? — не к месту спросил Петро.

Тишина захрясла надолго. Только прялка под ногой Дуняшки шмелем жужжала, навевая дрему.

Ногайцев просидел до белой зорьки, все уговаривая братьев Мелеховых ехать за Донец. За ночь Петро два раза без шапки выбегал седлать коня и оба раза шел расседлывать, пронзаемый грозящими Дарьиными глазами.

Занялся свет, и гость засобирался. Уже одетый, держась за дверную скобку, он значительно покашлял, сказал с потаенной угрозой:

— Может, оно и к лучшему, а тольки всхомянетесь вы посля. Доведется нам вернуться оттель,— мы припомним, какие красным на Дон ворота отворяли, оставались им служить...

С утра густо посыпал снег. Выйдя на баз, Григорий увидел, как из-за Дона на переезд ввалился чернеющий ком людей. Лошади восьмеркой тащили что-то, слышались говор, понуканье, матерная ругань. Сквозь метель, как в тумане, маячили седые силуэты людей и лошадей. Григорий по четверной упряжке угадал: «Батарея... Неужели красные?» От этой мысли сдвоило сердце, но, поразмыслив, он успокоил себя.

Раздерганная толпа приближалась к хутору, далеко обогнув черное, глядевшее в небо жерло полыньи. Но на выезде переднее орудие, сломав подмытый у берега ледок, обрушилось одним колесом. Ветер донес крик ездовых, хруст крошащегося льда и торопкий, оскользающийся перебор лошадиных копыт. Григорий прошел на скотиний баз, осторожно выглянул. На шинелях всадников разглядел засыпанные снегом погоны, по обличью угадал казаков.

Минут пять спустя в ворота въехал на рослом, широ-

кокрупом коне стариковатый вахмистр. Он слез у крыльца, чумбур привязал к перилам, вошел в курень.

— Кто тут хозяин? — спросил он, поздоровавшись.

— Я...— ответил Пантелей Прокофьевич, испуганно ждавший следующего вопроса: «А почему ваши казаки дома?»

Но вахмистр кулаком расправил белые от снега, витые и длинные, как аксельбанты, усы, попросил:

— Станишники! Помогите, ради Христа, выручить орудие! Провалилось у берега по самые ося... Может, бечевы есть? Это какой хутор? Заблудились мы. Нам бы в Еланскую станицу надо, но такая посыпала — зги не видать. Малшрут мы потеряли, а тут красные вот-вот хвост прищемют.

— Я не знаю, ей-богу...— замялся старик.

— Чего тут знать! Вон у вас казаки какие... Нам и людей бы — надо помочь.

— Хвораю я,— сбрехнул Пантелей Прокофьевич.

— Что ж вы, братцы! — Вахмистр, как волк, не поворачивая шеи, оглядел всех. Голос его будто помолодел и выпрямился.— Аль вы не казаки? Значит, нехай пропадает войсковое имущество? Я за командира батареи остался, офицеры поразбегались, неделю вот с коня не схожу, обморозился, пальцы на ноге поотпали, но я жизни решуся, а батарею не брошу!.. А вы... Тут нечего! Добром не хотите — я зараз кликну казаков, и мы вас...— вахмистр со слезой и гневом выкрикнул: — Заставим, сукины сыны! Большевики! В гроб вашу мать! Мы тебя, дед, самого запрягем, коли хошь! Иди народ кличь, а не пойдут,— накажи бог, вернусь на энтот бок и хутор ваш весь с землей смешаю...

Он говорил, как человек, не совсем уверенный в своей силе. Григорию стало жаль его. Схватил шапку, сурово, не глянув на расходившегося вахмистра, сказал:

— Ты не разоряйся. Нечего тут! Выручить поможем, а там езжай с богом.

Положив плетни, батарею переправили. Народу сошлось немало. Аникушка, Христоня, Томилин Иван, Мелеховы и с десяток баб при помощи батарейцев выкатили орудия и зарядные ящики, пособили лошадям взять подъем. Обмерзшие колеса не крутились, гальмовали по снегу. Истощенные лошади трудно брали самую малую горку. Номера, половина которых разбежалась, шли пешком. Вахмистр снял шапку, поклонился, поблагодарил помогавших и, поворачиваясь в седле, негромко приказал:

— Батарея, за мной!

Вслед ему Григорий глядел почтительно, с недоверчивым изумлением. Петро подошел, пожевал ус и, словно отвечая на мысль Григория, сказал:

— Кабы все такие были! Вот как надо тихий Дон-то оборонять!

— Ты про усатого? Про вахмистра? — спросил, подходи, захлюстанный по уши Христоня.— И гляди, стал быть, дотянет свои пушки. Как он, язви его, на меня плетью замахнись! И вдарил бы,— стал быть, человек в отчаянности. Я не хотел идтить, а потом, признаться, спужался. Хучь и валенков нету, пошел. И скажи, на что ему, дураку, эти пушки? Как шкодливая свинья с колодкой: и трудно и не на добро, а тянет...

Казаки разошлись, молча улыбаясь.

XVI

Далеко за Доном — время перевалило уже за обед — пулемет глухо выщелкал две очереди и смолк.

Через полчаса Григорий, не отходивший от окна в горнице, ступил назад, до скул оделся пепельной синевой.

— Вот они!

Ильинична ахнула, кинулась к окну. По улице вроссыпь скакали восемь конных. Они на рысях дошли до мелеховского база,— приостановившись, оглядели переезд за Дон, чернотропный проследок, стиснутый Доном и горой, повернули обратно. Сытые лошади их, мотая куце обрезанными хвостами, закидали, забрызгали снежными ошметками. Конная разведка, рекогносцировавшая хутор, скрылась. Спустя час Татарский налился скрипом шагов, чужою, окающей речью, собачьим брехом. Пехотный полк, с пулеметами на санях, с обозом и кухнями, перешел Дон и разлился по хутору.

Как ни страшен был этот первый момент вступления вражеского войска, но смешливая Дуняшка не вытерпела и тут: когда разведка повернула обратно, она фыркнула в завеску, выбежала на кухню. Наталья встретила ее испуганным взглядом.

— Ты чего?

— Ох, Наташенька! Милушка!... Как они верхами ездют! Уж он по седлу взад-вперед, взад-вперед... А руки в локтях болтаются. И сами — как из лоскутов сделанные, все у них трясется!

Она так мастерски воспроизвела, как ерзали в седлах красноармейцы, что Наталья добежала, давясь смехом, до кровати, упала в подушки, чтоб не привлечь гневного внимания свекра.

Пантелей Прокофьевич в мелком трясучем ознобе бесцельно передвигал по лавке в бокоуше дратву, шилья, баночку с березовыми шпильками и все поглядывал в окно сузившимся затравленным взглядом.

А в кухне расходились бабы, словно не перед добром: пунцовая Дуняшка с мокрыми от слез глазами, блестевшими, как зерна обрызганного росой паслена, показывала Дарье посадку в седлах красноармейцев и в размеренные движения с бессознательным цинизмом вкладывала непристойный намек. Ломались от нервного смеха у Дарьи круглые подковы крашеных бровей, она хохотала, хрипло и сдавленно выговаривая:

— Небось, шаровары до дыр изотрет!.. Такой-то ездок... Луку выгнет!..

Даже Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на минуту развеселил смех.

— Чудно глядеть на ихнюю езду? — спросил он.— А им не жалко. Побьют спину коню — другого подцепют. Мужики! — И с бесконечным презрением махнул рукой.— Он и лошадь-то, может, в первый раз видит: «Мал-ти поедим, гляди — и доедим». Отцы ихние колесного скрипу боялись, а они джигитуют!.. Эх! — Он похрустел пальцами, ткнулся в дверь горницы.

Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на группы, заходили во дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, пятеро, из них один конный, остались около астаховского куреня, а остальные пятеро направились вдоль плетня к Мелеховым. Впереди шел невысокий пожилой красноармеец, бритый, с приплюснутым, широконоздрым носом, сам весь ловкий, подбористый, с маху видать — старый фронтовик. Он первый вошел на мелеховский баз и, остановившись около крыльца, с минуту, угнув голову, глядел, как гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем; потом снял с плеча винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий, поправляя ворот душившей его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня его кровью, катается собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную цепь. Оглянувшись, Григорий увидел омытые бледностью лица женщин, беспамятные глаза матери. Он без шапки шагнул в сенцы.

— Оставь! — чужим голосом крикнул вслед отец.

Григорий распахнул дверь. На порог, звеня, упала порожняя гильза. В калитку входили отставшие красноармейцы.

— За что убил собаку? Помешала? — спросил Григорий, став на пороге.

Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тонких, выбритых досиня губ сползли вниз. Он оглянулся, перекинул винтовку на руку.

— А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон не жалко потратить. Хочешь? Становись!

— Но-но, брось, Александр! — подходя и смеясь, проговорил рослый, рыжебровый красноармеец.— Здравствуйте, хозяин! Красных видали? Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку убил? Напрасно!.. Товарищи, проходите.

Последним вошел Григорий. Красноармейцы весело здоровались, снимали подсумки, кожаные японские патронташи, на кровать в кучу валили шинели, ватные теплушки, шапки. И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла,— запахом дальних путин.

Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу и, словно продолжая начатый с Григорием разговор, спросил:

— Ты в белых был?

— Да...

— Вот... Я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Беленький! Офицер, а? Золотые погоны?

Дым он столбом выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у притолоки Григория холодными, безулыбчивыми глазами, и все постукивал снизу папиросу прокуренным выпуклым ногтем.

— Офицер ведь? Признавайся! Я по выправке вижу; сам, чай, германскую сломал.

— Был офицером,— Григорий насильственно улыбнулся и, поймав сбоку на себе испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подрожал бровью. Ему стало досадно за свою улыбку.

— Жаль! Оказывается, не в собаку надо было стрелить...

Красноармеец бросил окурок под ноги Григорию, подмигнул остальным.

И опять Григорий почувствовал, как, помимо воли,

кривит его губы улыбка, виноватая и просящая, и он покраснел от стыда за свое невольное, не подвластное разуму проявление слабости. «Как нашкодившая собака перед хозяином»,— стыдом ожгла его мысль, и на миг выросло перед глазами: такой же улыбкой щерил черные атласные губы убитый белогрудый кобель, когда он, Григорий, хозяин, вольный и в жизни его и в смерти, подходил к нему и кобель, падая на спину, оголял молодые резцы, бил пушистым рыжим хвостом...

Пантелей Прокофьевич все тем же незнакомым Григорию голосом спросил: может, гости хотят вечерять? Тогда он прикажет хозяйке...

Ильинична, не дожидаясь согласия, рванулась к печке. Рогач в руках ее дрожал, и она никак не могла поднять чугун со щами. Опустив глаза, Дарья собрала на стол. Красноармейцы рассаживались, не крестясь. Старик наблюдал за ними со страхом и скрытым отвращением. Наконец, не выдержал, спросил:

— Богу, значит, не молитесь?

Только тут подобие улыбки скользнуло по губам Александра. Под дружный хохот остальных он ответил:

— И тебе бы, отец, не советовал! Мы своих богов давно отправили...— Запнулся, стиснул брови.— Бога нет, а дураки верят, молятся вот этим деревяшкам!

— Так, так... Ученые люди — они, конечно, достигли,— испуганно согласился Пантелей Прокофьевич.

Против каждого Дарья положила по ложке, но Александр отодвинул свою, попросил:

— Может быть, есть не деревянная? Недостает еще заразы набраться! Разве это ложка? Огрызок!

Дарья пыхнула порохом:

— Свою надо иметь, ежли чужими гребуете.

— Но, ты помолчи, молодка! Нет ложки? Тогда дай чистое полотенце, вытру эту.

Ильинична поставила в миске щи, он и ее попросил:

— Откушай сама сначала, мамаша.

— Чего мне их кушать? Может, пересоленные? — испугалась старуха.

— Ты откушай, откушай! Не подсыпала ли ты гостям порошка какого...

— Зачерпни! Ну? — строго приказал Пантелей Прокофьевич и сжал губы. После этого он принес из бокоуши сапожный инструмент, подвинул к окну ольховый обрубок, служивший ему стулом, приладил в пузырьке жирник

и сел со старым сапогом в обнимку. В разговор больше не вступал.

Петро не показывался из горницы. Там же сидела с детьми и Наталья. Дуняшка вязала чулок, прижавшись к печке, но после того, как один из красноармейцев назвал ее «барышней» и пригласил поужинать, она ушла. Разговор умолк. Поужинав, красноармейцы закурили.

— У вас можно курить? — спросил рыжебровый.

— Своих трубокуров полно,— неохотно сказала Ильинична.

Григорий отказался от предложенной ему папироски. У него все внутри дрожало, к сердцу приливала щемящая волна при взгляде на того, который застрелил собаку и все время держался в отношении его вызывающе и нагло. Он, как видно, хотел столкновения и все время искал случая уязвить Григория, вызвать его на разговор.

— В каком полку служили, ваше благородие?

— В разных.

— Сколько наших убил?

— На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился офицером. Я им с германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти...

— Я офицерам не товарищ! Вашего брата мы к стенке ставим. Я — грешник — тоже не одного на мушку посадил.

— Я тебе вот что скажу, товарищ... Негоже ты ведешь себя: будто вы хутор с бою взяли. Мы ить сами бросили фронт, пустили вас, а ты как в завоеванную сторону пришел... Собак стрелять — это всякий сумеет, и безоружного убить и обидеть тоже нехитро...

— Ты мне не указывай! Знаем мы вас! «Фронт бросили»! Если б не набили вам, так не бросили бы. И разговаривать с тобой я могу по-всякому.

— Оставь, Александр! Надоело! — просил рыжебровый.

Но тот уже подошел к Григорию, раздувая ноздри, дыша с сапом и свистом.

— Ты меня лучше не тронь, офицер, а то худо будет!

— Я вас не трогаю.

— Нет, трогаешь!

Приоткрывая дверь, Наталья сорванным голосом позвала Григория. Он обошел стоявшего против него красноармейца, вошел и качнулся в дверях, как пьяный. Петро встретил его ненавидящим, стенящим шепотом:

— Что ты делаешь?.. На черта он тебе сдался? Чего ты с ним связываешься? И себя и нас сгубишь! Сядь!..— Он с силой толкнул Григория на сундук, вышел в кухню.

Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух, от смуглых щек его отходил черный румянец, и потускневшие глаза обретали слабый блеск.

— Гриша! Гришенька! Родненький! Не связывайся! — просила Наталья, дрожа, зажимая рты готовым зареветь детишкам.

— Чего ж я не уехал? — спросил Григорий и, тоскуя, глянул на Наталью.— Не буду. Цыц! Сердцу нет мочи терпеть!

Позднее пришли еще трое красноармейцев. Один, в высокой черной папахе, по виду начальник, спросил:

— Сколько поставлено на квартиру?

— Семь человек,— за всех ответил рыжебровый, перебиравший певучие лады ливенки.

— Пулеметная застава будет здесь. Потеснитесь.

Ушли. И сейчас же заскрипели ворота. На баз въехало две подводы. Один из пулеметов втащили в сенцы. Кто-то жег спички в темноте и яростно матерился. Под навесом сарая курили, на гумне, дергая сено, зажигали огонь, но никто из хозяев не вышел.

— Пошел бы, коней глянул,— шепнула Ильинична, проходя мимо старика.

Тот только плечами дрогнул, а пойти — не пошел. Всю ночь хлопали двери. Белый пар висел под потолком и росой садился на стены. Красноармейцы постелили себе в горнице на полу. Григорий принес и расстелил им полсть, в головá положил свой полушубок.

— Сам служил, знаю,— примиряюще улыбнулся он тому, кто чувствовал в нем врага.

Но широкие ноздри красноармейца зашевелились, взгляд непримиримо скользнул по Григорию...

Григорий и Наталья легли в той же комнате на кровати. Красноармейцы, сложив винтовки в головах, вповалку разместились на полсти. Наталья хотела потушить лампу, у нее внушительно спросили:

— Тебя кто просил гасить огонь? Не смей! Прикрути фитиль, а огонь должен гореть всю ночь.

Детей Наталья уложила в ногах, сама, не раздеваясь, легла к стенке. Григорий, закинув руки, лежал молча.

«Ушли бы мы,— стискивая зубы, прижимаясь сердцем к углу подушки, думал Григорий.— Ушли бы в отступ, и вот сейчас Наташку распинали бы на этой кровати и тешились над ней, как тогда в Польше над Франей...»

Кто-то из красноармейцев начал рассказ, но знакомый

голос перебил его, зазвучал в мутной полутьме с выжидающими паузами:

— Эх, скучно без бабы! Зубами бы грыз... Но хозяин — он офицер... Простым, которые сопливые, они жен не уступают... Слышишь, хозяин?

Кто-то из красноармейцев уже храпел, кто-то сонно засмеялся. Голос рыжебрового зазвучал угрожающе:

— Ну, Александр, мне надоело тебя уговаривать. На каждой квартире ты скандалишь, фулиганишь, позоришь красноармейское звание. Этак не годится! Сейчас вот иду к комиссару или к ротному. Слышишь? Мы с тобой поговорим!

Пристыла тишина. Слышно было только, как рыжебровый, сердито сопя, натягивает сапоги. Через минуту он вышел, хлопнул дверью.

Наталья, не удержавшись, громко всхлипнула. Григорий рукой трясуче гладил голову ее, потный лоб и мокрое лицо. Правой спокойно шарил у себя по груди, а пальцы механически застегивали и расстегивали пуговицы нательной рубахи.

— Молчи, молчи! — чуть слышно шептал он Наталье. И в этот миг знал непреложно, что духом готов на любое испытание и унижение, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь.

Спичка осветила лицо привставшего Александра, широкий обод носа, рот, присосавшийся к папироске. Слышно было, как он вполголоса заворчал и, вздохнув сквозь многоголосый храп, стал одеваться.

Григорий, нетерпеливо прислушивавшийся, в душе бесконечно благодарный рыжебровому, радостно дрогнул, услышав под окном шаги и негодующий голос:

— И вот он все привязывается... что делать... беда... товарищ комиссар.

Шаги зазвучали в сенцах, скрипнула, отворившись, дверь... Чей-то молодой командный голос приказал:

— Александр Тюрников, одевайся и сейчас же уходи отсюда. Ночевать будешь у меня на квартире, а завтра мы тебя будем судить за недостойное красноармейца поведение.

Григорий встретил доброжелательный острый взгляд стоявшего у дверей, рядом с рыжебровым, человека в черной кожаной куртке.

Он по виду молод и по-молодому суров; с чересчур уж подчеркнутой твердостью были сжаты его губы, обметанные юношеским пушком.

— Беспокойный гость попался, товарищ? — обратился он к Григорию, чуть приметно улыбаясь.— Ну, теперь спите, мы его завтра утихомирим. Всего доброго. Идем, Тюрников!

Ушли, и Григорий вздохнул облегченно. А наутро рыжебровый, расплачиваясь за квартиру и харчи, нарочито замешкался и сказал:

— Вот, хозяева, не обижайтесь на нас. У нас этот Александр вроде головой тронутый. У него в прошлом году на глазах офицеры в Луганске — он из Луганска родом — расстреляли мать и сестру. Оттого он такой... Ну, спасибо. Прощайте. Да, вот детишкам чуть было не забыл! — И, к несказанной радости ребят, вытащил из вещевого мешка и сунул им в руки по куску серого от грязи сахара.

Пантелей Прокофьевич растроганно глядел на внуков.

— Ну, вот им гостинец! Мы его, сахар-то, года полтора уж не видим... Спаси Христос, товарищ!.. Кланяйтесь дяденьке! Полюшка, благодари!.. Милушка, чего же ты набычилась, стоишь?

Красноармеец вышел, и старик — гневно к Наталье:

— Необразованность ваша! Хучь бы пышку дала ему на дорогу. Отдарить-то надо доброго человека? Эх!

— Беги! — приказал Григорий.

Наталья, накинув платок, догнала рыжебрового за калиткой. Красная от смущения, сунула пышку ему в глубокий, как степной колодец, карман шинели.

XVII

В полдень через хутор спешным маршем прошел 6-й Мценский краснознаменный полк, захватив кое у кого из казаков строевых лошадей. За бугром далеко погромыхивали орудийные раскаты.

— По Чиру бой идет,— определил Пантелей Прокофьевич.

На вечерней заре и Петро и Григорий не раз выходили на баз. Слышно было по Дону, как где-то, не ближе Усть-Хоперской, глухо гудели орудия и совсем тихо (нужно было припадать ухом к промерзлой земле) выстрачивали пулеметы.

— Неплохо и там осланивают! Генерал Гусельщиков там с гундоровцами,— говорил Петро, обметая снег с колен и папахи, и уж совершенно не к разговору добавил: —

Коней заберут у нас. Твой конь, Григорий, из себя видный, видит бог — возьмут!

Но старик догадался раньше их. На ночь повел Григорий обоих строевых поить, вывел из дверей, увидел: кони улегают на передние. Провел своего — хромает вовсю; то же и с Петровым. Позвал брата:

— Обезножили кони, во дела! Твой на правую, а мой на левую жалится. Засечки не было... Разве мокрецы?

На лиловом снегу, под неяркими вечерними звездами кони стояли понуро, не играли от застоя, не взбрыкивали. Петро зажег фонарь, но его остановил пришедший с гумна отец:

— На что фонарь?

— Кони, батя, захромали. Должно, ножная.

— А ежели ножная — плохо? Хочешь, чтоб какой-нибудь мужик заседлал да с базу повел?

— Оно-то неплохо...

— Ну, так скажи Гришке, что ножную я им сделал. Молоток взял, по гвоздю вогнал ниже хряща, теперь будут хромать, покель фронт стронется.

Петро покрутил головой, пожевал ус и пошел к Григорию.

— Поставь их к яслям. Это отец нарошно их похромил.

Стариковская догадка спасла. В ночь снова загремел от гомона хутор. По улицам скакали конные. Лязгая на выбоинах и раскатах, проползла и свернулась на площади батарея. 13-й кавалерийский полк стал в хуторе на ночлег. К Мелеховым только что пришел Христоня, сел на корточки, покурил.

— Нет у вас чертей? Не ночуют?

— Покуда бог миловал. Какие были-то — весь курень провоняли духом своим мужичьим! — недовольно бормотала Ильинична.

— У меня были.— Голос Христони сполз на шепот, огромная ладонь вытерла смоченную слезинкой глазницу. Но, тряхнув здоровенной, с польско́й котел головой, Христоня покряхтел и уже как будто застыдился своих слез.

— Ты чего, Христоня? — посмеиваясь, спросил Петро, первый раз увидавший Христонины слезы. Они-то и привели его в веселое настроение.

— Воронка взяли... На германскую на нем ходил... Нужду вместе, стал быть... Как человек был, ажник, стал быть, умнее... Сам и подседлал. «Седлай, говорит, а то он мне не дается».— «Что ж я тебе, говорю, всю жисть буду седлать, что ли? Взял, говорю, стал быть, сам и руковод-

ствуй». Оседлал, а он хучь бы человек был... Огарок! Стал быть, в пояс мне, до стремени ногой не достанет... К крыльцу подвел, сел... Закричал я, как дите. «Ну, говорю бабе, кохал, поил, кормил...» — Христоня опять перешел на присвистывающий быстрый шепот и встал.— На конюшню глянуть боюсь! Обмертвел баз...

— У меня добро. Трех коней подо мною сразило, это четвертый, его уж не так...— Григорий прислушался. За окном хруст снега, звяк шашек, приглушенное: «тррррр!» — Идут и к нам. Как рыба на дух, проклятые! Либо кто сказал...

Пантелей Прокофьевич засуетился, руки сделались лишними, некуда стало их девать.

— Хозяин! А ну, выходи!

Петро надел внапашку зипун, вышел.

— Где кони? Выводи!

— Я не против, но они, товарищи, в ножной.

— В какой ножной? Выводи! Мы не так берем, ты не бойся. Бросим своих.

Вывел по одному из конюшни.

— Третья там. Почему не выводишь? — спросил один из красноармейцев, присвечивая фонарем.

— Это матка, сжеребанная. Она старюка, ей уже годов сто...

— Эй, неси седла!.. Постой, в самом деле хромают... В господа бога, в креста, куда ты их, калечь, ведешь?! Станови обратно!.. — свирепо закричал державший фонарь.

Петро потянул за недоуздки и отвернул от фонаря лицо со сморщенными губами.

— Седла где?

— Товарищи забрали поне утром.

— Врешь, казак! Кто взял?

— Ей-богу!.. Накажи господь — взяли. Мценский полк проходил и забрал. И седла и даже два хомута взяли.

Матерясь, трое конных уехали. Петро вошел, пропитанный запахами конского пота и мочи. Твердые губы его ежились, и он не без похвальбы хлопнул Христоню по плечу.

— Вот как надо! Кони захромали, а седла взяли, мол... Эх, ты!..

Ильинична погасила лампу, ощупью пошла стелить в горничке.

— Посумерничаем, а то принесет нелегкая ночевщиков.

* * *

В эту ночь у Аникушки гуляли. Красноармейцы попросили пригласить соседних казаков. Аникушка пришел за Мелеховыми.

— Красные?! Что нам красные? Они что же, не хрещеные, что ли? Такие же, как и мы, русские. Ей-богу. Хотите — верьте, хотите — нет... И я их жалею... А что мне? Жид с ними один, то же самое — человек. Жидов мы в Польше перебили... Хм! Но этот мне стакан дымки набуздал. Люблю жидов!.. Пойдем, Григорь! Петя! Ты не гребуй мною...

Григорий отказался идти, но Пантелей Прокофьевич посоветовал:

— Пойди, а то скажут: мол, за низкое считает. Ты иди, не помни зла.

Вышли на баз. Теплая ночь сулила погоду. Пахло золой и кизячным дымом. Казаки стояли молча, потом пошли. Дарья догнала их у калитки.

Насурмленные брови ее, раскрылившись на лице, под неярким, процеженным сквозь тучи, светом месяца блестели бархатной черниной.

— Мою бабу подпаивают... Только ихнего дела не выйдет. Я, брат ты мой, глаз имею...— бормотал Аникушка, а самогонка кидала его на плетень, валила со стежки в сугробину.

Под ногами сахарно похрустывал снег, зернисто-синий, сыпкий. С серой наволочи неба срывалась метель.

Ветер нес огонь из цигарок, перевеивал снежную пыльцу. Под звездами он хищно налетал на белоперую тучу (так сокол, настигнув, бьет лебедя круто выгнутой грудью), и на присмиревшую землю, волнисто качаясь, слетали белые перышки-хлопья, покрывали хутор, скрестившиеся шляхи, степь, людской и звериный след...

У Аникушки в хате — дыхнуть нечем. Черные острые языки копоти снуют из лампы, а за табачным дымом никому не видать. Гармонист-красноармеец не так ли режет «саратовскую», до отказа выбирая мехи, раскидав длинные ноги. На лавках сидят красноармейцы, бабы-соседки. Аникушкину жену голубит здоровенный дяденька в ватных защитных штанах и коротких сапогах, обремененных огромными, словно из музея, шпорами. Шапка мелкой седой смушки сдвинута у него на кучерявый затылок, на буром лице пот. Мокрая рука жжет Аникушкиной женке спину.

А бабочка уже сомлела: слюняво покраснел у нее рот; она бы и отодвинулась, да моченьки нет; она и мужа видит и улыбчивые взгляды баб, но вот так-таки нет сил снять со спины могучую руку; стыда будто и не было, и она смеется пьяненько и расслабленно.

На столе глотки кувшинов разоткнуты, на весь курень спиртным дымком разит. Скатерть — как хлющ, а посреди хаты по земляному полу зеленым чертом вьется и выбивает частуху взводный 13-го кавалерийского. Сапоги на нем хромовые, на одну портянку, галифе — офицерского сукна. Григорий смотрит от порога на сапоги, галифе и думает: «С офицера добыто...» Потом переводит взгляд на лицо: оно исчерно-смугло, лоснится потом, как круп вороного коня, круглые ушные раковины оттопырены, губы толсты и обвислы. «Жид, а ловкий!» — решает про себя Григорий. Ему и Петру налили самогонки. Григорий пил осторожно, но Петро захмелел скоро. И через час выделывал уже по земляному полу «казачка», рвал каблуками пыль, хрипло просил гармониста: «Чаще, чаще!» Григорий сидел возле стола, щелкая тыквенные семечки. Рядом с ним — рослый сибиряк, пулеметчик. Он морщил ребячески-округлое лицо, говорил мягко, сглаживая шипящие, вместо «ц» произнося «с»: «селый полк», «месяс» выходило у него.

— Колчака разбили мы. Краснова вашего сапнем как следует — и все. Во как! А там ступай пахать, земли селая пропастишша, бери ее, заставляй родить! Земля — она, как баба: сама не дается, ее отнять надо. А кто поперек станет — убить. Нам вашего не надо. Лишь бы равными всех поделать...

Григорий соглашался, а сам все исподтишка поглядывал на красноармейца. Для опасений как будто не было оснований. Все глазели, одобрительно улыбаясь, на Петра, на его округлые и ладно подогнанные движения. Чей-то трезвый голос восхищенно восклицал: «Вот черт! Здорово!» Но случайно Григорий поймал на себе внимательно прищуренный взгляд одного курчавого красноармейца, старшины, и насторожился, пить перестал.

Гармонист заиграл польку. Бабы пошли по рукам. Один из красноармейцев, с обеленной спиной, качнувшись, пригласил молоденькую бабенку — соседку Христони, но та отказалась и, захватив в руку сборчатый подол, перебежала к Григорию.

— Пойдем плясать!

— Не хочу.

— Пойдем, Гриша! Цветок мой лазоревый!

— Брось дурить, не пойду!

Она тащила его за рукав, насильственно смеясь. Он хмурился, упирался, но, заметив, как она мигнула, встал. Сделали два круга, гармонист свалил пальцы на басы, и она, улучив секунду, положила Григорию голову на плечо, чуть слышно шепнула:

— Тебя убить сговариваются... Кто-то доказал, что офицер... Беги...

И — громко:

— Ох, что-то голова закружилась!

Григорий повеселел. Подошел к столу, выпил кружку дымки. Дарью спросил:

— Спился Петро?

— Почти готов. Снялся с катушки.

— Веди домой.

Дарья повела Петра, удерживая толчки его с мужской силой. Следом вышел Григорий.

— Куда, куда? Ты куда? Не-ет! Ручку поцелую, не ходи!

Пьяный в дым Аникушка прилип к Григорию, но тот глянул такими глазами, что Аникушка растопырил руки и шатнулся в сторону.

— Честной компании! — Григорий тряхнул от порога шапкой.

Курчавый, шевельнув плечами, поправил пояс, пошел за ним. На крыльце, дыша в лицо Григорию, поблескивая лихими светлыми глазами, шепотом спросил:

— Ты куда? — И цепко взялся за рукав Григорьевой шинели.

— Домой,— не останавливаясь, увлекая его за собой, ответил Григорий. Взволнованно-радостно решил: «Нет, живьем вы меня не возьмете!»

Курчавый левой рукой держался за локоть Григория; тяжело дыша, ступал рядом. У калитки они задержались. Григорий услышал, как скрипнула дверь, и сейчас же правая рука красноармейца лапнула бедро, ногти царапнули крышку кобуры. На одну секунду Григорий увидел в упор от себя синее лезвие чужого взгляда и, ворохнувшись, поймал руку, рвавшую застежку кобуры. Крякнув, он сжал ее в запястье, со страшной силой кинул себе на правое плечо, нагнулся и, перебрасывая издавна знакомым приемом тяжелое тело через себя, рванул руку книзу, ощущая по хрустящему звуку, как в локте ломаются суставы. Русая, витая, как у ягненка, голова, давя снег, воткнулась в сугроб.

По проулку, пригибаясь под плетнем, Григорий кинулся к Дону. Ноги, пружинисто отталкиваясь, несли его к спуску... «Лишь бы заставы не было, а там...» На секунду стал: позади на виду весь Аникушкин баз. Выстрел. Хищно прожужжала пуля. Выстрелы еще. Под гору, по темному переезду — за Дон. Уже на середине Дона, взвыв, пуля вгрызлась возле Григория в чистую круговину пузырчатого льда, осколки посыпались, обжигая Григорию шею. Перебежав Дон, он оглянулся. Выстрелы все еще хлопали пастушьим арапником. Григория не согрела радость избавления, но чувство равнодушия к пережитому смутило. «Как за зверем били! — механически подумал он, опять останавливаясь.— Искать не будут, побоятся в лес идти... Руку-то ему полечил неплохо. Ах, подлюга, казака хотел голыми руками взять!»

Направился к зимним скирдам, но, из опаски, миновал их, долго, как заяц на жировке, вязал петли следов. Ночевать решил в брошенной копне сухого чакана. Разгреб вершину. Из-под ног скользнула норка. Зарылся с головой в гнилостно-пахучий чакан, подрожал. Мыслей не было. Краешком, нехотя подумал: «Заседлать завтра и махнуть через фронт к своим?» — но ответа не нашел в себе, притих.

К утру стал зябнуть. Выглянул. Над ним отрадно и трепетно сияла утренняя зарница, и в глубочайшем провале иссиня-черного неба, как в Дону на перекате, будто показалось дно: предрассветная дымчатая лазурь в зените, гаснущая звездная россыпь по краям.

XVIII

Фронт прошел. Отгремели боевые деньки. В последний день пулеметчики 13-го кавполка перед уходом поставили на широкоспинные тавричанские сани моховский граммофон, долго вскачь мылили лошадей по улицам хутора. Граммофон хрипел и харкал (в широкую горловину трубы попадали снежные ошметья, летевшие с конских копыт), пулеметчик в сибирской ушастой шапке беспечно прочищал трубу и орудовал резной ручкой граммофона так же уверенно, как ручками затыльника. А позади серой воробьиной тучей сыпали за санями ребятишки; цепляясь за грядушку, орали: «Дядя, заведи энту, какая свистит! Заведи, дядя!» Двое счастливейших сидели на коленях у пулеметчика, и тот в перерывах, когда не крутил ручки,

заботливо и сурово вытирал варежкой младшему парнишке облупленный, мокрый от мороза и великого счастья нос.

Потом слышно было, как около Усть-Мечетки шли бои. Через Татарский редкими валками тянулись обозы, питавшие продовольствием и боевыми припасами 8-ю и 9-ю Красные армии Южного фронта.

На третий день посыльные шли подворно, оповещали казаков о том, чтобы шли на сход.

— Краснова атамана будем выбирать! — сказал Антип Брехович, выходя с мелеховского база.

— Выбирать будем или нам его сверху спустют? — поинтересовался Пантелей Прокофьевич.

— Там как придется...

На собрание пошли Григорий и Петро. Молодые казаки собрались все. Стариков не было. Один только Авдеич Брех, собрав курагот зубоскалов, тачал о том, как стоял у него на квартире красный комиссар и как приглашал он его, Авдеича, занять командную должность.

— «Я, говорит, не знал, что вы — вахмистр старой службы, а то — с нашим удовольствием, заступай, отец, на должность...»

— На какую же? За старшего — куда пошлют? — скалился Мишка Кошевой.

Его охотно поддерживали:

— Начальником над комиссарской кобылой. Подхвостницу ей подмывать.

— Бери выше!

— Го-го!..

— Авдеич! Слышь! Это он тебя в обоз третьего разряда малосолкой заведывать.

— Вы не знаете делов всех... Комиссар ему речи разводил, а комиссаров вестовой тем часом к его старухе прилабунился. Шшупал ее. А Авдеич слюни распустил, сопли развешал — слухает...

Остановившимися глазами Авдеич осматривал всех, глотал слюну, спрашивал:

— Кто последние слова производил?

— Я! — храбрился кто-то позади.

— Видали такого сукина сына? — Авдеич поворачивался, ища сочувствия, и оно приходило в изобилии:

— Он гад, я давно говорю.

— У них вся порода такая.

— Вот был бы я помоложе...— Щеки у Авдеича загорались, как гроздья калины.— Был бы помоложе, я бы тебе

показал развязку! У тебя и выходка вся хохлачья! Мазница ты таганрогская! Гашник хохлачий!

— Чего же ты, Авдеич, не возьмешься с ним? Кужонок супротив тебя.

— Авдеич отломил, видно...

— Боится, пупок у него с натуги развяжется...

Рев провожал отходившего с достоинством Авдеича. На майдане кучками стояли казаки. Григорий, давным-давно не видавший Мишки Кошевого, подошел к нему.

— Здорово, полчок!

— Слава богу.

— Где пропадал? Под каким знаменем службицу ломал? — Григорий улыбнулся, сжимая руку Мишки, засматривая в голубые его глаза.

— Ого! Я, браток, и на отводе и в штрафной сотне на Калачовском фронте был. Где только не был! Насилу домой прибился. Хотел к красным на фронте перебечь, но за мной глядели дюжей, чем мать за непробованной девкой глядит. Иван-то Алексеевич надысь приходит ко мне, бурка на нем, походняя справа. «Ну, мол, винтовку наизготовку — и пошел». Я только что приехал, спрашиваю: «Неужели будешь отступать?» Он плечьми дрогнул, говорит: «Велят. Атаман присылал. Я ить при мельнице служил, на учете у них». Попрощался и ушел. Я думал, он и справди отступил. На другой день Мценский полк уже прошел, гляжу — является... Да вот он метется! Иван Алексеевич!

Вместе с Иваном Алексеевичем подошел и Давыдка-вальцовщик. У Давыдки — полон рот кипенных зубов, Давыдка смеется, будто железку нашел... А Иван Алексеевич помял руку Григория в своих маслаковатых пальцах, навылет провонявших машинным маслом, поцокал языком.

— Как же ты, Гриша, остался?

— А ты как?

— Ну, мне-то... Мое дело другое.

— На мое офицерство указываешь? Рисканул! Остался... Чуть было не убили... Когда погнались, зачали стрелять — пожалел, что не ушел, а теперь опять не жалею.

— За что привязались-то! Это из Тринадцатого?

— Они. Гуляли у Аникушки. Кто-то доказал, что офицер я. Петра не тронули, ну, а меня... За погоны возгорелось дело. Ушел за Дон, руку одному кучерявому попортил трошки... Они за это пришли домой, мое все дочиста забрали. И шаровары и поддевки. Что на мне было, то и осталось.

— Ушли бы мы в красные тогда, перед Подтелковым...

Теперь не пришлось бы глазами моргать,— Иван Алексеевич скис в улыбке, стал закуривать.

Народ все подходил. Собрание открыл приехавший из Вешенской подхорунжий Лапченков, сподвижник Фомина.

— Товарищи станишники! Советская власть укоренилась в нашем округе. Надо установить правление, выбрать исполком, председателя и заместителя ему. Это — один вопрос. А затем привез я приказ от окружного Совета, он короткий: сдать все огнестрельное и холодное оружие.

— Здорово! — ядовито сказал кто-то сзади. И потом надолго во весь рост встала тишина.

— Тут нечего, товарищи, такие возгласы выкрикивать! — Лапченков вытянулся, положил на стол папаху.— Оружие, понятно, надо сдать, как оно не нужное в домашности. Кто хочет идтить на защиту Советов, тому оружие дадут. В трехдневный срок винтовочки снесите. Затем приступаем к выборам. Председателя я обяжу донести приказ до каждого, и должон он печать у атамана забрать и все хуторские суммы.

— Они нам давали оружию, что лапу на нее накладывают?..

Спрашивающий еще не докончил фразы, к нему дружно все повернулись. Говорил Захар Королев.

— А на что она тебе сдалась? — просто спросил Христоня.

— Она мне не нужна. Но уговору не было, как мы пущали Красную Армию через свой округ, чтобы нас обезоруживали.

— Верно.

— Фомин говорил на митинге!

— Шашки на свои копейки справляли!

— Я со своим винтом с германской пришел, а тут отдай?

— Оружие, скажи, не отдадим!

— Казаков обобрать норовят! Я что же значу без вооружения? На каком полозу я должен ехать? Я без оружия, как баба с задратым подолом,— голый.

— При нас останется!

Мишка Кошевой чинно попросил слова:

— Дозвольте, товарищи! Мне даже довольно удивительно слухать такие разговоры. Военное положение или нет у нас?

— Да нехай хучь сзади военного!

— А раз военное — гутарить долго нечего. Вынь и отдай! Мы-то не так делали, как занимали хохлачьи слободы?

Лапченков погладил свою папашку и как припечатал:

— Кто в этих трех днях не сдаст оружие, будет предан революционному суду и расстрелян, как контра.

После минуты молчания Томилин, кашляя, прохрипел:

— Просим выбирать власть!

Двинули кандидатуры. Накричали с десяток фамилий. Один из молодятни крикнул:

— Авдеича!

Однако шутка успеха не возымела. Первым голосовали Ивана Алексеевича. Прошел единогласно.

— Дальше и голосовать нечего,— предложил Петро Мелехов.

Сход охотно согласился, и товарищем председателя выбрали без голосования Мишку Кошевого.

Мелеховы и Христоня не успели до дома дойти, а Аникушка уж повстречался им на полдороге. Под мышкой нес винтовку и патроны, завернутые в женину завеску. Увидел казаков — засовестился, шмыгнул в боковой переулок. Петро глянул на Григория, Григорий — на Христоню. Все, как по сговору, рассмеялись.

XIX

Казакует по родимой степи восточный ветер. Лога позанесло снегом. Падины и яры сровняло. Нет ни дорог, ни тропок. Кругом, наперекрест, прилизанная ветрами, белая голая равнина. Будто мертва степь. Изредка пролетит в вышине ворон, древний, как эта степь, как курган над летником в снежной шапке с бобровой княжеской опушкой чернобыла. Пролетит ворон, со свистом разрубая крыльями воздух, роняя горловой стонущий клекот. Ветром далеко пронесет его крик, и долго и грустно будет звучать он над степью, как ночью в тишине нечаянно тронутая басовая струна.

Но под снегом все же живет степь. Там, где, как замерзшие волны, бугрится серебряная от снега пахота, где мертвой зыбью лежит заборонованная с осени земля,— там, вцепившись в почву жадными, живучими корнями, лежит поваленное морозом озимое жито. Шелковисто-зеленое, все в слезинках застывшей росы, оно зябко жмется к хрушкому чернозему, кормится его живительной черной кровью и ждет весны, солнца, чтобы встать, ломая стаявший паутинно-тонкий алмазный наст, чтобы буйно зазеленеть в мае. И оно встанет, выждав время! Будут биться в нем

перепела, будет звенеть над ним апрельский жаворонок. И так же будет светить ему солнце, и тот же будет баюкать его ветер. До поры, пока вызревший, полнозерный колос, мытый ливнями и лютыми ветрами, не поникнет усатой головой, не ляжет под косой хозяина и покорно уронит на току литые, тяжеловесные зерна.

Все Обдонье жило потаенной, придавленной жизнью. Жухлые подходили дни. События стояли у грани. Черный слушок полз с верховьев Дона, по Чиру, по Цуцкану, по Хопру, по Еланке, по большим и малым рекам, усыпанным казачьими хуторами. Говорили о том, что не фронт страшен, прокатившийся волной и легший возле Донца, а чрезвычайные комиссии и трибуналы. Говорили, что со дня на день ждут их в станицах, что будто бы в Мигулинской и Казанской уже появились они и вершат суды короткие и неправые над казаками, служившими у белых. Будто бы то обстоятельство, что бросили верхнедонцы фронт, оправданием не служит, а суд до отказу прост: обвинение, пара вопросов, приговор — и под пулеметную очередь. Говорили, что в Казанской и Шумилинской вроде уже не одна казачья голова валяется в хворосте без призрения... Фронтовики только посмеивались: «Брехня! Офицерские сказочки! Кадеты давно нас Красной Армией пужают!»

Слухам верили и не верили. И до этого мало ли что брехали по хуторам. Слабых духом молва толкнула на отступление. Но когда фронт прошел, немало оказалось и таких, кто не спал ночами, кому подушка была горяча постель жестка и родная жена немила.

Иные уж и жалковали о том, что не ушли за Донец, но сделанного не воротишь, уроненной слезы не поднимешь...

В Татарском казаки собирались вечерами на проулках, делились новостями, а потом шли пить самогон, кочуя из куреня в курень. Тихо жил хутор и горьковато. В начале мясоеда одна лишь свадьба прозвенела бубенцами: Мишка Кошевой выдал замуж сестру. Да и про ту говорили с ехидной издевкой:

— Нашли время жениться! Приспичило, видно!

На другой день после выборов власти хутор разоружился до двора. В моховском доме, занятом под ревком, теплые сени и коридор завалили оружием. Петро Мелехов тоже отнес свою и Григория винтовки, два нагана и шашку. Два офицерских нагана братья оставили, сдали лишь те, что остались еще от германской.

Облегченный, Петро пришел домой. В горнице Григорий, засучив по локоть рукава, разбирал и отмачивал в ке-

росине приржавевшие части двух винтовочных затворов. Винтовки стояли у лежанки.

— Это откуда? — у Петра даже усы обвисли от удивления.

— Батя привез, когда ездил ко мне на Филоново.

У Григория в сузившихся прорезах глаз заиграли светлячки. Он захохотал, лапая бока смоченными в керосине руками. И так же неожиданно оборвал смех, по-волчьи клацнув зубами.

— Винтовки — это что!.. Ты знаешь,— зашептал он, хотя в курене никого чужого не было,— отец мне нынче признался,— Григорий снова подавил улыбку,— у него пулемет есть.

— Бре-ше-ешь! Откуда? Зачем?

— Говорит, казаки-обозники ему отдали за сумку кислого молока, а по-моему, брешет, старый черт! Украл, небось! Он ить, как жук навозный, тянет все, что и поднять не в силах. Шепчет мне: «Пулемет у меня есть, зарытый на гумне. Пружина в нем, гожая на нарезные крючки, но я ее не трогал».— «Зачем он тебе?» — спрашиваю. «На дорогую пружину позавидовал, может, ишо на что сгодится. Штука ценная, из железа...»

Петро обозлился, хотел идти в кухню к отцу, но Григорий рассоветовал:

— Брось! Помоги почистить и прибрать. Чего ты с него спросишь?

Протирая стволы, Петро долго сопел, а потом раздумчиво сказал:

— Оно, может, и правда... сгодится. Нехай лежит.

В этот день Томилин Иван принес слух, что в Казанской идут расстрелы. Покурили у печки, погутарили. Петро под разговор о чем-то упорно думал. Думалось с непривычки трудно, до бисера на лбу. После ухода Томилина он заявил:

— Зараз поеду на Рубежин к Яшке Фомину. Он у своих нынче, слыхал я. Говорят, он окружным ревкомом заворачивает, как-никак — кочка на ровном месте. Попрошу, чтоб, на случай чего, заступился.

В пичкатые сани Пантелей Прокофьевич запряг кобылу. Дарья укуталась в новую шубу и о чем-то долго шепталась с Ильиничной. Вместе они шмыгнули в амбар, оттуда вышли с узлом.

— Чего это? — спросил старик.

Петро промолчал, а Ильинична скороговоркой шепнула:

— Я тут маслица насбирала, блюла на всяк случай.

А теперь уж не до масла, отдала его Дарье, нехай Фоминихе гостинца повезет, может, он сгодится Петюшке,— и заплакала.— Служили, служили, жизней решались, а теперь за погоны за ихние, того и гляди...

— Цыц, голосуха! — Пантелей Прокофьевич с сердцем кинул в сено кнут, подошел к Петру: — Ты ему пшенички посули.

— На черта она ему нужна! — вспыхнул Петро.— Вы бы, батя, лучше пошли к Аникушке дымки купили, а то — пшеницы!

Под полой Пантелей Прокофьевич принес ведерный кувшин самогона, отозвался одобрительно:

— Хороша водка, мать ее курица! Как николаевская.

— А ты уж хлебнул, кобель старый! — насыпалась на него Ильинична; но старик вроде не слыхал, по-молодому захромал в курень, сыто, по-котовски жмурясь, покрякивая и вытирая рукавом обожженные дымкой губы.

Петро тронул со двора и, как гость, ворота оставил открытыми.

Вез и он подарок могущественному теперь сослуживцу: кроме самогона — отрез довоенного шевиота, сапоги и фунт дорогого чая с цветком. Все это раздобыл он в Лисках, когда 28-й полк с боем взял станцию и рассыпался грабить вагоны и склады...

Тогда же в отбитом поезде захватил он корзину с дамским бельем. Послал ее с отцом, приезжавшим на фронт. И Дарья, на великую зависть Наталье и Дуняшке, защеголяла в невиданном досель белье. Тончайшее заграничное полотно было белее снега, шелком на каждой штучке были вышиты герб и инициалы. Кружева на панталонах вздымались пышнее пены на Дону. Дарья в первую ночь по приезде мужа легла спать в панталонах.

Петро, перед тем как гасить огонь, снисходительно ухмыльнулся:

— Мущинские исподники подцепила и носишь?

— В них теплее и красивше,— мечтательно ответила Дарья.— Да их и не поймешь: кабы они мущинские — были б длиннее. И кружева... На что они вашему брату?

— Должно, благородного звания мущины с кружевами носют. Да мне-то что? Носи,— сонно почесываясь, ответил Петро.

Вопрос этот его не особенно интересовал. Но в последующие дни ложился он рядом с женой, уже с опаской отодвигаясь, с невольным почтением и беспокойством глядя на кружева, боясь малейше коснуться их и испытывая

некоторое отчуждение от Дарьи. К белью он так и не привык. На третью ночь, озлившись, решительно потребовал:

— Скидай к черту штаны свои! Негоже их бабе носить, и они вовсе не бабские. Лежишь, как барыня! Ажник какая-то чужая в них!

Утром встал он раньше Дарьи. Покашливая и хмурясь, попробовал примерить панталоны на себя. Долго и настороженно глядел на завязки, на кружева, и на свои голые, ниже колен волосатые ноги. Повернулся и, нечаянно увидев в зеркале свое отображение с пышными складками назади, плюнул, чертыхнулся, медведем полез из широчайших штанин. Большим пальцем ноги зацепился в кружевах, чуть не упал на сундук и, уже разъярясь всерьез, разорвал завязки, выбрался на волю. Дарья сонно спросила:

— Ты чего?

Петро обиженно промолчал, сопя и часто поплевывая. А панталоны, которые неизвестно на какой пол шились, Дарья в тот же день, вздыхая, сложила в сундук (там лежало еще немало вещей, которым никто из баб не мог найти применения). Сложные вещи эти должны были впоследствии перешить на лифчики. Вот юбки Дарья использовала; были они неведомо для чего коротки, но хитрая владелица надставила сверху так, чтобы нижняя юбка была длиннее длинной верхней, чтобы виднелись на полчетверти кружева. И пошла Дарья щеголять, заметать голландским кружевом земляной пол.

Вот и сейчас, отправляясь с мужем на́ гости, была она одета богато и видно. Под донской, опушенной поречьем шубой и кружева исподней виднелись, и верхняя, шерстяная, была добротна и нова, чтобы поняла вылезшая из грязи в князи фоминская жена, что Дарья не простая казачка, а, как-никак, офицерша.

Петро помахивал кнутом, чмокал губами. Брюхатая кобылка с облезлой кобаржиной трюпком бежала по накатанной дороге, по Дону. В Рубежин приехали к обеду. Фомин действительно оказался дома. Он встретил Петра по-хорошему, усадил его за стол, улыбнулся в рыжеватые усы, когда отец его принес из Петровых саней, запушенных инеем, осыпанный сенной трухой кувшин.

— Ты что-то, односум, и глаз не кажешь,— говорил Фомин протяжно, приятным баском, искоса поглядывая на Дарью широко поставленными голубыми глазами женолюба, и с достоинством закручивал ус.

— Сам знаешь, Яков Ефимыч, частя шли, время сурьезное...

— Оно-то так. Баба! Ты бы нам огурцов, капустки, рыбки донской сушеной.

В тесной хате было жарко натоплено. На печи лежали детишки: похожий на отца мальчик, с такими же голубыми, широкими в поставе глазами, и девочка. Подвыпив, Петро приступил к делу:

— Гутарют по хуторам, будто чеки́ приехали, добираются до казаков.

— Трибунал Пятнадцатой Инзенской дивизии в Вёшенскую приехал. Ну, а что такое? Тебе-то что?

— Как же, Яков Ефимыч, сами знаете, офицер считаюсь. Я-то офицер, можно сказать — одна видимость.

— Ну, так что?

Он чувствовал себя хозяином положения. Хмель сделал его самоуверенным и хвастливым. Фомин все приосанивался, оглаживая усы, смотрел исподлобно, властно.

Раскусив его, Петро прикинулся сиротой, униженно и подобострастно улыбался, но с «вы» незаметно перешел на «ты».

— Вместе служили с тобой. Плохого про меня ты не могешь сказать. Или я был когда супротив? Сроду нет! Покарай бог, я всегда стоял за казаков!

— Мы знаем. Ты, Петро Пантелеевич, не сумлевайся. Мы всех наизусть выучили. Тебя не тронут. А кое до кого мы доберемся. Кой-кого возьмем за хи́ршу [1]. Тут много гадов засело. Остались, а сами — себе на уме. Оружие хоронют... Ты-то отдал свое? А?

Фомин так быстро перешел от медлительной речи к натиску, что Петро на минуту растерялся, кровь заметно кинулась ему в лицо.

— Ты-то сдал? Ну, чего же ты? — наседал Фомин, перегибаясь через стол.

— Сдал, конешно, Яков Ефимыч, ты не подумай... я с открытой душой.

— С открытой? Знаем мы вас... Сам тутошний,— он пьяно подмигнул, раскрыл плоскозубый ядреный рот.— С богатым казаком одной рукой ручкайся, а в другой нож держи, а то саданет... Собаки! Откровенных нету! Я перевидал немало людей. Предатели! Но ты не бойся, тебя не тронут. Слово — олово!

Дарья закусывала холодцом, из вежливости почти не ела хлеба. Ее усердно угощала хозяйка.

Уехал Петро уже перед вечером, обнадеженный и веселый.

[1] Хи́рша — загривок.

* * *

Проводив Петра, Пантелей Прокофьевич пошел проведать свата Коршунова. Он был у него перед приходом красных. Лукинична собирала тогда Митьку в дорогу, в доме были суета, беспорядок. Пантелей Прокофьевич ушел, почувствовав себя лишним. А на этот раз решил пойти узнать, все ли благополучно, да кстати погоревать вместе о наступивших временах.

Дохромал он в тот конец хутора не скоро. Постаревший и уже растерявший несколько зубов, дед Гришака встретил его на базу. Было воскресенье, и дед направлялся в церковь к вечерне. Пантелея Прокофьевича с ног шибануло при взгляде на свата: под распахнутой шубой у того виднелись все кресты и регалии за турецкую войну, красные петлички вызывающе сияли на стоячем воротнике старинного мундира, старчески обвисшие шаровары с лампасами были аккуратно заправлены в белые чулки, а на голове по самые восковые крупные уши надвинут картуз с кокардой.

— Что ты, дедушка! Сваток, аль не при уме? Да кто же в эту пору кресты носит, кокарду?

— Ась? — Дед Гришака приставил к уху ладонь.

— Кокарду, говорю, сыми! Кресты скинь! Заарестуют тебя за такое подобное. При Советской власти нельзя, закон возбраняет.

— Я, соколик, верой-правдой своему белому царю служил. А власть эта не от бога. Я их за власть не сознаю. Я Александру-царю присягал, а мужикам я не присягал, так-то! — Дед Гришака пожевал блеклыми губами, вытер зеленую цветень усов и ткнул костылем в направлении дома.— Ты к Мирону, что ль? Он дома. А Митюшку проводили мы в отступ. Сохрани его, царица небесная!.. Твои-то остались? Ась? А то что ж... Вот они какие казачки-то пошли! Наказному, небось, присягали. Войску нужда подошла, а они остались при женах... Натальюшка жива-здорова?

— Живая... Кресты — воротись — сыми, сват! Не полагается их теперь. Господи боже, одурел ты, сваток?

— Ступай с богом! Молод меня учить-то! Ступай себе.

Дед Гришака пошел прямо на свата, и тот уступил ему дорогу, сойдя со стежки в снег, оглядываясь и безнадежно качая головой.

— Служивого нашего встрел? Вот наказание! И не приберет его господь.— Мирон Григорьевич, заметно сдавший за эти дни, встал навстречу свату.— Нацепил свои

висюльки, фуражку с кокардой надел и пошел. Хучь силом с него сымай. Чисто дите стал, ничего не понимает.

— Нехай тешится, недолго уж ему... Ну, как там наши? Мы прослыхали, будто Гришу дерзали анчихристы? — Лукинична подсела к казакам, горестно подперлась.— У нас, сват, ить какая беда... Четырех коней взяли, оставили кобылу да стригуна. Разорили вчистую!

Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, заговорил по-новому, с вызревшей злостью:

— А через что жизня рухнулась? Кто причиной? Вот эта чертова власть! Она, сват, всему виновата. Да разве это мысленное дело — всех сравнять? Да ты из меня душу тяни, я не согласен! Я всю жисть работал, хрип гнул, пóтом омывался, и чтобы мне жить равно с энтим, какой пальцем не ворохнул, чтоб выйтить из нужды? Нет уж, трошки погодим! Хозяйственному человеку эта власть жилы режет. Через это и руки отваливаются: к чему зараз наживать, на кого работать? Нынче наживешь, а завтра придут да под гребло... И ишо, сваток: был у меня надысь односум с хутора Мрыхина, разговор вели... Фронт-то вот он, возля Донца. Да разве ж удержится? Я, по правде сказать, надежным людям втолковываю, что надо нашим, какие за Донцом, от себя пособить...

— Как так пособить? — с тревогой, почему-то шепотом спросил Пантелей Прокофьевич.

— Как пособить? Власть эту пихнуть! Да так пихнуть, чтобы она опять очутилась ажник в Тамбовской губернии. Нехай там равнение делает с мужиками. Я все имущество до нитки отдам, лишь бы уничтожить этих врагов. Надо, сват, надо вразумить! Пора! А то поздно будет... Казаки, односум говорил, волнуются и у них. Только бы подружней взяться! — и перешел на быстрый, захлебывающийся шепот: — Частя прошли, а сколько их тут осталось? Считанные люди! По хуторам одни председатели... Головы им поотвязать — пустяковое дело. А в Вёшках, ну, что ж... Миром-собором навалиться — на куски порвем! Наши в трату не дадут, соединимся... Верное дело, сват!

Пантелей Прокофьевич встал. Взвешивая слова, опасливо советовал:

— Гляди, поскользнешься — беды наживешь! Казаки-то хучь и шатаются, а чума их знает, куда потянут. Об этих делах ноне толковать не со всяким можно... Молодых вовсе понять нельзя, вроде зажмурки живут. Один отступил, другой остался. Трудная жизня! Не жизня, а потемки.

— Не сумлевайся, сват! — снисходительно улыбнулся Мирон Григорьевич.— Я мимо не скажу. Люди — что овцы: куда баран, туда и весь табун. Вот и надо показать им путя! Глаза на эту власть открыть надо. Тучи не будет — гром не вдарит. Я казакам прямо говорю: восставать надо. Слух есть, будто они приказ отдали — всех казаков перевесть. Об этом как надо понимать?

У Мирона Григорьевича сквозь конопины проступала краска.

— Ну, что оно будет, Прокофич? Гутарют, расстрелы начались... Какая ж это жизня? Гляди, как рухнулось все за эти года! Гасу нету, серников — тоже, одними конфетами Мохов напоследях торговал... А посевы? Супротив прежнего сколько сеют? Коней перевели. У меня вот забрали, у другого... Забирать-то все умеют, а разводить кто будет? У нас раньше, я ишо парнем был, восемьдесят шесть лошадей было. Помнишь, небось? Скакуны были, хучь калмыка догоняй! Рыжий с прозвездью был у нас тогда. Я на нем зайцев топтал. Выеду, оседламши, в степь, подыму зайца в бурьянах и сто сажен не отпущу — стопчу конем. Как зараз помню.— По лицу Мирона Григорьевича пролегла горячая улыбка.— Выехал так-то к ветрякам, гляжу — заяц коптит прямо на меня. Выправился я к нему, он — виль, да под гору, да через Дон! На маслену дело было. Снег по Дону посогнало ветром, сколизь. Разгонись я за тем зайцем, конь посклизнулся, вдарился со всех ног и головы не приподнял. Затрусилось все на мне! Снял с него седло, прибегаю в куреня. «Батя, конь убился подо мной! За зайцем гнал».— «А догнал?» — «Нет».— «Седлай Вороного, догони, сукин сын!» Вот времена были! Жили — кохались казачки́. Конь убился — не жалко, а надо зайца догнать. Коню сотня цена, а зайцу гривенник... Эх, да что толковать!

* * *

От свата Пантелей Прокофьевич ушел растерявшийся еще больше, насквозь отравленный тревогой и тоской. Теперь уж чувствовал он со всей полнотой, что какие-то иные, враждебные ему начала вступили в управление жизнью. И если раньше правил он хозяйством и вел жизнь, как хорошо наезженного коня на скачках с препятствиями, то теперь жизнь несла его, словно взбесившийся, запененный конь, и он уже не правил ею, а безвольно мотался

на ее колышущейся хребтине и делал жалкие усилия не упасть.

Мга нависла над будущим. Давно ли был Мирон Григорьевич богатейшим хозяином в окружности? Но последние три года источили его мощь. Разошлись работники, вдевятеро уменьшился посев, за так и за пьяно качавшиеся, обесцененные деньги пошли с база быки и кони. Было все будто во сне. И прошло, как текучий туман над Доном. Один дом с фигурным балконом и вылинявшими резными карнизами остался памяткой. Раньше времени высветлила седина лисью рыжевень коршуновской бороды, перекинулась на виски и поселилась там, вначале — как сибирек на супеси — пучками, а потом осилила рыжий цвет и стала на висках полновластной соленая седина; и уже тесня, отнимая по волоску, владела надлобьем. Да и в самом Мироне Григорьевиче свирепо боролись два этих начала: бунтовала рыжая кровь, гнала на работу, понуждала сеять, строить сараи, чинить инвентарь, богатеть; но все чаще наведывалась тоска — «Не к чему наживать. Пропадет!» — красила все в белый мертвенный цвет равнодушия. Страшные в своем безобразии, кисти рук не хватались, как прежде, за молоток или ручную пилку, а праздно лежали на коленях, шевеля изуродованными работой, грязными пальцами. Старость привело безвременье. И стала постыла земля. По весне шел к ней, как к немилой жене, по привычке, по обязанности. И наживал без радости и лишался без прежней печали... Забрали красные лошадей,— он и виду не показал. А два года назад за пустяк, за копну, истоптанную быками, едва не запорол вилами жену. «Хапал Коршунов и наелся, обратно прет из него»,— говорили про него соседи.

Пантелей Прокофьевич прихромал домой, прилег на койке. Сосало под ложечкой, к горлу подступала колючая тошнота. Повечеряв, попросил он старуху достать соленого арбуза. Съел ломоть, задрожал, еле дошел до печки. К утру он уже валялся без памяти, пожираемый тифозным жаром, кинутый в небытие. Запекшиеся кровью губы его растрескались, лицо пожелтело, белки подернулись голубой эмалью. Бабка Дроздиха отворила ему кровь, нацедила из вены на руке две тарелки черной, как деготь, крови. Но сознание к нему не вернулось, только лицо иссиня побелело да шире раскрылся чернозубый рот, с хлюпом вбиравший воздух.

XX

В конце января Иван Алексеевич выехал в Вешенскую по вызову председателя окружного ревкома. К вечеру он должен был вернуться. Его ждали. Мишка Кошевой сидел в пустынном моховском доме, в бывшем кабинете хозяина, за широким, как двухспальная кровать, письменным столом. На подоконнике (в комнате был только один стул) полулежал присланный из Вешенской милиционер Ольшанов. Он молча курил, плевал далеко и искусно, каждый раз отмечая плевком новую кафельную плитку камина. За окнами стояло зарево звездной ночи. Покоилась гулкая морозная тишина. Мишка подписывал протокол обыска у Степана Астахова, изредка поглядывая в окно на обсахаренные инеем ветви кленов.

По крыльцу кто-то прошел, мягко похрустывая валенками.

— Приехал.

Мишка встал. Но в коридоре чужой кашель, чужие шаги. Вошел Григорий Мелехов в наглухо застегнутой шинели, бурый от мороза, с осевшей на бровях и усах изморозью.

— Я на огонек. Здорово живешь!

— Проходи, жалься.

— Не на что жалиться. Побрехать зашел да кстати сказать, чтоб в обывательские не назначали. Кони у нас в ножной.

— А быки? — Мишка сдержанно покосился.

— На быках какая ж езда? Сколизь.

Отдирая шагами окованные морозом доски, кто-то крупно прошел по крыльцу. Иван Алексеевич в бурке и по-бабьи завязанном башлыке ввалился в комнату. От него хлынул свежий, холодный воздух, запах сена и табачной гари.

— Замерз, замерз, ребятки!.. Григорий, здравствуй! Чего ты по ночам шалаешься?.. Черт эти бурки придумал: ветер сквозь нее, как через сито!

Разделся и, еще не повесив бурки, заговорил:

— Ну, повидал я председателя.— Иван Алексеевич, сияющий, блестя глазами, подошел к столу. Одолевала его нетерпячка рассказать.— Вошел к нему в кабинет. Он поручкался со мной и говорит: «Садитесь, товарищ». Это окружной! А раньше как было? Генерал-майор! Перед ним как стоять надо было? Вот она, наша власть-любушка! Все ровные!

Его оживленное, счастливое лицо, суетня возле стола и эта восторженная речь были непонятны Григорию. Спросил:

— Чему ты возрадовался, Алексеев?

— Как — чему? — У Ивана Алексеевича дрогнул продавленный дыркой подбородок.— Человека во мне увидали, как же мне не радоваться? Мне руку, как ровне, дал, посадил...

— Генералы тоже в рубахах из мешков стали последнее время ходить.— Григорий ребром ладони выпрямил ус, сощурился.— Я на одном видал и погоны, чернильным карандашом сделанные. Ручку тоже казакам давали...

— Генералы от нужды, а эти от натуры. Разница?

— Нету разницы! — Григорий покачал головой.

— По-твоему, и власть одинаковая? За что же тогда воевали? Ты вот — за что воевал? За генералов? А говоришь — «одинаково».

— Я за себя воевал, а не за генералов. Мне, если направдок гутарить, ни те, ни эти не по совести.

— А кто же?

— Да никто!

Ольшанов плюнул через всю комнату, сочувственно засмеялся. Ему, видно, тоже никто по совести не пришелся.

— Ты раньше будто не так думал.

Мишка сказал с целью уязвить Григория, но тот и виду не подал, что замечание его задело.

— И я и ты — все мы по-разному думали...

Иван Алексеевич хотел, выпроводив Григория, передать Мишке поподробней о своей поездке и беседе с председателем, но разговор начал его волновать. Очертя голову, под свежим впечатлением виденного и слышанного в округе, он кинулся в спор:

— Ты нам голову пришел морочить, Григорий! Сам ты не знаешь, чего ты хочешь.

— Не знаю,— охотно согласился Григорий.

— Чем ты эту власть корить будешь?

— А чего ты за нее распинаешься? С каких это ты пор так покраснел?

— Об этом мы не будем касаться. Какой есть теперь, с таким и гутарь. Понял? Власти тоже дюже не касайся, потому — я председатель, и мне тут с тобой негоже спорить.

— Давай бросим. Да мне и пора уж. Это я в счет обывательских зашел. А власть твоя,— уж как хочешь —

а поганая власть. Ты мне скажи прямо, и мы разговор кончим: чего она дает нам, казакам?

— Каким казакам? Казаки тоже разные.

— Всем, какие есть.

— Свободу, права... Да ты погоди!.. Постой, ты чего-то...

— Так в семнадцатом году говорили, а теперь надо новое придумывать! — перебил Григорий.— Земли дает? Воли? Сравняет?.. Земли у нас хоть заглонись ею. Воли больше не надо, а то на улицах будут друг дружку резать. Атаманов сами выбирали, а теперь сажают. Кто его выбирал, какой тебя ручкой обрадовал? Казакам эта власть, окромя разору, ничего не дает! Мужичья власть, им она и нужна. Но нам и генералы не нужны. Что коммунисты, что генералы — одно ярмо.

— Богатым казакам не нужна, а другим? Дурья голова! Богатых-то в хуторе трое, а энти бедные. А рабочих куда денешь? Нет, мы так судить с тобой не могем! Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодному. А не дадут — с мясом вырвем! Будя пановать! Заграбили землю...

— Не заграбили, а завоевали! Прадеды наши кровью ее полили, оттого, может, и родит наш чернозем.

— Все равно, а делиться с нуждой надо. Равнять — так равнять! А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизню мутят!

— Постой, ты не ругайся! Я по старой дружбе пришел погутарить, сказать, что у меня в грудях накипело. Ты говоришь — равнять... Этим темный народ большевики и приманули. Посыпали хороших слов, и попер человек, как рыба на приваду! А куда это равнение делось? Красную Армию возьми: вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а «Ванек» в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает. Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они,— куда равенство денется?.. Говорили на фронте: «Все ровные будем. Жалованье и командирам и солдатам одинаковое!»... Нет! Привада одна! Уж ежли пан плох, то из хама пан во сто раз хуже! Какие бы поганые офицеры ни были, а как из казуни выйдет какой в офицеры — ложись и помирай, хуже его не найдешь! Он такого же образования, как и казак: быкам хвосты учился крутить, а глядишь — вылез в люди и сделается от власти пьяный, и готов шкуру с другого спустить, лишь бы усидеть на этой полочке.

— Твои слова — контра! — холодно сказал Иван Алексеевич, но глаз на Григория не поднял.— Ты меня на свою борозду не своротишь, а я тебя и не хочу заламывать. Давно я тебя не видал и не потаю — чужой ты стал. Ты Советской власти враг!

— Не ждал я от тебя... Ежли я думаю за власть, так я — контра? Кадет?

Иван Алексеевич взял у Ольшанова кисет, уже мягче сказал:

— Как я тебя могу убедить? До этого своими мозгами люди доходют. Сердцем доходют! Я словами не справен по причине темноты своей и малой грамотности. И я до многого дохожу ощупкой...

— Кончайте! — яростно крикнул Мишка.

Из исполкома вышли вместе. Григорий молчал. Тяготясь молчанием, не оправдывая чужого метания, потому что далек был от него и смотрел на жизнь с другого кургана, Иван Алексеевич на прощание сказал:

— Ты такие думки при себе держи. А то хоть и знакомец ты мне и Петро ваш кумом доводится, а найду я против тебя средства! Казаков нечего шатать, они и так шатаются. И ты поперек дороги нам не становись. Стопчем!.. Прощай!

Григорий шел, испытывая такое чувство, будто перешагнул порог, и то, что казалось неясным, неожиданно встало с предельной яркостью. Он, в сущности, только высказал вгорячах то, о чем думал эти дни, что копилось в нем и искало выхода. И оттого, что стал он на грани в борьбе двух нáчал, отрицая оба их,— родилось глухое неумолчное раздражение.

Мишка с Иваном Алексеевичем шли вместе. Иван Алексеевич начал снова рассказывать о встрече с окружным председателем, но, когда стал говорить, показалось — краски и значительность вылиняли. Он пытался вернуться к прежнему настроению и не смог: стояло что-то поперек, мешало радостно жить, хватать легкими пресный промороженный воздух. Помеха — Григорий, разговор с ним. Вспомнил, сказал с ненавистью:

— Такие, как Гришка, в драке только под ногами болтаются. Паскуда! К берегу не прибьется и плавает, как коровий помет в проруби. Ишо раз придет — буду гнать в шею! А начнет агитацию пущать — мы ему садилку найдем... Ну, а ты, Мишатка, что? Как дела?

Мишка только выругался в ответ, думая о чем-то своем.

Прошли квартал, и Кошевой повернулся к Ивану

Алексеевичу, на полных, девичьих губах его блуждала потерявшаяся улыбка.

— Вот, Алексеевич, какая она, политика, злая, черт! Гутарь о чем хошь, а не будешь так кровя портить. А вот начался с Гришкой разговор... ить мы с ним — корешки, в школе вместе учились, по девкам бегали, он мне — как брат... а вот начал городить, и до того я озлел, ажник сердце распухло, как арбуз в груде сделалось. Трусится все во мне! Кубыть отнимает он у меня что-то, самое жалкое. Кубыть грабит он меня! Так под разговор и зарезать можно. В ней, в этой войне, сватов, братов нету. Начертился — и иди! — Голос Мишки задрожал непереносимой обидой.— Я на него ни за одну отбитую девку так не серчал, как за эти речи. Вот до чего забрало!

XXI

Снег падал и таял на лету. В полдень в ярах с глухим шумом рушились снежные оползни. За Доном шумел лес. Стволы дубов оттаяли, почернели. С ветвей срывались капли, пронзали снег до самой земли, пригревшейся под гниющим покровом листа-падалицы. Уже манило пьяным ростепельным запахом весны, в садах пахло вишенником. На Дону появились прососы. Возле берегов лед отошел, и проруби затопило зеленой и ясной водой окраинцев.

Обоз, везший к Дону партию снарядов, в Татарском должен был сменить подводы. Сопровождавшие красноармейцы оказались ребятами лихими. Старшой остался караулить Ивана Алексеевича; так ему и заявил: «Посижу с тобой, а то ты, не ровен час, сбежишь!» — а остальных направил добывать подводы. Нужно было высточить сорок семь пароконных подвод.

Емельян добрался и до Мелеховых.

— Запрягайте, в Боковскую снаряды везть!

Петро и усом не повел, буркнул:

— Кони в ножной, а на кобыле вчера я раненых отвозил в Вёшенскую.

Емельян, слова не говоря,— в конюшню. Петро выскочил за ним без шапки, окликнул:

— Слышишь? Погоди... Может, отставишь?

— Может, бросишь дуру трепать? — Емельян очень серьезно оглядел Петра, добавил: — Охоту маю поглядеть ваших коней, какая такая ножная у них? Не молотком ли нечаянно с намерением суставы побили? Так ты мне не

втирай очки! Я лошадей столько перевидал, сколько ты лошадиного помету. Запрягай! Коней или быков — все равно.

С подводой поехал Григорий. Перед тем как выехать, он вскочил в кухню; целуя детишек, торопливо кидал:

— Гостинцев привезу, а вы тут не дурите, матерю слухайте.— И к Петру: — Вы обо мне не думайте. Я далеко не поеду. Ежели погонят дальше Боковской — брошу быков и вернусь. Только я в хутор не приду. Перегожу время на Сингином, у тетки... А ты, Петро, надбеги проведать... Что-то мне страшновато тут ждать,— и усмехнулся.— Ну, бывайте здоровы! Наташка, не скучай!

Около моховского магазина, занятого под продовольственный склад, перегрузили ящики со снарядами, тронулись.

«Они воюют, чтобы им лучше жить, а мы за свою хорошую жизнь воевали,— все о том же думал Григорий под равномерный качкий ступ быков, полулежа в санях, кутая зипуном голову.— Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет... А я дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда качался... В старину, слышно, Дон татары обижали, шли отнимать землю, неволить. Теперь — Русь. Нет! не помирюсь я! Чужие они мне и всем-то казакам. Казаки теперь почунеют. Бросили фронт, а теперь каждый, как я: ах! — да поздно».

Вблизи бурьяны над дорогой, холмистая зыбь, щетинистые буераки наплывали навстречу, а дальше снежные поля, кружась, шли на юг вровень с санями. Дорога разматывалась нескончаемо, угнетала скукой, клонила в сон.

Григорий лениво покрикивал на быков, дремал, ворочался возле увязанных ящиков. Покурив, уткнулся лицом в сено, пропахшее сухим донником и сладостным куревом июньских дней, незаметно уснул. Во сне он ходил с Аксиньей по высоким шуршащим хлебам. Аксинья на руках бережно несла ребенка, сбоку мерцала на Григория стерегущим взглядом. А Григорий слышал биение своего сердца, певучий шорох колосьев, видел сказочный расшив трав на меже, щемящую голубизну небес. В нем цвело, бродило чувство, он любил Аксинью прежней изнуряющей любовью, он ощущал это всем телом, каждым толчком сердца и в то же время сознавал, что не явь, что мертвое зияет перед его глазами, что это сон. И радовался сну и принимал его, как жизнь. Аксинья была та же, что и пять лет назад, но пронизанная сдержанностью, тронутая холодком. Григорий с такой слепящей яркостью, как никогда в действи-

тельности, видел пушистые кольца ее волос на шее (ими играл ветер), концы белой косынки... Он проснулся от толчка, отрезвел от голосов.

Навстречу, объезжая их, двигались многочисленные подводы.

— Чего везете, земляки? — хрипло крикнул ехавший впереди Григория Бодовсков.

Скрипели полозья, с хрустом давили снег клешнятые копыта быков. На встречных подводах долго молчали. Наконец, кто-то ответил:

— Мертвяков! Тифозных...

Григорий поднял голову. В проезжавших санях лежали внакат, прикрытые брезентом, серошинельные трупы. Наклески саней Григория на раскате ударились о торчавшую из проезжавших саней руку, и она отозвалась глухим, чугунным звоном... Григорий равнодушно отвернулся.

Приторный, зовущий запах донника навеял сон, мягко повернул лицом к полузабытому прошлому, заставил еще раз прикоснуться сердцем к отточенному клинку минувшего чувства. Разящую и в то же время сладостную боль испытал Григорий, свалившись опять в сани, щекой касаясь желтой ветки донника. Кровоточило тронутое воспоминаниями сердце, билось неровно и долго отгоняло сон.

XXII

Вокруг хуторского ревкома сгруппировалось несколько человек: Давыдка-вальцовщик, Тимофей, бывший моховский кучер Емельян и рябой чеботарь Филька. На них-то и опирался Иван Алексеевич в повседневной своей работе, с каждым днем все больше ощущая невидимую стену, разделявшую его с хутором. Казаки перестали ходить на собрания, а если и шли, то только после того, как Давыдка и остальные раз по пять обегали хутор из двора во двор. Приходили, молчали, со всем соглашались. Заметно преобладали молодые. Но и среди них не встречалось сочувствующих. Каменные лица, чужие, недоверчивые глаза, исподлобные взгляды видел на майдане Иван Алексеевич, проводя собрание. От этого холодело у него под сердцем, тосковали глаза, голос становился вялым и неуверенным. Рябой Филька как-то неспроста брякнул:

— Развелись мы с хутором, товарищ Котляров! Набычился народ, осатанел. Вчера пошел за подводами раненых

красноармейцев в Вёшки везть,— ни один не едет. Разведенным-то чижало в одном курене жить...

— А пьют! Дуром! — подхватил Емельян, мусоля трубочку.— Дымку в каждом дворе гонют.

Мишка Кошевой хмурился, свое таил от остальных, но прорвало и его. Уходя вечером домой, попросил Ивана Алексеевича:

— Дай мне винтовку.

— На что?

— Вот тебе! Боюсь идтить с голыми руками. Или ты не видишь ничего? Я так думаю, надо нам кое-кого... Григория Мелехова надо взять, старика Болдырева, Матвея Кашулина, Мирона Коршунова. Нашептывают они, гады, казакам... Своих из-за Донца ждут.

Ивана Алексеевича повело, невесело махнул рукой.

— Эх! Тут ежели начать выдергивать, так многих запевал выдернуть надо. Шатаются люди... А кое-кто и сочувствует нам, да на Мирона Коршунова оглядываются. Боятся, Митька его из-за Донца придет — потрошить будет.

Круто завернула на повороте жизнь. На другой день из Вешенской коннонарочный привез предписание: обложить контрибуцией богатейшие дома. На хутор дали контрольную цифру — сорок тысяч рублей. Разверстали. Прошел день. Контрибуционных денег собралось два мешка, на восемнадцать тысяч с немногим. Иван Алексеевич запросил округ. Оттуда прислали трех милиционеров и предписание: «Не уплативших контрибуцию арестовать и препроводить под конвоем в Вешенскую». Четырех дедов временно посадили в моховский подвал, где раньше зимовали яблоки.

Хутор запохожился на потревоженный пчельник. Коршунов наотрез отказался платить, прижимая подешевевшую деньгу. Однако приспела и ему пора поквитаться с хорошей жизнью. Приехали из округа двое: следователь по местным делам — молодой вешенский казак, служивший в 28-м полку, и другой, в тулупе поверх кожаной куртки. Они предъявили мандаты Ревтрибунала, заперлись с Иваном Алексеевичем в кабинете. Спутник следователя, пожилой головыбритый человек, деловито начал:

— По округу наблюдаются волнения. Оставшаяся белогвардейщина поднимает голову и начинает смущать трудовое казачество. Необходимо изъять все наиболее враждебное нам. Офицеров, попов, атаманов, жандармов, богатеев — всех, кто активно с нами боролся, давай на список. Следователю помоги. Он кое-кого знает.

Иван Алексеевич смотрел в выбритое, похожее на бабье лицо; перечисляя фамилии, упомянул Петра Мелехова, но следователь покачал головой:

— Это наш человек, Фомин просил его не трогать. Большевистски настроен. Мы с ним в Двадцать восьмом служили.

Написанный рукой Кошевого лег на стол лист графленой бумаги, вырванный из ученической тетради.

А через несколько часов на просторном моховском дворе, под присмотром милиционеров, уже сидели на дубах арестованные казаки. Ждали домашних с харчами и подводу под пожитки. Мирон Григорьевич, одетый, как на смерть, во все новое, в дубленый полушубок, в чирики и чистые белые чулки на вбор, сидел с краю, рядом с дедом Богатыревым и Матвеем Кашулиным. Авдеич Брех суетливо ходил по двору, то бесцельно заглядывал в колодец, то поднимал какую-нибудь щепку и опять метался от крыльца к калитке, утирая рукавом налитое, как яблоко, багровое, мокрое от пота лицо.

Остальные сидели молча. Угнув головы, чертили костылями снег. Бабы, запыхавшись, прибегали во двор, совали арестованным узелки, сумки, шептались. Заплаканная Лукинична застегивала на своем старике полушубок, подвязывала ему воротник белым бабьим платком, просила, глядя в потухшие, будто пеплом засыпанные глаза:

— А ты, Григорич, не горюй! Может, оно обойдется добром. Что ты так уж опустился весь? Госпо-о-оди!..— Рот ее удлиняла, плоско растягивала гримаса рыдания, но она с усилием собирала губы в комок, шептала: — Проведать приеду... Грипку привезу, ты ить ее дюжей жалеешь...

От ворот крикнул милиционер:

— Подвода пришла! Клади сумки и трогайся! Бабы, отойди в сторону, нечего тут мокрость разводить!

Лукиничва первый раз в жизни поцеловала рыжеволосую руку Мирона Григорьевича, оторвалась.

Бычиные сани медленно поползли через площадь к Дону.

Семь человек арестованных и два милиционера пошли позади. Авдеич приотстал, завязывая чирик, и моложаво побежал догонять. Матвей Кашулин шел рядом с сыном. Майданников и Королев на ходу закуривали. Мирон Григорьевич держался за кошелку саней. А позади всех величавой тяжеловатой поступью шел старик Богатырев. Встречный ветер раздувал, заносил ему назад концы белой

патриаршей бороды, прощально помахивая махрами кинутого на плечи шарфа.

В этот же пасмурный февральский день случилось диковинное.

За последнее время в хуторе привыкли к приезду служилых из округа людей. Никого не заинтересовало появление на площади пароконной подводы с зябко съежившимся рядом с кучером седоком. Сани стали у моховского дома. Седок вылез и оказался человеком пожилым, неторопливым в движениях. Он поправил солдатский ремень на длинной кавалерийской шинели, поднял с ушей наушники красного казачьего малахая и, придерживая деревянную коробку маузера, не спеша взошел на крыльцо.

В ревкоме были Иван Алексеевич да двое милиционеров. Человек вошел без стука, у порога расправил тронутый проседью короткий оклад бороды, баском сказал:

— Председателя мне нужно.

Иван Алексеевич округлившимся птичьим взглядом смотрел на вошедшего, хотел вскочить, но не смог. Он только по-рыбьи зевал ртом и скреб пальцами ошарпанные ручки кресла. Постаревший Штокман смотрел на него из-под нелепого красного верха казачьего треуха; его узко сведенные глаза, не узнавая, глядели на Ивана Алексеевича и вдруг, дрогнув, сузились, посветлели, от углов брызнули к седым вискам расщепы морщин. Он шагнул к не успевшему встать Ивану Алексеевичу, уверенно обнял его и, целуя, касаясь лица мокрой бородой, сказал:

— Знал! Если, думаю, жив остался, он будет в Татарском председателем!

— Осип Давыдыч, вдарь!.. Вдарь, меня, сукиного сына! Не верю я глазам! — плачуще заголосил Иван Алексеевич.

Слезы до того не пристали его мужественному смуглому лицу, что даже милиционер отвернулся.

— А ты поверь! — улыбаясь и мягко освобождая свои руки из рук Ивана Алексеевича, басил Штокман.— У тебя, что же, и сесть не на чем?

— Садись вот на креслу!.. Да откель же ты взялся? Говори!

— Я — с политотделом армии. Вижу, что ты никак не хочешь верить в мою доподлинность. Экий чудак!

Штокман, улыбаясь, хлопая по колену Ивана Алексеевича, бегло заговорил:

— Очень, браток, все просто. После того как забрали отсюда, осудили, ну, в ссылке встретил революцию. Организовали с товарищем отряд Красной гвардии, дрался с Дутовым и Колчаком. О, брат, там веселые дела были! Теперь загнали мы его за Урал,— знаешь? И вот я на вашем фронте. Политотдел Восьмой армии направил меня для работы в ваш округ, как некогда жившего здесь, так сказать, знакомого с условиями. Примчал я в Вёшенскую, поговорил в ревкоме с народом и в первую очередь решил поехать в Татарский. Дай, думаю, поживу у них, поработаю, помогу организовать дело, а потом уеду. Видишь, старая дружба не забывается? Ну, да к этому мы еще вернемся, а сейчас давай-ка поговорим о тебе, о положении, познакомишь меня с людьми, с обстановкой. Ячейка есть в хуторе? Кто тут у тебя? Кто уцелел? Ну, что же, товарищи... пожалуй, оставьте нас на часок с председателем. Фу, черт! Въехал в хутор, так и пахнуло старым... Да, было время, а теперь времечко... Ну, рассказывай!

Часа через три Мишка Кошевой и Иван Алексеевич вели Штокмана на старую квартиру к Лукешке-косой. Шагали по коричневому настилу дороги. Мишка часто хватался за рукав штокмановской шинели, будто опасаясь, что вот оторвется Штокман и скроется из глаз или растает призраком.

Лукешка покормила старого квартиранта щами, даже ноздреватый от старости кусок сахара достала из потаенного угла сундука.

После чая из отвара вишневых листьев Штокман прилег на лежанку. Он слышал путаные рассказы обоих, вставлял вопросы, грыз мундштук и уже перед зарей незаметно уснул, уронив папиросу на фланелевую грязную рубаху. А Иван Алексеевич еще минут десять продолжал говорить, опомнился, когда на вопрос Штокман ответил храпком, и вышел, ступая на цыпочках, багровея до слез в попытках удержать рвущийся из горла кашель.

— Отлегнуло? — тихо, как от щекотки, посмеиваясь, спросил Мишка, едва лишь сошел с крыльца.

* * *

Ольшанов, сопровождавший арестованных в Вешенскую, вернулся с попутной подводой в полночь. Он долго стучался в окно горенки, где спал Иван Алексеевич. Разбудил.

— Ты чего? — Вышел опухший от сна Иван Алексеевич.— Чего пришел? Пакет, что ли?

Ольшанов поиграл плеткой.

— Казаков-то расстреляли.

— Брешешь, гад!

— Пригнали мы — сразу их на допрос и, ишо не стемнело, повели в сосны... Сам видал!..

Не попадая ногами в валенки, Иван Алексеевич оделся, побежал к Штокману.

— Каких отправили мы ноне — расстреляли в Вёшках! Я думал, им тюрьму дадут, а этак что же... Этак мы ничего тут не сделаем! Отойдет народ от нас, Осип Давыдович!.. Тут что-то не так. На что надо было сничтожать людей? Что теперь будет?

Он ждал, что Штокман будет так же, как и он, возмущен случившимся, напуган последствиями, но тот, медленно натягивая рубаху, выпростав голову, попросил:

— Ты не кричи. Хозяйку разбудишь...

Оделся, закурил, попросил еще раз рассказать причины, вызвавшие арест семи, потом холодновато заговорил:

— Должен ты усвоить вот что, да крепко усвоить! Фронт в полутораста верстах от нас. Основная масса казачества настроена к нам враждебно. И это — потому, что кулаки ваши, кулаки-казаки, то есть атаманы и прочая верхушка, пользуются у трудового казачества огромным весом, имеют вес, так сказать. Почему? Ну это же тоже должно быть тебе понятно. Казаки — особое сословие, военщина. Любовь к чинам, к «отцам-командирам» прививалась царизмом... Как это в служивской песне поется? «И что нам прикажут отцы-командиры — мы туда идем, рубим, колем, бьем». Так, что ли? Вот видишь! А эти самые отцы-командиры приказывали рабочие стачки разгонять... Казакам триста лет дурманили голову. Немало! Так вот! А разница между кулаком, скажем, Рязанской губернии и донским, казачьим кулаком очень велика! Рязанский кулак, ущемили его,— он шипит на Советскую власть, бессилен, из-за угла только опасен. А донской кулак? Это вооруженный кулак. Это опасная и ядовитая гадина! Он силен. Он будет не только шипеть, распускать порочащие нас слухи, клеветать на нас, как это делали, по твоим словам, Коршунов и другие, но и попытается открыто выступить против нас. Ну конечно! Он возьмет винтовку и будет бить нас. Тебя будет бить! И постарается увлечь за собой и остальных казаков, так сказать — середнеимущественно-

го казака и даже бедняка. Их руками он норовит бить нас! В чем же дело! Уличен в действиях против нас? Готово! Разговор короткий,— к стенке! И тут нечего слюнявиться жалостью: хороший, мол, человек был.

— Да я не жалею, что ты! — Иван Алексеевич замахал руками.— Я боюсь, как бы остальные от нас не откачнулись.

Штокман, до этого с кажущимся спокойствием потиравший ладонью крытую седоватым волосом грудь, вспыхнул, с силой схватил Ивана Алексеевича за ворот гимнастерки и, притягивая его к себе, уже не говорил, а хрипел, подавляя кашель:

— Не откачнутся, если внушить им нашу классовую правду! Трудовым казакам только с нами по пути, а не с кулачьем! Ах, ты!.. Да кулаки же их трудом — их трудом! — живут. Жиреют!.. Эх, ты, шляпа! Размагнитился! Душок у тебя... Я за тебя возьмусь! Этакая дубина! Рабочий парень, а слюни интеллигентские... Как какой-нибудь паршивенький эсеришка! Ты смотри у меня, Иван!

Выпустил ворот гимнастерки, чуть улыбнулся, покачал головой и, закурив, глотнул дымку, уже спокойнее докончил:

— Если по округу не взять наиболее активных врагов,— будет восстание. Если своевременно сейчас изолировать их,— восстания может не быть. Для этого необязательно всех расстреливать. Уничтожить нужно только матерых, а остальных — ну хотя бы отправить в глубь России. Но вообще с врагами нечего церемониться! «Революцию в перчатках не делают»,— говорил Ленин. Была ли необходимость расстреливать в данном случае этих людей? Я думаю — да! Может быть, не всех, но Коршунова, например, незачем исправлять! Это ясно! А вот Мелехов, хоть и временно, а ускользнул. Именно его надо бы взять в дело! Он опаснее остальных, вместе взятых. Ты это учти. Тот разговор, который он вел с тобой в исполкоме,— разговор завтрашнего врага. Вообще же переживать тут нечего. На фронтах гибнут лучшие сыны рабочего класса. Гибнут тысячами! О них — наша печаль, а не о тех, кто убивает их или ждет случая, чтобы ударить в спину. Или они нас, или мы их! Третьего не дано. Так-то, свет Алексеевич!

XXIII

Петро только что наметал скотине и пошел в курень, выбирая из варежек сенные остья. Сейчас же звякнула щеколда в сенцах.

Закутанная в черный ковровый платок Лукинична переступила порог. Мелко шагая, не поздоровавшись, она просеменила к Наталье, стоявшей у кухонной лавки, и упала перед ней на колени.

— Маманя! Милушка! Ты чего?! — не своим голосом вскрикнула Наталья, пытаясь поднять отяжелевшее тело матери.

Вместо ответа Лукинична стукнулась головой о земляной пол, глухо, надорванно заголосила по мертвому:

— И ро-ди-мый ты мо-о-ой! И на кого же ты нас... поки-и-нул!..

Бабы так дружно взревелись, так взвизжались детишки, что Петро, ухватив с печурки кисет, стремглав вылетел в сенцы. Он уже догадался, в чем дело. Постоял, покурил на крыльце. В курене умолкли воющие голоса, и Петро, неся на спине неприятный озноб, вошел в кухню. Лукинична, не отрывая от лица мокрого, хоть выжми, платка, причитала:

— Расстрелили нашего Мирона Григорича!.. Нету в живых сокола!.. Остались мы сиротами!.. Нас теперя и куры загребут!..— И снова перешла на волчий голос: — Закрылись его глазыньки!.. Не видать им белого све-е-та!..

Дарья отпаивала сомлевшую Наталью водой, Ильинична завеской сушила щеки. Из горницы, где отлеживался больной Пантелей Прокофьевич, слышался кашель и скрежещущий стон.

— Ради господа Христа, сват! Ради создателя, родимушка, съезди ты в Вёшки, привези нам его хучь мертвого! — Лукинична хватала руки Петра, обезумело прижимала их к груди.— Привези его... Ох, царица милостивая! Ох, не хочу я, что он там сгниет непохороненный!

— Что ты, что ты, сваха! — как от зачумленной, отступал от нее Петро.— Мысленное дело — добыть его? Мне своя жизня дороже! Где ж я его там найду?

— Не откажи, Петюшка! Ради Христа! Ради Христа!..

Петро изжевал усы и под конец согласился. Решил заехать в Вешенской к знакомому казаку и при его помощи попытаться выручить труп Мирона Григорьевича. Выехал

он в ночь. По хутору зажглись огни, и в каждом курене уже гудела новость: «Казаков расстреляли!»

Остановился Петро возле новой церкви у отцовского полчанина, попросил его помочь вырыть труп свата. Тот охотно согласился.

— Пойдем. Знаю, где это место. И неглубоко зарывают. Только как его найдешь? Там ить он не один. Вчера двенадцать палачей расстреляли, какие казнили наших при кадетской власти. Только уговор: посля постановишь четверть самогону? Ладно?

В полночь, захватив лопаты и ручные, для выделки кизяка, носилки, они пошли краем станицы через кладбище к соснам, около которых приводились в исполнение приговоры. Схватывался снежок. Краснотал, опушенный инеем, хрустел под ногами. Петро прислушивался к каждому звуку и клял в душе свою поездку, Лукиничну и даже покойного свата. Около первого квартала соснового молодняка, за высоким песчаным буруном казак стал.

— Где-то тут, поблизу...

Прошли еще шагов сто. Шайка станичных собак подалась от них с воем и брехом. Петро бросил носилки, хрипло шепнул:

— Пойдем назад! Ну его к...! Не один черт, где ему лежать? Ох, связался я... Упросила, нечистая сила!

— Чего же ты оробел? Пойдем! — посмеивался казак.

Дошли. Около раскидистого застарелого куста краснотала снег был плотно умят, смешан с песком. От него лучами расходились людские следы и низаная мережка собачьих...

...Петро по рыжеватой бороде угадал Мирона Григорьевича. Он вытащил свата за кушак, взвалил туловище на носилки. Казак, покашливая, закидывал яму; прилаживаясь к ручкам носилок, недовольно бормотал:

— Надо бы подъехать на санях к соснам. То-то дураки мы! В нем, в кабане, добрых пять пудов. А по снегу стрямко идтить.

Петро раздвинул отходившие свое ноги покойника, взялся за поручни.

До зари он пьянствовал в курене у казака. Мирон Григорьевич, закутанный в полог, дожидался в санях. Коня, спьяну, привязал Петро к этим же саням, и тот все время стоял, до отказа вытянув на недоуздке голову, всхрапывая, прядая ушами. К сену так и не притронулся, чуя покойника.

Чуть посерел восход, Петро был уже в хуторе. Он ехал лугом, гнал без передышки. Позади выбивала дробь по поддоске голова Мирона Григорьевича. Петро раза два останавливался, совал под голову ему мочалистое луговое сено. Привез он свата прямо домой. Мертвому хозяину отворила ворота любимая дочь Грипашка и кинулась от саней в сторону, в сугроб. Как мучной куль, на плече внес Петро в просторную кухню свата, осторожно опустил на стол, заранее застланный холстинной дорожкой. Лукинична, выплакавшая все слезы, ползала в ногах мужа, опрятно одетых в белые смертные чулки, осиплая, простоволосая.

— Думала, войдешь ты на своих ноженьках, хозяин наш, а тебе внесли,— чуть слышались ее шепот и всхлипы, дико похожие на смех.

Петро из горенки вывел под руку деда Гришаку. Старик весь ходил ходуном, словно пол под его ногами зыбился трясиной. Но к столу подошел молодцевато, стал в изголовье.

— Ну, здорово, Мирон! Вот как пришлось, сынок, свидеться...— Перекрестился, поцеловал измазанный желтой глиной ледяной лоб.— Миронушка, скоро и я...— Голос его поднялся до стенящего визга. Словно боясь проговориться, дед Гришака проворным, не стариковским движением донес руку до рта, привалился к столу.

Спазма волчьей хваткой взяла Петра за глотку. Он потихоньку вышел на баз, к причаленному у крыльца коню

XXIV

Из глубоких затишных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьется там течение. Дон идет вразвалку, мерным тихим разливом. Над песчаным твердым дном стаями пасутся чернопузы; ночью на россыпь выходит жировать стерлядь, ворочается в зеленых прибрежных теремах тины сазан; белесь и сула гоняют за белой рыбой, сом роется в ракушках; взвернет иногда он зеленый клуб воды, покажется под просторным месяцем, шевеля золотым, блестящим правилом, и вновь пойдет расковыривать лобастой усатой головой залежи ракушек, чтобы к утру застыть в полусне где-нибудь в черной обглоданной коряге.

Но там, где узко русло, взятый в неволю Дон прогрызает в теклине глубокую прорезь, с придушенным ревом стреми-

тельно гонит одетую пеной белогривую волну. За мысами уступов, в котловинах течение образует коловерть. Завораживающим страшным кругом ходит там вода: смотреть — не насмотришься.

С россыпи спокойных дней свалилась жизнь в прорезь. Закипел Верхне-Донской округ. Толканулись два течения, пошли вразброд казаки, и понесла, завертела коловерть. Молодые и которые победней — мялись, отмалчивались, всё еще ждали мира от Советской власти, а старые шли в наступ, уже открыто говорили о том, что красные хотят казачество уничтожить поголовно.

В Татарском собрал Иван Алексеевич 4 марта сход. Народу сошлось на редкость много. Может быть, потому, что Штокман предложил ревкому на общем собрании распределить по беднейшим хозяйствам имущество, оставшееся от бежавших с белыми купцов. Собранию предшествовало бурное объяснение с одним из окружных работников. Он приехал из Вешенской с полномочиями забрать конфискованную одежду. Штокман объяснил ему, что одежду сейчас ревком сдать не может, так как только вчера было выдано транспорту раненых и больных красноармейцев тридцать с лишним теплых вещей. Приехавший молодой паренек насыпался на Штокмана, резко повышая голос:

— Кто тебе позволил отдавать конфискованную одежду?

— Мы разрешения не спрашивали ни у кого.

— Но какое же ты имел право расхищать народное достояние?

— Ты не кричи, товарищ, и не говори глупостей. Никто ничего не расхищал. Шубы мы выдали подводчикам под сохранные расписки, с тем чтобы они, доставив красноармейцев до следующего этапного пункта, привезли выданную одежду обратно. Красноармейцы были полуголые, и отправлять их в одних шинелишках — значило отправлять на смерть. Как же я мог не выдать? Тем более что одежда лежала в кладовой без употребления.

Он говорил, сдерживая раздражение, и, может быть, разговор кончился бы миром, но паренек заморозил голос, решительно заявил:

— Ты кто такой? Председатель ревкома? Я тебя арестовываю! Сдавай дела заместителю! Сейчас же отправляю тебя в Вёшенскую. Ты тут, может, половину имущества разворовал, а я...

— Ты коммунист? — кося глазами, мертвенно бледнея, спросил Штокман.

— Не твое дело! Милиционер! Возьми его и доставь в Вёшенскую сейчас же. Сдашь под расписку в окружную милицию.

Паренек смерил Штокмана взглядом.

— А с тобой мы там поговорим. Ты у меня попляшешь, самоуправщик!

— Товарищ! Ты что — ошалел? Да ты знаешь...

— Никаких разговоров! Молчать!

Иван Алексеевич, не успевший в перепалку и слово вставить, увидел, как Штокман медленным страшным движением потянулся к висевшему на стене маузеру. Ужас плесканулся в глазах паренька. С изумительной быстротой тот отворил задом дверь, падая, пересчитал спиной все порожки крыльца и, ввалившись в сани, долго, пока не проскакал площади, толкал возницу в спину и все оглядывался, видимо, страшась погони.

В ревкоме раскатами бил в окна хохот. Смешливый Давыдка в судорогах катался по столу. Но у Штокмана еще долго нервный тик подергивал веко, косили глаза.

— Нет, каков мерзавец! Ах, подлюга! — повторял он, дрожащими пальцами сворачивая папироску.

На собрание пошел он вместе с Кошевым и Иваном Алексеевичем. Майдан набит битком. У Ивана Алексеевича даже сердце не по-хорошему екнуло: «Чтой-то они неспроста собрались... Весь хутор на майдане». Но опасения его рассеялись, когда он, сняв шапку, вошел в круг. Казаки охотно расступились. Лица были сдержанные, у некоторых даже с веселинкой в глазах. Штокман оглядел казаков. Ему хотелось разрядить атмосферу, вызвать толпу на разговор. Он, по примеру Ивана Алексеевича, тоже снял свой красноверхий малахай, громко сказал:

— Товарищи казаки! Прошло полтора месяца, как у вас стала Советская власть. Но до сих пор с вашей стороны мы, ревком, наблюдаем какое-то недоверие к нам, какую-то даже враждебность. Вы не посещаете собраний, среди вас ходят всякие слухи, нелепые слухи о поголовных расстрелах, о притеснениях, которые будто бы чинит вам Советская власть. Пора нам поговорить, что называется, по душам, пора поближе подойти друг к другу! Вы сами выбирали свой ревком. Котляров и Кошевой — ваши хуторские казаки, и между вами не может быть недоговоренности. Прежде всего я решительно заявляю, что распространяе-

мые нашими врагами слухи о массовых расстрелах казаков — не что иное, как клевета. Цель у сеющих эту клевету — ясная: поссорить казаков с Советской властью, толкнуть вас опять к белым.

— Скажешь, расстрелов нет? А семерых куда дели? — крикнули из задних рядов.

— Я не скажу, товарищи, что расстрелов нет. Мы расстреливали и будем расстреливать врагов Советской власти, всех, кто вздумает навязывать нам помещицкую власть. Не для этого мы свергли царя, кончили войну с Германией, раскрепостили народ. Что вам дала война с Германией? Тысячи убитых казаков, сирот, вдов, разорение...

— Верно!

— Это ты правильно гутаришь!

— ...Мы — за то, чтобы войны не было,— продолжал Штокман.— Мы за братство народов! А при царской власти для помещиков и капиталистов завоевывались вашими руками земли, чтобы обогатились на этом те же помещики и фабриканты. Вот у вас под боком был помещик Листницкий. Его дед получил за участие в войне восемьсот двенадцатого года четыре тысячи десятин земли. А что ваши деды получили? Они головы теряли на немецкой земле! Они кровью ее поливали!

Майдан загудел. Гул стал притихать, а потом сразу взмахнул ревом:

— Верна-а-а-а!..

Штокман малахаем осушил пот на лысеющем лбу, напрягая голос, кричал:

— Всех, кто поднимет на рабоче-крестьянскую власть вооруженную руку, мы истребим! Ваши хуторские казаки, расстрелянные по приговору Ревтрибунала, были нашими врагами. Вы все это знаете. Но с вами, тружениками, с теми, кто сочувствует нам, мы будем идти вместе, как быки на пахоте, плечом к плечу. Дружно будем пахать землю для новой жизни и боронить ее, землю, будем, чтобы весь старый сорняк, врагов наших, выкинуть с пахоты! Чтобы не пустили они вновь корней! Чтобы не заглушили роста новой жизни!

Штокман понял по сдержанному шуму, по оживившимся лицам, что ворохнул речью казачьи сердца. Он не ошибся: начался разговор по душам.

— Осип Давыдович! Хорошо мы тебя знаем, как ты проживал у нас когда-то, ты нам вроде как свой. Объясни правильно, не боись нас, что она, эта власть ваша, из нас хочет? Мы, конечно, за нее стоим, сыны наши фронты

бросили, но мы — темные люди, никак мы не разберемся в ней...

Долго и непонятно говорил старик Грязнов, ходил вокруг да около, кидал увертливые, лисьи петли слов, видимо боясь проговориться. Безрукий Алешка Шамиль не вытерпел:

— Можно сказать?

— Бузуй! — разрешил Иван Алексеевич, взволнованный разговором.

— Товарищ Штокман, ты мне наперед скажи: могу я гутарить так, как хочу?

— Говори.

— А не заарестуете меня?

Штокман улыбнулся, молча махнул рукой.

— Только чур — не серчать! Я от простого ума: как умею, так и заверну.

Сзади за холостой рукав Алешкиного чекменишки дергал брат Мартин, испуганно шептал:

— Брось, шалава! Брось, не гутарь, а то они тебя враз на цугундер. Попадешь на книжку, Алешка!

Но тот отмахнулся от него, дергая изуродованной щекой, мигая, стал лицом к майдану.

— Господа казаки! Я скажу, а вы рассудите нас, правильно я поведу речь или, может, заблужусь.— Он по-военному крутнулся на каблуках, повернулся к Штокману, хитро заерзал прижмурой-глазом.— Я так понимаю: направдок гутарить — так направдок. Рубануть уж, так сплеча! И я зараз скажу, что́ мы все, казаки, думаем и за что мы на коммунистов держим обиду... Вот ты, товарищ, рассказывал, что против хлеборобов-казаков вы не идете, какие вам не враги. Вы против богатых, за бедных вроде. Ну скажи, правильно расстреляли хуторных наших? За Коршунова гутарить не буду,— он атаманил, весь век на чужом горбу катался, а вот Авдеича Бреха за что? Кашулина Матвея? Богатырева? Майданникова? А Королева? Они такие же, как и мы, темные, простые, непутаные. Учили их за чапиги держаться, а не за книжку. Иные из них и грамоте не разумеют. Аз, буки — вот и вся ихняя ученость. И ежели эти люди сболтнули что плохое, то разве за это на мушку их надо брать? — Алешка перевел дух, рванулся вперед. На груди его забился холостой рукав чекменя, рот повело в сторону.— Вы забрали их, кто сдуру набрехал, казнили, а вот купцов не трогаете! Купцы деньгой у вас жизню свою откупили! А нам и откупиться не за что, мы весь век в земле копаемся, а длинный рупь мимо нас идет.

Они, каких расстреляли, может, и последнего быка с база согнали б, лишь бы жизню им оставили, но с них кострибуцию не требовали. Их взяли и поотвернули им головы. И ить мы все знаем, что делается в Вёшках. Там купцы, попы — все целенькие. И в Каргинах небось целые. Мы слышим, что кругом делается. Добрая слава лежит, а худая по свету бежит!

— Правильна! — одинокий крик сзади.

Гомон вспух, потопил слова Алешки, но тот переждал время и, не обращая внимания на поднятую руку Штокмана, продолжал выкрикивать:

— И мы поняли, что, может, Советская власть и хороша, но коммунисты, какие на должностях засели, норовят нас в ложке воды утопить! Они нам солют за девятьсот пятый год, мы эти слова слыхали от красных солдатов. И мы так промеж себя судим: хотят нас коммунисты изнистожить, перевесть вовзят [1]. Чтоб и духу казачьего на Дону не было. Вот тебе мой сказ! Я зараз как пьяный: что на уме, то и на языке. А пьяные мы все от хорошей жизни, от обиды, что запеклась на вас, на коммунистов!

Алешка нырнул в гущу полушубков, и над майданом надолго распростерлась потерянная тишина. Штокман заговорил, но его перебили выкриком из задних рядов:

— Правда! Обижаются казаки! Вы послухайте, какие песни зараз на хуторах сложили. Словом не всякий решится сказать, а в песнях играют, с песни короткий спрос. А сложили такую «яблочко»:

Самовар кипит, рыба жарится,
А кадеты придут — будем жалиться.

— Значит, есть на что жалиться!

Кто-то некстати засмеялся. Толпа колыхнулась. Шепот, разговоры...

Штокман ожесточенно нахлобучил малахай и, выхватив из кармана список, некогда написанный Кошевым, крикнул:

— Нет, неправда! Не за что обижаться тем, кто за революцию! Вот за что расстреляли ваших хуторян, врагов Советской власти. Слушайте! — и он внятно, с паузами стал читать:

---

[1] Вовзят — совсем, вконец.

СПИСОК

арестованных врагов Советской власти, препровождающихся в распоряжение следственной комиссии при Ревтрибунале 15-й Инзенской дивизии

№№ пп	Фамилия, имя, отчество	За что арестован	Примечание
1	*Коршунов* Мирон Григорьевич	б. атаман, богатей, нажитый от чужого труда.	
2	*Синилин* Иван Авдеевич	Пущал пропаганды, чтобы свергнули Советскую власть.	
3	*Кашулин* Матвей Иванович	То же самое.	
4	*Майданников* Семен Гаврилов	Надевал погоны, орал по улицам против власти.	
5	*Мелехов* Пантелей Прокофьевич	Член Войскового округа.	
6	*Мелехов* Григорий Пантелеевич	Подъесаул, настроенный против. Опасный.	
7	*Кашулин* Андрей Матвеев	Участвовал в расстреле красных казаков Подтелкова.	
8	*Бодовсков* Федот Никифоров	То же самое.	
9	*Богатырев* Архип Матвеев	Церковный титор. Против власти выступал в караулке. Возмутитель народа и контра революции.	
10	*Королев* Захар Леонтьев	Отказался сдать оружие. Ненадежный.	

Против обоих Мелеховых и Бодовскова в примечании, не прочтенном Штокманом вслух, было указано:

«Данные враги Советской власти не доставляются, ибо двое из них в отсутствии, мобилизованы в обывательские подводы, повезли до станции Боковской патроны. А Мелехов Пантелей лежит в тифу. С приездом двое будут немедленно арестованы и доставлены в округ. А третий — как только подымется на ноги».

Собрание несколько мгновений помолчало, а потом взорвалось криками:

— Неверно!
— Брешешь! Говорили они против власти!
— За такие подобные следовает!
— В зубы им заглядать, что ли?
— Наговоры на них!

И Штокман заговорил вновь. Его слушали будто и внимательно и даже покрикивали с одобрением. но когда в конце он поставил вопрос о распределении имущества бежавших с белыми,— ответили молчанием.

— Чего ж вы воды в рот набрали? — досадуя, спросил Иван Алексеевич.

Толпа покатилась к выходу, как просыпанная дробь. Один из беднейших, Семка, по прозвищу Чугун, было нерешительно подался вперед, но потом одумался и махнул варежкой:

— Хозяева придут, опосля глазами моргай...

Штокман пытался уговаривать, чтобы не расходились, а Кошевой, мучнистно побелев, шепнул Ивану Алексеевичу:

— Я говорил — не будут брать. Это имущество лучше спалить теперя, чем им отдавать!..

XXV

Кошевой, задумчиво похлопывая плеткой по голенищу, уронив голову, медленно всходил по порожкам моховского дома. Около дверей, в коридоре, прямо на полу, лежали в куче седла. Кто-то, видно, недавно приехал: на одном из стремян еще не стаял спрессованный подошвой всадника, желтый от навоза комок снега; под ним мерцала лужица воды. Все это Кошевой видел, ступая по измызганному полу террасы. Глаза его скользили по голубой резной решетке с выщербленными ребрами, по пушистому настилу инея, сиреневой каемкой лежавшему близ стены; мельком взглянул он и на окна, запотевшие изнутри, мутные, как бычачий пузырь. Но все то, что он видел, в сознании не фиксировалось, скользило невнятно, расплывчато, как во сне. Жалость и ненависть к Григорию Мелехову переплели Мишкино простое сердце...

В передней ревкома густо воняло табаком, конской сбруей, талым снегом. Горничная, одна из прислуги оставшаяся в доме после бегства Моховых за Донец, топила голландскую печь. В соседней комнате громко смеялись милиционеры. «Чудно им! Веселость нашли!..» — обижен-

но подумал Кошевой, шагая мимо, и уже с досадой в последний раз хлопнул плеткой по голенищу, без стука вошел в угловую комнату.

Иван Алексеевич в распахнутой ватной теплушке сидел за письменным столом. Черная папаха его была лихо сдвинута набекрень, а потное лицо — устало и озабоченно. Рядом с ним на подоконнике, все в той же длинной кавалерийской шинели, сидел Штокман. Он встретил Кошевого улыбкой, жестом пригласил сесть рядом.

— Ну как, Михаил? Садись.

Кошевой сел, разбросав ноги. Любознательно-спокойный голос Штокмана подействовал на него отрезвляюще.

— Слыхал я от верного человека... Вчера вечером Григорий Мелехов приехал домой. Но к ним я не заходил.

— Что ты думаешь по этому поводу?

Штокман сворачивал папироску и изредка вкось поглядывал на Ивана Алексеевича, выжидая ответа.

— Посадить его в подвал или как? — часто мигая, нерешительно спросил Иван Алексеевич.

— Ты у нас председатель ревкома... Смотри.

Штокман улыбнулся, уклончиво пожал плечами. Умел он с такой издевкой улыбнуться, что улыбка жгла не хуже удара арапником. Вспотел у Ивана Алексеевича подбородок.

Не разжимая зубов, резко сказал:

— Я — председатель, так я их обоих, и Гришку и брата, арестую — и в Вёшки!

— Брата Григория Мелехова арестовывать вряд ли есть смысл. За него горой стоит Фомин. Тебе же известно, как он о нем прекрасно отзывается... А Григория взять сегодня, сейчас же! Завтра мы его отправим в Вёшенскую, а материал на него сегодня же пошли с конным милиционером на имя председателя Ревтрибунала.

— Может, вечером забрать Григория, а, Осип Давыдович?

Штокман закашлялся и уже после приступа, вытирая бороду, спросил:

— Почему вечером?

— Меньше разговоров...

— Ну, это, знаешь ли... ерунда это!

— Михаил, возьми двух человек и иди забери зараз же Гришку. Посадишь его отдельно. Понял?

Кошевой сполз с подоконника, пошел к милиционерам. Штокман походил по комнате, шаркая растоптанными седыми валенками; остановившись против стола, спросил:

— Последнюю партию собранного оружия отправил?
— Нет.
— Почему?
— Не успел вчера.
— Почему?
— Нынче отправим.

Штокман нахмурился, но сейчас же приподнял брови, спросил скороговоркой:

— Мелеховы что сдали?

Иван Алексеевич, припоминая, сощурил глаза, улыбнулся.

— Сдали-то они в аккурат, две винтовки и два нагана. Да ты думаешь, это все?

— Нет?

— Ого! Нашел дурее себя!

— Я тоже так думаю.— Штокман тонко поджал губы.— Я бы на твоем месте после ареста устроил у него тщательный обыск. Ты скажи, между прочим, коменданту-то. Ду́мать-то ты думаешь, а кроме этого, и делать надо.

Кошевой вернулся через полчаса. Он резво бежал по террасе, свирепо прохлопал дверями и, став на пороге, переводя дух, крикнул:

— Черта с два!

— Ка-а-ак? — быстро идя к нему, страшно округляя глаза, спросил Штокман. Длинная шинель его извивалась между ногами, полами щелкала по валенкам.

Кошевой, то ли от тихого его голоса, то ли еще от чего, взбесился, заорал:

— А ты глазами не играй!..— И матерно выругался.— Говорят, уехал Гришка на Сингинский, к тетке, а я тут при чем? Вы-то где были? Гвозди дергали? Вот! Проворонили Гришку! А на меня нечего орать! Мое дело телячье,— поел да в закут. А вы чего думали? — Пятясь от подходившего к нему в упор Штокмана, он уперся спиной в изразцовую боковину печи и рассмеялся.— Не напирай, Осип Давыдович! Не напирай, а то, ей-богу, вдарю!

Штокман постоял около него, похрустел пальцами; глядя на белый Мишкин оскал, на глаза его, смотревшие улыбчиво и преданно, процедил:

— Дорогу на Сингин знаешь?

— Знаю.

— Чего же ты вернулся? А еще говоришь — с немцами дрался... Шляпа! — И с нарочитым презрением сощурился.

* * *

Степь лежала, покрытая голубоватым дымчатым куреном. Из-за обдонского бугра вставал багровый месяц. Он скупо светил, не затмевая фосфорического света звезд.

По дороге на Сингин ехали шесть конников. Лошади бежали рысцой. Рядом с Кошевым трясся в драгунском седле Штокман. Высокий гнедой донец под ним все время взыгрывал, ловчился укусить всадника за колено. Штокман с невозмутимым видом рассказывал какую-то смешную историю, а Мишка, припадая к луке, смеялся детским, заливчатым смехом, захлебываясь и икая, и все норовил заглянуть под башлык Штокману, в его суровые стерегущие глаза.

Тщательный обыск на Сингином не дал никаких результатов.

XXVI

Григория заставили из Боковской ехать в Чернышевскую. Вернулся он через полторы недели. А за два дня до его приезда арестовали отца. Пантелей Прокофьевич только что начал ходить после тифа. Встал еще больше поседевший, мослаковатый, как конский скелет. Серебристый каракуль волос лез, будто избитый молью, борода свалялась и была по краям сплошь намылена сединой.

Милиционер увел его, дав на сборы десять минут. Посадили Прокофьевича — перед отправкой в Вешенскую — в моховский подвал. Кроме него, в подвале, густо пропахшем анисовыми яблоками, сидели еще девять стариков и один почетный судья.

Петро сообщил эту новость Григорию и — не успел еще тот в ворота въехать — посоветовал:

— Ты, браток, поворачивай оглобли... Про тебя пытали, когда приедешь. Поди посогрейся, детишков повидай, а посля давай я тебя отвезу на Рыбный хутор, там прихоронишься и перегодишь время. Будут спрашивать, скажу — уехал на Сингин, к тетке. У нас ить семерых прислонили к стенке, слыхал? Как бы отцу такая линия не вышла... А про тебя и гутарить нечего!

Посидел Григорий в кухне с полчаса, а потом, оседлав своего коня, в ночь ускакал на Рыбный. Дальний родственник Мелеховых, радушный казак, спрятал Григория в прикладке кизяков. Там он и прожил двое суток, выползая из своего логова только по ночам.

XXVII

На второй день после приезда с Сингина Кошевой отправился в Вешенскую узнать, когда будет собрание комячейки. Он, Иван Алексеевич, Емельян, Давыдка и Филька решили оформить свою партийную принадлежность.

Мишка вез с собой последнюю партию сданного казаками оружия, найденный в школьном дворе пулемет и письмо Штокмана председателю окружного ревкома. На пути в Вешенскую в займище поднимали зайцев. За годы войны столько развелось их и так много набрело кочевых, что попадались они на каждом шагу. Как желтый султан куги — так и заячье кобло. От скрипа саней вскочит серый с белым подпузником заяц и, мигая отороченным черной опушкой хвостом, пойдет щелкать целиной. Емельян, правивший конями, бросал вожжи, люто орал:

— Бей! А ну, резани его!

Мишка прыгал с саней, с колена выпускал вслед серому катучему комку обойму, разочарованно смотрел, как пули схватывали вокруг него белое крошево снега, а комок наддавал ходу, с разлету обивал с бурьяна снежный покров и скрывался в чаще.

...В ревкоме шла бестолковая сутолочь. Люди потревоженно бегали, подъезжали верховые нарочные, улицы поражали малолюдьем. Мишка, не понимавший причины беспокойной суетни, был удивлен. Письмо Штокмана заместитель председателя рассеянно сунул в карман, на вопрос, будет ли ответ, сурово буркнул:

— Отвяжись, ну тебя к черту! Не до вас!

По площади сновали красноармейцы караульной роты. Проехала, пыхая дымком, полевая кухня. На площади запахло говядиной и лавровым листом.

Кошевой зашел в Ревтрибунал к знакомым ребятам покурить, спросил:

— Чего у вас томаха идет?

Ему неохотно ответил один из следователей по местным делам, Громов:

— В Казанской что-то неспокойно. Не то белые прорвались, не то казаки восстали. Вчера бой там шел, по слухам. Телефонная связь-то порватая.

— Верхового кинули б туда.

— Послали. Не вернулся. А нынче в Еланскую пошла рота. И там что-то нехорошо.

Они сидели у окна, курили. За стеклами осанистого купеческого дома, занятого трибуналом, порошил снежок.

Выстрелы глухо захлопали где-то за станицей, около сосен, в направлении на Черную. Мишка побелел, выронил папиросу. Все бывшие в доме кинулись во двор. Выстрелы гремели уже полнозвучно и веско. Возраставшую пачечную стрельбу задавил залп, завизжали пули, заклацали, вгрызаясь в обшивку сараев, в ворота. Во дворе ранило красноармейца. На площадь, комкая и засовывая в карманы бумаги, выбежал Громов. Около ревкома строились остатки караульной роты. Командир в куцей дубленке челноком шнырял меж красноармейцев. Колонной, на рысях, повел он роту на спуск к Дону. Началась гибельная паника. По площади забегали люди. Задрав голову, наметом прошла оседленная, без всадника, лошадь.

Ошарашенный Кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин в бурке черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фомин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли.

«К лошадям!» — было первой мыслью Мишки. Он, пригибаясь, перебегал перекрестки; ни разу не передохнул. Сердце зашлось, пока добежал до квартиры. Емельян запряг лошадей, с испугу не мог нацепить постромки.

— Чтой-то, Михаил? Что такое? — лепетал он, выбивая дробь зубами. Запряг — потерял вожжи. Начал вожжать — на хомуте, у левой, развязалась супонь.

Двор, где они стали на квартиру, выходил в степь. Мишка посматривал на сосны, но оттуда не показывались цепи пехоты, не шла лавой конница. Где-то стреляли, улицы были пусты, все было обыденно и скучно. И в то же время творилось страшное: переворот вступал в права.

Пока Емельян возился с лошадьми, Мишка глаз не сводил со стени. Он видел, как из-за часовенки, мимо места, где сгорела в декабре радиостанция, побежал человек в черном пальто. Он мчался изо всех сил, низко клонясь вперед, прижав к груди руки. По пальто Кошевой узнал следователя Громова. И еще успел увидеть он, как из-за плетня мелькнула фигура конного. И его узнал Мишка. Это был вешенский казак Черничкин, молодой отъявленный белогвардеец. Отделенный от Черничк на расстоянием в сто саженей, Громов на бегу оглянулся раз и два, достал из кармана револьвер. Хлопнул выстрел, другой. Громов выскочил на вершину песчаного буруна, бил из нагана.

С лошади Черничкин прыгнул на ходу; придерживая повод, снял винтовку, прилег под сугроб. После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветви хвороста. Околесив бурун, он лег лицом в снег. «Убил!» — Мишка похолодел. Был Черничкин лучшим стрелком и из принесенного с германской войны австрийского карабина без промаха низал любую на любом расстоянии цель. Уже в санях, выскочив за ворота, Мишка видел, как Черничкин, подскакав к буруну, рубил шашкой черное пальто, косо распростертое на снегу.

Скакать через Дон на Базки было опасно. На белом просторе Дона лошади и седоки стали бы прекрасной мишенью.

Там уже легли двое красноармейцев караульной роты, срезанные пулями. И поэтому Емельян повернул через озеро в лес. На льду стоял наслуз [1], из-под конских копыт, шипя, летели брызги и комья, подреза полозьев чертили глубокие борозды. До хутора скакали бешено. Но на переезде Емельян натянул вожжи, повернул опаленное ветром лицо к Кошевому.

— Что делать? А если и у нас такая заваруха?

Мишка затосковал глазами. Оглядел хутор. По крайней к Дону улице проскакали двое верховых. Показалось, видно, Кошевому, что это милиционеры.

— Гони в хутор. Больше нам некуда деваться! — решительно сказал он.

Емельян с великой неохотой тронул лошадей. Дон переехали. Поднялись на выезд. Навстречу им бежали Антип Брехович и еще двое стариков с верхнего края.

— Ох, Мишка! — Емельян, увидев в руках Антипа винтовку, задернул лошадей, круто повернул назад.

— Стой!

Выстрел. Емельян, не роняя из рук вожжей, упал. Лошади скоком воткнулись в плетень. Кошевой спрыгнул с саней. Подбегая к нему, скользя ногами, обутыми в чирики, Антип качнулся, стал, кинул к плечу винтовку. Падая на плетень, Мишка заметил в руках у одного старика белые зубья вил-тройчаток.

— Бей его!

От ожога в плече Кошевой без крика упал вниз, ладонями закрыл глаза. Человек нагнулся над ним с тяжким дыхом, пырнул его вилами.

— Вставай, сука!

---

[1] Наслуз — снеговой покров на льду, пропитанный водой.

Дальше Кошевой помнил все как во сне. На него, рыдая, кидался, хватал за грудки Антип:

— Отца моего смерти предал... Пустите, добрые люди! Дайте, я над ним сердце отведу!

Его оттягивали. Собралась толпа. Чей-то урезонивающий голос простудно басил:

— Пустите парня! Что вы, креста не имеете, что ли? Брось, Антип! В отца жизню не вдунешь, а человека загубишь... Разойдитесь, братцы! Там вон, на складе, сахар делют. Ступайте...

Очнулся Мишка вечером под тем же плетнем. Жарко пощипывал тронутый вилами бок. Зубья, пробив полушубок и теплушку, неглубоко вошли в тело. Но разрывы болели, на них комками запеклась кровь. Мишка встал на ноги, прислушался. По хутору, видно, ходили повстанческие патрули. Редкие гукали выстрелы. Брехали собаки. Издали слышался приближающийся говор. Пошел Мишка скотиньей стежкой вдоль Дона. Выбрался на яр и полз под плетнями, шаря руками по черствой корке снега, обрываясь и падая. Он не узнавал места, полз наобум. Холод бил дрожью тело, замораживал руки. Холод и загнал Кошевого в чьи-то воротца. Мишка открыл калитку, прикляченную хворостом, вошел на задний баз. Налево виднелась половня. В нее забрался было он, но сейчас же заслышал шаги и кашель.

Кто-то шел в половню, поскрипывая валенками. «Добьют зараз»,— безразлично, как о постороннем, подумал Кошевой. Человек стал в темном просторе дверей.

— Кто тут такой?

Голос был слаб и словно испуган.

Мишка шагнул за стенку.

— Кто это? — спросили уже тревожнее и громче.

Узнав голос Степана Астахова, Мишка вышел из половни.

— Степан, это я, Кошевой... Спаси, ради бога! Могешь ты не говорить никому? Пособи!

— Вон это кто...— Степан, только что поднявшийся после тифа, говорил расслабленным голосом. Удлиненный худобою рот его широко и неуверенно улыбался.— Ну, что ж, переночуй, а дневать уж иди куда-нибудь. Да ты как попал сюда?

Мишка без ответа нащупал его руку, сунулся в ворох мякины.

На другую ночь, чуть смерклось,— решившись на отчаянное, добрел до дома, постучался в окно. Мать открыла

ему двери в сенцы, заплакала. Руки ее шарили, хватали Мишку за шею, а голова колотилась у него на груди.

— Уходи! Христа ради, уходи, Мишенька! Приходили ноне утром казаки... Весь баз перерыли, искали тебя. Антипка Брех плетью меня секанул. «Скрываешь, говорит, сына. Жалко, что не добили его доразу!» [1]

Где были свои — Мишка не представлял. Что творилось в хуторе — не знал. Из короткого рассказа матери понял, что восстали все хутора Обдонья, что Штокман, Иван Алексеевич, Давыдка и милиционеры ускакали, а Фильку и Тимофея убили на площади еще вчера в полдень.

— Уходи! Найдут тут тебя...

Мать плакала, но голос ее, налитый тоской, был тверд. За долгое время в первый раз заплакал Мишка, по-ребячьи всхлипывая, пуская ртом пузыри. Потом обратал подсосую кобыленку, на которой служил когда-то в атарщиках, вывел ее на гумно, следом шли жеребенок и мать. Мать подсадила Мишку на лошадь, перекрестила. Кобыла пошла нехотя, два раза заржала, прикликая жеребенка. И оба раза сердце у Мишки срывалось и словно катилось куда-то вниз. Но выехал он на бугор благополучно, рыском двинул по Гетманскому шляху на восток, в направлении Усть-Медведицы. Ночь раскохалась темная, беглецкая. Кобыла часто ржала, боясь потерять сосунка. Кошевой стискивал зубы, бил ее по ушам концами уздечки, часто останавливался послушать — не гремит ли сзади, или навстречу гулкий бег коней, не привлекло ли чьего-нибудь внимания ржанье. Но кругом мертвела сказочная тишина. Кошевой слышал только, как, пользуясь остановкой, сосет, чмокает жеребенок, припав к черному вымени матери, упираясь задними ножонками в снег, и чувствовал по спине лошади требовательные его толчки.

XXVIII

В кизячнике густо пахнет сухим навозом, выпревшей соломой, объедьями сена. Сквозь чакановую крышу днем сочится серый свет. В хворостяные ворота, как сквозь решето, иногда глянет солнце. Ночью — глаз коли. Мышиный писк. Тишина...

Хозяйка, крадучись, приносила Григорию поесть раз в сутки, вечером. Врытый в кизяки, стоял у него ведерный

[1] Доразу — сразу.

кувшин с водой. Все было бы ничего, но кончился табак. Григорий ядовито мучился первые сутки и, не выдержав без курева, наутро ползал по земляному полу, собирая в пригоршню сухой конский помет, крошил его в ладонях, курил. Вечером хозяин прислал с бабой два затхлых бумажных листа, вырванных из Евангелия, коробку серников и пригоршню смеси: сухой донник и корешки недозрелого самосада — «дюбека». Рад был Григорий, накурился до тошноты и в первый раз крепко уснул на кочковатых кизяках, завернув голову в полу, как птица под крыло.

Утром разбудил его хозяин. Он вбежал в кизячник, резко окликнул:

— Спишь? Вставай! Дон поломало!..— И рассыпчато засмеялся.

Григорий прыгнул с прикладка. За ним обвалом глухо загремели пудовые квадраты кизяков.

— Что случилось?

— Восстали еланские и вёшенские с энтой стороны. Фомин и вся власть из Вёшек убегли на Токин. Кубыть восстала Казанская, Шумилинская, Мигулинская. Понял, куда оно махнуло?

У Григория вздулись на лбу и на шее связки вен, зеленоватыми искорками брызнули зрачки. Радости он не мог скрыть: голос дрогнул, бесцельно забегали по застежкам шинели черные пальцы.

— А у вас... в хуторе? Что? Как?

— Ничего не слыхать. Председателя видал — смеется: «По мне, мол, все одно, какому богу ни молиться, лишь бы бог был». Да ты вылазь из своей норы.

Они шли к куреню. Григорий отмахивал саженями. Сбоку поспешал хозяин, рассказывая:

— В Еланской первым поднялся Красноярский хутор. Позавчера двадцать еланских коммунов пошли на Кривской и Плешаковский рестовать казаков, а красноярские прослыхали такое дело, собрались и решили: «Докель мы будем терпеть смывание? Отцов наших забирают, доберутся и до нас. Седлай коней, пойдем отобьем арестованных». Собрались человек пятнадцать, все ухи-ребяты. Повел их боевой казачишка Атланов. Винтовок у них только две, у кого шашка, у кого пика, а иной с дрючком. Через Дон прискакали на Плешаков. Коммуны у Мельникова на базу отдыхают. Кинулись красноярцы на баз в атаку в конном строю, а баз-то обнесенный каменной огорожей. Они напхнулись да назад. Коммуняки убили у них одного казака, царство ему небесное. Вдарили вдогон, он с лошади

сорвался и завис на плетне. Принесли его плешаковские казаки к станишным конюшням. А у него, у любушки, в руке плетка застыла... Ну, и пошло рвать. На этой поре и конец подошел Советской власти, ну ее к... !..

В хате Григорий с жадностью съел остатки завтрака; вместе с хозяином вышел на улицу. На углах проулков, будто в праздник, группами стояли казаки. К одной из таких групп подошли Григорий и хозяин. Казаки на приветствие донесли до папах руки, ответили сдержанно, с любопытством и выжиданием оглядывая незнакомую фигуру Григория.

— Это свой человек, господа казаки! Вы его не пужайтесь. Про Мелеховых с Татарского слыхали? Это сынок Пантелея, Григорий. У меня от расстрела спасался,— с гордостью сказал хозяин.

Только что завязался разговор, один из казаков начал рассказывать, как выбили из Вешенской решетовцы, дубровцы и черновцы Фомина,— но в это время в конце улицы, упиравшейся в белый лобастый скат горы, показались двое верховых. Они скакали вдоль улицы, останавливаясь около каждой группы казаков, поворачивая лошадей, что-то кричали, махали руками. Григорий жадно ждал их приближения.

— Это не наши, не рыбинские... Гонцы откель-то,— всматриваясь, сказал казак и оборвал рассказ о взятии Вешенской.

Двое, миновав соседний переулок, доскакали. Передний, старик в зипуне нараспашку, без шапки, с потным, красным лицом и рассыпанными по лбу седыми кудрями, молодецки осадил лошадь; до отказа откидываясь назад, вытянул вперед правую руку.

— Что ж вы, казаки, стоите на проулках, как бабы?! — плачуще крикнул он. Злые слезы рвали его голос, волнение трясло багровые щеки.

Под ним ходуном ходила красавица кобылица, четырехлетняя нежеребь, рыжая, белоноздрая, с мочалистым хвостом и сухими, будто из стали литыми ногами. Храпя и кусая удила, она приседала, прыгала в дыбошки, просила повод, чтобы опять пойти броским звонким намётом, чтобы опять ветер заламывал ей уши, свистел в гриве, чтобы снова охала под точеными раковинами копыт гулкая, выжженная морозами земля. Под тонкой кожей кобылицы играли и двигались каждая связка и жилка. Ходили на шее долевые валуны мускулов, дрожал просвечивающий розовый храп, а выпуклый рубиновый глаз, выворачи-

вая кровяной белок, косился на хозяина требовательно и зло.

— Что же вы стоите, сыны тихого Дона?! — еще раз крикнул старик, переводя глаза с Григория на остальных.— Отцов и дедов ваших расстреливают, имущество ваше забирают, над вашей верой смеются жидовские комиссары, а вы лузгаете семечки и ходите на игрища? Ждете, покель вам арканом затянут глотку? Докуда же вы будете держаться за бабьи курпяки? Весь Еланский юрт поднялся с малу до велика. В Вёшенской выгнали красных... а вы, рыбинские казаки! Аль вам жизня дешева стала? Али вместо казачьей крови мужицкий квас у вас в жилах? Встаньте! Возьмитесь за оружию! Хутор Кривской послал нас подымать хутора. На конь, казаки, покуда не поздно! — Он наткнулся осумасшедшевшими глазами на знакомое лицо одного старика, крикнул с великой обидой: — Ты-то чего стоишь, Семен Христофорович? Твоего сына зарубили под Филоновом красные, а ты на пече спасаешься?!

Григорий не дослушал, кинулся на баз. Из половни он на рысях вывел своего застоявшегося коня; до крови обрывая ногти, разрыл в кизяках седло и вылетел из ворот как бешеный.

— Пошел! Спаси, Христос! — успел крикнуть он подходившему к воротам хозяину и, падая на переднюю луку, весь клонясь к конской шее, поднял по улице белый смерчевый жгут снежной пыли, охаживая коня по обе стороны плетью, пуская его во весь мах. За ним оседало снежное курево, в ногах ходили стремена, терлись о крылья седла занемевшие ноги. Под стременами стремительно строчили конские копыта. Он чувствовал такую лютую, огромную радость, такой прилив сил и решимости что, помимо воли его, из горла рвался повизгивающий, клокочущий хрип. В нем освободились плененные, затаившиеся чувства. Ясен, казалось, был его путь отныне, как высветленный месяцем шлях.

Все было решено и взвешено в томительные дни, когда зверем скрывался он в кизячном логове и по-звериному сторожил каждый звук и голос снаружи. Будто и не было за его плечами дней поисков правды, шатаний, переходов и тяжелой внутренней борьбы.

Тенью от тучи проклубились те дни, и теперь казались ему его искания зряшными и пустыми. О чем было думать? Зачем металась душа,— как зафлаженный на облаве волк,— в поисках выхода, в разрешении противоречий?

Жизнь оказалась усмешливой, мудро-простой. Теперь ему уже казалось, что извечно не было в ней такой правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий, и, до края озлобленный, он думал: у каждого своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце, пока теплая сочится по жилам кровь. Надо биться с тем, кто хочет отнять жизнь, право на нее; надо биться крепко, не качаясь,— как в стенке,— а накал ненависти, твердость даст борьба. Надо только не взнуздывать чувств, дать простор им, как бешенству,— и все.

Пути казачества скрестились с путями безземельной мужичьей Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними насмерть. Рвать у них из-под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области! Тряхнуть Москвой, навязать ей постыдный мир! На узкой стежке не разойтись,— кто-нибудь кого-нибудь, а должен свалить. Проба сделана: пустили на войсковую землю красные полки, испробовали? А теперь — за шашку!

Об этом, опаляемый слепой ненавистью, думал Григорий, пока конь нес его по белогривому покрову Дона. На миг в нем ворохнулось противоречие: «Богатые с бедными, а не казак с Русью... Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные...» Но он со злостью отмахнулся от этих мыслей.

Завиднелся Татарский. Григорий передернул поводья; коня, осыпанного шмотьями мыла, свел на легкую побежку. На выезде придавил опять, конской грудью откинул воротца калитки, вскочил на баз.

XXIX

На рассвете, измученный, Кошевой въехал в хутор Большой Усть-Хоперской станицы. Его остановила застава 4-го Заамурского полка. Двое красноармейцев отвели его в штаб. Какой-то штабной долго и недоверчиво расспрашивал его, пытался путать, задавая вопросы, вроде того: «А кто у вас был председателем ревкома? Почему документов нет?» — и все прочее в этом духе. Мишке надоело отвечать на глупые вопросы.

— Ты меня не крути, товарищ! Меня казаки не так крутили, да ничего не вышло.

Он завернул рубаху, показал пробитый вилами бок

и низ живота. Хотел уже пугануть штабного печеным словом, но в этот момонт вошел Штокман.

— Блудный сын! Чертушка! — Бас его сорвался, руки облапили Мишкину спину.— Что ты его, товарищ, распытываешь? Да ведь это же наш парень! До чего ты глупость спорол! Послал бы за мной или за Котляровым, вот и все, и никаких вопросов... Пойдем, Михаил! Но как ты уцелел? Как ты уцелел, скажи мне? Ведь мы тебя вычеркнули из списка живых. Погиб, думаем, смертью героя.

Мишка вспомнил, как брали его в плен, беззащитность свою, винтовку, оставленную в санях,— мучительно, до слез покраснел.

XXX

В Татарском в день приезда Григория уже сформировались две сотни казаков. На сходе постановили мобилизовать всех способных носить оружие, от шестнадцати до семидесяти лет. Многие чувствовали безнадежность создавшегося положения: на север была враждебная, ходившая под большевиками Воронежская губерния и красный Хоперский округ, на юг — фронт, который, повернувшись, мог лавиной своей раздавить повстанцев. Некоторые особенно осторожные казаки не хотели брать оружия, но их заставляли силой. Наотрез отказался воевать Степан Астахов.

— Я не пойду. Берите коня, что хотите со мной делайте, а я не хочу винтовку брать! — заявил он утром, когда в курень к нему вошли Григорий, Христоня и Аникушка.

— Как это не хочешь? — шевеля ноздрями, спросил Григорий.

— А так, не хочу — и все!

— А ежели красные заберут хутор, куда денешься? С нами пойдешь или останешься?

Степан долго переводил пристальный посвечивающий взгляд с Григория на Аксинью, ответил, помолчав:

— Тогда видно будет...

— Коли так,— выходи! Бери его, Христан! Мы тебя зараз к стенке прислоним! — Григорий, стараясь не глядеть на прижавшуюся к печке Аксинью, взял Степана за рукав гимнастерки, рванул к себе.— Пойдем, нечего тут!

— Григорий, не дури... Оставь! — Степан бледнел, слабо упирался.

Его сзади обнял нахмуренный Христоня, буркнул:

— Стал быть, пойдем, ежели ты такого духу.

— Братцы!..

— Мы тебе не братцы! Иди, говорят!

— Пустите, я запишусь в сотню. Слабый я от тифу...

Григорий криво усмехнулся, выпустил рукав Степановой гимнастерки.

— Иди получай винтовку. Давно бы так!

Он вышел, запахнув шинель, не попрощавшись. Христоня не постеснялся после случившегося выпросить у Степана табаку на цигарку и еще долго сидел, разговаривал, как будто между ними ничего и не было.

К вечеру из Вешенской привезли два воза оружия: восемьдесят четыре винтовки и более сотни шашек. Многие достали свое припрятанное оружие. Хутор выставил двести одиннадцать бойцов. Полтораста конных, остальные пластуны.

Еще не было единой организации у повстанцев. Хутора действовали пока разрозненно: самостоятельно формировали сотни, выбирали на сходках командиров из наиболее боевых казаков, считаясь не с чинами, а с заслугами; наступательных операций не предпринимали, а лишь связывались с соседними хуторами и прощупывали конными разведками окрестности.

Командиром конной сотни в Татарском еще до приезда Григория выбрали, как и в восемнадцатом году, Петра Мелехова. Командование пешей сотней принял на себя Латышев. Батарейцы во главе с Иваном Томилиным уехали на Базки. Там оказалось брошенное красными полуразрушенное орудие, без панорамы и с разбитым колесом. Его-то и отправились батарейцы чинить.

На двести одиннадцать человек привезли из Вешенской и собрали по хутору сто восемь винтовок, сто сорок шашек и четырнадцать охотничьих ружей: Пантелей Прокофьевич, освобожденный вместе с остальными стариками из моховского подвала, вырыл пулемет. Но лент не нашлось, и пулемета сотня на вооружение не приняла.

На другой день к вечеру стало известно, что из Каргинской идет на подавление восстания карательный отряд красных войск в триста штыков под командой Лихачева, при семи орудиях и двенадцати пулеметах. Петро решил выслать в направлении хутора Токина сильную разведку, одновременно сообщив в Вешенскую.

Разведка выехала в сумерках. Вел Григорий Мелехов тридцать два человека татарцев. Из хутора пошли намётом, да так и гнали почти до самого Токина. Верстах в двух от него, возле неглубокого яра, при шляху, Григорий спéшил

казаков, расположил в ярке. Коноводы отвели лошадей в лощинку. Лежал там глубокий снег. Лошади, спускаясь, тонули в рыхлом снегу по пузо; чей-то жеребец, в предвесеннем возбуждении, игогокал, лягался. Пришлось послать на него отдельного коновода.

Трех казаков — Аникушку, Мартина Шамиля и Прохора Зыкова — Григорий послал к хутору. Они тронулись шагом. Вдали под склоном синели, уходя на юго-восток широким зигзагом, токинские левады. Сходила ночь. Низкие облака валили над степью. В яру молча сидели казаки. Григорий смотрел, как силуэты трех верховых спускаются под гору, сливаются с черной хребтиной дороги. Вот уже не видно лошадей, маячат одни головы всадников. Скрылись и они. Через минуту оттуда горласто затарахтел пулемет. Потом, тоном выше, тенористо защелкал другой — видимо, ручной. Опорожнив диск, ручной умолк, а первый, передохнув, ускоренно кончил еще одну ленту. Стаи пуль рассевом шли над яром, где-то в сумеречной тишине. Живой их звук бодрил, был весел и тонок. Трое скакали во весь опор.

— Напхнулись на заставу! — издали крикнул Прохор Зыков. Голос его заглушило громом конского бега.

— Коноводам изготовиться! — отдал Григорий приказ.

Он вскочил на гребень яра, как на бруствер, и, не обращая внимания на пули, с шипом зарывавшиеся в снег, пошел навстречу подъезжавшим казакам.

— Ничего не видали?

— Слышно, как завозились там. Много их, слыхать по голосам,— запыхавшись, говорил Аникушка.

Он прыгнул с коня, носок сапога заело стремя, и Аникушка заругался, чикиляя, при помощи руки освобождая ногу.

Пока Григорий расспрашивал его, восемь казаков спустились из яра в лощину; разобрав коней, ускакали домой.

— Расстреляем завтра,— тихо сказал Григорий, прислушиваясь к удаляющемуся топоту беглецов.

В яру оставшиеся казаки просидели еще с час, бережно храня тишину, вслушиваясь. Под конец кому-то послышался цокот копыт.

Едут с Токина...

— Разведка!

— Не могет быть!

Переговаривались шепотом. Высовывая головы, напрасно пытались разглядеть что-либо в ночной непроницаемой наволочи. Калмыцкие глаза Федота Бодовскова первые разглядели.

— Едут,— уверенно сказал он, снимая винтовку.

Носил он ее по-чудному: ремень цеплял на шею, как гайтан креста, а винтовка косо болталась у него на груди. Обычно так ходил он и ездил, положив руки на ствол и на ложе, будто баба на коромысло.

Человек десять конных молча, в беспорядке ехали по дороге. На пол-лошади впереди выделялась осанистая, тепло одетая фигура. Длинный куцехвостый конь шел уверенно, горделиво. Григорию снизу на фоне серого неба отчетливо видны были линии конских тел, очертания всадников, даже плоский, срезанный верх кубанки видел он на ехавшем впереди. Всадники были в десяти саженях от яра; такое крохотное расстояние отделяло казаков от них, что, казалось, они должны бы слышать и хриплые казачьи дыхи и частый звон сердец.

Григорий еще раньше приказал без его команды не стрелять. Он, как зверобой в засаде, ждал момента расчетливо и вывереннo. У него уже созрело решение: окликнуть едущих и, когда они в замешательстве собьются в кучу,— открыть огонь.

Мирно похрустывал на дороге снег. Из-под копыт выпорхнула желтым светлячком искра; должно, подкова скользнула по оголенному кремню.

— Кто едет?

Григорий легко, по-кошачьи выпрыгнул из яра, выпрямился. За ним с глухим шорохом высыпали казаки.

Произошло то, чего никак не ожидал Григорий.

— А вам кого надо? — без тени страха или удивления спросил густой сиплый бас переднего. Всадник повернул коня, направляя его на Григория.

— Кто такой?! — резко закричал Григорий, не трогаясь с места, неприметно поднимая в полусогнутой руке наган.

Тот же бас зарокотал громовито, гневно:

— Кто смеет орать? Я — командир отряда карательных войск! Уполномочен штабом Восьмой Красной армии задавить восстание! Кто у вас командир? Дать мне его сюда?

— Я командир.

— Ты?.. А-а-а...

Григорий увидел вороную штуку во вскинутой вверх руке всадника, успел до выстрела упасть; падая, крикнул:

— Огонь!

Тупоносая пуля из браунинга цвенькнула над головой Григория. Посыпались оглушающие выстрелы с той и с другой стороны. Бодовсков повис на поводьях коня бес-

страшного командира. Потянувшись через Бодовскова, Григорий, удерживая руку, рубнул тупяком шашки по кубанке, сдернул с седла грузноватое тело. Схватка кончилась в две минуты. Трое красноармейцев ускакали, двух убили, остальных обезоружили.

Григорий коротко допрашивал взятого в плен командира в кубанке, тыча в разбитый рот ему дуло нагана:

— Как твоя фамилия, гад?

— Лихачев.

— На что ты надеялся, как ехал с девятью охранниками? Ты думал, казаки на колени попадают? Прощения будут просить?

— Убейте меня!

— С этим успеется,— утешал его Григорий.— Документы где?

— В сумке. Бери, бандит!.. Сволочь!

Григорий, не обращая внимания на ругань, сам обыскал Лихачева, достал из кармана его полушубка второй браунинг, снял маузер и полевую сумку. В боковом кармане нашел маленький обтянутый пестрой звериной шкурой портфель с бумагами и портсигар.

Лихачев все время ругался, стонал от боли. У него было прострелено правое плечо, Григорьевой шашкой сильно зашиблена голова. Был он высок, выше Григория ростом, тяжеловесен и, должно быть, силен. На смуглом свежевыбритом лице куцые широкие черные брови разлаписто и властно сходились у переносицы. Рот большой, подбородок квадратный. Одет Лихачев был в сборчатый полушубок, голову его крыла черная кубанка, помятая сабельным ударом, под полушубком на нем статно сидели защитный френч, широченные галифе. Но ноги были малы, изящны, обуты в щегольские сапоги с лаковыми голенищами.

— Снимай полушубок, комиссар! — приказал Григорий.— Ты — гладкий. Отъелся на казачьих хлебах, небось не замерзнешь!

Пленным связали руки кушаками, недоуздками, посадили на их же лошадей.

— Рысью за мной! — скомандовал Григорий и поправил на себе лихачевский маузер.

Ночевали они на Базках. На полу у печи, на соломенной подстилке стонал, скрипел зубами, метался Лихачев. Григорий при свете лампы промыл и перевязал ему раненое плечо. Но от расспросов отказался. Долго сидел за столом, просматривая мандаты Лихачева, списки вешенских казаков-контрреволюционеров, переданные Лихачеву бежав-

шим Ревтрибуналом, записную книжку, письма, пометки на карте. Изредка посматривал на Лихачева, скрещивал с ним взгляды, как клинки. Казаки, ночевавшие в этой хате, всю ночь колготились, выходили к лошадям и курить в сенцы, лежа разговаривали.

Забылся Григорий на заре, но вскоре проснулся, поднял со стола отяжелевшую голову. Лихачев сидел на соломе, зубами развязывая бинт, срывая повязку. Он взглянул на Григория налитыми кровью, ожесточенными глазами. Белозубый рот его был оскален мучительно, как в агонии, в глазах светилась такая мертвая тоска, что у Григория сон будто рукой сняло.

— Ты чего? — спросил он.

— Какого тебе... надо! Смерти хочу! — зарычал Лихачев, бледнея, падая головой на солому.

За ночь он выпил с полведра воды. Глаз не сомкнул до рассвета.

Утром Григорий отправил его на тачанке в Вешенскую с кратким донесением и всеми отобранными документами.

XXXI

В Вешенской к красному кирпичному зданию исполкома резво подкатила тачанка, конвоируемая двумя конными казаками. В задке полулежал Лихачев. Он встал, придерживая руку на окровавленной повязке. Казаки спешились; сопровождая его, вошли в дом.

С полсотни казаков густо толпились в комнате временно командующего объединенными повстанческими силами Суярова. Лихачев, оберегая руку, протолкался к столу. Маленький, ничем не примечательный, разве только редкостно ехидными щелками желтых глаз, сидел за столом Суяров. Он кротко глянул на Лихачева, спросил:

— Привезли голубя? Ты и есть Лихачев?

— Я. Вот мои документы.— Лихачев бросил на стол завязанный в мешок портфель, глянул на Суярова неприступно и строго.— Сожалею, что мне не удалось выполнить моего поручения — раздавить вас, как гадов! Но Советская Россия вам воздаст должное. Прошу меня расстрелять.

Он шевельнул простреленным плечом, шевельнул широкой бровью.

— Нет, товарищ Лихачев! Мы сами против расстрелов восстали. У нас не так, как у вас,— расстрелов нету. Мы тебя вылечим, и ты ишо, может, пользу нам принесешь,—

мягко, но поблескивая глазами, проговорил Суяров.— Лишние, выйдите отсель. Ну, поскореича!

Остались командиры Решетовской, Черновской, Ушаковской, Дубровской и Вешенской сотен. Они присели к столу. Кто-то пихнул ногой табурет Лихачеву, но тот не сел. Прислонился к стене, глядя поверх голов в окно.

— Вот что, Лихачев,— начал Суяров, переглядываясь с командирами сотен.— Скажи нам: какой численности у тебя отряд?

— Не скажу.

— Не скажешь? Не надо. Мы сами из бумаг твоих поймем. А нет — красноармейцев из твоей охраны допросим. Ишо одно дело попросим (Суяров налег на это слово) мы тебя: напиши своему отряду, чтобы они шли в Вёшки. Воевать нам с вами не из чего. Мы не против Советской власти, а против коммуны и жидов. Мы отряд твой обезоружим и распустим по домам. И тебя выпустим на волю. Одним словом, пропиши им, что мы такие же трудящиеся и чтоб они нас не опасались, мы не супротив Советов...

Плевок Лихачева попал Суярову на седенький клинышек бородки. Суяров бороду вытер рукавом, порозовел в скулах. Кое-кто из командиров улыбнулся, но чести командующего защитить никто не встал.

— Обижаешь нас, товарищ Лихачев! — уже с явным притворством заговорил Суяров.—Атаманы, офицеры над нами смывались, плевали на нас, и ты — коммунист — плюешься. А всё говорите, что вы за народ... Эй, кто там есть?.. Уведите комиссара. Завтра отправим тебя в Казанскую.

— Может, подумаешь? — строго спросил один из сотенных.

Лихачев рывком поправил накинутый внапашку френч, пошел к стоявшему у двери конвоиру.

Его не расстреляли. Повстанцы же боролись против «расстрелов и грабежей»... На другой день погнали его на Казанскую. Он шел впереди конных конвоиров, легко ступая по снегу, хмурил куцый размет бровей. Но в лесу, проходя мимо смертельно-белой березки, с живостью улыбнулся, стал, потянулся вверх и здоровой рукой сорвал ветку. На ней уже набухали мартовским сладостным соком бурые почки; сулил их тонкий, чуть внятный аромат весенний расцвет, жизнь, повторяющуюся под солнечным кругом. Лихачев совал пухлые почки в рот, жевал их, затуманенными глазами глядел на отходившие от мороза, посветлевшие деревья и улыбался уголком бритых губ.

С черными лепестками почек на губах он и умер: в семи верстах от Вешенской, в песчаных, сурово насупленных бурунах его зверски зарубили конвойные. Живому выкололи ему глаза, отрубили руки, уши, нос, искрестили шашками лицо. Расстегнули штаны и надругались, испоганили большое, мужественное, красивое тело. Надругались над кровоточащим обрубком, а потом один из конвойных наступил на хлипко дрожавшую грудь, на поверженное навзничь тело и одним ударом наискось отсек голову.

XXXII

Из-за Дона, с верховьев, со всех краев шли вести о широком разливе восстания. Поднялось уже не два станичных юрта. Шумилинская, Казанская, Мигулинская, Мешковская, Вешенская, Еланская, Усть-Хоперская станицы восстали, наскоро сколотив сотни; явно клонились на сторону повстанцев Каргинская, Боковская, Краснокутская. Восстание грозило перекинуться и в соседние Усть-Медведицкий и Хоперский округа. Уже начиналось брожение в Букановской, Слащевской и Федосеевской станицах; волновались окраинные к Вешенской хутора Алексеевской станицы... Вешенская, как окружная станица, стала центром восстания. После долгих споров и толков решили сохранить прежнюю структуру власти. В состав окружного исполкома выбрали наиболее уважаемых казаков, преимущественно молодых. Председателем посадили военного чиновника артиллерийского ведомства Данилова. Были образованы в станицах и хуторах советы, и, как ни странно, осталось в обиходе даже, некогда ругательное, слово «товарищ». Был кинут и демагогический лозунг: «За Советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей». Поэтому-то на папахах повстанцев вместо одной нашивки или перевязки — белой — появлялись две: белая накрест с красной...

Суярова на должности командующего объединенными повстанческими силами сменил молодой — двадцативосьмилетний — хорунжий Кудинов Павел, георгиевский кавалер всех четырех степеней, краснобай и умница. Отличался он слабохарактерностью, и не ему бы править мятежным округом в такое буревое время, но тянулись к нему казаки за простоту и обходительность. А главное, глубоко уходил корнями Кудинов в толщу казачества, откуда шел родом, и был лишен высокомерия и офицерской заносчиво-

сти, обычно свойственной выскочкам. Он всегда скромно одевался, носил длинные, в кружок подрезанные волосы, был сутуловат и скороговорист. Сухощавое длинноносое лицо его казалось мужиковатым, не отличимым ничем.

Начальником штаба выбрали подъесаула Сафонова Илью, и выбрали лишь потому, что парень был трусоват, но на руку писуч, шибко грамотен. Про него так и сказали на сходе:

— Сафонова в штаб сажайте. В строю он негож. У него и урону больше будет, не оберегет он казаков, да и сам, гляди, наломает. Из него вояка, как из цыгана поп.

Малый ростом, кругловатого чекана, Сафонов на такое замечание обрадованно улыбнулся в желтые с белесым подбоем усы и с великой охотой согласился принять штаб.

Но Кудинов и Сафонов только оформляли то, что самостоятельно вершилось сотнями. В руководстве связанными оказались у них руки, да и не по их силам было управлять такой махиной и поспевать за стремительным взмывом событий.

4-й Заамурский конный полк, с влившимися в него большевиками Усть-Хоперской, Еланской и, частью, Вешенской станиц, с боем прошел ряд хуторов, перевалил Еланскую грань и степью двигался на запад вдоль Дона.

5 марта в Татарский прискакал с донесением казак. Еланцы срочно требовали помощи. Они отступали почти без сопротивления: не было патронов и винтовок. На их жалкие выстрелы заамурцы засыпали их пулеметным дождем, крыли из двух батарей. В такой обстановке некогда было дожидаться распоряжений из округа. И Петро Мелехов решил выступить со своими двумя сотнями.

Он принял командование и над остальными четырьмя сотнями соседних хуторов. Поутру вывел казаков на бугор. Сначала, как водится, цокнулись разведки. Бой развернулся позже.

У Красного лога, в восьми верстах от хутора Татарского, где когда-то Григорий с женой пахал, где в первый раз признался он Наталье, что не любит ее,— в этот тусклый зимний день на снегу возле глубоких яров спешивались конные сотни, рассыпались цепи, коноводы отводили под прикрытие лошадей. Внизу из вогнутой просторной котловины в три цепи шли красные. Белый простор падины был иссечен черными пятнышками людей. К цепям подъезжали подводы, мельтешили конные. Казаки, отделенные от противника двумя верстами расстояния, неспешно готовились принимать бой.

На своем сытом, слегка запаренном коне от еланских, уже рассыпавшихся сотен подскакал к Григорию Петро. Он был весел, оживлен.

— Братухи! Патроны приберегайте! Бить, когда отдам команду... Григорий, отведи свою полусотню сажен на полтораста влево. Поторапливайся! Коноводы пущай в кучу не съезжаются! — Он отдал еще несколько последних распоряжений, достал бинокль.— Никак, батарею устанавливают на Матвеевом кургане?

— Я давно примечаю: простым глазом видать.

Григорий взял из его рук бинокль, вгляделся. За курганом, с обдутой ветрами макушей,— чернели подводы, крохотные мелькали люди.

Татарская пехота,— «пластунки», как их шутя прозвали конные,— несмотря на строгий приказ не сходиться, собирались толпами, делились патронами, курили, перекидывались шутками. На голову выше мелковатых казаков качалась папаха Христони (попал он в пехоту, лишившись коня), краснел треух Пантелея Прокофьевича. В пехоте гуляло большинство стариков и молодятник. Вправо от несрезанной чащи подсолнечных будыльев версты на полторы стояли еланцы. Шестьсот человек было в их четырех сотнях, но почти двести коноводили. Треть всего состава скрывалась с лошадьми в пологих отножинах яров.

— Петро Пантелевич! — кричали из пехотных рядов.— Гляди, в бою не бросай нас, пеших!

— Будьте спокойные! Не покинем,— улыбался Петро и, посматривая на медленно подвигавшиеся к бугру цепи красных, начал нервно поигрывать плеткой.

— Петро, тронь сюда,— попросил Григорий, отходя от цепи в сторону.

Тот подъехал. Григорий, морщась, с видимым недовольством сказал:

— Позиция мне не по душе. Надо бы минуть эти яры. А то обойдут нас с флангу — беды наберемся. А?

— Чего ты там! — досадливо отмахнулся Петро.— Как это нас обойдут! Я в лизерве оставил одну сотню, да на худой конец и яры сгодятся. Они не помеха.

— Гляди, парень! — предостерегающе кинул Григорий, не в последний раз быстро ощупывая глазами местность.

Он подошел к своей цепи, оглядел казаков. У многих на руках уже не было варежек и перчаток. Припекло волнение — сняли. Кое-кто нудился: то шашку поправит, то шпенек пояса передвинет потуже.

— Командер наш слез с коня,— улыбнулся Федот Бодовсков и насмешливо чуть покивал в сторону Петра, развалисто шагавшего к цепям.

— Эй ты, генерал Платов! — ржал однорукий Алешка Шамиль, вооруженный только шашкой.— Прикажи донцам по чарке водки!

— Молчи, водошник! Отсекут тебе красные другую руку, чем до рта понесешь? Из корыта придется хлебать.

— Но-но!

— А выпил бы, недорого отдал! — вздыхал Степан Астахов и даже русый ус закручивал, скинув руку с эфеса.

Разговоры по цепи шли самые не подходящие к моменту. И разом смолкли, как только за Матвеевым курганом октавой бухнуло орудие.

Густой полновесный звук вырвался из жерла комком и долго таял над степью, как белая пенка дыма, сомкнувшись с отчетливым и укороченно-резким треском разрыва. Снаряд недобрал расстояния, разорвался в полуверсте от казачьей цепи. Черный дым в белом лучистом оперенье снега медленно взвернулся над пашней, рухнул, стелясь и приникая к бурьянам. Сейчас же в красной цепи заработали пулеметы. Пулеметные очереди выстукивали ночной колотушкой сторожа. Казаки легли в снег, в бурьянок, в щетинистые безголовые подсолнухи.

— Дым дюже черный! Вроде как от немецкого снаряду! — крикнул Прохор Зыков, оглядываясь на Григория.

В соседней Еланской сотне поднялся шум. Ветром допахнуло крик:

— Кума Митрофана убило!

Под огнем к Петру подбежал рыжебородый рубежинский сотенный Иванов. Он вытирал под папахой лоб, задыхался:

— Вот снег — так снег! До чего стрямок — ног не выдернешь!

— Ты чего? — настропалился, сдвигая брови, Петро.

— Мысля пришла, товарищ Мелехов! Пошли ты одну сотню низом, к Дону. Сними с цепи и пошли. Нехай они низом спущаются и добегут до хутора, а оттель вдарют в тыл красным. Они обозы, небось, побросали... Ну, какая там охрана? Опять же панику наведут.

«Мысля» Петру понравилась. Он скомандовал своей полусотне стрельбу, махнул рукой стоявшему во весь рост Латышеву и валко зашагал к Григорию. Объяснил, в чем дело, коротко приказал:

— Веди полусотню. Нажми на хвост!

Григорий вывел казаков, в лощине посадились верхом, шибкой рысью запылили к хутору.

Казаки выпустили по две обоймы на винтовку, примолкли. Цепи красных легли. Захлебывались чечеткой пулеметы. У одного из коноводов вырвался раненный шальной пулей белоногий конь Мартина Шамиля и, обезумев, промчался через цепь рубежинских казаков, пошел под гору к красным. Пулеметная струя резанула его, и конь на всем скаку высоко вскинул задком, грянулся в снег.

— Цель в пулеметчиков! — передавали по цепи Петров приказ.

Целили. Били только искусные стрелки — и нашкодили: невзрачный казачишка с Верхне-Кривского хутора одного за другим переметил пулями трех пулеметчиков, и «максим» с закипевшей в кожухе водой умолк. Но перебитую прислугу заменили новые. Пулемет опять зарокотал, рассеивая смертные семена. Залпы валились часто. Уже заскучали казаки, все глубже зарываясь в снег. Аникушка докопался до голенькой земли, не переставая чудить. Кончились у него патроны (их было пять штук в зеленой проржавленной обойме), и он изредка, высовывая из снега голову, воспроизводил губами звук, очень похожий на высвист, издаваемый сурком в момент испуга.

— Агхю!..— по-сурчиному вскрикивал Аникушка, обводя цепь дурашливыми глазами.

Справа от него до слез закатывался Степан Астахов, а слева сердито матил Антипка Брех.

— Брось, гадюка! Нашел час шутки вышучивать!

— Агхю!..— поворачивался в его сторону Аникушка, в нарочитом испуге округляя глаза.

В батарее красных, вероятно, ощущался недостаток в снарядах: выпустив около тридцати снарядов, она смолкла. Петро нетерпеливо поглядывал назад, на гребень бугра. Он послал двух вестовых в хутор с приказом, чтобы все взрослое население хутора вышло на бугор, вооружившись вилами, кольями, косами. Хотелось ему задать красным острастку и тоже рассыпать три цепи.

Вскоре на кромке гребня появился и повалил под гору густыми толпами народ.

— Гля, галь черная высыпала!

— Весь хутор вышел.

— Да там, никак, и бабы!

Казаки перекрикивались, улыбались. Стрельбу прекратили совсем. Со стороны красных работало лишь два пулемета да изредка погромыхивали залпы.

— Жалко, батарея ихняя приутихла. Кинули б один снаряд в бабье войско, вот поднялося бы там! С мокрыми подолами бегли бы в хутор! — с удовольствием говорил безрукий Алешка, видимо всерьез сожалея, что по бабам не кинут красные ни одного снаряда.

Толпы стали выравниваться, дробиться. Вскоре они растянулись в две широкие цепи. Стали.

Петро не велел им подходить даже на выстрел к казачьей цепи. Но одно появление их произвело на красных заметное воздействие. Красные цепи стали отходить, спускаясь на днище падины. Коротко посоветовавшись с сотенными, Петро обнажил правый фланг, сняв две цепи еланцев,— приказал им в конном строю идти на север, к Дону, чтобы там поддержать наскок Григория. Сотни на виду у красных выстроились на той стороне Красного яра, пошли на низ к Дону.

Стрельба по отступавшим красным цепям возобновилась.

В это время из «резерва», составленного из баб, стариков и подростков, в боевую цепь проникло несколько баб поотчаянней и гурт ребятишек. С бабами заявилась и Дарья Мелехова.

— Петя, дай я стрéльну по красному! Я ж умею винтовкой руководствовать.

Она и в самом деле взяла Петров карабин; с колена, по-мужски, уверенно прижав приклад к вершине груди, к узкому плечу, два раза выстрелила.

А «резерв» зябнул, постукивая ногами, попрыгивал, сморкался. Обе цепи шевелились, как от ветра. У баб синели щеки и губы; под широкими подолами юбок охально хозяйничал мороз. Ветхие старики вовсе замерзли. Многих из них, в том числе и деда Гришаку, под руки вели на крутую гору от хутора. Но здесь, на бугре, доступном вышним ветрам, от далекой стрельбы и холода старики оживились. В цепи шли между ними нескончаемые разговоры о прежних войнах и боях, о тяжелой нынешней войне, где сражаются брат с братом, отец с сыном, а пушки бьют так издалека, что простым оком и не увидишь их...

XXXIII

Григорий с полусотней потрепал обоз первого разряда заамурцев. Восемь красноармейцев было зарублено. Взято четыре подводы с патронами и две верховых лошади. Полу-

сотня отделалась убитой лошадью да пустяковой царапиной на теле одного из казаков.

Но пока Григорий уходил вдоль Дона с отбитыми подводами, никем не преследуемый и крайне осчастливленный успехом,— на бугре подошла развязка боя. Эскадрон заамурцев далеким кружным путем еще перед боем пошел в обход, сделал десятиверстный круг и, внезапно вывернувшись из-за бугра, ударил атакой по коноводам. Все смешалось. Коноводы вылетели с лошадьми из отножины Красного яра, некоторым казакам успели подать коней, а над остальными уже заблестели клинки заамурцев. Многие безоружные коноводы пораспускали лошадей, поскакали врассыпную. Пехота, лишенная возможности стрелять, из опасения попасть в своих,— как горох из мешка, посыпалась в яр, перебралась на ту сторону, беспорядочно побежала. Те из конных (а их было большинство), которые успели переловить коней, ударились к хутору наперегонки, меряя, «чья добрее».

В первый момент, как только на крик повернул голову и увидел конную лаву, устремляющуюся на коноводов,— Петро скомандовал:

— По коням! Пехота! Латышев! Через яр!..

Но добежать до своего коновода он не успел. Лошадь его держал молодой парень Андрюшка Бесхлебнов. Он наметом шел к Петру; две лошади, Петра и Федота Бодовскова, скакали рядом по правой стороне. Но на Андрюшку сбоку налетел красноармеец в распахнутой желтой дубленке, сплеча рубанул его, крикнув:

— Эх ты, вояка, растакую!..

На счастье Андрюшки, за плечами его болталась винтовка. Шашка, вместо того чтобы секануть Андрюшкину, одетую белым шарфом, шею, заскрежетала по стволу, визгнув, вырвалась из рук красноармейца и распрямляющейся дугой взлетела в воздух. Под Андрюшкой горячий конь шарахнулся в сторону, понес щелкать. Кони Петра и Бодовскова устремились следом за ним...

Петро ахнул, на секунду стал, побелел, пот разом залил ему лицо. Глянул Петро назад: к нему подбегало с десяток казаков.

— Погибли! — кричал Бодовсков. Ужас коверкал его лицо.

— Сигайте в яр, казаки! Братцы, в яр!

Петро овладел собой, первый побежал к яру и покатился вниз по тридцатисаженной крутизне. Зацепившись, он порвал полушубок от грудного кармана до оторочки

полы, вскочил, отряхнулся по-собачьи, всем телом сразу. Сверху, дико кувыркаясь, переворачиваясь на лету, сыпались казаки.

В минуту их напáдало одиннадцать человек. Петро был двенадцатым. Там, наверху, еще постукивали выстрелы, звучали крики, конский топот. А на дне яра попáдавшие туда казаки глупо стрясали с папах снег и песок, кое-кто потирал ушибленные места. Мартин Шамиль, выхватив затвор, продувал забитый снегом ствол винтовки. У одного паренька, Маныцкова, сына покойного хуторского атамана, щеки, исполосованные мокрыми стежками бегущих слез, дрожали от великого испуга.

— Что делать? Петро, веди! Смерть в глазах... Куда кинемся? Ой, побьют нас!

Федот заклацал зубами, кинулся вниз по теклине, к Дону.

За ним, как овцы, шарахнулись и остальные.

Петро насилу остановил их:

— Стойте! Порешим... Не беги! Постреляют!

Всех вывел под вымоину в красноглинистом боку яра, предложил, заикаясь, но стараясь сохранить спокойный вид:

— Книзу нельзя идтить. Они далеко погонют наших... Надо тут... Расходись по вымоинам... Троим на эту сторону зайтить... Отстреливаться будем!.. Тут можно осаду выдержать...

— Да пропадем же мы! Отцы! Родимые! Пустите вы меня отсель!.. Не хочу... Не желаю умирать! — завыл вдруг белобрысый, плакавший еще и до этого, парнишка Маныцков.

Федот, сверкнув калмыцким глазом, вдруг с силой ударил Маныцкова кулаком в лицо.

У парнишки хлынула носом кровь, спиной он осыпал со стенки яра глину и еле удержался на ногах, но выть перестал.

— Как отстреливаться? — спросил Шамиль, хватая Петра за руки.— А патронов сколько? Нету патронов!

— Гранату метнут. Ухлай нам!

— Ну а что же делать? — Петро вдруг посинел, на губах его под усами вскипела пена.— Ложись!.. Я командир или кто? Убью!

Он и в самом деле замахал наганом над головами казаков.

Свистящий шепот его будто жизнь вдохнул в них. Бодовсков, Шамиль и еще двое казаков перебежали на ту

сторону яра, залегли в вымоине, остальные расположились с Петром.

Весной рыжий поток нагорной воды, ворочая самородные камни, вымывает в теклине ямины, рушит пласты красной глины, в стенах яра роет углубления и проходы. В них-то и засели казаки.

Рядом с Петром, держа винтовку наизготовке, стоял, согнувшись, Антип Брехович, бредово шептал:

— Степка Астахов за хвост своего коня поймал... ускакал, а мне вот не пришлось... А пехота бросила нас... Пропадем, братцы!.. Видит бог, погибнем!..

Наверху послышался хруст бегущих шагов. В яр посыпались крошки снега, глина.

— Вот они! — шепнул Петро, хватая Антипку за рукав, но тот отчаянно вырвал руку, заглянул вверх, держа палец на спуске.

Сверху никто близко не подходил к прорези яра.

Оттуда послышались голоса, окрики на лошадь...

«Советуются»,— подумал Петро, и снова пот, словно широко разверзлись все поры тела, покатился по спине его, по ложбине груди, лицу...

— Эй вы! Вылазьте! Все равно побьем! — закричали сверху.

Снег падал в яр гуще, белой молочной струей. Кто-то, видимо, близко подошел к яру.

Другой голос там же уверенно проговорил:

— Сюда они прыгали, вот следы. Да я ведь сам видел!

— Петро Мелехов! Вылазь!

На секунду слепая радость полымем обняла Петра. «Кто меня из красных знает? Это же свои! Отбили!» Но тот же голос заставил его задрожать мелкой дрожью:

— Говорит Кошевой Михаил. Предлагаем сдаться добром. Все равно не уйдете!

Петро вытер мокрый лоб, на ладони остались полосы розового кровяного пота.

Какое-то странное чувство равнодушия, граничащего с забытьем, подкралось к нему.

И диким показался крик Бодовскова:

— Вылезем, коли посулитесь отпустить нас. А нет — будем отстреливаться! Берите!

— Отпустим...— помолчав, ответили сверху.

Петро страшным усилием стряхнул с себя сонную одурь. В слове «отпустим» показалась ему невидимая ухмылка. Глухо крикнул:

— Назад! — но его уже никто не слушался.

Казаки — все, за исключением забившегося в вымоину Антипки,— цепляясь за уступы, полезли наверх.

Петро вышел последним. В нем, как ребенок под сердцем женщины, властно ворохнулась жизнь. Руководимый чувством самосохранения, он еще сообразил выкинуть из магазинки патроны, полез по крутому скату. Мутилось у него в глазах, сердце занимало всю грудь. Было душно и тяжко, как в тяжелом сне в детстве. Он оборвал на вороте гимнастерки пуговицы, порвал воротник грязной нательной рубахи. Глаза его застилал пот, руки скользили по холодным уступам яра. Хрипя, он выбрался на утоптанную площадку возле яра, кинул под ноги себе винтовку, поднял кверху руки. Тесно кучились вылезшие раньше него казаки. К ним, отделившись от большой толпы пеших и конных заамурцев, шел Мишка Кошевой, подъезжали конные красноармейцы...

Мишка подошел к Петру в упор, тихо, не поднимая от земли глаз, спросил:

— Навоевался? — Подождав ответа и все так же глядя Петру под ноги, спросил: — Ты командовал ими?

У Петра запрыгали губы. Жестом великой усталости, с трудом донес он руку до мокрого лба. Длинные выгнутые ресницы Мишки затрепетали, пухлая верхняя губа, осыпанная язвочками лихорадки, поползла вверх. Такая крупная дрожь забила Мишкино тело, что казалось — он не устоит на ногах, упадет. Но он сейчас же, рывком вскинув на Петра глаза, глядя ему прямо в зрачки, вонзаясь в них странно-чужим взглядом, скороговоркой бормотнул:

— Раздевайся!

Петро проворно скинул полушубок, бережно свернул и положил его на снег; снял папаху, пояс, защитную рубашку и, присев на полу полушубка, стал стаскивать сапоги, с каждой секундой все больше и больше бледнея.

Иван Алексеевич спешился, подошел сбоку и, глядя на Петра, стискивал зубы, боясь разрыдаться.

— Белье не сымай,— прошептал Мишка и, вздрогнув, вдруг пронзительно крикнул: — Живей, ты!..

Петро засуетился, скомкал снятые с ног шерстяные чулки, сунул их в голенища, выпрямившись ступил с полушубка на снег босыми, на снегу шафранно-желтыми ногами.

— Кум! — чуть шевеля губами, позвал он Ивана Алексеевича. Тот молча смотрел, как под босыми ступнями Петра подтаивает снег.— Кум Иван, ты моего дитя крестил... Кум, не казните меня! — попросил Петро и,

увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди наган,— расширил глаза, будто готовясь увидеть нечто ослепительное, как перед прыжком вобрал голову в плечи.

Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка.

Ему почудилось, что протянутая рука Кошевого схватила его сердце и разом выжала из него кровь. Последним в жизни усилием Петро с трудом развернул ворот нательной рубахи, обнажив под левым соском пулевой надрез. Из него, помедлив, высочилась кровь, потом, найдя выход, со свистом забила вверх дегтярно-черной струей.

XXXIV

На заре разведка, посланная к Красному яру, вернулась с известием, что красных не обнаружено до Еланской грани и что Петро Мелехов с десятью казаками лежат, изрубленные, там же, в вершине яра.

Григорий распорядился посылкой за убитыми подвод, доночевывать ушел к Христоне. Выгнали его из дому бабьи причитания по мертвому, дурной плач в голос Дарьи. До рассвета просидел он в Христониной хате около пригрубка. Жадно выкуривал папироску и, словно боясь остаться с глазу на глаз со своими мыслями, с тоской по Петру, снова, торопясь, хватался за кисет,— до отказа вдыхая терпкий дым, заводил с дремавшим Христоней посторонние разговоры.

Рассвело. Оттепель началась с самого утра. Часам к десяти на унавоженной дороге показались лужи. С крыш капало. Голосили по-весеннему кочета, где-то, как в знойный полдень, одиноко кудахтала курица.

На сугреве, на солнечной стороне базов, терлись о плетни быки. Ветром несло с бурых спин их осекшийся по весне волос. Пахло талым снегом пряно и пресно. Покачиваясь на голой ветке яблони около Христониных ворот, чурликала крохотная желтопузая синичка-зимнуха.

Григорий стоял около ворот, ждал появления с бугра подвод и невольно переводил стрекотанье синицы на знакомый с детства язык. «Точи-плуг! Точи-плуг!» — радостно выговаривала синичка в этот ростепельный день, а к морозу — знал Григорий — менялся ее голос: скороговоркой синица советовала, и получалось также похоже: «Обувай-чирики! Обувай-чирики!»

Григорий перебрасывал взгляд с дороги на скачущую зимнуху. «Точи-плуг! Точи-плуг!» — выщелкивала она.

И нечаянно вспомнилось Григорию, как вместе с Петром в детстве пасли они в степи индюшат, и Петро, тогда белоголовый, с вечно облупленным курносым носом, мастерски подражал индюшиному бормотанью и так же переводил их говор на свой детский, потешный язык. Он искусно воспроизводил писк обиженного индюшонка, тоненько выговаривая: «Все в сапожках, а я нет! Все в сапожках, а я нет!» И сейчас же, выкатывая глазенки, сгибал в локтях руки,— как старый индюк, ходил боком, бормотал: «Гур! Гур! Гур! Гур! Купим на базаре сорванцу сапожки!» Тогда Григорий смеялся счастливым смехом, просил еще погутарить по-индюшиному, упрашивал показать, как озабоченно бормочет индюшиный выводок, обнаруживший в траве какой-нибудь посторонний предмет вроде жестянки или клочка материи...

В конце улицы показалась головная подвода. Сбоку шел казак. Следом за первой выползали вторая и третья. Григорий смахнул слезу и тихую улыбку непрошеных воспоминаний, торопливо пошел к своим воротам: мать, обезумевшую от горя, хотел удержать в первую страшную минуту и не допустить к подводе с трупом Петра. Рядом с передней подводой шагал без шапки Алешка Шамиль. Обрубком руки он прижимал к груди папаху, в правой держал волосяные вожжи. Григорий, не задержавшись взглядом на лице Алешки, глянул на сани. На соломенной подстилке, лицом вверх, лежал Мартин Шамиль. Лицо, зеленая гимнастерка на груди и втянутом животе залиты смерзшейся кровью. На второй подводе везли Маныцкова. Изрубленным лицом уткнут он в солому. У него зябко втянута в плечи голова, а затылок срезан начисто умелым ударом: черные сосульки волос бахромой окаймляли обнаженные черепные кости. Григорий глянул на третью подводу. Он не узнал мертвого, но руку с восковыми, желтыми от табака пальцами приметил. Она свисала с саней, чертила талый снег пальцами, перед смертью сложенными для крестного знамения. Мертвый был в сапогах и шинели; даже шапка лежала на груди. Лошадь четвертой подводы Григорий схватил за уздцы, на рысях ввел ее во двор. Следом вбегали соседи, детишки, бабы. Толпа сгрудилась около крыльца.

— Вот он, наш любушка Петро Пантелевич! Отходил по земле,— сказал кто-то тихонько.

Без шапки вошел в ворота Степан Астахов. Невесть откуда появились дед Гришака и еще трое стариков. Григорий растерянно оглянулся.

— Давайте понесем в курень...

Подводчик взялся было за ноги Петра, но толпа молча расступилась, почтительно дала дорогу сходившей с порожков Ильиничне.

Она глянула на сани. Мертвенная бледность полосой легла у ней на лбу, покрыла щеки, нос, поползла по подбородку. Под руки подхватил ее дрожавший Пантелей Прокофьевич. Первая заголосила Дуняшка, ей откликнулись в десяти концах хутора. Дарья, хлопнув дверьми, растрепанная, опухшая, выскочила на крыльцо, рухнула в сани.

— Петюшка! Петюшка, родимый! Встань! Встань!

У Григория чернь в глазах.

— Уйди, Дашка! — не помня себя, дико закричал он и, не рассчитав, толкнул Дарью в грудь.

Она упала в сугроб. Григорий быстро подхватил Петра под руки, подводчик — за босые щиколотки, но Дарья на четвереньках ползла за ними на крыльцо; целуя, хватала негнущиеся, мерзлые руки мужа. Григорий отталкивал ее ногой, чувствовал, что еще миг — и он потеряет над собой власть. Дуняшка силком оторвала Дарьины руки, прижала обеспамятевшую голову ее к своей груди.

* * *

Стояла на кухне выморочная тишина. Петро лежал на полу странно маленький, будто ссохшийся весь. У него заострился нос, пшеничные усы потемнели, а все лицо строго вытянулось, похорошело. Из-под завязок шаровар высовывались босые волосатые ноги. Он медленно оттаивал, под ним стояла лужица розоватой воды. И чем больше отходило промерзшее за ночь тело,— резче ощущался соленый запах крови и приторно-сладкий васильковый трупный дух.

Пантелей Прокофьевич стругал под навесом сарая доски на гроб. Бабы возились в горенке около не приходившей в память Дарьи. Изредка оттуда слышался чей-нибудь резкий истерический всхлип, а потом ручьисто журчал голос свахи Василисы, прибежавшей «делить» горе. Григорий сидел на лавке против брата, крутил цигарку, смотрел на желтое по краям лицо Петра, на руки его с посинелыми круглыми ногтями. Великий холод отчуждения уже делил его с братом. Был Петро теперь не своим, а недолгим гостем, с которым пришла пора расстаться. Лежит сейчас он, равнодушно привалившись щекой к земляному полу, словно ожидая чего-то, с успокоенной таин-

ственной полуулыбкой, замерзшей под пшеничными усами. А завтра в последнюю путину соберут его жена и мать.

Еще с вечера нагрела ему мать три чугуна теплой воды, а жена приготовила чистое белье и лучшие шаровары с мундиром. Григорий — брат его однокровник — и отец обмоют отныне не принадлежащее ему, не стыдящееся за свою наготу тело. Оденут в праздничное и положат на стол. А потом придет Дарья, вложит в широкие, ледяные руки, еще вчера обнимавшие ее, ту свечу, которая светила им обоим в церкви, когда они ходили вокруг аналоя,— и готов казак Петро Мелехов к проводам туда, откуда не возвращаются на побывку к родным куреням.

«Лучше б погиб ты где-нибудь в Пруссии, чем тут, на материных глазах!» — мысленно с укором говорил брату Григорий и, взглянув на труп, вдруг побелел: по щеке Петра к пониклой усине ползла слеза. Григорий даже вскочил, но, всмотревшись внимательней, вздохнул облегченно: не мертвая слеза, а капелька с оттаявшего курчавого чуба упала Петру на лоб, медленно скатилась по щеке.

XXXV

Приказом командующего объединенными повстанческими силами Верхнего Дона Григорий Мелехов назначен был командиром Вешенского полка. Десять сотен казаков повел Григорий на Каргинскую. Предписывал ему штаб во что бы то ни стало разгромить отряд Лихачева и выгнать его из пределов округа, с тем чтобы поднять все чирские хутора Каргинской и Боковской станиц.

И Григорий 7 марта повел казаков. На оттаявшем бугре, покрытом черными голызинами, пропустил он мимо себя все десять сотен. В стороне от шляха, избоченясь, горбатился он на седле, туго натягивал поводья, сдерживал горячившегося коня, а мимо походными колоннами шли сотни обдонских хуторов: Базков, Белогорки, Ольшанского, Меркулова, Громковского, Семеновского, Рыбинского, Водянского, Лебяжьего, Ерика.

Перчаткой гладил Григорий черный ус, шевелил коршунячьим носом, из-под крылатых бровей угрюмым, осадистым взглядом провожал каждую сотню. Множество захлюстанных конских ног месило бурую толочь снега. Знакомые казаки, проезжая, улыбались Григорию. Над папахами их слоился и таял табачный дымок. От лошадей шел пар.

Примкнул Григорий к последней сотне. Версты через три встретил их разъезд. Урядник, водивший разъезд, подскакал к Григорию.

— Отступают красные по дороге на Чукарин!

Боя лихачевский отряд не принял. Но Григорий кинул в обход три сотни казаков и так нажал с остальными, что уже по Чукарину стали бросать красноармейцы подводы, зарядные ящики. На выезде из Чукарина, возле убогой церковенки, застряла в речке лихачевская батарея. Ездовые обрубили постромки, через левады ускакали на Каргинскую.

Пятнадцать верст от Чукарина до Каргинской казаки прошли без боя. Правее, за Ясеновку, разъезд противника обстрелял разведку вешенцев. На том дело и кончилось. Казаки уже начали пошучивать: «До Новочеркасска пойдет!»

Григория радовала захваченная батарея. «Даже замки не успели попортить»,— пренебрежительно подумал он. Быками выручали застрявшие орудия. Из сотен в момент набралась прислуга. Орудия шли в двойной упряжке: шесть пар лошадей тянули каждое. Полусотня, назначенная в прикрытие, сопровождала батарею.

В сумерках налетом забрали Каргинскую. Часть лихачевского отряда с последними тремя орудиями и девятью пулеметами была взята в плен. Остальные красноармейцы вместе с Каргинским ревкомом успели хуторами бежать в направлении Боковской станицы.

Всю ночь шел дождь. К утру заиграли лога и буераки. Дороги стали непроездны: что ни ложок — ловушка. Напитанный водой снег проваливался до земли. Лошади стряли, люди падали от усталости.

Две сотни под командой базковского хорунжего Ермакова Харлампия, высланные Григорием для преследования отступающего противника, переловили в сплошных хуторах — Латышевском и Вислогузовском — около тридцати отставших красноармейцев; утром привели их в Каргинскую.

Григорий стал на квартире в огромном доме местного богача Каргина. Пленных пригнали к нему во двор. Ермаков вошел к Григорию, поздоровался.

— Взял двадцать семь красных. Тебе там вестовой коня подвел. Зараз выезжаешь, что ль?

Григорий подпоясал шинель, причесал перед зеркалом свалявшиеся под папахой волосы, только тогда повернулся к Ермакову.

— Поедем. Выступать сейчас. На площади устроим митинг — и в поход.

— Нужен он, митинг! — Ермаков повел плечом, улыбнулся.— Они и без митинга уже все на конях. Да вон, гляди! Это не вёшенцы подходят сюда.

Григорий выглянул в окно. По четыре в ряд, в прекрасном порядке шли сотни. Казаки — как на выбор, кони — хоть на смотр.

— Откуда это? Откуда их черт принес? — радостно бормотал Григорий, на бегу надевая шашку.

Ермаков догнал его у ворот.

К калитке уже подходил сотенный командир передней сотни. Он почтительно держал руку у края папахи, протянуть ее Григорию не осмелился.

— Вы — товарищ Мелехов?

— Я. Откуда вы?

— Примите в свою часть. Присоединяемся к вам. Наша сотня сформирована за нынешнюю ночь. Эта — с хутора Лиховидова, а другие две сотни — с Грачева, с Архиповки и Василевки.

— Ведите казаков на площадь. Там зараз митинг будет.

Вестовой (Григорий взял в вестовые Прохора Зыкова) подал ему коня, даже стремя подержал. Ермаков как-то особенно ловко, почти не касаясь луки и гривы, вскинул в седло свое сухощавое железное тело, спросил, подъезжая и привычно оправляя над седлом разрез шинели:

— С пленниками как быть?

Григорий взял его за пуговицу шинели, близко нагнулся, клонясь с седла. В глазах его сверкнули рыжие искорки, но губы под усами, хоть и зверовато, а улыбались.

— В Вёшки прикажи отогнать. Понял? Чтоб ушли не дальше вон энтого кургана! — Он махнул плетью в направлении нависшего над станицей песчаного кургана, тронул коня.

«Это им за Петра первый платеж»,— подумал он, трогая рысью, и без видимой причины плетью выбил на крупе коня белесый вспухший рубец.

XXXVI

Из Каргинской Григорий повел на Боковскую уже три с половиной тысячи сабель. В догон ему штаб и окрисполком слали нарочными приказы и распоряжения. Один из

членов штаба в частной записке витиевато просил Григория:

Многоуважаемый товарищ Григорий Пантелеевич! До нашего сведения коварные доходят слухи, якобы ты учиняешь жестокую расправу над пленными красноармейцами. Будто бы по твоему приказу уничтожены — сиречь порубаны — тридцать красноармейцев, взятых Харлампием Ермаковым под Боковской. Среди означенных пленных, по слухам, был один комиссаришка, коий мог нам очень пригодиться на предмет освещения их сил. Ты, дорогой товарищ, отмени приказ пленных не брать. Такой приказ нам вредный ужасно, и казаки вроде роптают даже на такую жестокость и боятся, что и красные будут пленных рубить и хутора наши уничтожать. Командный состав тоже препровождай живьем. Мы их потихоньку будем убирать в Вешках либо в Казанской, а ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба из исторического романа писателя Пушкина, и все предаешь огню и мечу и казаков волнуешь. Ты остепенись, пожалуйста, пленных смерти не предавай, а направляй к нам. В вышеуказанном и будет наша сила. А за сим будь здоров. Шлем тебе низкий поклон и ждем успехов.

Письмо Григорий, не дочитав, разорвал, кинул под ноги коню. Кудинову на его приказ:

Немедленно развивай наступление на юг, участок Крутенький — Астахово — Греково. Штаб считает необходимым соединиться с фронтом кадетов. В противном случае нас окружат и разобьют.

Не сходя с седла, написал:

Наступаю на Боковскую, преследую бегущего противника. А на Крутенький не пойду, приказ твой считаю глупым. И за кем я пойду наступать на Астахово? Там, окромя ветра и хохлов, никого нет.

На этом официальная переписка его с повстанческим центром закончилась. Сотни, разбитые на два полка, подходили к граничащему с Боковской хутору Конькову. Ратный успех еще в течение трех дней не покидал Григория. С боем заняв Боковскую, Григорий на свой риск тронулся на Краснокутскую. Искрошил небольшой отряд, заградивший ему дорогу, но взятых пленных рубить не приказал, отправил в тыл.

9 марта он уже подводил полки к слободе Чистяковка. К этому времени красное командование, почувствовав угрозу с тыла, кинуло на восстание несколько полков и батарей. Под Чистяковкой подошедшие красные полки цокнулись с полками Григория. Бой продолжался часа три. Опасаясь «мешка», Григорий оттянул части к Краснокутской. Но в утреннем бою 10 марта вешенцев изрядно потрепали красные хоперские казаки. В атаке и контратаке сошлись донцы с обеих сторон, рубанулись, как и надо, и Григорий,

потеряв в бою коня, с разрубленной щекой, вывел полки из боя, отошел до Боковской.

Вечером он допросил пленного хоперца. Перед ним стоял немолодой казак Тепикинской станицы, белобрысый, узкогрудый, с клочьями красного банта на отвороте шинели. На вопросы он отвечал охотливо, но улыбался туго и как-то вкось.

— Какие полки были в бою вчера?

— Наш Третий казачий имени Стеньки Разина. В нем почти все Хоперского округа казаки. Пятый Заамурский, Двенадцатый кавалерийский и Шестой Мценский.

— Под чьей общей командой? Говорят, Киквидзе [1] вел?

— Нет, товарищ Домнич сводным отрядом командовал.

— Припасов много у вас?

— Черт-те сколько!

— Орудий?

— Восемь, никак.

— Откуда сняли полк?

— С Каменских хуторов.

— Объяснили, куда посылают?

Казак помялся, но все же ответил. Григорию захотелось проведать о настроении хоперцев.

— Что гутарили промеж себя казаки?

— Неохота, мол, идтить...

— Знают в полку, против чего мы восстали?

— Откеда же знать-то?

— Почему же неохотно шли?

— Дык казаки же вы-то! А тут надоело пестаться с войной. Мы ить как с красными пошли — и вот до се.

— У нас, может, послужишь?

Казак пожал узкими плечами:

— Воля ваша! Оно бы неохота...

— Ну, ступай. Пустим к жене... Наскучал, небось?

Григорий, сузив глаза, посмотрел вслед уходившему казаку, позвал Прохора. Долго курил, молчал. Потом подошел к окну, стоя спиной к Прохору, спокойно приказал:

— Скажи ребятам, чтоб вон энтого, какого я зараз допрашивал, потихоньку увели в сады. Казаков красных я в плен не беру! — Григорий круто повернулся на стоптанных каблуках.—Нехай зараз же его... Ходи!

Прохор ушел. С минуту стоял Григорий, обламывая хрупкие веточки гераней на окне, потом проворно вышел на

[1] Киквидзе Василий Исидорович (1894—1919) — революционер, коммунист, герой гражданской войны, командир дивизии. Погиб в бою 11 февраля 1919 года.

крыльцо. Прохор тихо говорил с казаками, сидевшими на сугреве под амбаром.

— Пустите пленного. Пущай ему пропуск напишут,— не глядя на казаков, сказал Григорий и вернулся в комнату, стал перед стареньким зеркалом, недоуменно развел руками.

Он не мог объяснить себе, почему он вышел и велел отпустить пленного. Ведь испытал же он некоторое злорадное чувство, что-то похожее на удовлетворение, когда с усмешкой про себя проговорил: «Пустим к жене... Ступай»,— а сам знал, что сейчас позовет Прохора и прикажет хоперца стукнуть в садах.

Ему было слегка досадно на чувство жалости,— что же иное, как не безотчетная жалость, вторглось ему в сознание и побудило освободить врага? И в то же время освежающе радостно... Как это случилось? Он сам не мог дать себе отчета. И это было тем более странно, что вчера же сам он говорил казакам: «Мужик — враг, но казак, какой зараз идет с красными, двух врагов стоит! Казаку, как шпиону, суд короткий: раз, два — и в божьи ворота».

С этим неразрешенным, саднящим противоречием, с восставшим чувством неправоты своего дела Григорий и покинул квартиру. К нему пришли командир Чирского полка — высокий атаманец с неприметными, мелкими, стирающимися в памяти чертами лица и двое сотенных.

— Подвалили ишо подкрепления! — улыбаясь, сообщил полковой.— Три тысячи конных с Наполова, с Яблоневой речки, с Гусынки, окромя двух сотен пеших. Куда ты их будешь девать, Пантелевич?

Григорий повесил маузер и щегольскую полевую сумку, доставшиеся от Лихачева, вышел на баз. Тепло грело солнце. Небо было по-летнему высоко и сине, и по-летнему шли на юг белые барашковые облака. Григорий на проулке собрал всех командиров посовещаться. Сошлось их около тридцати человек, расселись на поваленном плетне, загулял по рукам чей-то кисет.

— Какие будем планы строить? Каким родом нам резануть вот эти полки, что потеснили нас от Чистяковки, и куда будем путя держать? — спросил Григорий и попутно передал содержание приказа Кудинова.

— А сколько их супротив нас? Дознался у пленного? — помолчав, спросил один из сотенных.

Григорий перечислил полки, противостоящие им, бегло подсчитал вероятное число штыков и сабель противника. Помолчали казаки. На совете нельзя было выступать с глу-

пым, необдуманным словом. Грачевский сотенный так и сказал:

— Погоди трошки, Мелехов! Дай подумать. Это ить не палашом секануть. Как бы не прошибиться.

Он же первый и заговорил.

Григорий выслушал всех внимательно. Мнение большинства высказавшихся сводилось к тому, чтобы не зарываться далеко даже в случае успеха и вести оборонительную войну. Впрочем, один из чирцев горячо поддерживал приказ командующего повстанческими силами, говорил:

— Нам нечего тут топтаться. Пущай Мелехов ведет нас к Донцу. Что вы — ума решились? Нас кучка, а за плечами вся Россия. Как мы могем устоять? Даванут нас — и пропали! Надо пробиваться! Хучь и чудок у нас патрон, но мы их добудем. Рейду надо дать! Решайтесь!

— А народ куда денешь? Баб, стариков, детишков?

— Нехай остаются!

— Умная у тебя голова, да дураку досталась!

До этого сидевшие на краю плетня командиры шепотом говорили о подступавшей весенней пахоте, о том, что станется с хозяйствами, ежели придется идти на прорыв, но после речи чирца загорланили все. Совещание разом приняло бурный характер какого-нибудь хуторского схода. Выше остальных поднял голос престарелый казак с Наполова:

— От своих плетней не пойдем! Я первый уведу свою сотню на хутор! Биться, так возле куреней, а не чужую жизнь спасать!

— Ты мне на горло не наступай! Я рассуждаю, а ты — орать!

— Да что и гутарить!

— Пущай Кудинов сам идет к Донцу!

Григорий, выждав тишины, положил на весы спора решающее слово:

— Фронт будем держать тут! Станет с нами Краснокутская — будем и ее оборонять! Идтить некуда. Совет покончился. По сотням! Зараз же выступаем на позиции.

Через полчаса, когда густые лавы конницы нескончаемо потекли по улицам, Григорий остро ощутил горделивую радость: такой массой людей он еще никогда не командовал. Но рядом с самолюбивой радостью тяжко ворохнулись в нем тревога, терпкая горечь: сумеет ли он водить так, как надо? Хватит ли у него уменья управлять тысячами казаков? Не сотня, а дивизия была в его подчинении. И ему ли, малограмотному казаку, властвовать над тысячами жизней

и нести за них крестную ответственность. «А главное — против кого веду? Против народа... Кто же прав?»

Григорий, скрипя зубами, провожал проходившие сомкнутым строем сотни. Опьяняющая сила власти состарилась и поблекла в его глазах. Тревога, горечь остались, наваливаясь непереносимой тяжестью, горбя плечи.

XXXVII

Весна отворяла жилы рек. Ядренее становились дни, звучнее нагорные зеленые потоки. Солнце приметно порыжело, слиняла на нем немощно-желтая окраска. Ости солнечных лучей стали ворсистей и уже покалывали теплом. В полдень парилась оголенная пахота, нестерпимо сиял ноздреватый, чешуйчатый снег. Воздух, напитанный пресной влагой, был густ и духовит.

Спины казакам грело солнце. Подушки седел приятно потеплели, бурые казачьи щеки увлажнял мокрогубый ветер. Иногда приносил он и холодок с заснеженного бугра. Но тепло одолевало зиму. По-весеннему яровито взыгрывали кони, сыпался с них линючий волос, резче колол ноздри конский пот.

Казаки уже подвязывали коням мочалистые хвосты. Уже ненужными болтались на спинах всадников башлыки верблюжьей шерсти, а под папахами мокрели лбы, и жарковато становилось в полушубках и теплых чекменях.

Вел Григорий полк летним шляхом. Вдали, за распятьем ветряка, разворачивались в лаву эскадроны красных: возле хутора Свиридова начинался бой.

Еще не умел Григорий, как полагалось ему, руководить со стороны. Он сам водил в бой сотни вешенцев, затыкал ими самые опасные места. И бой вершился без общего управления. Каждый полк, нарушая предварительный сговор, действовал, в зависимости от того, как складывались обстоятельства.

Фронта не было. Это давало возможность широкого разворота в маневрировании.

Обилие конницы (в отряде Григория она преобладала) было важным преимуществом. Используя это преимущество, Григорий решил вести войну «казачьим» способом: охватывать фланги, заходить в тыл, громить обозы, тревожить и деморализовать красных ночными набегами.

Но под Свиридовом решил он действовать иначе: крупной рысью вывел на позиции сотни, одну из них оставил

в хуторе, приказал спешиться, залечь в левадах в засаду, предварительно отправив коноводов в глубь хутора во дворы, а с двумя остальными выскочил на пригорок в полуверсте от ветряка и помалу ввязался в бой.

Против него было побольше двух эскадронов красной кавалерии. Это не были хоперцы, так как в бинокль Григорий видел маштаковатых, не донских коньков с подрезанными хвостами, а казаки хвостов коням никогда не резали, не срамили лошадиной красоты. Следовательно, наступал или 13-й кавалерийский, или вновь подошедшие части.

Григорий с пригорка рассматривал местность в бинокль. С седла всегда просторней казалась ему земля, и уверенней чувствовал он себя, когда носки сапог покоились в стременах.

Он видел, как той стороной реки Чира бугром двигалась бурая длинная колонна в три с половиной тысячи казаков. Она, медленно, извиваясь, поднималась в гору, уходила на север, на грань Еланского и Усть-Хоперского юртов, чтобы там встретить наступающего от Усть-Медведицы противника и помочь изнемогавшим в борьбе еланцам.

Версты полторы расстояния отделяло Григория от готовившейся к атаке лавы красных. Григорий торопливо — по старому образцу — развернул свои сотни. Пики были не у всех казаков, но те, у кого они были, выдвинулись в первую шеренгу, отъехали саженей на десять вперед. Григорий выскакал вперед первой шеренги, стал вполоборота, вынул шашку.

— Тихой рысью марш!

В первую минуту под ним споткнулся конь, попав ногой в заваленную снегом сурчину. Григорий выправился в седле, побледнел от злости и сильно ударил коня шашкой плашмя. Под ним был добрый, взятый у одного из вешенских, строевой резвач, но Григорий относился к нему с затаенной недоверчивостью. Он знал, что конь за два дня не мог привыкнуть к нему, да и сам не изучил его повадок и характера,— боялся, что не будет чужой конь понимать его сразу, с крохотного движения поводьями так, как понимал свой, убитый под Чистяковкой. После того как удар шашки взгорячил коня и он, не слушаясь поводьев, захватил в намёт, Григорий внутренне похолодел и даже чуть растерялся. «Подведет он меня!» — полохнулась колючая мысль. Но чем дальше и ровнее стлался в машистом намёте конь, чем больше повиновался он еле заметному движению руки, направлявшей его бег, тем увереннее и холоднее

становился Григорий. На секунду оторвавшись взглядом от двигавшейся навстречу качкой раздробившейся лавы противника, скользнул он глазами по шее коня. Рыжие конские уши были плотно и зло прижаты, шея, вытянутая, как на плаху, ритмически вздрагивала. Григорий выпрямился в седле, жадно набрал в легкие воздуха, глубоко просунул сапоги в стремена, оглянулся. Сколько раз он видел позади себя грохочущую, слитую из всадников и лошадей лавину, и каждый раз его сердце сжималось страхом перед надвигающимся и каким-то необъяснимым чувством дикого, животного возбуждения. От момента, когда он выпускал лошадь, и до того, пока дорывался до противника, был неуловимый миг внутреннего преображения. Разум, хладнокровие, расчетливость — все покидало Григория в этот страшный миг, и один звериный инстинкт властно и неделимо вступал в управление его волей. Если бы кто мог посмотреть на Григория со стороны в час атаки, тот, наверно, думал бы, что движениями его управляет холодный, не теряющийся ум. Так были они с виду уверенны, выверенны и расчетливы.

Расстояние между обеими сторонами сокращалось с облегчающей быстротой. Крупнели фигуры всадников, лошадей. Короткий кусок бурьянистой, засыпанной снегом хуторской толоки, бывшей между двумя конными лавами, поглощался конскими копытами. Григорий приметил одного всадника, скакавшего впереди своего эскадрона примерно на три лошадиных корпуса. Караковый рослый конь под ним шел куцым волчьим скоком. Всадник шевелил в воздухе офицерской саблей, серебряные ножны болтались и бились о стремя, огнисто поблескивая на солнце. Через секунду Григорий узнал всадника. Это был каргинский коммунист из иногородних, Петр Семиглазов. В семнадцатом году с германской первый пришел он, тогда двадцатичетырехлетний парняга, в невиданных доселе обмотках; принес с собой большевистские убеждения и твердую фронтовую напористость. Большевиком он и остался. Служил в Красной Армии и перед восстанием пришел из части устраивать в станице Советскую власть. Этот-то Семиглазов и скакал на Григория, уверенно правя конем, картинно потрясая отобранной при обыске, годной лишь для парадов офицерской саблей.

Оскалив плотно стиснутые зубы, Григорий приподнял поводья, и конь послушно наддал ходу.

Был у Григория один, ему лишь свойственный маневр, который применял он в атаке. Он прибегал к нему, когда

чутьем и взглядом распознавал сильного противника, или тогда, когда хотел сразить наверняка, насмерть, сразить одним ударом, во что бы то ни стало. С детства Григорий был левшой. Он и ложку брал левой рукой и крестился ею же. Жестоко бивал его за это Пантелей Прокофьевич, даже ребятишки-сверстники прозвали его «Гришка-левша». Побои и ругань, надо думать, возымели действие на малолетнего Гришку. С десяти лет вместе с кличкой «левша» отпала у него привычка заменять правую руку левой. Но до последнего времени он мог с успехом делать левой все, что делал правой. И левая была у него даже сильнее. В атаке Григорий пользовался всегда с неизменным успехом этим преимуществом. Он вел коня на выбранного противника, как и обычно все, заходя слева, чтобы правой рубить; так же норовил и тот, который должен был сшибиться с Григорием. И вот, когда до противника оставался какой-нибудь десяток саженей и тот уже чуть свешивался набок, занося шашку,— Григорий крутым, но мягким поворотом заходил справа, перебрасывая шашку в левую руку. Обескураженный противник меняет положение, ему неудобно рубить справа налево, через голову лошади, он теряет уверенность, смерть дышит ему в лицо... Григорий рушит страшный по силе, режущий удар с потягом.

Со времени, когда Чубатый учил Григория рубке, «баклановскому» удару, ушло много воды. За две войны Григорий «наломал» руку. Шашкой владеть — не за плугом ходить. Многое постиг он в технике рубки.

Никогда не продевал кисти в темляк: чтобы легче было кинуть шашку из руки в руку в короткий, неуловимый миг. Знал он, что при сильном ударе, если неправильный будет у шашки крен, вырвет ее из руки, а то и кисть вывихнет. Знал прием, очень немногим дающийся, как еле заметным движением выбить у врага оружие или коротким, несильным прикосновением парализовать руку. Многое знал Григорий из той науки, что учит умерщвлять людей холодным оружием.

На рубке лозы от лихого удара падает косо срезанная хворостинка, не дрогнув, не ворохнув подставки. Мягко воткнется острым концом в песок рядом со стеблем, от которого отделила ее казачья шашка. Так и калмыковатый красивый Семиглазов опустился под вздыбившегося коня, тихо сполз с седла, зажимая ладонями наискось разрубленную грудь. Смертным холодом оделось тело...

Григорий в ту же минуту выпрямился в седле, привстал на стремена. На него слепо летел, уже не в силах сдержать

коня, второй. За вскинутой запененной конской мордой Григорий не видел еще всадника, но видел горбатый спуск шашки, темные долы ее. Изо всей силы дернул Григорий поводья, принял и отвел удар,— забирая в руку правый повод, рубанул по склоненной подбритой красной шее.

Он первый выскакал из раздерганной, смешавшейся толпы. В глазах — копошащаяся куча конных. На ладони — нервный зуд. Кинул шашку в ножны, рванул маузер, тронул коня назад уже во весь мах. За ним устремились казаки. Сотни шли вроссыпь. То там, то сям виднелись папахи и малахаи с белыми перевязками, припавшие к лошадиным шеям. Сбоку от Григория скакал знакомый урядник в лисьем треухе, в защитном полушубке. У него разрублены ухо и щека до самого подбородка. На груди будто корзину спелой вишни раздавили. Зубы оскалены и залиты красным. Красноармейцы, дрогнувшие и наполовину тоже обратившиеся в бегство, повернули лошадей. Отступление казаков распалило их на погоню. Одного приотставшего казака как ветром снесло с лошади и лошадьми втолочило в снег. Вот-вот хутор, черные купы садов, часовенка на пригорочке, широкий проулок. До плетней левады, где лежала в засаде сотня, осталось не более ста саженей... С конских спин — мыло и кровь. Григорий, на скаку яростно жавший спуск маузера, сунул отказавшееся служить оружие в коробку (патрон пошел на перекос), грозно крикнул:

— Делись!!!

Слитная струя казачьих сотен, как стремя реки, наткнувшееся на утес, плавно разлилась на два рукава, обнажив красноармейскую лаву. По ней из-за плетня сотня, лежавшая в засаде, полыхнула залпом, другим, третьим... Крик! Лошадь с красноармейцем зашкобырдала через голову. У другой колени подогнулись, морда по уши в снег. С седел сорвали пули еще трех или четырех красноармейцев. Пока на всем скаку остальные, грудясь, повернули лошадей, по ним расстреляли по обойме и умолкли. Григорий только что успел крикнуть сорвавшимся голосом: «Со-о-от-ни!..» — как тысячи конских ног, взрыхляя на крутом повороте снег, повернулись и пошли вдогон. Но преследовали казаки неохотно: пристали кони. Версты через полторы вернулись. Раздели убитых красноармейцев, расседлали убитых лошадей. Трех раненых добивал безрукий Алешка Шамиль. Он ставил их лицом к плетню, рубил по очереди. После долго возле дорубленных толпились казаки, курили, рассматривали трупы. У всех трех одина-

ковые были приметы: туловища развалены наискось от ключицы до пояса.

— Из трех шестерых сделал,— хвастался Алешка, мигая глазом, дергая щекой.

Его подобострастно угощали табаком, смотрели с нескрываемым уважением на небольшой Алешкин кулак величиной с ядреную тыкву-травянку, на выпуклый заслон груди, распиравшей чекмень.

У плетня, покрытые шинелями, дрожали мокрые кони. Казаки подтягивали подпруги. На проулке у колодца в очередь стояли за водой. Многие в поводу вели усталых, волочащих ноги лошадей.

Григорий уехал с Прохором и пятью казаками вперед. Словно повязка свалилась у него с глаз. Опять, как и перед атакой, увидел он светившее миру солнце, притаявший снег возле прикладков соломы, слышал весеннее чулюканье воробьев по хутору, ощущал тончайшие запахи ставшей на порог дней весны. Жизнь вернулась к нему не поблекшая, не состарившаяся от пролитой недавно крови, а еще более манящая скупыми и обманчивыми радостями. На черном фоне оттаявшей земли всегда заманчивей и ярче белеет оставшийся кусочек снега...

XXXVIII

Полой водой взбугрилось и разлилось восстание, затопило все Обдонье, задонские степные края на четыреста верст в окружности. Двадцать пять тысяч казаков сели на конь. Десять тысяч пехоты выставили хутора Верхне-Донского округа.

Война принимала формы, досель не виданные. Где-то около Донца держала фронт Донская армия, прикрывая Новочеркасск, готовясь к решающей схватке. А в тылу противостоявших ей 8-й и 9-й Красных армий бурлило восстание, бесконечно осложняя и без того трудную задачу овладения Доном.

В апреле перед Реввоенсоветом республики со всей отчетливостью встала угроза соединения повстанцев с фронтом белых. Требовалось задавить восстание во что бы то ни стало, пока оно не успело с тыла разъесть участок красного фронта и слиться с Донской армией. На подавление стали перебрасываться лучшие силы: в число экспедиционных войск вливали экипажи матросов — балтийцев и черноморцев, надежнейшие полки, команды бронепо-

ездов, наиболее лихие кавалерийские части. С фронта целиком были сняты пять полков боевой Богучарской дивизии, насчитывавшей до восьми тысяч штыков при нескольких батареях и пятидесяти пулеметах. В апреле на Казанском участке повстанческого фронта уже дрались с беззаветным мужеством Рязанские и Тамбовские курсы, позднее прибыла часть школы ВЦИКа, под Шумилинской бились с повстанцами латышские стрелки.

Казаки задыхались от нехватки боевого снаряжения. Вначале не было достаточного числа винтовок, кончались патроны. Их надо было добывать ценою крови, их надо было отбивать атакой или ночным набегом. И отбивали. В апреле у повстанцев уже было полное число винтовок, шесть батарей и около полутораста пулеметов.

В начале восстания в Вешенской на складе осталось пять миллионов холостых патронов. Окружной совет мобилизовал лучших кузнецов, слесарей, ружейников. В Вешенской организовалась мастерская по отливке пуль, но не было свинца, не из чего было лить пули. Тогда по призыву окружного совета на всех хуторах стали собирать свинец и медь. С паровых мельниц были взяты все запасы свинца и баббита. Кинули по хуторам с верховыми гонцами короткое воззвание:

Вашим мужьям, сыновьям и братьям нечем стрелять. Они стреляют только тем, что отобьют у проклятого врага. Сдайте все, что есть в ваших хозяйствах годного на литье пуль. Снимите с веялок свинцовые решета.

Через неделю по всему округу ни на одной веялке не осталось решет.

«Вашим мужьям, сыновьям и братьям нечем стрелять...» И бабы несли в хуторские советы все годное и негодное, ребятишки хуторов, где шли бои, выковыривали из стен картечь, рылись в земле в поисках осколков. Но и в этом деле не было крутого единства; кое-каких бабенок из бедноты, не желавших лишиться последней хозяйственной мелочи, арестовали и отправили в округ за «сочувствие красным». В Татарском зажиточные старики в кровь избили пришедшего из части в отпуск Семена Чугуна за единую неосторожную фразу: «Богатые нехай веялки разоряют. Им, небось, красные-то страшнее разорения».

Запасы свинца плавились в вешенской мастерской, но отлитые пули, лишенные никелевой оболочки, тоже плавились... После выстрела самодельная пуля вылетала из

ствола растопленным свинцовым комочком, летела с диким воем и фурчаньем, но разила только на сто, сто двадцать саженей. Зато раны, наносимые такими пулями, были ужасны. Красноармейцы, разузнав, в чем дело, иногда, близко съезжаясь с разъездами казаков, орали: «Жуками стреляете... Сдавайтесь, все равно всех перебьем!»

Тридцать пять тысяч повстанцев делились на пять дивизий и шестую по счету отдельную бригаду. На участке Мешковская — Сетраков — Веже билась 3-я дивизия под командой Егорова. Участок Казанская — Донецкое — Шумилинская занимала 4-я дивизия. Водил ее угрюмейший с виду подхорунжий, рубака и черт в бою, Кондрат Медведев. 5-я дивизия дралась на фронте Слащевская — Букановская, командовал ею Ушаков. В направлении Еланские хутора — Усть-Хоперская — Горбатов бился со своей 2-й дивизией вахмистр Меркулов. Там же была и 6-я отдельная бригада, крепко сколоченная, почти не несшая урона, потому что командовавший ею максаевский казак, чином подхорунжий, Богатырев был осмотрителен, осторожен, никогда не рисковал и людей зря в трату не давал. По Чиру раскидал свою 1-ю дивизию Мелехов Григорий. Его участок был лобовым, на него с юга обрушивались отрываемые с фронта красные части, но он успевал не только отражать натиски противника, но и пособлять менее устойчивой 2-й дивизии, перебрасывая на помощь ей пешие и конные сотни.

Восстанию не удалось перекинуться в станицы Хоперского и Усть-Медведицкого округов. Было и там брожение, являлись и оттуда гонцы с просьбами двинуть силы к Бузулуку и в верховья Хопра, чтобы поднять казаков, но повстанческое командование не решилось выходить за пределы Верхне-Донского округа, зная, что в основной массе хоперцы подпирают Советскую власть и за оружие не возьмутся. Да и гонцы успехов не сулили, направдок рассказывая, что недовольных красными по хуторам не так-то много, что офицеры, оставшиеся по глухим углам Хоперского округа, скрываются, значительных сил, сочувствующих восстанию, сколотить не могут, так как фронтовики либо дома, либо с красными, а стариков загнали, как телят в закут, и ни силы, ни прежнего веса они уже не имеют.

На юге, в волостях, населенных украинцами, красные мобилизовали молодежь, и та с большой охотой дралась с повстанцами, влившись в полки боевой Богучарской дивизии. Восстание замкнулось в границах Верхне-Донского округа. И все яснее становилось всем, начиная

с повстанческого командования, что долго оборонять родные курени не придется,— рано или поздно, а Красная Армия, повернувшись от Донца, задавит.

18 марта Григория Мелехова Кудинов вызвал в Вешенскую на совещание. Поручив командование дивизией своему помощнику Рябчикову, Григорий рано утром с ординарцем выехал в округ.

В штаб он явился как раз в тот момент, когда Кудинов в присутствии Сафонова вел переговоры с одним из гонцов Алексеевской станицы. Кудинов, сгорбясь, сидел за письменным столом, вертел в сухих смуглых пальцах кончик своего кавказского ремешка и, не поднимая опухлых, гноящихся от бессонных ночей глаз, спрашивал у казака, сидевшего против него:

— А сами-то вы что? Вы-то чего думаете?

— Оно и мы, конешно... Самим как-то несподручно... Кто его знает, как и что другие. А тут, знаешь, народ какой? Робеют. И гребтится им, и то ж самое робеют...

— «Гребтится»! «Робеют»! — злобно бледнея, прокричал Кудинов и ерзнул в кресле, будто жару сыпанули ему на сиденье.— Все вы как красные девки! И хочется, и колется, и маменька не велит. Ну, и ступай в свою Алексеевскую, скажи своим старикам, что мы и взвода не пошлем в ваш юрт, покуда вы сами не начнете. Нехай вас хучь по одному красные перевешают!

Багровая рука казачины трудно сдвинула на затылок искристый лисий малахай. По морщинам лба, как по ерикам вешняя вода, стремительно сыпал пот, короткие белесые ресницы часто мигали, а глаза смотрели улыбчиво и виновато.

— Оно, конешно, чума вас заставит идтить к нам. Но тут все дело в почине. Дороже денег этот самый почин...

Григорий, внимательно слушавший разговор, посторонился,— из коридора в комнату без стука шагнул одетый в дубленый полушубок невысокий черноусый человек. Он поздоровался с Кудиновым кивком головы, присел к столу, подперев щеку белой ладонью. Григорий, знавший в лицо всех штабных, видел его впервые, всмотрелся. Тонко очерченное лицо, смуглое, но не обветренное и не тронутое солнцем, мягкая белизна рук, интеллигентные манеры — все изобличало в нем человека не местного.

Кудинов, указывая глазами на незнакомца, обратился к Григорию:

— Познакомься, Мелехов. Это — товарищ Георгидзе. Он...— и замялся, повертел черненого серебра бирюльку на

пояске, сказал, вставая и обращаясь к гонцу Алексеевской станицы: — Ну ты, станишник, иди. У нас зараз дела заступают. Езжай домой и слова мои передай кому следует.

Казак поднялся со стула. Пламенно-рыжий с черными ворсинами лисий малахай почти достал до потолка. И сразу от широких плеч казака, заслонивших свет, комната стала маленькой и тесной.

— За помочью прибегал? — обратился Григорий, все еще неприязненно ощущая на ладони рукопожатие кавказца.

— Во-во! За помочью. Да оно, видишь, как выходит...— Казак обрадованно повернулся к Григорию, ища глазами поддержки. Красное, под цвет малахая, лицо его было так растерянно, пот омывал его так обильно, что даже борода и поникшие рыжие усы были осыпаны будто мелким бисером.

— Не полюбилась и вам Советская власть? — продолжал расспросы Григорий, делая вид, что не замечает нетерпеливых движений Кудинова.

— Оно бы, братушка, ничего,— рассудительно забасил казачина,— да опасаемся, как бы хужей не стало.

— Расстрелы были у вас?

— Нет, упаси бог! Такого не слыхать. Ну, а, словом, лошадков брали, зернецо, ну, конешно, рестовали народ, какой против гутарил. Страх в глазах, одно слово.

— А если б пришли вёшенцы к вам, поднялись бы? Все бы поднялись?

Мелкие, позлащенные солнцем глаза казака хитро прижмурились, вильнули от глаз Григория, малахай пополз на отягченный в этот миг складками и буграми раздумья лоб.

— За всех как сказать?.. Ну, а хозяйственные казаки, конешно, поперли ба.

— А бедные, не хозяйственные?

Григорий, до этого тщетно пытавшийся поймать глаза собеседника, встретил его по-детски изумленный, прямой взгляд.

— Хм!.. Лодыри с какого же пятерика пойдут? Им самая жизня с этой властью, вакан!

— Так чего же ты, тополина чертова! — уже с нескрываемой злобой закричал Кудинов, и кресло под ним протяжно заскрипело.— Чего же ты приехал подбивать нас? Что ж у вас — аль все богатые? Какое же это в... восстание, ежели в хуторе два-три двора подымутся? Иди отселева! Ступай, говорят тебе! Жареный кочет вас ишо в зад не

клюнул, а вот как клюнет — тогда и без нашей помочи зачнете воевать! Приобыкли, сукины сыны, за чужой спиной затишек пахать! Вам бы на пече, да в горячем просе... Ну иди, иди! Глядеть на тебя, на черта, тошно!

Григорий нахмурился, отвернулся. У Кудинова по лицу всё явственней проступали красные пятна. Георгидзе крутил ус, шевелил ноздрей круто горбатого, как стесанного, носа.

— Просим прощенья, коли так. А ты, ваше благородие, не шуми и не пужай, тут дело полюбовное. Просьбицу наших стариков я вам передал и ответец ваш отвезу им, а шуметь нечего! И до каких же пор на православных шуметь будут? Белые шумели, красные шумели, зараз вот ты пришумливаешь, всяк власть свою показывает да ишо салазки тебе норовит загнуть... Эх ты, жизня крестьянская, поганой сукой лизанная!..

Казак остервенело нахлобучил малахай, глыбой вывалился в коридор, тихонько притворил дверь; но зато в коридоре развязал руки гневу и так хлопнул выходной дверью, что штукатурка минут пять сыпалась на пол и подоконники.

— Ну и народишко пошел! — уже весело улыбался Кудинов, играя пояском, добрея с каждой минутой.— В семнадцатом году весной еду на станцию, пахота шла, время — около пасхи. Пашут свободные казачки и чисто одурели от этой свободы, дороги все как есть запахивают,— скажи, будто земли им мало! За Токинским хутором зову такого пахаря, подходит к тарантасу. «Ты, такой-сякой, зачем дорогу перепахал?» Оробел парень. «Не буду, говорит, низко извиняюсь, могу даже сровнять». Таким манером ишо двух или трех настращал. Выехали за Грачев — опять дорога перепахана, и тут же гаврик ходит с плугом. Шумлю ему: «А ну иди сюда!» Подходит. «Ты какое имеешь право дорогу перепахивать?» Посмотрел на меня, бравый такой казачок, и глаза светлые-светлые, а потом молчком повернулся и — рысью к быкам. Подбег, выдернул из ярма железную занозу и опять рысью ко мне. Ухватился за крыло тарантаса и на подножку лезет. «Ты, говорит, что такое есть, и до каких пор вы будете из нас кровь сосать? Хочешь, говорит, в два счета голову тебе на черепки поколю?» И занозой намеревается. Я ему: «Что ты, Иван, я пошутил!» А он: «Я теперь не Иван, а Иван Осипыч и морду тебе за грубость побью!» Веришь — насилу отвязался. Так и этот: сопел да кланялся, а под конец характер оказал. Гордость в народе выпрямилась.

— Хамство в нем проснулось и поперло наружу, а не гордость. Хамство получило права законности,— спокойненько сказал подполковник-кавказец и, не дожидаясь возражений, закончил разговор: — Прошу начинать совещание. Я бы хотел попасть в полк сегодня же.

Кудинов постучал в стенку, крикнул:

— Сафонов! — и обратился к Григорию: — Ты побудь с нами, посоветуемся сообща. Знаешь поговорку: «Ум хорошо, а два — еще хуже»? На наше счастье, товарищ Георгидзе случаем остался в Вёшках, а теперь нам пособляет. Они чином — подполковник, генеральную академию окончили.

— Как же вы остались в Вёшенской? — почему-то внутренне холодея и настораживаясь, спросил Григорий.

— Тифом заболел, меня оставили на хуторе Дударевском, когда началось отступление с Северного фронта.

— В какой части были?

— Я? Нет, я не строевой. Я был при штабе особой группы.

— Какой группы? Генерала Ситникова?

— Нет...

Григорий хотел еще что-то спросить, но выражение лица подполковника Георгидзе, как-то напряженно собранное, заставило почувствовать неуместность расспросов, и Григорий на полуслове осекся.

Вскоре подошли начштаба Сафонов, командир 4-й дивизии Кондрат Медведев и румяный белозубый подхорунжий Богатырев — командир 6-й отдельной бригады. Началось совещание. Кудинов по сводкам коротко информировал собравшихся о положении на фронтах. Первым попросил слова подполковник. Медленно развернув на столе трехверстку, он заговорил ладно и уверенно, с чуть заметным акцентом:

— Прежде всего я считаю абсолютно необходимой переброску некоторых резервных частей Третьей и Четвертой дивизий на участок, занимаемый дивизией Мелехова и особой бригадой подхорунжего Богатырева. По имеющимся у нас сведениям секретного порядка и из опроса пленных с совершенной очевидностью выясняется, что красное командование именно на участке Каменка — Каргинская — Боковская готовит нам серьезный удар. Со слов перебежчиков и пленных установлено, что из Облив и Морозовской направлены штабом Девятой Красной армии два кавалерийских полка, взятых из Двенадцатой дивизии, пять заградительных отрядов, с приданными к ним тремя

батареями и пулеметными командами. По грубому подсчету, эти пополнения дадут противнику пять с половиной тысяч бойцов. Таким образом, численный перевес будет, несомненно, за ними, не говоря уже о том, что на их стороне превосходство вооружения.

Крест-накрест перечеркнутое оконным переплетом, засматривало с юга в комнату желтое, как цветок подсолнуха, солнце. Голубое облако дыма недвижно висело под потолком. Горьковатый самосад растворялся в острой вони отсыревших сапог. Где-то под потолком отчаянно звенела отравленная табачным дымом муха. Григорий дремотно поглядывал в окно (он не спал две ночи подряд), набухали свинцово отяжелевшие веки, сон вторгался в тело вместе с теплом жарко натопленной комнаты, пьяная усталость расслабляла волю и сознание. А за окном взлетами бились весенние низовые ветры, на базковском бугре розово сиял и отсвечивал последний снег, вершины тополей за Доном так раскачивались на ветру, что Григорию при взгляде на них чудился басовитый неумолчный гул.

Голос подполковника, четкий и напористый, притягивал внимание Григория. Напрягаясь, Григорий вслушивался, и незаметно исчезла, будто растаяла, сонная одурь.

— ...Ослабление активности противника на фронте Первой дивизии и настойчивые попытки его перейти в наступление на линии Мигулинская — Мешковская заставляют нас насторожиться. Я полагаю...— подполковник поперхнулся словом «товарищи» и, уже зло жестикулируя женски белой прозрачной рукой, повысил голос,— что командующий Кудинов при поддержке Сафонова совершает крупнейшую ошибку, принимая маневрирование красных за чистую монету, идя на ослабление участка, занятого Мелеховым. Помилуйте, господа! Это же азбука стратегии — оттяжка сил противника для того, чтобы обрушиться...

— Но резервный полк Мелехову не нужен,— перебил Кудинов.

— Наоборот! Мы должны иметь под рукой часть резервов Третьей дивизии для того, чтобы в случае прорыва нам было чем заслонить его.

— Кудинов, видно, у меня не хочет спрашивать, дам я ему резерв или нет,— озлобляясь, заговорил Григорий.— А я не дам. Сотни одной не дам!

— Ну это, братец...— протянул Сафонов, улыбаясь и приглаживая желтый подбой усов.

— Ничего не «братец»! Не дам — и все!

— В оперативном отношении...

— Ты мне про оперативные отношения не говори. Я отвечаю за свой участок и за своих людей.

Спор, так неожиданно возникший, прекратил подполковник Георгидзе. Красный карандаш в его руке пунктиром отметил угрожаемый участок, и, когда головы совещавшихся тесно сомкнулись над картой, всем стало понятно с непреложной ясностью, что удар, подготавливаемый красным командованием, действительно единственно возможен на южном участке, как наиболее приближенном к Донцу и выгодном в отношении сообщения.

Совещание кончилось через час. Угрюмый, бирючьего вида и бирючьей повадки, Кондрат Медведев, с трудом владевший грамотой, отмалчиваясь на совещании, под конец сказал, все так же исподлобно оглядывая всех:

— Пособить мы Мелехову пособим. Лишние люди есть. Только одна думка спокою не дает, сволочь! Что, ежли начнут нажимать на нас со всех сторон, тогда куда деваться? Собьют нас в кучу, и очутимся мы на ужачином положении, вроде как ужаки в половодье где-нибудь на островке.

— Ужаки плавать умеют, а нам и плавать некуда! — хохотнул Богатырев.

— Мы об этом думали,— раздумчиво проговорил Кудинов.— Ну что же, подойдет тугач — бросим всех неспособных носить оружие, бросим семьи и с боем пробьемся к Донцу. Сила нас немалая, тридцать тысяч.

— А примут нас кадеты? Злобу они имеют на верхнедонцев.

— Курочка в гнезде, а яичко... Нечего об этом толковать! — Григорий надел шапку, вышел в коридор. Через дверь слышал, как Георгидзе, шелестя сворачиваемой картой, отвечал:

— Вёшенцы, да и вообще все повстанцы, искупят свою вину перед Доном и Россией, если будут так же мужественно бороться с большевиками...

«Говорит, а про себя смеется, гадюка!» — вслушиваясь в интонации, подумал Григорий. И снова, как вначале, при встрече с этим неожиданно появившимся в Вешенской офицером, Григорий почувствовал какую-то тревогу и беспричинное озлобление.

У ворот штаба его догнал Кудинов. Некоторое время шли молча. На унавоженной площади ветер шершавил и рябил лужи. Вечерело. Округло-грузные, белые, как летом, лебедями медлительно проплывали с юга облака.

Живителен и пахуч был влажный запах оттаявшей земли. У плетней зеленела оголившаяся трава, и уже в действительности доносил ветер из-за Дона волнующий рокот тополей.

— Скоро поломает Дон,— покашливая, сказал Кудинов.

— Да.

— Черт его знает... Пропадем, не куря. Стакан самосаду — сорок рублей керенскими.

— Ты скажи вот что,— на ходу оборачиваясь, резко спросил Григорий,— офицер этот, из черкесов, он что у тебя делает?

— Георгидзе-то? Начальником оперативного управления. Башковитый, дьявол! Это он планы разрабатывает. По стратегии нас всех засекает.

— Он постоянно в Вёшках?

— Не-е-ет... Мы его прикомандировали к Черновскому полку, к обозу.

— А как же он следит за делами?

— Видишь ли, он часто наезжает. Почти кажин день.

— А что же вы его не возьмете в Вёшки? — пытаясь уяснить, допрашивал Григорий.

Кудинов, все покашливая, ладонью прикрывая рот, нехотя отвечал:

— Неудобно перед казаками. Знаешь, какие они, братушки? «Вот, скажут, позасели офицерья, свою линию гнут. Опять погоны...» — и все прочее.

— Такие, как он, ишо в войске есть?

— В Казанской двое, не то трое... Ты, Гриша, не нудись особо. Я вижу, к чему ты норовишь. Нам, милок, окромя кадетов, деваться некуда. Так ведь? Али ты думаешь свою республику из десяти станиц организовать? Тут же нечего... Соединимся, с повинной головой придем к Краснову: «Не суди, мол, Петро Миколаич, трошки заблудились мы, бросимши фронт»...

— Заблудились? — переспросил Григорий.

— А то как же? — с искренним удивлением ответил Кудинов и старательно обошел лужицу.

— А у меня думка...— Григорий потемнел, насильственно улыбаясь.— А мне думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли... Слыхал, что хоперец говорил?

Кудинов промолчал, сбоку пытливо вглядываясь в Григория.

На перекрестке, за площадью они расстались. Кудинов зашагал мимо школы на квартиру. Григорий вернулся

к штабу, знаком подозвал ординарца с лошадьми. В седле уже, медленно разбирая поводья, поправляя винтовочный погон, все еще пытался он отдать себе отчет в том непонятном чувстве неприязни и настороженности, которое испытал к обнаруженному в штабе подполковнику, и вдруг, ужаснувшись, подумал: «А что, если кадеты нарочно наоставляли у нас этих знающих офицеров, чтоб поднять нас в тылу у красных , чтоб они по-своему, по-ученому руководили нами?» — и сознание с злорадной услужливостью подсунуло догадки и доводы. Не сказал, какой части... замялся... Штабной, а штабы тут и не проходили... За каким чертом его занесло на Дударевский, в глушину такую? Ох, неспроста! Наворошили мы делов...» И домыслами обнажая жизнь, затравленно, с тоской додумал: «Спутали нас ученые люди... Господа спутали! Стреножили жизню и нашими руками вершают свои дела. В пустяковине — и то верить никому нельзя...»

За Доном во всю рысь пустил коня. Позади поскрипывал седлом ординарец, добрый вояка и лихой казачишка с хутора Ольшанского. Таких и подбирал Григорий, чтобы шли за ним «в огонь и в воду», такими, выдержанными еще в германской войне, и окружал себя. Ординарец, в прошлом — разведчик, всю дорогу молчал, на ветру, на рыси закуривал, высекая кресалом огонь, забирая в ядреную пригоршню ком вываренного в подсолнечной золе пахучего трута. Спускаясь в хутор Токин, он посоветовал Григорию:

— Коли нету нужды поспешать, давай заночуем. Кони моренные, нехай передохнут.

Ночевали в Чукарином. В ветхой хате, построенной связью [1], было после морозного ветра по-домашнему уютно и тепло. От земляного пола солоно попахивало телячьей и козьей мочой, из печи — словно преснопригорелыми хлебами, выпеченными на капустных листах. Григорий нехотя отвечал на расспросы хозяйки — старой казачки, проводившей на восстание трех сыновей и старика. Говорила она басом, покровительственно подчеркивая свое превосходство в летах, и с первых же слов грубовато заявила Григорию:

— Ты хучь старшой и командер над казаками-дураками, а надо мной, старухой, не властен и в сыны мне годишься. И ты, сокол, погутарь со мной, сделай милость. А то ты все позевываешь, кубыть, не хошь разговором бабу уважить. А ты уважь! Я вон на вашу войну — лихоман ее

[1] Связь — хата из двух комнат, соединенных сенями.

возьми! — трех сынов выстачила да ишо деда, на грех, проводила. Ты ими командуешь, а я их, сынов-то, родила, вспоила, вскормила, в подоле носила на бахчи и огороды, что му́ки с ними приняла. Это тоже нелегко доставалось! И ты носом не крути, не задавайся, а гутарь со мной толком: скоро замиренье выйдет?

— Скоро... Ты бы спала, мамаша!

— То-то скоро! А как оно скоро? Ты спать-то меня не укладывай, я тут хозяйка, а не ты. Мне вон ишо за козлятами-ягнятами на баз идтить. Забираем их на ночь с базу, махонькие ишо они. К пасхе-то замиритесь?

— Прогоним красных и замиримся.

— Скажи на милость! — Старуха кидала на острые углы высохших колен пухлые в кистях руки с искривленными работой и ревматизмом пальцами, горестно жевала коричневыми и сухими, как вишневая кора, губами.— И на чуму они вам сдались? И чего вы с ними стражаетесь? Чисто побесились люди... Вам, окаянным, сладость из ружьев палить да на кониках красоваться, а матерям-то как? Ихних ить сынов-то убивают ай нет? Войны какие-то попридумали...

— А мы-то не материны сыны, сучкины, что ли? — злобно и хрипато пробасил ординарец Григория, донельзя возмущенный старухиным разговором.— Нас убивают, а ты — «на кониках красоваться»! И вроде матери чижалей, чем энтим, каких убивают! Дожила ты, божья купель, до седых волос, а вот лопочешь тут... несешь и с Дону и с моря, людям спать не даешь...

— Выспишься, чумовой! Чего вылупился-то? Молчал-молчал, как бирюк, а потом осерчал с чегой-то. Ишь! Ажник осип от злости.

— Не даст она нам спать, Григорь Пантелевич! — с отчаянием крякнул ординарец и, закуривая, так шваркнул по кремню, что целая туча искр брызнула из-под кресала.

Пока, разгораясь, вонюче тлел, дымился трут, ординарец язвительно доканчивал словоохотливую хозяйку.

— Въедливая ты, бабка, как васса́! Небось, ежли старика убьют на позициях, помирая радоваться будет. «Ну, скажет, слава богу, ослобонился от старухи, земля ей пухом лебяжьим!»

— Чирий тебе на язык, нечистый дух!

— Спи, бабушка, за-ради Христа. Мы три ночи безо сна. Спи! За такие дела умереть можешь без причастья.

Григорий насилу помирил их. Засыпая, он приятно

ощущал кисловатое тепло овчинной шубы, укрывавшей его, сквозь сон слышал, как хлопнула дверь, и холодок и пар окутали его ноги. Потом резко над ухом проблеял ягненок. Дробно зацокотали по полу крохотные копытца козлят, и свежо и радостно запахло сеном, парны́м овечьим молоком, морозом, запахом скотиньего база.

Сон покинул его в полночь. Долго лежал Григорий с открытыми глазами. В закутанной подземке под опаловой золой рдяно светились угли. У самого жара, возле творила, лежали, скучившись, ягнята. В полуночной сладкой тишине слышно было, как сонно поскрипывали они зубами, изредка чихали и фыркали. В окно глядел далекий-далекий полный месяц. На земляном полу в желтом квадрате света подскакивал и взбрыкивал неугомонный вороной козленок. Косо тянулась жемчужная — в лунном свете — пыль. В хате изжелта-синий, почти дневной свет. Искрится на камельке осколок зеркала, лишь в переднем углу темно и тускло отсвечивает посеребренный оклад иконы... Снова вернулся Григорий к мыслям о совещании в Вешенской, о гонце с Хопра и снова, вспомнив подполковника, его чуждую, интеллигентную внешность и манеру говорить,— ощутил неприятное, тягучее волнение. Козленок, взобравшись на шубу, на живот Григорию, долго и глупо всматривался, сучил ушами, потом, осмелев, подпрыгнул раз и два и вдруг раздвинул курчавые ноги. Тоненькая струйка, журча, скатилась с овчины на вытянутую ладонь спавшего рядом с Григорием ординарца. Тот замычал, проснулся, вытер руку о штанину и горестно покачал головой.

— Намочил, проклятый... Кызь! — и с наслаждением дал щелчка в лоб козленку.

Пронзительно мекекекнув, козленок скакнул с шубы, потом подошел и долго лизал руку Григория крохотным шершавым и теплым язычком.

XXXIX

После бегства из Татарского Штокман, Кошевой, Иван Алексеевич и еще несколько казаков, служивших милиционерами, пристали к 4-му Заамурскому полку. Полк этот в начале восемнадцатого года в походе с немецкого фронта целиком влился в один из отрядов Красной Армии и за полтора года боев на фронтах гражданской войны еще сохранил основные кадры. Заамурцы были прекрасно экипированы, лошади их — сыты и вышколены. Полк отли-

чался боеспособностью, моральной устойчивостью и щеголеватой кавалерийской подготовкой бойцов.

В начале восстания заамурцы, при поддержке 1-го Московского пехотного полка, почти одни сдерживали напор повстанцев, стремившихся прорваться к Усть-Медведице; потом подошли подкрепления, и полк, не разбрасываясь, окончательно занял участок Усть-Хоперской, по Кривой речке.

В конце марта повстанцы вытеснили красные части из юрта Еланской станицы, захватив часть хуторов Усть-Хоперской. Установилось некоторое равновесие сил, почти на два месяца определившее недвижность фронта. Прикрывая Усть-Хоперскую с запада, батальон Московского полка, подкрепленный батареей, занял хутор Крутовский, лежащий над Доном. С гористой отножины обдонского отрога, что лежит от Крутовского на юг, красная батарея, маскируясь на полевом гумне, ежедневно с утра до вечера обстреливала скоплявшихся на буграх правобережья повстанцев, поддерживая цепи Московского полка, потом переносила огонь и сеяла его по хутору Еланскому, расположенному по ту сторону Дона. Над тесно скученными дворами высоко и низко вспыхивали и стремительно таяли крохотные облачка шрапнельных разрывов. Гранаты то ложились по хутору,— и по проулкам, в диком ужасе, ломая плетни, мчался скот, перебегали, согнувшись, люди,— то рвались за старообрядческим кладбищем, возле ветряков, на безлюдных песчаных буграх, вздымая бурую, не оттаявшую комкастую землю.

15 марта Штокман, Мишка Кошевой и Иван Алексеевич выехали с хутора Чеботарева в Усть-Хоперскую, прослышав о том, что там организуется дружина из коммунистов и советских работников, бежавших из повстанческих станиц. Вез их казак-старообрядец с таким детски розовым и чистым лицом, что даже Штокман беспричинно ежил улыбкой губы, глядя на него. У казака, несмотря на его молодость, кучерявилась густейшая светло-русая борода, арбузным ломтем розовел в ней свежий румяный рот, возле глаз золотился пушок, и то ли от пушистой бороды, то ли от полнокровного румянца глаза как-то особенно прозрачно синели.

Мишка всю дорогу мурлыкал песни. Иван Алексеевич сидел в задке, уложив на колени винтовку, хмуро ежась, а Штокман начал разговор с подводчиком с пустяков.

— Не жалуешься на здоровье, товарищ? — спрашивал он.

И пышущий силой и молодостью старовер, распахивая овчинный полушубок, тепло улыбался.

— Нет, бог грехами терпит покуда. А с чего она будет — нездоровье? Спокон веков не курим, водку пьем натурально, хлеб с махоньких едим пшенишный. Откель же ей, хворости, взяться?

— Ну, а на службе был?

— Трошки был. Кадеты прихватили.

— Что ж за Донец не пошел?

— Чудно ты гутаришь, товарищ! — Бросил из конского волоса сплетенные вожжи, снял голицы и вытер рот, обиженно щурясь.— Чего б я туда пошел? За новыми песнями? Я бы и у кадетов не служил, кабы они ни силовали. Ваша власть справедливая, только вы трошки неправильно сделали...

— Чем же?

Штокман свернул папироску, закурил и долго ждал ответа.

— И зачем жгешь зелью эту? — заговорил казак, отворачивая лицо.— Гля, какой кругом вешний дух чистый, а ты поганишь грудя вонючим дымом... Не уважаю! А чем неправильно сделали — скажу. Потеснили вы казаков, надурили, а то бы вашей власти и износу не было. Дурастого народу у вас много, через это и восстание получилось.

— Как надурили? То есть, по-твоему, глупостей наделали? Так? Каких же?

— Сам небось знаешь... Расстреливали людей. Нынче одного, завтра, глядишь, другого... Кому же антирес своей очереди ждать? Быка ведут резать, он и то головой мотает. Вот, к примеру, в Букановской станице... Вон она виднеется, видишь — церква ихняя? Гляди, куда кнутом указываю, видишь?.. Ну, и рассказывают: комиссар у них стоит с отрядом. Малкин фамилия. Ну и что ж он, по справедливости обращается с народом? Вот расскажу зараз. Собирает с хуторов стариков, ведет их в хворост, вынает там из них души, телешит их допрежь и хоронить не велит родным. А беда ихняя в том, что их станишными почетными судьями выбирали когда-то. А ты знаешь, какие из них судья? Один насилу свою фамилию распишет, а другой либо палец в чернилу обмакнет, либо хрест поставит. Такие судья только для виду, бывалоча, сидят. Вся его заслуга — длинная борода, а он уж от старости и мотню забывает застегивать. Какой с него спрос? Все одно как с дитя малого. И вот этот Малкин чужими жизнями, как бог, распоряжается, и тем часом идет по плацу старик — Линек по-улишному.

Идет он с уздечкой на свое гумно, кобылу обратать и весть, а ему ребята шутейно и скажи: «Иди, Малкин тебя кличет». Линек этот еретическим своим крестом перекрестился,— они там все по новой вере живут,— шапку еще на плацу снял. Входит — трусится. «Звали?» — говорит. А Малкин как заиржет, в бока руками взялся. «А, говорит, назвался грибом — полезай в кузов. Никто тебя не звал, а уж ежели пришел — быть по сему. Возьмите, товарищи! По третьей категории его». Ну, натурально, взяли его и зараз же в хворост. Старуха ждать-пождать,— нету. Пошел дед и гинул. А он уж с уздечкой в царство небесное сиганул. А другого старика, Митрофана с хутора Андреяновского, увидал сам Малкин на улице, зазывает к себе: «Откуда? Как по фамилии? — и иржет.— Ишь, говорит, бороду распушил, как лисовин хвостяку! Очень уж ты на угодника Николая похож бородой. Мы, говорит, из тебя, из толстого борова, мыла наварим! По третьей категории его!» У этого деда, на грех, борода, дивствительно, как просяной веник. И расстреляли только за то, что бороду откохал да в лихой час попался Малкину на глаза. Это не смыванье над народом?

Мишка оборвал песню еще в начале рассказа и под конец озлобленно сказал:

— Нескладно брешешь ты, дядя!

— Сбреши лучше! Допрежь чем брехню задавать, ты узнай, а тогда уж гутарь.

— А ты-то это точно знаешь?

— Люди говорили.

— Люди! Люди говорят, что кур доят, а у них сиськов нету. Брехнев наслухался и трепешь языком, как баба!

— Старики-то были смирные...

— Ишь ты! Смирные! — ожесточаясь, передразнил Мишка.— Эти твои старики смирные небось восстание подготовляли, может, у этих судей зарытые пулеметы на базах имелись, а ты говоришь, что за бороду да вроде шутки ради расстреливали... Что же тебя-то за бороду не расстреляли? А уж куда твоя борода широка, как у старого козла!

— Я почем купил, потом и продаю. Чума его знает, может, и брешут люди, может, и была за ними какая шкода супротив власти...— смущенно бормотал старовер.

Он соскочил с кошевок, долго хлюпал по талому снегу. Ноги его разъезжались, гребли синеватый от влаги, податливый снег. Над степью ласково светило солнце. Светло-голубое небо могуче обнимало далеко видные окрест бугры и перевалы. В чуть ощутимом шевеленье ветра мни-

лось пахучее дыхание близкой весны. На востоке, за белесым зигзагом Обдонских гор, в лиловеющем мареве уступом виднелась вершина Усть-Медведицкой горы. Смыкаясь с горизонтом, там, вдалеке, огромным волнистым покровом распростерлись над землей белые барашковые облака.

Подводчик вскочил в сани, повернул к Штокману погрубевшее лицо, заговорил опять:

— Мой дед, он и до се живой, зараз ему сто восьмой год идет, рассказывал, а ему тоже дед ведал, что при его памяти, то есть пращура моего, был в наши верхи Дона царем Петром посланный князь,— вот кинь, господь, память! — не то Длинноруков, не то Долгоруков. И этот князь спущался с Воронежу с солдатами и разорял казачьи городки за то, что не хотели никонскую поганую веру примать и под царя идтить. Казаков ловили, носы им резали, а каких вешали и на плотах спущали по Дону.

— Ты это к чему загинаешь? — строго настораживаясь, спросил Мишка.

— А к тому, что небось царь ему, хучь он и Длиннорукий, а таких правов не давал. А комиссар в Букановской так, к примеру, наворачивал: «Я, дескать, вас расказачу, сукиных сынов, так, что вы век будете помнить!..» Так на майдане в Букановской и шумели при всем станишном сборе. А дадены ему такие права от Советской власти? То-то и оно! Мандаты небось нету на такие подобные дела, чтоб всех под одну гребенку стричь. Казаки — они тоже разные...

У Штокмана кожа на скулах собралась комками.

— Я тебя слушал, теперь ты меня послушай.

— Может, конешно, я сдуру не так чего сказал, вы уж меня извиняйте.

— Постой, постой... Так вот. То, что ты рассказал о каком-то комиссаре, действительно не похоже на правду. Я это проверю. И если это так, если он издевался над казаками и самодурствовал,— то мы ему не простим.

— Ох, навряд!

— Не навряд, а так точно! Когда шел фронт в вашем хуторе, разве не расстреляли красноармейцы красноармейца же своей части за то, что он ограбил какую-то казачку? Об этом мне говорили у вас в хуторе.

— Во-во! У Перфильевны пошкодил он в сундуке. Это было! Это истинно. Оно конешно... Строгость была. А это ты верно,— за гумнами его и убили. После долго у нас спорили, где его хоронить. Одни, мол,— на кладбище, а другие

восстали, что это осквернит мир. Так и зарыли его, горюна, возле гумна.

— Был такой случай? — Штокман торопливо вертел папироску.

— Был, был, не отрекусь,— оживленно соглашался казак.

— А почему же ты думаешь, что комиссара не накажем, если установим его вину?

— Милый товарищ! Может, у вас на него и старшого не найдется. Ить энто солдат, а этот — комиссар...

— Тем суровей с него будет спрос! Понял? Советская власть расправляется только с врагами, и тех представителей Советской власти, которые несправедливо обижают трудовое население, мы беспощадно караем.

Тишину мартовского степного полдня, нарушаемую лишь свистом полозьев да чавкающим перебором конских копыт, обвальным раскатом задавил гул орудия. За первым выстрелом последовало с ровными промежутками еще три. Батарея с Крутовского возобновила обстрел левобережья.

Разговор на подводе прервался. Орудийный гул могучей чужеродной гаммой вторгся и нарушил бледное очарование дремлющей в предвесеннем томлении степи. Лошади — и те пошли шаговитей, подбористей, невесомо неся и переставляя ноги, деловито перепрядывая ушами.

Выехали на Гетманский шлях, и в глаза сидевшим на санях кинулось просторное Задонье, огромное, пятнисто-пегое, с протаявшими плешинами желтых песков, с мысами и сизыми островами верб и ольхового леса.

В Усть-Хоперской подводчик подкатил к зданию ревкома, по соседству с которым помещался и штаб Московского полка.

Штокман, порывшись в кармане, достал из кисета сорокарублевую керенку, подал ее казаку. Тот расцвел в улыбке, обнажая под влажными усами желтоватые зубы, смущенно помялся:

— Что вы, товарищ, спаси Христос! Не стоит денег.

— Бери,— твоих лошадей труд. А за власть ты не сомневайся. Помни: мы боремся за власть рабочих и крестьян. И на восстание вас толкнули наши враги — кулаки, атаманы, офицеры. Они — основная причина восстания. А если кто-либо из наших несправедливо обидел трудового казака, сочувствующего нам, помогающего революции, то на обидчика можно было найти управу.

— Знаешь, товарищ, побаску: до бога высоко, а до царя далеко... И до вашего царя все одно далеко... С сильным не

борись, а с богатым не судись, а вы и сильные и богатые.— И лукаво оскалился: — Ишь вон ты, сорок целковых отвалил, а ей, поездке, красная цена пятерик. Ну, спаси Христос!

— Это он тебе за разговор накинул,— улыбался Мишка Кошевой, прыгнув с кошевок и подсмыкивая шаровары,— да за приятную бороду. Ты знаешь, кого вез, пенек восьмиугольный? Красного генерала.

— Хо?

— Вот тебе и «хо»! Вы тоже народец!.. Мало дай — собакам на хвосты навяжешь: «Вот, вез товарищев, дали один пятерик, такие-сякие!» Обижаться будешь всю зиму. А много дал — тоже у тебя горит: «Ишь, богачи какие! Сорок целковых отвалил. Деньги у него несчитанные...» Я б тебе ни шиша не дал! Обижайся, как хошь. Все равно ить не угодишь. Ну, пойдемте... Прощай, борода!

Даже хмурый Иван Алексеевич улыбнулся под конец Мишкиной горячей речи.

Из двора штаба на сибирской лохматой лошаденке выскочил красноармеец конной разведки.

— Откуда подвода? — крикнул он, на коротком поводу поворачивая лошадь.

— Тебе что? — спросил Штокман.

— Патроны везти на Крутовский. Заезжай!

— Нет, товарищ, эту подводу мы отпустим.

— А вы кто такой?

Красноармеец, молодой красивый парнишка, подъехал в упор.

— Мы из Заамурского. Подводу не держи.

— А... Ну хорошо, пусть едет. Езжай, старик.

XL

На поверку оказалось, что никакой дружины в Усть-Хоперской не организуется. Была организована одна, но не в Усть-Хоперской, а в Букановской. Дружину организовал тот самый комиссар Малкин, посланный штабом 9-й Красной армии в низовые станицы Хопра, о котором дорогой рассказывал казак-старовер. Еланские, букановские, слащевские и кумылженские коммунисты и советские работники, пополненные красноармейцами, составляли довольно внушительную боевую единицу, насчитывавшую двести штыков при нескольких десятках сабель приданной им конной разведки. Дружина временно находилась в Бу-

кановской, вместе с ротой Московского полка сдерживая повстанцев, пытавшихся наступать с верховьев речки Еланки и Зимовной.

Поговорив с начальником штаба, бывшим кадровым офицером, хмурым и издерганным человеком, и с политкомом — московским рабочим с завода Михельсона, Штокман решил остаться в Усть-Хоперской, влившись во 2-й батальон полка. В чистенькой комнатушке, заваленной мотками обмоток, катушками телефонной проволоки и прочим военным имуществом, Штокман долго говорил с политкомом.

— Видишь ли, товарищ,— не спеша говорил приземистый желтолицый комиссар, страдавший от припадков острого аппендицита,— тут сложная механика. У меня ребята все больше москвичи да рязанцы, немного нижегородцев. Крепкие ребята, рабочие в большинстве. А вот был здесь эскадрон из Четырнадцатой дивизии, так те волынили. Пришлось их отправить обратно в Усть-Медведицу... Ты оставайся, работы много. Надо с населением работать, разъяснять. Тебе же понятно, что казаки это... Тут надо ухо востро держать.

— Все это я понимаю не хуже тебя,— улыбаясь покровительственному тону комиссара и глядя на пожелтевшие белки его страдающих глаз, говорил Штокман.— А вот ты скажи мне: что это за комиссар в Букановской?

Комиссар гладил серую щеточку подстриженных усов, вяло отвечал, изредка поднимая синеватые прозрачные веки.

— Он там одно время пересаливал. Парень-то он хороший, но не особенно разбирается в политической обстановке. Да ведь лес рубят, щепки летят... Сейчас эвакуирует в глубь России мужское население станиц... Зайди к завхозу, он вас на кошт зачислит,— говорил комиссар, мучительно морщась, придерживая ладонью засаленные ватные штаны.

Наутро 2-й батальон по тревоге сбегался «в ружье», шла перекличка. Через час батальон походной колонной двинулся на хутор Крутовский.

В одной из четверок рядом шагали Штокман, Кошевой и Иван Алексеевич.

С Крутовского на ту сторону Дона выслали конную разведку. Следом перешла Дон колонна. На отмякшей дороге с коричневыми навозными подтеками стояли лужи. Лед на Дону сквозил неяркой пузырчатой синевой. Небольшие окраинцы переходили по плетням. Сзади, с горы,

батарея посылала очереди по купам тополевых левад, видневшихся за хутором Еланским. Батальон должен был, минуя брошенный казаками хутор Еланский, двигаться в направлении станицы Еланской и, связавшись с наступавшей из Букановской ротой 1-го батальона, овладеть хутором Антоновом. По диспозиции, командир батальона обязан был вести свою часть в направлении на хутор Безбородов. Конная разведка вскоре донесла, что на Безбородове противника не обнаружено, а правее хутора, верстах в четырех, идет частая ружейная перестрелка.

Через головы колонны красноармейцев, где-то высоко со скрежетом и гулом неслись снаряды. Недалекие разрывы гранат потрясали землю. Позади, на Дону с треском лопнул лед. Иван Алексеевич оглянулся.

— Вода, должно, прибывает.

— Пустяковое дело в это время переходить Дон. Его, того гляди, поломает,— обиженно буркнул Мишка, все никак не приспособившийся шагать по-пехотному — четко и в ногу.

Штокман глядел на спины идущих впереди, туго перетянутые ремнями, на ритмичное покачивание винтовочных дул с привинченными дымчато-сизыми отпотевшими штыками. Оглядываясь, он видел серьезные и равнодушные лица красноармейцев, такие разные и нескончаемо похожие друг на друга, видел качкое движение серых шапок с пятиконечными красными звездами, серых шинелей, желтоватых от старости и шершаво-светлых, которые поновей; слышал хлюпкий и тяжкий походный шаг массы людей, глухой говор, разноголосый кашель, звяк манерок; обонял духовитый запах отсырелых сапог, махорки, ременной амуниции. Полузакрыв глаза, он старался не терять ноги и, испытывая прилив большой внутренней теплоты ко всем этим, вчера еще незнакомым и чужим ему ребятам, думал: «Ну хорошо, почему же они вот сейчас стали мне так особенно милы и жалки? Что связующее? Ну, общая идея... Нет, тут, пожалуй, не только идея, а и дело. А еще что? Быть может, близость опасности и смерти? И как-то по-особенному родные...— И усмехнулся глазами.— Неужто старею?»

Штокман с удовольствием, похожим на отцовское чувство, смотрел на могучую, крутую крупную спину идущего впереди него красноармейца, на видневшийся между воротником и шапкой красный и чистый отрезок юношески круглой шеи, перевел глаза на своего соседа. Смуглое бритое лицо с плитами кровяно-красного румянца, тонкий

мужественный рот, сам — высокий, но складный, как голубь; идет, почти не махая свободной рукой, и все как-то болезненно морщится, а в углах глаз — паутина старческих морщин. И потянуло Штокмана на разговор.

— Давно в армии, товарищ?

Светло-коричневые глаза соседа холодно и пытливо, чуть вкось скользнули по Штокману.

— С восемнадцатого,— сквозь зубы.

Сдержанный ответ не расхолодил Штокмана.

— Откуда уроженец?

— Земляка ищешь, папаша?

— Земляку буду рад.

— Москвич я.

— Рабочий?

— Угу.

Штокман мельком взглянул на руку соседа. Еще не смыты временем следы работы с железом.

— Металлист?

И опять коричневые глаза прошлись по лицу Штокмана, по его чуть седоватой бороде.

— Токарь по металлу. А ты тоже? — И словно потеплело в углах строгих коричневых глаз.

— Я слесарем был... Ты что это, товарищ, все морщишься?

— Сапоги трут, ссохлись. Ночью в секрете был, промочил ноги.

— Не побаиваешься? — догадливо улыбнулся Штокман.

— Чего?

— Ну как же, идем в бой...

— Я — коммунист.

— А коммунисты, что же, не боятся смерти? Не такие же люди? — встрял в разговор Мишка.

Сосед Штокмана ловко подкинул винтовку, не глядя на Мишку, подумав, ответил:

— Ты еще, братишка, мелко плаваешь в этих делах. Мне нельзя трусить. Сам себе приказал,— понял? И ты ко мне без чистых рукавичек в душу не лазай... Я знаю, за что и с кем я воюю, знаю, что мы победим. А это главное. Остальное все чепуха.— И, улыбнувшись какому-то своему воспоминанию, сбоку поглядывая на профиль Штокмана, рассказал: — В прошлом году я был в отряде Красавцева на Украине, бои были. Нас теснили все время. Потери. Стали бросать раненых. И вот неподалеку от Жмеринки нас окружают. Надо было ночью пройти через линию белых

и взорвать в тылу у них на речушке мост, чтобы не допустить бронепоезд, а нам пробиваться надо через линию железной дороги. Вызывают охотников. Таковых нет. Коммунисты — было нас немного — говорят: «Давайте жеребок бросим, кому из нас». Я подумал и вызвался. Взял шашки, шнур, спички, попрощался с товарищами, пошел. Ночь темная, с туманом. Отошел саженей сто, пополз. Полз нескошенной рожью, потом оврагом. Из оврага стал выползать, помню, как шарахнет у меня из-под носа какая-то птица. Да-а-а... В десяти саженях пролез мимо сторожевого охранения, пробрался к мосту. Пулеметная застава его охраняла. Часа два лежал, выжидал момент. Заложил шашки, стал в полах спички жечь, а они отсырели, не горят. Я ведь на брюхе полз, мокрый от росы был — хоть выжми, головки отсырели. И вот, папаша, тогда мне стало страшно. Скоро рассвет, а у меня руки дрожат, пот глаза заливает. «Пропало все»,— думаю. «Не взорву — застрелюсь!» — думаю. Мучился-мучился, но все-таки кое-как зажег — и ходу. Когда полыхнуло сзади,— я лежал за насыпью, под щитами,— у них крик получился. Тревога. Трахнули из двух пулеметов. Много конных проскакало мимо меня, да разве ночью найдешь? Выбрался из-под щитов — и в хлеба. И только тут, знаешь, отнялись у меня ноги и руки, не могу двинуться, да и баста! Лег. Туда шел ничего, храбро, а оттуда — вот как... И знаешь, начало меня рвать, всего вымотало в доску! Чувствую — и ничего уж нет, а все тянет. Да-а-а... Ну конечно, до своих все же добрался.— И оживился, странно потеплели и похорошели горячечно заблестевшие коричневые глаза.— Ребятам утром, после боя, рассказываю, какой у меня со спичками номер вышел, а дружок мой говорит: «А зажигалку, Сергей, разве ты потерял?» Я — цап за грудной карман,— там! Вынул, чиркнул — и, представь, ведь загорелась сразу.

От дальнего острова тополей, гонимые ветром, высоко и стремительно неслись два ворона. Ветер бросал их толчками. Они уже были в сотне саженей от колонны, когда на Крутовской горе после часового перерыва снова гухнуло орудие, пристрельный снаряд с тугим нарастающим скрежетом стал приближаться, и, когда вой его, казалось, достиг предельного напряжения, один из воронов, летевший выше, вдруг бешено завертелся, как стружка, схваченная вихрем, и, косо простирая крылья, спирально кружась, еще пытаясь удержаться, стал падать огромным черным листом.

— Налетел на смерть! — в восторге сказал шагавший

позади Штокмана красноармеец.— Как оно его кружануло, лихо!

От головы колонны на высокой караковой кобылице скакал, разбрызгивая талый снег, ротный.

— В це-епь!..

Обдав молчаливо шагавшего Ивана Алексеевича ошметьями снега, галопом промчались трое саней с пулеметами. Один из пулеметчиков на раскате сорвался с задних саней, и ядреный и смачный хохот красноармейцев звучал до тех пор, пока ездовой, матерясь, не завернул лихо лошадей и упавший пулеметчик на ходу не вскочил в сани.

XLI

Станица Каргинская стала опорным пунктом для 1-й повстанческой дивизии. Григорий Мелехов, прекрасно учитывая стратегическую выгодность позиции под Каргинской, решил ни в коем случае ее не сдавать. Горы, тянувшиеся левобережьем реки Чира, были теми командными высотами, которые давали казакам прекрасную возможность обороняться. Внизу, по ту сторону Чира, лежала Каргинская, за ней на много верст мягким сувалком уходила на юг степь, кое-где перерезанная поперек балками и логами. На горе Григорий сам выбрал место установки трехорудийной батареи. Неподалеку был отличный наблюдательный пункт — господствовавший над местностью насыпной курган, прикрытый дубовым лесом и холмистыми складками.

Бои шли под Каргинской каждый день. Красные обычно наступали с двух сторон: степью с юга, со стороны украинской слободы Астахово, и с востока, из станицы Боковской, продвигаясь вверх по Чиру, по сплошным хуторам. Казачьи цепи лежали в ста саженях за Каргинской, редко постреливая. Ожесточенный огонь красных почти всегда заставлял их отступать в станицу, а затем, по крутым теклинам узких яров,— на гору. У красных не было достаточных сил для того, чтобы теснить дальше. На успешности их наступательных операций резко отрицательно сказывалось отсутствие нужного количества конницы, которая могла бы обходным движением с флангов принудить казаков к дальнейшему отступлению и, отвлекая силы противника, развязать руки пехоте, нерешительно топтавшейся на подступах к станице. Пехота же не могла быть использована для подобного маневра ввиду ее

слабой подвижности, неспособности к быстрому маневрированию и потому, что у казаков была преимущественно конница, которая могла в любой момент напасть на пехоту на марше и тем отвлечь ее от основной задачи.

Преимущества повстанцев заключались еще и в том, что, прекрасно зная местность, они не теряли случая незаметно перебрасывать конные сотни по балкам во фланги и тыл противника, постоянно грозить ему и парализовать его дальнейшее продвижение.

К этому времени у Григория созрел план разгрома красных. Ложным отступлением он хотел заманить их в Каргинскую, а тем временем бросить Рябчикова с полком конницы по Гусынской балке — с запада и по Грачам — с востока, во фланг им, с тем чтобы окружить их и нанести сокрушительный удар. План был тщательно разработан. На совещании вечером все командиры самостоятельных частей получили точные инструкции и приказы. Обходное движение, по мысли Григория, должно было начаться с рассветом, для того, чтобы лучше замаскироваться. Все было просто, как в игре в шашки. И Григорий, тщательно проверив и прикинув в уме все возможные случайности, все, что непредвиденно могло помешать осуществлению его плана, выпил два стакана самогонки, не раздеваясь повалился на койку; покрыв голову влажной полой шинели, уснул мертвецки.

На следующий день около четырех часов утра красные цепи уже занимали Каргинскую. Часть казачьей пехоты для отвода глаз бежала через станицу на гору, по ним, лихо повернув лошадей, строчили два пулемета с тачанок, остановившихся на въезде в Каргинскую. По улицам медленно растекались красные.

Григорий был за курганом, около батареи. Он видел, как красная пехота занимает Каргинскую и накапливается около Чира. Было условлено, что после первого орудийного выстрела две сотни казаков; лежавшие под горой в садах, перейдут в наступление, а в это время полк, пошедший в обход, начнет охват. Командир батареи хотел было прямой наводкой ударить по пулеметной тачанке, быстро катившейся по Климовскому бугру к Каргинской, когда наблюдатель передал, что на мосту в хуторе Нижне-Латышевском, верстах в трех с половиной, показалось орудие: красные одновременно наступали и со стороны Боковской.

— Полохните по ним из мортирки,— посоветовал Григорий, не отнимая от глаз цейсовского бинокля.

Наводчик, перекинувшись несколькими фразами с вах-

мистром, исполнявшим обязанности командира батареи, быстро установил прицел. Номера изготовились, и четырехсполвинойдюймовая мортирка, как определили ее казаки, осадисто рявкнула, пахая хвостом землю. Первый же снаряд угодил в конец моста. Второе орудие красной батареи в этот момент въезжало на мост. Снаряд разметал упряжку лошадей, из шестерых — как выяснилось впоследствии — уцелела только одна, зато ездовому, сидевшему на ней, начисто срезало осколком голову. Григорий видел: перед орудием вспыхнул желто-серый клуб дыма, тяжко бухнуло, и, окутанные дымом, взвиваясь на дыбы, как срезанные, повалились лошади, падая, бежали люди. Конного красноармейца, бывшего в момент падения гранаты около передка, вместе с лошадью и перилами моста вынесло и ударило о лед.

Такого удачного попадания не ожидали батарейцы. На минуту под курганом возле орудия установилась тишина; лишь находившийся неподалеку наблюдатель, вскочив на колени, кричал что-то и размахивал руками.

И сейчас же снизу, из густых зарослей вишневых садов и левад, донеслись недружное «ура», трескучая зыбь винтовочных выстрелов. Позабыв об осторожности, Григорий взбежал на курган. По улицам бежали красноармейцы, оттуда слышны были нестройный гул голосов, резкие командные вскрики, шквальные вспышки стрельбы. Одна из пулеметных тачанок поскакала было на бугор, но сейчас же, неподалеку от кладбища, круто повернула и через головы бежавших и припадавших на бегу красноармейцев пулемет застрочил по казакам, высыпавшим из садов.

Тщетно Григорий старался увидеть на горизонте казачью лаву. Конница, под командой Рябчикова ушедшая в обход, все еще не показывалась. Красноармейцы, бывшие на левом фланге, уже подбегали к мосту через Забурунный лог, соединявшему Каргинскую со смежным хутором Архиповским, в то время как правофланговые еще бежали вдоль по станице и падали под выстрелами казаков, завладевших двумя ближними к Чиру улицами.

Наконец из-за бугра показалась первая сотня Рябчикова, за ней — вторая, третья, четвертая... Рассыпаясь в лаву, сотни круто повернули влево, наперерез бежавшим по косогору к Климовке толпам красноармейцев. Григорий, комкая в руках перчатки, взволнованно следил за исходом боя. Он бросил бинокль и смотрел уже невооруженным глазом на то, как стремительно приближается лава к Климовской дороге, как в замешательстве поворачивают обрат-

но и бегут к архиповским дворам кучками и в одиночку красноармейцы и, встречаемые оттуда огнем казачьей пехоты, развивающей преследование вверх по течению Чира, снова устремляются на дорогу. Только незначительной части красноармейцев удалось прорваться в Климовку.

На бугре, страшная тишиной, началась рубка. Сотни Рябчикова повернулись фронтом к Каргинской и, словно ветер листья, погнали обратно красноармейцев. Возле моста через Забурунный человек тридцать красноармейцев, видя, что они отрезаны и выхода нет, начали отстреливаться. У них был станковый пулемет, немалый запас лент. Едва из садов показывалась пехота повстанцев, как с лихорадочной быстротой начинал работать пулемет, и казаки падали, переползали под прикрытие сараев и каменной огорожи базов. С бугра видно было, как по Каргинской казаки бегом тащили свой пулемет. Возле одного из крайних к Архиповке дворов они замешкались, потом вбежали во двор. Вскоре с крыши амбара в этом дворе резво затакало. Вглядевшись, Григорий увидел в бинокль и пулеметчиков. Разбросав ноги в шароварах, заправленных в белые чулки, согнувшись под щитком, один лежал на крыше; второй карабкался по лестнице, обмотавшись пулеметной лентой. Батарейцы решили прийти на помощь пехоте. Место сосредоточения сопротивлявшейся группы красных покрыла очередь шрапнели. Последний бризантный снаряд разорвался далеко на отшибе.

Через четверть часа возле Забурунного пулемет красных внезапно умолк, и сейчас же вспыхнуло короткое «ура». Между голыми стволами верб замелькали фигуры конных казаков.

Все было кончено.

* * *

По приказу Григория сто сорок семь порубленных красноармейцев жители Каргинской и Архиповки крючьями и баграми стащили в одну яму, мелко зарыли возле Забурунного. Рябчиков захватил шесть патронных двуколок с лошадьми и патронами и одну пулеметную тачанку с пулеметом без замка. В Климовке отбил сорок две подводы с военным имуществом. У казаков убито было четыре человека и ранено — пятнадцать.

После боя на неделю в Каргинской установилось затишье. Противник перебросился на 2-ю дивизию по-

встанцев и вскоре, тесня ее, захватил ряд хуторов Мигулинской станицы: Алексеевский, Чернецкую слободку и подошел к хутору Верхне-Чирскому.

Оттуда ежедневно утренними зорями слышался орудийный гул, но сообщения о ходе боев приходили с большим опозданием и не давали ясного представления о положении на фронте 2-й дивизии.

В эти дни Григорий, уходя от черных мыслей, пытаясь заглушить сознание, не думать о том, что творилось вокруг и чему он был видным участником,— начал пить. Если повстанцы испытывали острую нужду в муке при огромных запасах пшеницы (мельницы не успевали работать на армию, и зачастую казаки питались вареной пшеницей), то в самогоне не было недостатка. Рекой лился самогон. На той стороне Дона сотня дударевских казаков пьяным-пьяна пошла в конном строю в атаку, в лоб на пулеметы, и была уничтожена наполовину. Случаи выхода на позиции в пьяном виде стали обычным явлением. Григорию услужливо доставляли самогон. Особенно отличался в добыче Прохор Зыков. После боя в Каргинской он, по просьбе Григория, привез три ведерных кувшина самогона, созвал песенников, и Григорий, испытывая радостную освобожденность, отрыв от действительности и раздумий, пропил с казаками до утра. Наутро похмелился, переложил, и к вечеру снова понадобились песенники, веселый гул голосов, людская томаха, пляска — все, что создавало иллюзию подлинного веселья и заслоняло собой трезвую лютую действительность.

А потом потребность в пьянке стремительно вошла в привычку. Садясь с утра за стол, Григорий уже испытывал непреодолимое желание глотнуть водки. Пил он много, но не перепивал через край; на ногах всегда был тверд. Даже под утро, когда остальные, выблевавшись, спали за столами и на полу, укрываясь шинелями и попонами,— он сохранял видимость трезвого, только сильнее бледнел и суровел глазами да часто сжимал голову руками, свесив курчеватый чуб.

За четыре дня беспрерывных гульбищ он заметно обрюзг, ссутулился; под глазами засинели мешковатые складки, во взгляде все чаще стал просвечивать огонек бессмысленной жестокости.

На пятый день Прохор Зыков предложил, многообещающе улыбаясь:

— Поедем к одной хорошей бабе, на Лиховидов? Ну, лады? Только ты, Григорий Пантелевич, не зевай. Баба

сладкая, как арбуз! Хучь я ее и не пробовал, а знаю. Только неука, дьявол! Дикая. У такой не сразу выпросишь, она и погладить не дается. А дымку варить — лучше и не найдешь. Первая дымоварка по всему Чиру. Муж у нее в отступе, за Донцом,— будто между прочим закончил он.

На Лиховидов поехали с вечера. Григорию сопутствовали Рябчиков, Харлампий Ермаков, безрукий Алешка Шамиль и приехавший со своего участка комдив Четвертой Кондрат Медведев. Прохор Зыков ехал впереди. В хуторе он свел коня на шаг, свернул в проулок, отворил воротца на гумно. Григорий следом за ним тронул коня, тот прыгнул через огромный подтаявший сугроб, лежавший у ворот, провалился передними ногами в снег и, всхрапнув, выправился, перелез через сугроб, заваливший ворота и плетень по самую макушку. Рябчиков, спешившись, провел коня под уздцы. Минут пять Григорий ехал с Прохором мимо прикладков соломы и сена, потом по голому, стеклянно-звонкому вишневому саду. В небе, налитая синим, косо стояла золотая чаша молодого месяца, дрожали звезды, зачарованная ткалась тишина, и далекий собачий лай да хрусткий чок конских копыт, не нарушая, только подчеркивали ее. Сквозь частый вишенник и разлапистые ветви яблонь желто засветился огонек, на фоне звездного неба четкий возник силуэт большого, крытого камышом куреня. Прохор, перегнувшись в седле, услужливо открыл скрипнувшую калитку. Около крыльца, в замерзшей луже, колыхался отраженный месяц. Конь Григория копытом разбил на краю лужи лед и стал, разом переведя дух. Григорий прыгнул с седла, замотал поводья за перильца, вошел в темные сени. Позади загомонили, спешившись и вполголоса поигрывая песенки, Рябчиков с казаками.

Ощупью Григорий нашел дверную скобку, шагнул в просторную кухню. Молодая низенькая, но складная, как куропатка, казачка со смуглым лицом и черными лепными бровями, стоя спиной к печи, вязала чулок. На печке спала, раскинув руки, белоголовая девчурка лет девяти.

Григорий, не раздеваясь, присел к столу.

— Водка есть?

— А поздороваться не надо? — спросила хозяйка, не глядя на Григория и все так же быстро мелькая углами вязальных спиц.

— Здорово, если хочешь! Водка есть?

Она подняла ресницы, улыбнулась Григорию круглыми карими глазами, вслушиваясь в гомон и стук шагов в сенцах.

— Водка-то есть. А много вас, поночевщиков, приехало?

— Много. Вся дивизия...

Рябчиков от порога пошел вприсядку, волоча шашку, хлопая по голенищам папахой. В дверях столпились казаки; кто-то из них чудесно выбивал на деревянных ложках яркую плясовую дробь.

На кровать свалили ворох шинелей, оружие сложили на лавках. Прохор расторопно помогал хозяйке собирать на стол. Безрукий Алешка Шамиль пошел в погреб за соленой капустой, сорвался с лестницы, вылез, принес в полах чекменя черепки разбитой тарелки и ворох мокрой капусты.

К полуночи выпили два ведра самогонки, поели несчетно капусты и решили резать барана. Прохор ощупью поймал в катухе ярку-перетоку, а Харлампий Ермаков — тоже рубака не из последних — шашкой отсек ей голову и тут же под сараем освежевал. Хозяйка затопила печь, поставила ведерный чугун баранины.

Снова резанули плясовую в ложки, и Рябчиков пошел, выворачивая ноги, жестоко ударяя в голенища ладонями, подпевая резким, но приятным тенором:

Вот таперя нам попить, погулять,
Когда нечего на баз загонять...

— Гулять хочу! — рычал Ермаков и все норовил попробовать шашкой крепость оконных рам.

Григорий, любивший Ермакова за исключительную храбрость и казачью лихость, удерживал его, постукивая по столу медной кружкой:

— Харлампий, не дури!

Харлампий послушно бросал шашку в ножны, жадно припадал к стакану с самогоном.

— Вот при таком кураже и помереть не страшно,— говорил Алешка Шамиль, подсаживаясь к Григорию,— Григорий Пантелевич. Ты — наша гордость! Тобой только и на свете держимся! Давай шшелканем ишо по одной?.. Прохор, дымки!

Нерасседланные кони стояли ввольную у прикладка сена. Их по очереди выходили проведывать.

Только перед зарей Григорий почувствовал, что опьянел. Он словно издалека слышал чужую речь, тяжело ворочал кровяными белками и огромным напряжением воли удерживал сознание.

— Опять нами золотопогонники владеют! Забрали власть к рукам! — орал Ермаков, обнимая Григория.

— Какие погоны? — спрашивал Григорий, отстраняя руки Ермакова.

— В Вёшках. Что же, ты не знаешь, что ли? Кавказский князь сидит! Полковник!.. Зарублю! Мелехов! Жизню свою положу к твоим ножкам, не дай нас в трату! Казаки волнуются. Веди нас в Вёшки,— все побьем и пустим в дым! Пашку Кудинова, полковника — всех уничтожим! Хватит им нас мордовать! Давай биться и с красными и с кадетами! Вот чего хочу!

— Полковника убьем. Он нарочно остался... Харлампий! Давай Советской власти в ноги поклонимся: виноватые мы...— Григорий, на минуту трезвея, вкривь улыбнулся.— Я шучу, Харлампий, пей.

— Чего шутишь, Мелехов? Ты не шути, тут дело сурьезное,— строго заговорил Медведев.— Мы хотим перетряхнуть власть. Всех сменим и посадим тебя. Я гутарил с казаками, они согласны. Скажем Кудинову и его опричине добром: «Уйдите от власти. Вы нам негожи». Уйдут — хорошо, а нет — двинем полк на Вёшки, и ажник черт их хмылом возьмет!

— Нету больше об этом разговоров! — свирепея, крикнул Григорий.

Медведев пожал плечами, отошел от стола и пить перестал. А в углу, свесив с лавки взлохмаченную голову, чертя рукой по загрязненному полу, Рябчиков жалобно выводил:

Ты, мальчишечка, разбедняжечка,
Ой, ты склони свою головушку.
Ты склони свою головушку...
И-эх! на правую сторонушку.
На правую, да на левую,
Да на грудь мою, грудь белую.

И, сливая с его тенорком, по-бабьи трогательно жалующимся, свой глуховатый бас, Алешка Шамиль подтягивал:

На грудях когда лежал,
Тяжелехонько вздыхал...
Тяжелехонько вздыхал.
И в остатний раз сказал:
«Ты прости-прощай, любовь прежняя,
Любовь прежняя, черт паршивая!..»

За окном залиловел рассвет, когда хозяйка повела Григория в горницу.

— Будя вам его поить! Отвяжись, чертяка! Не видишь, он не гожий никуда,— говорила она, с трудом поддерживая

Григория, другой рукой отталкивая Ермакова, шедшего за ними с кружкой самогона.

— Зоревать, что ли? — подмигивал Ермаков, качаясь, расплескивая из кружки.

— Ну да, спать.

— Ты с ним зараз не ложись, толку не будет...

— Не твое дело! Ты мне не свекор!

— Ложку возьми! — падая от приступа пьяного смеха, ржал Ермаков.

— И-и-и, черт бессовестный! Залил зенки-то и несешь неподобное!

Она втолкнула Григория в комнату, уложила на кровать, в полусумерках с отвращением и жалостью осмотрела его мертвенно-бледное лицо с невидящими открытыми глазами.

— Может, взвару выпьешь?

— Зачерпни.

Она принесла стакан холодного вишневого взвару и, присев на кровать, до тех пор перебирала и гладила спутанные волосы Григория, пока не уснул. Себе постелила на печке рядом с девочкой, но уснуть ей не дал Шамиль. Уронив голову на локоть, он всхрапывал, как перепуганная лошадь, потом вдруг просыпался словно от толчка,— хрипло голосил:

...Да со служби-цы до-мой!
На грудях — по-го-ни-ки,
На плечах — кресты-ы-ы...

Ронял голову на руки, а через несколько минут, дико озираясь, опять начинал:

Да со служб'цы д'мой!..

XLII

Наутро, проснувшись, Григорий вспомнил разговор с Ермаковым и Медведевым. Он не был ночью уж настолько пьян и без особого напряжения восстановил в памяти разговоры о замене власти. Ему стало ясно, что пьянка в Лиховидовом была организована с заведомой целью: подбить его на переворот. Против Кудинова, открыто выражавшего желание идти к Донцу и соединиться с Донской армией, плелась интрига лево настроенными казаками, втайне мечтавшими об окончательном отделении от Дона и образовании у себя некоего подобия Советской власти без коммунистов. Григория же хотели привлечь к себе, не понимая всей гибельно-

сти распри внутри повстанческого лагеря, когда каждую минуту красный фронт, будучи поколеблен у Донца, мог без труда смести их вместе с их «междуусобьем». «Ребячья игра»,— мысленно проговорил Григорий и легко вскочил с кровати. Одевшись, он разбудил Ермакова и Медведева, позвал их в горницу, плотно притворил дверь.

— Вот что, братцы: выкиньте из головы вчерашний разговор и не шуршите, а то погано вам будет! Не в том дело, кто командующий. Не в Кудинове дело, а в том, что мы в кольце, мы — как бочка в обручах. И не нынче-завтра обруча нас раздавют. Полки надо двигать не на Вёшки, а на Мигулин, на Краснокутскую,— значительно подчеркивал он, не сводя глаз с угрюмого, бесстрастного лица Медведева.— Так-то, Кондрат, нечего белым светом мутить! Вы пораскиньте мозгами и поймите: ежели зачнем браковать командование и устраивать всякие перевороты — гибель нам. Надо либо к белым, либо к красным прислоняться. В середке нельзя,— задавят.

— Разговор, чу, не выносить,— отвернувшись, попросил Ермаков.

— Помрет между нами, но с уговором, чтоб вы перестали казаков мутить. А Кудинов с его советниками, что же? Полной власти у них нет,— как умею я, так и вожу свою дивизию. Плохи они, слов нет, и с кадетами они нас опять сосватают, как пить дать. Но куда же подадимся? Пути нам — все жилушки перерезаны!

— Оно-то так...— туго согласился Медведев и в первый раз за время разговора поднял на Григория крохотные, насталенные злостью, медвежьи глазки.

После этого Григорий еще двое суток подряд пил по ближним от Каргинской хуторам, пьяным кружалом пуская жизнь. Запахом дымки пропитался даже потник на его седле. Бабы и потерявшие девичий цвет девки шли через руки Григория, деля с ним короткую любовь. Но к утру, пресытившись любовной горячностью очередной утехи, Григорий трезво и равнодушно, как о постороннем, думал: «Жил и все испытал я за отжитое время. Баб и девок перелюбил, на хороших конях... эх!.. потоптал степя, отцовством радовался и людей убивал, сам на смерть ходил, на синее небо красовался. Что же новое покажет мне жизнь? Нету нового! Можно и помереть. Не страшно. И в войну можно играть без риску, как богатому. Невелик проигрыш!»

Голубым солнечным днем проплывало в несвязных воспоминаниях детство: скворцы в каменных кладках,

босые Гришкины ноги в горячей пыли, величаво застывший Дон в зеленой опуши леса, отраженного водой, ребячьи лица друзей, моложавая статная мать... Григорий закрывал глаза ладонью, и перед мысленным взором его проходили знакомые лица, события, иногда очень мелкие, но почему-то цепко всосавшиеся в память, звучали в памяти забытые голоса утерянных людей, обрывки разговоров, разноликий смех. Память направляла луч воспоминаний на давно забытый, когда-то виденный пейзаж, и вдруг ослепительно возникали перед Григорием — степной простор, летний шлях, арба, отец на передке, быки, пашня в золотистой щетине скошенных хлебов, черная россыпь грачей на дороге... Григорий в мыслях, спутанных, как сетная дель, ворошил пережитое, натыкался в этой ушедшей куда-то в невозвратное жизни на Аксинью, думал: «Любушка! Незабудняя!» — и брезгливо отодвигался от спавшей рядом с ним женщины, вздыхал, нетерпеливо ждал рассвета и, едва лишь солнце малиновой росшивью, золотым позументом начинало узорить восток,— вскакивал, умывался, спешил к коню.

XLIII

Степным всепожирающим пáлом взбушевало восстание. Вокруг непокорных станиц сомкнулось стальное кольцо фронтов. Тень обреченности тавром лежала на людях. Казаки играли в жизнь, как в орлянку, и немалому числу выпадала «решка». Молодые бурно любили, постарше возрастом — пили самогонку до одурения, играли в карты на деньги и патроны (причем патроны ценились дороже дорогого), ездили домой на побывку, чтобы хоть на минутку, прислонив к стене опостылевшую винтовку, взяться руками за топор или рубанок, чтобы сердцем отдохнуть, заплетая пахучим красноталом плетень или готовя борону либо арбу к весенней работе. И многие, откушав мирной живухи, пьяными возвращались в часть и, протрезвившись, со зла на «жизню-жестянку» шли в пешем строю в атаку, в лоб, на пулеметы, а не то, опаляемые бешенством, люто неслись, не чуя под собой коней, в ночной набег и, захватив пленных, жестоко, с первобытной дикостью глумились над ними, жалея патроны, приканчивая шашками.

А весна в тот год сияла невиданными красками. Прозрачные, как выстекленные, и погожие стояли в апреле дни. По недоступному голубому разливу небес плыли,

плыли, уплывали на север, обгоняя облака, ватаги казарок, станицы медноголосых журавлей. На бледно-зеленом покрове степи возле прудов рассыпанным жемчугом искрились присевшие на попас лебеди. Возле Дона в займищах стон стоял от птичьего гогота и крика. По затопленным лугам, на грядинах и рынках незалитой земли перекликались, готовясь к отлету, гуси, в талах неумолчно шипели охваченные любовным экстазом селезни. На вербах зеленели сережки, липкой духовитой почкой набухал тополь. Несказанным очарованием была полна степь, чуть зазеленевшая, налитая древним запахом оттаявшего чернозема и вечно юным — молодой травы.

Тем была люба война на восстании, что под боком у каждого бойца был родимый курень. Надоедало ходить в заставы и секреты, надоедало в разъездах мотаться по буграм и перевалам,— казак отпрашивался у сотенного, ехал домой, а взамен себя присылал на служивском коне своего ветхого деда или сына-подростка. Сотни всегда имели полное число бойцов и всегда текучий состав. Но кое-кто ухитрялся и так: солнце на закате — выезжал с места стоянки сотни, придавливал коня намётом и, отмахав верст тридцать, а то и сорок, на исходе вечерней зари был уже дома. Переспав ночь с женой или любушкой, после вторых кочетов седлал коня, и не успевали еще померкнуть Стожары — снова был в сотне.

Многие весельчаки нарадоваться не могли на войну возле родных плетней. «И помирать не надо!» — пошучивали казаки, частенько проведывавшие жен.

Командование особенно боялось дезертирства к началу полевых работ. Кудинов специально объезжал части и с несвойственной ему твердостью заявлял:

— Пущай лучше на наших полях ветры пасутся, пущай лучше ни зерна в землю не кинем, а отпускать из частей казаков не приказываю! Самовольно уезжающих будем сечь и расстреливать!

XLIV

И еще в одном бою под Климовкой довелось участвовать Григорию. К полудню около крайних дворов завязалась перестрелка. Спустя немного в Климовку сошли красноармейские цепи. На левом фланге в черных бушлатах мерно продвигались матросы — экипаж какого-то судна Балтийского флота. Бесстрашной атакой они выбили из

хутора две сотни Каргинского повстанческого полка, оттеснили их по балке к Василёвскому.

Когда перевес начал склоняться на сторону красноармейских частей, Григорий, наблюдавший за боем с пригорка, махнул перчаткой Прохору Зыкову, стоявшему с его конем возле патронной двуколки, на ходу прыгнул в седло; обскакивая буерак, шибкой рысью направился к спуску в Гусынку. Там — он знал,— прикрытая левадами, стояла резервная конная сотня 2-го полка. Через сады и плетни он направился к месту стоянки сотни. Издали увидел спешенных казаков и лошадей у коновязи, выхватив шашку, крикнул:

— На конь!

Двести всадников в минуту разобрали лошадей. Командир сотни скакал Григорию навстречу.

— Выступаем?

— Давно бы надо! Зеваешь! — Григорий сверкнул глазами.

Осадив коня, он спешился и, как назло, замешкался, натуго подтягивая подпруги (вспотевший и разгоряченный конь вертелся, не давался затянуть чересподушечную подпругу, дулся, хрипел нутром и, зло щеря зубы, пытался сбоку накинуть Григория передком). Надежно укрепив седло, Григорий сунул ногу в стремя; не глядя на смущенного сотенного, прислушивавшегося к разраставшейся стрельбе, бросил:

— Сотню поведу я. До выезда из хутора взводными рядами, рысью!

За хутором Григорий рассыпал сотню в лаву; попробовал, легко ли идет из ножен шашка; отделившись от сотни саженей на тридцать, наметом поскакал к Климовке. На гребне бугра, южной стороной сползавшего в Климовку, на секунду он попридержал коня, всматриваясь. По хутору скакали и бежали отступавшие конные и пешие красноармейцы, вскачь неслись двуколки и брички обоза первого разряда. Григорий полуобернулся к сотне:

— Шашки вон! В атаку! Братцы, за мной! — Легко выхватил шашку, первый закричал: — Ура-а-а!..— и, испытывая холодок и знакомую легкость во всем теле, пустил коня. В пальцах левой руки дрожали, струной натянутые, поводья, поднятый над головой клинок со свистом рассекал струю встречного ветра.

Огромное, клубившееся на вешнем ветру белое облако на минуту закрыло солнце, и, обгоняя Григория, с кажущейся медлительностью по бугру поплыла серая тень.

Григорий переводил взгляд с приближающихся дворов Климовки на эту скользящую по бурой непросохшей земле тень, на убегающую куда-то вперед светло-желтую, радостную полоску света. Необъяснимое и неосознанное, явилось вдруг желание догнать бегущий по земле свет. Придавив коня, Григорий выпустил его во весь мах,— наседая, стал приближаться к текучей грани, отделявшей свет от тени. Несколько секунд отчаянной скачки — и вот уже вытянутая голова коня осыпана севом светоносных лучей, и рыжая шерсть на ней вдруг вспыхнула ярким, колющим блеском. В момент, когда Григорий перескакивал неприметную кромку тучевой тени, из проулка туго защелкали выстрелы. Ветер стремительно нес хлопья звуков, приближая и усиливая их. Еще какой-то неуловимый миг — и Григорий сквозь сыплющийся гул копыт своего коня, сквозь взвизги пуль и завывающий в ушах ветер перестал слышать грохот идущей сзади сотни. Из его слуха будто выпал тяжелый, садкий, сотрясающий непросохшую целину скок массы лошадей,— как бы стал удаляться, замирать. В этот момент встречная стрельба вспыхнула, как костер, в который подбросили сушняку; взвыли стаи пуль. В замешательстве, в страхе Григорий оглянулся. Растерянность и гнев судорогами обезобразили его лицо. Сотня, повернув коней, бросив его, Григория, скакала назад. Невдалеке командир вертелся на коне, нелепо махал шашкой, плакал и что-то кричал сорванным, осипшим голосом. Только двое казаков приближались к Григорию, да еще Прохор Зыков, на коротком поводу завернув коня, подскакивал к командиру сотни. Остальные врассыпную скакали назад, кинув в ножны шашки, работая плетьми.

Только на единую секунду Григорий укоротил бег коня, пытаясь уяснить, что же произошло позади, почему сотня, не понесши урону, неожиданно ударилась в бегство. И в этот короткий миг сознание подтолкнуло: не поворачивать, не бежать — а вперед! Он видел, что в проулке, в ста саженях от него, за плетнем, возле пулеметной тачанки суетилось человек семь красноармейцев. Они пытались повернуть тачанку дулом пулемета на атакующих их казаков, но в узком проулке это им, видимо, не удавалось: пулемет молчал, и все реже хлопали винтовочные выстрелы, все реже обжигал слух Григория горячий посвист пуль. Выправив коня, Григорий целился вскочить в этот проулок через поваленный плетень, некогда отгораживавший леваду. Он оторвал взгляд от плетня и как-то внезапно и четко, будто притянутых биноклем, увидел уже вблизи матросов,

суетливо выпрягавших лошадей, их черные, изляпанные грязью бушлаты, бескозырки, туго натянутые, делавшие лица странно круглыми. Двое рубили постромки, третий, вобрав голову в плечи, возился у пулемета, остальные стоя и с колен били в Григория из винтовок. Доскакивая, он видел, как руки их шмурыгали затворы винтовок, и слышал резкие, в упор, выстрелы. Выстрелы так быстро чередовались, так скоро приклады взлетывали и прижимались к плечам, что Григория, всего мокрого от пота, опалила радостная уверенность: «Не попадут!»

Плетень хрястнул под копытами коня, остался позади. Григорий заносил шашку, сузившимися глазами выбирая переднего матроса. Еще одна вспышка страха жиганула молнией: «Вдарют в упор... Конь — вдыбки... запрокинется... убьют!» Уже в упор два выстрела, словно издалека — крик: «Живьем возьмем!» Впереди — оскал на мужественном гололобом лице, взвихренные ленточки бескозырки, тусклое золото выцветшей надписи на околыше... Упор в стремена, взмах — и Григорий ощущает, как шашка вязко идет в мягко податливое тело матроса. Второй, толстошеий и дюжий, успел прострелить Григорию мякоть левого плеча и тотчас же упал под шашкой Прохора Зыкова с разрубленной наискось головой. Григорий повернулся на близкий щелк затвора. Прямо в лицо ему смотрел из-за тачанки черный глазок винтовочного дула. С силой швырнув себя влево, так, что двинулось седло и качнулся хрипевший, обезумевший конь, уклонился от смерти, взвизгнувшей над головой, и в момент, когда конь прыгнул через дышло тачанки, зарубил стрелявшего, рука которого так и не успела дослать затвором второй патрон.

В непостижимо короткий миг (после в сознании Григория он воплотился в длиннейший промежуток времени) он зарубил четырех матросов и, не слыша криков Прохора Зыкова, поскакал было вдогон за пятым, скрывшимся за поворотом проулка. Но наперед ему заскакал подоспевший командир сотни, схватил Григорьева коня под уздцы.

— Куда?! Убьют!.. Там, за сараями, у них другой пулемет!

Еще двое казаков и Прохор, спешившись, подбежали к Григорию, силой стащили его с коня. Он забился у них в руках, крикнул:

— Пустите, гады!.. Матросню!.. Всех!.. Рррублю!..

— Григорий Пантелевич! Товарищ Мелехов! Да опомнитесь вы! — уговаривал его Прохор.

— Пустите, братцы! — уже другим, упавшим голосом попросил Григорий.

Его отпустили. Командир сотни шепотом сказал Прохору:

— Сажай его на коня и поняй в Гусынку,— он, видать, заболел.

А сам было пошел к коню, скомандовал сотне:

— Сади-и-ись!..

Но Григорий кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно застонал и с исказившимся лицом стал рвать на себе застежки шинели. Не успел сотенный и шага сделать к нему, как Григорий — как стоял, так и рухнул ничком, оголенной грудью на снег. Рыдая, сотрясаясь от рыданий, он, как собака, стал хватать ртом снег, уцелевший под плетнем. Потом, в какую-то минуту чудовищного просветления, попытался встать, но не смог и, повернувшись мокрым от слез, изуродованным болью лицом к столпившимся вокруг него казакам, крикнул надорванным, дико прозвучавшим голосом:

— Кого же рубил!..— И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: — Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога... в бога мать... Смерти... предайте!..

Сотенный подбежал к Григорию, со взводным навалились на него, оборвали на нем ремень шашки и полевую сумку, зажали рот, придавили ноги. Но он долго еще выгибался под ними дугой, рыл судорожно выпрямлявшимися ногами зернистый снег и, стоная, бился головой о взрытую копытами, тучную, сияющую черноземом землю, на которой родился и жил, полной мерой взяв из жизни — богатой горестями и бедной радостями — всё, что было ему уготовано.

Лишь трава растет на земле, безучастно приемля солнце и непогоду, питаясь земными жизнетворящими соками, покорно клонясь под гибельным дыханием бурь. А потом, кинув по ветру семя, столь же безучастно умирает, шелестом отживших былинок своих приветствуя лучащее смерть осеннее солнце...

XLV

На другой день Григорий, передав командование дивизией одному из своих полковых командиров, в сопровождении Прохора Зыкова поехал в Вешенскую.

За Каргинской, в Рогожкинском пруду, лежавшем в глубокой котловине, густо плавали присевшие на отдых казарки. Прохор указал по направлению пруда плетью усмехнулся:

— Вот бы, Григорь Пантелевич, подвалить дикого гусака. То-то вокруг него мы ба самогону выпили!

— Давай подъедем поближе, я попробую из винтовки Когда-то неплохо стрелял.

Они спустились в котловину. За выступом бугра Прохор стал с лошадьми, а Григорий снял шинель, поставил винтовку на предохранитель и пополз по мелкому ярку, щетинившемуся прошлогодним серым бурьяном. Полз он долго, почти не поднимая головы; полз как в разведке к вражескому секрету, как тогда, на германском фронте, когда около Стохода снял немецкого часового. Вылинявшая защитная гимнастерка сливалась с зеленовато-бурой окраской почвы; ярок прикрывал Григория от зорких глаз сторожевого гусака, стоявшего на одной ноге возле воды, на коричневом бугорке вешнего наплава. Подполз Григорий на ближний выстрел, чуть приподнялся. Сторожевой гусак поворачивал серую, как камень, змеиного склада голову, настороженно оглядывался. За ним иссера-черной пеленой вроссыпь сидели на воде гуси, вперемежку с кряквами и головатыми нырками. Тихий гогот, кряканье, всплески воды доносило от пруда. «Можно с постоянного прицела»,— подумал Григорий, с бьющимся сердцем прижимая к плечу приклад винтовки, беря на мушку сторожевого гусака.

После выстрела Григорий вскочил на ноги, оглушенный хлопаньем крыльев, гагаканьем гусиной станицы. Тот гусь, в которого он стрелял, суетливо набирал высоту, остальные летели над прудом, клубясь густой кучей. Огорченный Григорий прямо по взвившейся станице ударил еще два раза, проследил взглядом, не падает ли какой, и пошел к Прохору.

— Гляди! Гляди!..— закричал тот, вскочив на седло, стоя на нем во весь рост, указывая плетью по направлению удалявшейся в голубеющем просторе гусиной станицы.

Григорий повернулся и дрогнул от радости, от охотничьего волнения: один гусь, отделившись от уже построившейся гусиной станицы, резко шел на снижение, замедленно и с перебоями работал крыльями. Поднимаясь на цыпочки, приложив ладонь к глазам, Григорий следил за ним взглядом. Гусь летел в сторону от встревоженно вскричавшейся стаи, медленно снижаясь, слабея в полете, и

вдруг с большой высоты камнем ринулся вниз, только белый подбой крыла ослепительно сверкнул на солнце.

— Садись!

Прохор, с улыбкой во весь рот, подскакал и кинул повод Григорию. Они намётом выскочили на бугор, промчались рысью саженей восемьдесят.

— Вон он!

Гусь лежал, вытянув шею, распластав крылья, словно обнимал напоследок эту неласковую землю. Григорий, не сходя с коня, нагнулся, взял добычу.

— Куда же она его кусанула? — любопытствовал Прохор.

Оказалось, пуля насквозь пробила гусю нижнюю часть клюва, вывернула возле глаза кость. Смерть уже в полете настигла и вырвала его из построенной треугольником стаи, кинула на землю.

Прохор приторочил гуся к седлу. Поехали.

Через Дон переправились на баркасах, оставив коней в Базках.

В Вешенской Григорий остановился на квартире у знакомого старика, приказал тотчас же жарить гуся, а сам, не являясь в штаб, послал Прохора за самогоном. Пили до вечера. В разговоре хозяин обмолвился жалобой:

— Дюже уж, Григорий Пантелевич, засилие у нас в Вёшках начальство забрало.

— Какое начальство?

— Самородное начальство... Кудинов да и другие.

— А что?

— Иногородних все жмут. Кто с красными ушел, так из ихних семей баб сажают, девчатишек, стариков. Сваху мою за сына посадили. А это вовсе ни к чему! Ну, хучь бы вы, к примеру, ушли с кадетами за Донец, а красные бы вашего папашу, Пантелея Прокофича, в кутузку загнали,— ить это же неправильно было бы?

— Конечно!

— А вот тутошние власти сажают. Красные шли, никого не обижали, а эти особачились, остервились, ну, удержу им нету!

Григорий встал, чуть качнулся, потянувшись к висевшей на кровати шинели. Он был лишь слегка пьян.

— Прохор! Шашку! Маузер!

— Вы куда, Григорь Пантелевич?

— Не твое дело! Давай, что сказал.

Григорий нацепил шашку, маузер, застегнул и подпоясал шинель, направился прямо на площадь, к тюрьме.

Часовой из нестроевых казаков, стоявший у входа, было преградил ему дорогу.

— Пропуск есть?

— Пусти! Отслонись, говорят!

— Без пропуску не могу никого впущать. Не приказано.

Григорий не успел и до половины обнажить шашку, как часовой юркнул в дверь. Следом за ним, не снимая руки с эфеса, вошел в коридор Григорий.

— Дать мне сюда начальника тюрьмы! — закричал он. Лицо его побелело, горбатый нос хищно погнулся, бровь избочилась.

Прибежал какой-то хроменький казачишка, исправлявший должность надзирателя, выглянул мальчонка-писарь из канцелярии. Вскоре появился и начальник тюрьмы, заспанный, сердитый.

— Без пропуска — за это, знаешь?! — загремел он, но узнав Григория и всмотревшись в его лицо, испуганно залопотал: — Это вы, ваше... товарищ Мелехов? В чем тут дело?

— Ключи от камер!

— От камер?

— Я тебе что, по сорок раз буду повторять? Ну! Давай ключи, собачий клеп!

Григорий шагнул к начальнику, тот попятился, но сказал довольно-таки твердо:

— Ключей не дам. Не имеете права!

— Пра-а-ва-а?..

Григорий заскрипел зубами, выхватил шашку. В руке его она с визгом описала под низким потолком коридора сияющий круг. Писарь и надзиратели разлетелись, как вспугнутые воробьи, а начальник прижался к стене, сам белее стены, сквозь зубы процедил:

— Учиняйте! Вот они, ключи... А я буду жаловаться.

— Я тебе учиню! Вы тут, по тылам, привыкли!.. Храбрые тут, баб и дедов сажать!.. Я вас всех тут перетрясу! Езжай на позицию, гад, а то зараз срублю!

Григорий кинул шашку в ножны, кулаком ударил по шее перепуганного начальника; коленом и кулаками толкая его к выходу, орал:

— На фронт!.. Сту-пай!.. Сту-пай!.. Такую вашу... Тыловая вша!..

Вытолкав начальника и услышав шум на внутреннем дворе тюрьмы, он прибежал туда. Около входа на кухню стояло трое надзирателей; один дергал приржавевший

затвор японской винтовки, горячей скороговоркой выкрикивал·

— ...Нападение исделал!.. Отражать надо!.. В старом уставе как?

Григорий выхватил маузер, и надзиратели наперегонки покатились по дорожкам в кухню.

— Вы-хо-ди-и-и!.. По домам!..— зычно кричал Григорий, распахивая двери густо набитых камер, потрясая связкой ключей.

Он выпустил всех (около ста человек) арестованных. Тех, которые из боязни отказались выйти, силой вытолкал на улицу, запер пустые камеры.

Около входа в тюрьму стал скопляться народ. Из дверей на площадь валили арестованные; озираясь, согнувшись, шли по домам. Из штаба, придерживая шашки, бежали к тюрьме казаки караульного взвода; спотыкаясь, шел сам Кудинов.

Григорий покинул опустевшую тюрьму последним. Проходя через раздавшуюся толпу, матерно обругал жадных до новостей, шушукающихся баб и, сутулясь, медленно пошел навстречу Кудинову. Подбежавшим казакам караульного взвода, узнавшим и приветствовавшим его, крикнул:

— Ступайте в помещение, жеребцы! Ну, чего вы бежите, запалились? Марш!

— Мы думали, в тюрьме бунтуются, товарищ Мелехов!

— Писаренок прибег, говорит: «Налетел какой-то черный, замки сбивает!»

— Лживая тревога оказалась!

Казаки, посмеиваясь и переговариваясь, повернули обратно. Кудинов торопливо подходил к Григорию, на ходу поправляя длинные, выбившиеся из-под фуражки волосы.

— Здравствуй, Мелехов. В чем дело?

— Здорово, Кудинов! Тюрьму вашу разгромил.

— На каком основании? Что такое?

— Выпустил всех — и все... Ну, чего глаза вылупил? Вы тут на каких основаниях иногородних баб да стариков сажаете? Это что ишо такое? Ты гляди у меня, Кудинов!

— Самовольничать не смей. Это са-мо-у-правство!

— Я тебе, в гроб твою, посамовольничаю! Я вот вызову зараз свой полк из-под Каргинской, так аж черт вас тут возьмет!

Григорий вдруг схватил Кудинова за сыромятный кавказский поясок, шатая, раскачивая, с холодным бешенством зашептал:

— Хочешь, зараз же открою фронт? Хочешь, зараз вон из тебя душу выпущу? Ух, ты!..— Григорий скрипнул зубами, отпустил тихо улыбавшегося Кудинова.— Чему скалишься?

Кудинов поправил пояс, взял Григория под руку.

— Пойдем ко мне. И чего ты вскипятился? Ты бы на себя сейчас поглядел: на черта похож... Мы, брат, по тебе тут соскучились. А что касается тюрьмы — это чепуха... Ну, выпустил, какая же беда?.. Я скажу ребятам, чтобы они действительно приутихли. А то волокут всех бабенок иногородних, у каких мужья в красных... Но зачем вот ты наш авторитет подрываешь? Ах, Григорий! До чего ты взгальный! Приехал бы, сказал бы: «Так и так, мол, надо тюрьму разгрузить, выпустить таких-то и таких-то». Мы бы по спискам рассмотрели и кое-кого выпустили. А ты — всех гамузом! Да ведь это хорошо, что у нас важные преступники отдельно сидят, а если б ты и их выпустил? Горячка ты! — Кудинов похлопал Григория по плечу, засмеялся: — А ведь ты вот при таком случае, поперек скажи тебе — и убьешь. Или, чего доброго, казаков взбунтуешь...

Григорий выдернул свою руку из руки Кудинова, остановился около штабного дома.

— Вы тут все храбрые стали за нашими спинами! Полную тюрьму понасажали людей... Ты бы свои способности там показал, на позициях!

— Я их, Гриша, в свое время не хуже тебя показывал. Да и сейчас садись ты на мое место, а я твою дивизию возьму...

— Нет уж, спасибочко!

— То-то и оно!

— Ну, мне с тобой дюже долго не об чем гутарить. Я зараз еду домой отдыхнуть недельку. Я захворал что-то... А тут плечо мне трошки поранили.

— Чем захворал?

— Тоской,— криво улыбнулся Григорий.— Сердце пришло в смятению...

— Нет, не шутя, что у тебя? У нас есть такой доктор, что, может, даже и профессор. Пленный. Захватили его наши за Шумилинской, с матросами ездил. Важный такой, в черных очках. Может, он поглядел бы тебя?

— Ну его к черту!

— Так что же, поезжай отдохни. Дивизию кому сдал?

— Рябчикову.

— Да ты погоди, куда ты спешишь? Расскажи, какие там дела? Ты, говорят, рубанул-таки? Мне вчера ночью

передавал кто-то, будто ты матросов под Климовской нарубил несть числа. Верно?

— Прощай!

Григорий пошел, но, отойдя несколько шагов, стал вполоборота, окликнул Кудинова:

— Эй! Ежели поимею слух, что опять сажаете...

— Да нет, нет! Пожалуйста, не беспокойся! Отдыхай!

День уходил на запад, вослед солнцу. С Дона, с разлива потянуло холодом. Со свистом пронеслась над головой Григория стая чирков. Он уже входил во двор, когда сверху, вниз по Дону, откуда-то с Казанского юрта по воде доплыла октава орудийного залпа.

Прохор быстренько заседлал коней; ведя их в поводу, спросил:

— Восвояси дунем? В Татарский?

Григорий молча принял повод, молча кивнул головой.

XLVI

В Татарском было пусто и скучно без казаков. Пешая сотня татарцев на время была придана одному из полков 5-й дивизии, переброшена на левую сторону Дона.

Одно время красные части, пополненные подкреплениями, подошедшими из Балашова и Поворина, повели интенсивное наступление с северо-востока, заняли ряд хуторов Еланской станицы и подошли к самой границе Еланской. В ожесточенном бою, завязавшемся на подступах к станице, верх одержали повстанцы. И одержали потому, что на помощь Еланскому и Букановскому полкам, отступавшим под напором Московского красноармейского полка и двух эскадронов кавалерии, были кинуты сильные подкрепления. Левой стороной Дона из Вешенской подошли к Еланской 4-й повстанческий полк 1-й дивизии (в составе его — и сотня татарцев), трехорудийная батарея и две резервные конные сотни. Помимо этого по правобережью были стянуты значительные подкрепления к хуторам Плешакову и Матвеевскому, расположенным от станицы Еланской — через Дон — в трех — пяти верстах. На Кривском бугре был установлен орудийный взвод. Один из наводчиков, казак с хутора Кривского, славившийся беспромашной стрельбой, с первого же выстрела разбил красноармейское пулеметное гнездо и несколькими очередями шрапнели, накрывшими залегшую в краснотале красноармейскую цепь, поднял ее на ноги. Бой кончился в пользу повстанцев.

Наседая на отступавшие красные части, повстанцы вытеснили их за речку Еланку, выпустили в преследовании одиннадцать сотен конницы, и та на бугре, неподалеку от хутора Затоловского, настигла и вырубила целиком эскадрон красноармейцев.

С той поры татарские «пластуны» мотались где-то по левобережью, по песчаным бурунам. Из сотни почти не приходили в отпуск казаки. Лишь на пасху, как по сговору, сразу явилась в хутор почти половина сотни. Казаки пожили в хуторе день, разговелись и, переменив бельишко, набрав из дому сала, сухарей и прочей снеди, переправились на ту сторону Дона, толпой, как богомольцы (только с винтовками вместо посохов), потянули в направлении Еланской. С бугра в Татарском, с Обдонской горы провожали их взглядами жены, матери, сеструшки. Бабы ревели, вытирали заплаканные глаза кончиками головных платков и шалек, сморкались в подолы исподних юбок... А на той стороне Дона, за лесом, затопленным полой водой, по песчаным бурунам шли казаки: Христоня, Аникушка, Пантелей Прокофьевич, Степан Астахов и другие. На привинченных штыках винтовок болтались холщовые сумочки с харчами, по ветру веялись грустные, как запах чабреца, степные песни, вялый тянулся промеж казаков разговор... Шли они невеселые, но зато сытые, обстиранные. Перед праздником жены и матери нагрели им воды, обмыли приросшую к телу грязь, вычесали лютых на кровь служивских вшей. Чем бы не жить дома, не кохаться? А вот надо идти навстречу смерти... И идут. Молодые, лет по шестнадцати-семнадцати парнишки, только что призванные в повстанческие ряды, шагают по теплому песку, скинув сапоги и чиричонки. Им неведомо отчего радостно, промеж них и веселый разговоришко вспыхнет, и песню затянут ломающимися, несозревшими голосами. Им война в новинку, вроде ребячьей игры. Они в первые дни и к посвисту пуль прислушиваются, подымая голову от сырого бугорка земли, прикрывающего окопчик. «Куга зеленая!» — пренебрежительно зовут их фронтовые казаки, обучая на практике, как рыть окопы, как стрелять, как носить на походе служивское имущество, как выбрать прикрытие получше, и даже мастерству выпаривать на огне вшей и обворачивать ноги портянками так, чтобы нога устали не слышала и «гуляла» в обувке, учат несмысленный молодняк. И до тех пор «куженок» смотрит на окружающий его мир войны изумленным, птичьим взглядом, до тех пор подымает голову и высматривает из окопчика, сгорая от любопытства, пыта-

ясь рассмотреть «красных», пока не щелкнет его красноармейская пуля. Ежели — насмерть, вытянется такой шестнадцатилетний «воин», и ни за что не дашь ему его коротеньких шестнадцати лет. Лежит этакое большое дитя с мальчишески крупными руками, с оттопыренными ушами и зачатком кадыка на тонкой, невозмужалой шее. Отвезут его на родной хутор схоронить на могилках, где его деды и прадеды истлели, встретит его мать, всплеснув руками, и долго будет голосить по мертвому, рвать из седой головы космы волос. А потом, когда похоронят и засохнет глина на могилке, станет, состарившаяся, пригнутая к земле материнским неусыпным горем, ходить в церковь, поминать своего «убиенного» Ванюшку либо Семушку.

Доведется же так, что не до смерти кусанет пуля какого-нибудь Ванюшку или Семушку,— тут только познает он нещадную суровость войны. Дрогнут у него обметанные темным пухом губы, покривятся. Крикнет «воин» заячьим, похожим на детский, криком: «Родимая моя мамунюшка!» — и дробные слезы сыпанут у него из глаз. Будет санитарная бричка потряхивать его на бездорожных ухабах, бередить рану. Будет бывалый сотенный фельдшер промывать пулевой или осколочный надрез и, посмеиваясь, утешать, как дитятю: «У кошки боли, у сороки боли, а у Ванюшки заживи». А «воин» Ванюшка будет плакать, проситься домой, кликать мать. Но ежели заживет рана и снова попадет он в сотню, то уж тут-то научится окончательно понимать войну. Неделю-две пробудет в строю, в боях и стычках, зачерствеет сердцем, а потом, смотри еще, как-нибудь будет стоять перед пленным красноармейцем и, отставив ногу, сплевывая в сторону, подражая какому-нибудь зверюге-вахмистру, станет цедить сквозь зубы, спрашивать ломающимся баском:

— Ну что, мужик, в кровину твою мать, попался? Га-а-а! Земли захотел? Равенства? Ты ить, небось, коммуняка? Признавайся, гад! — и, желая показать молодечество,— «казацкую лихость», подымет винтовку, убьет того, кто жил и смерть принял на донской земле, воюя за Советскую власть, за коммунизм, за то, чтобы никогда больше на земле не было войн.

И где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе великой Советской России мать красноармейца, получив извещение о том, что сын «погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа от ига помещиков и капиталистов...» —

запричитает, заплачет... Горючей тоской оденется материнское сердце, слезами изойдут тусклые глаза, и каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, которого некогда носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, который пал от вражьей руки где-то в безвестной Донщине...

Шла полусотня дезертировавшей с фронта татарской пехоты. Шла по песчаным разливам бурунов, по сиявшему малиновому краснотЕлу. Молодые — весело, бездумно, старики, в насмешку прозванные «гайдамаками»,— со вздохами, с потаенно укрытой слезой; заходило время пахать, боронить, сеять; земля кликала к себе, звала неустанно день и ночь, а тут надо было воевать, гибнуть на чужих хуторах от вынужденного безделья, страха, нужды и скуки. Через это и кипела слеза у бородачей, через это самое и шли они хмурые. Всяк вспоминал свое кинутое хозяйство, ху́добу, инвентарь. Ко всему требовались мужские руки, все плакало без хозяйского глаза. А с баб какой же спрос? Высохнет земля, не управятся с посевом, голодом пугнет следующий год. Ведь недаром же говорится в народной поговорке, что «в хозяйстве и старичишка сгодится дюжей, чем молодица».

По пескам шли старики молча. Оживились, только когда один из молодых выстрелил по зайцу. За истраченный по-пустому патрон (что строго воспрещалось приказом командующего повстанческими силами) решили старики виновного наказать. Сорвали на парнишке зло, выпороли.

— Сорок розгов ему! — предложил было Пантелей Прокофьевич.

— Дюже много!

— Он не дойдет тогда!

— Шеш-над-цать! — рявкнул Христоня.

Согласились на шестнадцати, на четном числе. Провинившегося положили на песке, спустили штаны. Христоня перочинным ножом резал хворостины, покрытые желтыми пушистыми ки́тушками, мурлыкая песню, а Аникушка порол. Остальные сидели около, курили. Потом снова пошли. Позади всех плелся наказанный, вытирая слезы, натуго затягивая штаны.

Как только миновали пески и выбрались на серосупесные земли, начались мирные разговоры.

— Вот она, землица-любушка, хозяина ждет, а ему некогда, черти его по буграм мыкают, воюет,— вздохнул один из дедов, указывая на сохнувшую делянку зяби.

Шли мимо пахоты, и каждый нагибался, брал сухой, пахнувший вешним солнцем комочек земли, растирал его в ладонях, давил вздох.

— Подоспела земля!

— Самое зараз бы с букарем.

— Тут перепусти трое суток, и сеять нельзя будет.

— У нас-то, на энтой стороне трошки рано.

— Ну да, рано! Гля-кость, вон над ярами по Обдонью ишо снег лежит.

Потом стали на привал, пополудновали. Пантелей Прокофьевич угощал высеченного парнишку откидным, «портошным» молоком. (Нес он его в сумке, привязанной к винтовочному дулу, и всю дорогу цедилась стекавшая из сумки вода. Аникушка уже, смеясь, говорил ему: «Тебя, Прокофич, по следу можно свесть, за тобой мокрая вилюга, как за быком, остается».) Угощал и степенно говорил:

— А ты на стариков не обижайся, дурастной. Ну и выпороли, какая же беда! За битого двух небитых дают.

— Тебе бы так вложили, дед Пантелей, небось другим бы голосом воспел!

— Мне, парень, и похуже влаживали.

— Похуже!

— Ну да, похуже. Явственное дело, в старину не так бивали.

— Бивали.

— Конешно, бивали. Меня, парнишша, отец раз оглоблей вдарил по спине — и то выходился.

— Оглоблей!

— Говорю — оглоблей, стало быть — оглоблей. Э, долдон! Молоко-то ешь, чего ты мне в рот глядишь! Ложка у него без черенка, сломал небось? Халява! Мало тебя, сукиного сына, ноне пороли!

После полуднования решили подремать на легком и пьянящем, как вино, вешнем воздухе. Легли, подставив солнцу спины, похрапели малость, а потом опять потянули по бурой степи, по прошлогодним жнивьям, минуя дороги, напрямик. Шли — одетые в сюртуки, шинели, зипуны и дубленые полушубки; обутые в сапоги, в чирики, с шароварами, заправленными в белые чулки, и ни во что не обутые. На штыках болтались харчевые сумки.

Столь невоинствен был вид возвращавшихся в сотню дезертиров, что даже жаворонки, отзвенев в голубом разливе небес, падали в траву около проходившей полусотни.

* * *

Григорий Мелехов не застал в хуторе никого из казаков. Утром он посадил верхом на коня своего подросшего Мишатку, приказал съехать к Дону и напоить, а сам пошел с Натальей проведать деда Гришаку и тещу.

Лукинична встретила зятя со слезами:

— Гришенька, сыночек! Пропадем мы без нашего Мирона Григорьевича, царство ему небесное!.. Ну, кто у нас будет нá полях работать? Зерна полны амбары, а сеять некому. И головушка ты моя горькая! Остались мы сиротами, никому-то мы не нужны́, всем-то мы чужие, лишние!.. Ты глянь-кось, как хозяйство наше рухнулось! Ни к чему руки не доходют...

А хозяйство и в самом деле стремительно шло к упадку; быки били и валяли плетни на базах, кое-где упали сохи; подмытая вешней водой, обрушилась саманная стена в сарае; гумно было разгорожено, двор не расчищен; под навесом сарая стояла заржавевшая лобогрейка, и тут же валялся сломанный косогон... Всюду виднелись следы запустения и разрухи.

«Скоро все покачнулось без хозяина»,— равнодушно подумал Григорий, обходя коршуновское подворье.

Он вернулся в курень.

Наталья что-то шепотом говорила матери, но при виде Григория умолкла, заискивающе улыбнулась.

— Маманя вот просит, Гриша... Ты же, кубыть, собирался ехать на поля... Может, и им какую десятинку бы посеял?

— Да на что вам сеять, мамаша? — спросил Григорий.— Ить у вас же пшеницы полны закрома.

Лукинична так и всплеснула руками.

— Гришенька! А земля-то как же? Ить покойничек наш зяби напахал три круга.

— А чего же ей поделается, земле? Перележится, что ли? На энтот год, живы будем, посеем.

— Как можно? Земля вхолостую пролежит.

— Фронты отслонются, тогда и сеять будете,— пробовал уговорить тещу Григорий.

Но та уперлась на своем, даже будто бы обиделась на Григория и под конец в оборочку собрала дрогнувшие губы.

— Ну, уж ежели тебе некогда, может, али охоты нету нам подсобить...

— Да ладно уж! Поеду завтра себе сеять и вам обсеме-

ню десятины две. С вас и этого хватит... А дед Гришака живой?

— То-то спасибо, кормилец! — обрадовалась просиявшая Лукинична.— Семена, скажу ноне Грипашке, чтоб отвезла... Дед-то? Все никак его господь не приберет. Живой, а кубыть трошки умом начал мешаться. Так и сидит дни-ночи напролет, Святое писание читает. Иной раз загутарит-загутарит, да так все непонятно, церковным языком... Ты бы пошел его проведать. Он в горенке.

По полной щеке Натальи сползла слезинка.

Улыбаясь сквозь слезы, Наталья сказала:

— Зараз взошла я к нему, а он говорит: «Дщерь лукавая! Что же ты меня не проведываешь? Скоро помру я, милушка... За тебя, за внученьку, как преставлюсь, богу словцо замолвлю. В землю хочу, Натальюшка... Земля меня к себе кличет. Пора!»

Григорий вошел в горенку. Запах ладана, плесени и гнили, запах старого неопрятного человека густо ударил ему в ноздри. Дед Гришака, все в том же армейском сером мундирчике с красными петлицами на отворотах, сидел на лежанке. Широкие шаровары его были аккуратно залатаны, шерстяные чулки заштопаны. Попечение о деде перешло на руки подраставшей Грипашки, и та стала следить за ним с такой же внимательностью и любовью, как некогда — ходившая в девках Наталья.

Дед Гришака держал на коленях Библию. Из-под очков в позеленевшей медной оправе он глянул на Григория, открыл в улыбке белозубый рот.

— Служивый? Целенький? Оборонил господь от лихой пули? Ну слава богу. Садись.

— Ты-то как здоровьем, дедушка?

— Ась?

— Как здоровье — говорю.

— Чудак! Пра слово, чудак! Какое в моих годах могет быть здоровье? Мне ить уж под сто пошло. Да, под сто... Прожил — не видал. Кубыть, вчера ходил я с русым чубом, молодой да здоровый. А ноне проснулся — и вот она, одна ветхость... Мельканула жизня, как летний всполох, и нету ее... Немощен плотью стал. Домовина уж какой год в анбаре стоит, а господь, видно, забыл про меня. Я уж иной раз, грешник, и взмолюсь ему: «Оборотн, господи, милостливый взор на раба твоего Григория! И я земле в тягость и она мне»...

— Ишо поживешь, дед. Зубов вон полон рот.

— Ась?

— Зубов ишо много!

— Зубов-то? Эка дурак! — осердился дед Гришака.— Зубами-то, небось, душу не удержишь, как она соберется тело покидать... Ты-то все воюешь, непутевый?

— Воюю.

— Митюшка наш в отступе тоже, гляди, лиха хватит, как горячего — до слез.

— Хватит.

— Вот и я говорю. А через чего воюете? Сами не разумеете! По божьему указанию все вершится. Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что супротив бога шел, народ бунтовал супротив власти. А всякая власть — от бога. Хучь она и анчихристова, а все одно богом данная. Я ему ишо тогда говорил: «Мирон! ты казаков не бунтуй, не подговаривай супротив власти, не пихай на грех!» А он — мне: «Нет, батя, не потерплю! Надо восставать, этую власть изнистожить, она нас по́ миру пущает. Жили людьми, а иделаемся старцами»[1]. Вот и не потерпел. Поднявший меч бранный от меча да погибнет. Истинно. Люди брешут, будто ты, Гришка, в генеральском чине ходишь, дивизией командуешь. Верно ай нет?

— Верно.

— Командуешь?

— Ну, командую.

— А еполеты твои где?

— Мы их отменили.

— Эх, чумовые! Отменили! Да ишо какой из тебя генерал-то? Горе! Раньше были генералы — на него ажник радостно глядеть: сытые, пузатые, важные! А то ты зараз... Так, тьфу — и больше ничего! Шинелка одна на тебе мазаная, в грязи, ни висячей еполеты нету, ни белых шнуров на грудях. Одних вшей небось полны швы.

Григорий захохотал. Но дед Гришака с горячностью продолжал:

— Ты не смеись, поганец! Людей на смерть водишь, супротив власти поднял. Грех великий примаешь, а зубы тут нечего скалить! Ась?.. Ну, вот то-то и оно. Все одно вас изнистожут, а заодно и нас. Бог — он вам свою стезю укажет. Это не про наши смутные времена Библия гласит? А ну, слухай, зараз прочту тебе от Еремии-пророка сказание...

Старик желтым пальцем перелистал желтые страницы Библии; замедленно, отделяя слог от слога, стал читать:

---

[1] Старцы — нищие.

— «Возвестите во языцех и слышано сотворите, воздвигните знамение, возопийте и не скрывайте, рцыте: пленен бысть Вавилон, посрамися Вил, победися Меродах, посрамишася изваяния его, сокрушишася кумиры их. Яко приде нань язык от севера, той положит землю его в запустение и не будет живяй в ней от человека даже и до скота: подвигнушася отидоша»... Уразумел, Гришака? С северу придут и вязы вам, вавилонщикам, посворачивают. И дале слухай: «В тыя дни и в то время, глаголет господь, приидут сынове израилевы тии и сынове иудины, вкупе ходяше и плачуще, пойдут и господа бога своего взыщут. Овцы погибшие быше людие мои, пастыри их совратиша их, и сотвориша сокрытися по горам: с горы на холм ходиша».

— Это к чему же? Как понять? — спросил Григорий, плохо понимавший церковнославянский язык.

— К тому, поганец, что бегать вам, смутителям, по горам. Затем, что вы не пастыри казакам, а сами хуже бестолочи-баранов, не разумеете, что творите... Слухай дале: «Забыша ложа своего, вси обретающая их снедаху их». И это в точку! Вша вас не гложет зараз?

— От вши спасенья нету,— признался Григорий.

— Вот оно и подходит в точку. Дале: «И врази их рекоша: не пощадим их, зане согрешиша господу. Отыдите от среды Вавилона и от земли Халдейски, изыдите и будете яко козлища пред овцами. Яко се аз воздвигну и приведу на Вавилон собрания языков великих от земли полунощныя, и ополчатся нань: оттуда пленен будет, яко же стрела мужа сильна, искусна, не возвратится праздна. И будет земля Халдейска в разграбление, вси грабители ее наполнятся, глаголет господь: зане веселитеся и велеречиваете, расхищающие наследие мое».

— Дед Григорий! Ты бы мне русским языком пересказал, а то мне непонятно,— перебил Григорий.

Но старик пожевал губами, поглядел на него отсутствующим взглядом, сказал:

— Зараз кончу, слухай. «...Скакаете бо яко тельцы на траве и бодосте яко же волы. Поругана бысть мати ваше зело, и посрамися родившая вас: се последняя во языцех пуста и непроходна, и суха. От гнева господня не поживут вовек, но будет весь в запустение, и всяк ходяй сквозе Вавилон подивится и позвиждет над всякою язвою его».

— Как же это понять? — снова спросил Григорий, ощущая легкую досаду.

Дед Гришака не отвечал, закрыл Библию и прилег на лежанку.

«И вот сроду люди так,— думал Григорий, выходя из горенки.— Смолоду бесются, водку жрут и к другим грехам прикладываются, а под старость, что ни лютей смолоду был, то больше начинает за бога хорониться. Вот хучь бы и дед Гришака. Зубы — как у волка. Говорят, молодым, как пришел со службы, все бабы в хуторе от него плакали, и летучие и катучие — все были его. А зараз... Ну, уж ежели мне доведется до старости дожить, я эту хреновину не буду читать! Я до библиев не охотник».

Григорий возвращался от тещи, думая о разговоре с дедом Гришакой, о таинственных, непонятных «речениях» Библии. Наталья тоже шла молча. В этот приезд она встретила мужа с необычайной суровостью,— видно, слух о том, как гулял и путался с бабами Григорий по хуторам Каргинской станицы, дошел и до нее. Вечером, в день его приезда, она постелила ему в горнице на кровати, а сама легла на сундуке, прикрывшись шубой. Но ни единого слова в упрек не сказала, ни о чем не спрашивала. Ночь промолчал и Григорий, решив, что лучше пока не допытываться у нее о причинах столь небывалого в их взаимоотношениях холода...

Они шли молча по безлюдной улице, чужие друг другу больше, чем когда бы то ни было. С юга дул теплый, ласковый ветер, на западе кучились густые, по-весеннему белые облака. Сахарно-голубые вершины их, клубясь, меняли очертания, наплывали и громоздились над краем зазеленевшей Обдонской горы. Погромыхивал первый гром, и благостно, живительно пахло по хутору распускающимися древесными почками, пресным черноземом оттаявшей земли. По синему разливу Дона ходили белогребнистые волны, низовой ветер нес бодрящую сырость, терпкий запах гниющей листвы и мокрого дерева. Долевой клин зяби, лежавший на склоне бугра плюшево-черной заплатой, курился паром, струистое марево рождалось и плыло над буграми Обдонских гор, над самой дорогой упоенно заливался жаворонок, тоненько посвистывали перебегавшие дорогу суслики. А над всем этим миром, дышавшим великим плодородием и изобилием жизнетворящих сил,— высокое и гордое солнце.

На середине хутора, возле моста через ярок, по которому еще бежала в Дон с веселым детским лепетом вешняя нагорная вода, Наталья остановилась. Нагнувшись, будто

бы для того, чтобы завязать ремешок у чирика, а на самом деле пряча от Григория лицо, спросила:

— Чего же ты молчишь?

— А об чем гутарить с тобой?

— Есть об чем... Рассказал бы, как пьянствовал под Каргинской, как с б... вязался...

— А ты уж знаешь?..— Григорий достал кисет, стал делать цигарку. Смешанный с табаком-самосадом, сладко заблагоухал донник. Григорий затянулся, переспросил: — Знаешь, стал быть? От кого?

— Знаю, ежли говорю. Весь хутор знает, есть от кого слыхать.

— Ну, а раз знаешь, чего же и рассказывать?

Григорий крупно зашагал. По деревянному настилу мостка в прозрачной весенней тишине четко зазвучали его редкие шаги и отзвуки дробной поступи Натальи, поспешавшей за ним. От мостка Наталья пошла молча, вытирая часто набегавшие слезы, а потом, проглотив рыдание, запинаясь, спросила:

— Опять за старое берешься?

— Оставь, Наталья!

— Кобелина проклятый, ненаедный! За что ж ты меня опять мучаешь?

— Ты бы поменьше брехней слухала.

— Сам же признался!

— Тебе, видно, больше набрехали, чем на самом деле было. Ну, трошки виноват перед тобой... Она, жизня, Наташка, виноватит... Все время на краю смерти ходишь, ну, и перелезешь иной раз через борозду...

— Дети у тебя уж вон какие! Как гляделками-то не совестно моргать!

— Ха! Совесть! — Григорий обнажил в улыбке кипенные зубы, засмеялся.— Я об ней и думать позабыл. Какая уж там совесть, когда вся жизня похитнулась... Людей убиваешь... Неизвестно для чего всю эту кашу... Да ить как тебе сказать? Не поймешь ты! В тебе одна бабья лютость зараз горит, а до того ты не додумаешься, что́ мне сердце точит, кровя пьет. Я вот и к водке потянулся. Надысь припадком меня вдарило. Сердце на коий миг вовзят остановилося, и холод пошел по телу...— Григорий потемнел лицом, тяжело выжимал из себя слова: — Трудно мне, через это и шаришь, чем бы забыться, водкой ли, бабой ли... Ты погоди! Дай мне сказать: у меня вот тут сосет и сосет, кортит все время... Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый... Зараз бы с красными надо

замириться и — на кадетов. А как? Кто нас сведет с Советской властью? Как нашим обчим обидам счет произвесть? Половина казаков за Донцом, а какие тут остались — остервились, землю под собой грызут... Все у меня, Наташка, помутилось в голове... Вот и твой дед Гришака по Библии читал и говорит, что, мол, неверно мы свершили, не надо бы восставать. Батю твоего ругал.

— Дед — он уж умом рухнулся! Теперь твой черед.

— Вот только так ты и могешь рассуждать. На другое твой ум не подымется...

— Ох, уж ты бы мне зубы не заговаривал! Напаскудил, обвиноватился, а теперь всё на войну беду сворачиваешь. Все вы такие-то! Мало через тебя, черта, я лиха приняла? Да и жалко уж, что тогда не до смерти зарезалась...

— Больше не об чем с тобой гутарить. Ежели чижало тебе, ты покричи,— слеза ваша бабье горе завсегда мягчит. А я тебе зараз не утешник. Я так об чужую кровь измазался, что у меня уж и жали ни к кому не осталось. Детву — и эту почти не жалею, а об себе и думки нету. Война всё из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал... В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе...

Они почти дошли до дома, когда из набежавшей серой тучки косой и ядреный брызнул дождь. Он прибил на дороге легкую, пахнущую солнцем пыль, защелкал по крышам, пахнул свежестью, трепетным холодком. Григорий расстегнул шинель, одной полой прикрыл навзрыд плачущую Наталью, обнял ее. Так под вешним резвым дождем они и на баз вошли, тесно прижавшись, покрытые одной шинелью.

Вечером Григорий ладил на базу запашник, проверял рукава сеялки. Пятнадцатилетний сынишка Семена Чугуна, выучившийся кузнечному ремеслу и оставшийся со дня восстания единственным кузнецом в Татарском, с грехом пополам наложил лемех на стареньком мелеховском плуге. Все было приготовлено к весенней работе. Быки вышли с зимовки в теле, в достатке хватило им приготовленного Пантелеем Прокофьевичем сена.

Наутро Григорий собирался ехать в степь. Ильинична с Дуняшкой, на ночь глядя, затеяли топить печь, чтобы сготовить пахарю к заре харчи. Григорий думал поработать дней пять, посеять себе и теще, вспахать десятины две под бахчу и подсолнухи, а потом вызвать из сотни отца, чтобы он доканчивал посев.

Из трубы куреня вился сиреневый дымок, по базу бегала взматеревшая в девках Дуняшка, собирая сухой

хворост на подживки. Григорий поглядывал на ее округленный стан, на крутые скаты грудей, с грустью и досадой думал: «Эка девница какая вымахала! Летит жизня, как резвый конь. Давно ли Дуняшка была сопливой девчонкой; бывало, бегает, а по спине косички мотаются, как мышиные хвостики, а зараз уж вон она, хучь ныне замуж. А я уж сединой побитый, все от меня отходит... Верно говорил дед Гришака: «Мельканула жизня, как летний всполох». Тут и так коротко отмеряно человеку в жизни пройтись, а тут надо и этого срока лишаться... Тудыть твою мать с такой забавой! Убьют, так пущай уж скорее».

К нему подошла Дарья. Она удивительно скоро оправилась после смерти Петра. Первое время тосковала, желтела от горя и даже будто состарилась. Но как только дунул вешний ветерок, едва лишь пригрело солнце,— и тоска Дарьина ушла вместе со стаявшим снегом. На продолговатых щеках ее зацвел тонкий румянец, заблестели потускневшие было глаза, в походке появилась прежняя вьющаяся легкость... Вернулись к ней и старые привычки: снова тонкие ободья бровей ее покрылись черной краской, щеки заблестели жировкой; вернулась к ней и охота пошутить, непотребным словом смутить Наталью; все чаще на губах ее стала появляться затуманенная ожиданием чего-то улыбка... Торжествующая жизнь взяла верх.

Она подошла к Григорию, стала, улыбаясь. Пьяный запах огуречной помады исходил от ее красивого лица.

— Может, подсобить в чем, Гришенька?

— Не в чем подсоблять.

— Ах, Григорий Пантелевич! До чего вы со мной, со вдовой, строгие стали! Не улыбнетесь и даже плечиком не ворохнете.

— Шла бы ты стряпаться, зубоскалая!

— Ах, какая надобность!

— Наталье бы подсобила. Мишатка вон бегает грязней грязи.

— Ишо чего недоставало! Вы их будете родить, а мне за вами замывать? Как бы не так! Наталья твоя — как трусиха [1] плодющáя. Она их тебе нашибает ишо штук десять. Этак я от рук отстану, обмываючи всех их.

— Будет, будет тебе! Ступай!

— Григорь Пантелевич! Вы зараз на хуторе один казак на всех. Не прогоните, дайте хучь издаля поглядеть на ваши черные завлекательные усы.

[1] Трусиха — крольчиха.

Григорий засмеялся, откинул с потного лба волосы.

— Ну и ухо ты! Как с тобой Петро жил... У тебя уж небось не сорвется.

— Будьте покойные! — горделиво подтвердила Дарья и, поглядывая на Григория поигрывающими, прижмуренными глазами, с деланным испугом оглянулась на курень.— Ай, что-то мне показалось, кубыть, Наталья вышла... До чего она у тебя ревнивая,— неподобно! Нынче, как полудновали, глянула я разок на тебя, так она ажник с лица сменилась. А мне уж вчера бабы молодые говорили: «Что это за права? Казаков нету, а Гришка ваш приехал на побывку и от жены не отходит. А мы, дескать, как же должны жить? Хучь он и израненный, хучь от него и половинка супротив прежнего осталась, а мы бы и за эту половинку подержались бы с нашим удовольствием. Перекажи ему, чтобы ночью по хутору не ходил, а то поймаем, беды он наживет!» Я им и сказала: «Нет, бабочки, Гриша наш только на чужих хуторах прихрамывает на короткую ножку, а дома он за Натальин подол держится без отступу. Он у нас с недавней поры святой стал...»

— Ну, и сука ты! — смеясь, беззлобно говорил Григорий.— У тебя язык — чистое помело!

— Уж какая есть. А вот Наташенька-то твоя писаная, немазаная, а вчера отшила тебя? Так тебе и надо, кобелю, не будешь через закон перелазить!

— Ну, ты вот чего... Ты иди, Дашка. Ты не путайся в чужие дела.

— Я не путаюсь. Я это к тому, что дура твоя Наталья. Муж приехал, а она задается, ломается, как копеешный прянец, на сундуке легла... Вот уж я бы от казака зараз не отказалась! Попадись мне... Я бы и такого храброго, как ты, в страх ввела!

Дарья скрипнула зубами, захохотала и пошла в курень, оглядываясь на смеющегося и смущенного Григория, поблескивая золотыми серьгами.

«Усчастливился ты, брат Петро, помереть...— думал развеселившийся Григорий.— Это не Дарья, а распрочерт! От нее до поры до времени все одно помер бы!»

XLVII

По хутору Бахмуткину гасли последние огни. Легкий морозец тончайшей пленкой льда крыл лужицы. Где-то за хутором, за толокой, на прошлогодней стерне опустились

ночевать припозднившиеся журавли. Их сдержанное усталое курлыканье нес к хутору набегавший с северо-востока ветерок. И оно мягко оттеняло, подчеркивало умиротворенную тишину апрельской ночи. В садах густые копились тени; где-то мычала корова; потом все стихло. С полчаса глухая покоилась тишина, лишь изредка нарушавшаяся тоскующей перекличкой летевших и ночью куликов да дребезжащим посвистом бесчисленных утиных крыльев: стаи уток летели, спешили, добираясь до привольной поймы разлившегося Дона... А потом на крайней улице зазвучали людские голоса, рдяно загорелись огни цигарок, послышался конский храп, хруст промерзшей грязи, продавливаемый лошадиными копытами. В хутор, где стояли две повстанческие казачьи сотни, входившие в состав 6-й отдельной бригады, вернулся разъезд. Казаки расположились на базу крайней хаты, переговариваясь, поставили к брошенным посреди база саням лошадей, положили им корма. Чей-то хрипатый басок завел плясовую песню, тщательно выговаривая слова, устало и медленно выводя:

Помаленечку я шел,
Да потихонечку ступал,
И по прежней по любови
С девкой шутку зашутил...

И тотчас же задорный тенорок подголоска взмыл, как птица, над гудящим басом и весело, с перебором начал:

Девка шутку не приняла,
Меня в щеку — д'эх! — вдарила,
Моя казацкая сердечка
Была разгарчивая...

В песню подвалило еще несколько басов, темп ее ускорился, оживился, и тенор подголоска, щеголяя высокими концами, уже звучал напористо и подмывающе-весело:

Я праву ручку засучил,
Девку да в ухо омочил,
Их, эта девочка стоит,
Как малинов свет горит.
Как малинов свет да горит,
Сам-ма плачет, говорит:
«Что же ты мне есть за друг,
Ежли любишь семь подруг,
Восьмую — вдовую,
А девятую жану,
А десятую, подлец, меня!..»

И журавлиный крик на пустующих пашнях, и казачью песню, и свист утиных крыльев в непроглядной чернети ночи слышали казаки, бывшие за ветряком в сторожевом охранении. Скучно было им лежать ночью на холодной, скованной морозом земле. Ни тебе покурить, ни поговорить, ни посогреться ходьбой или кулачками. Лежи да лежи промеж подсолнечных прошлогодних будыльев, смотри в зияющую темнотой степь, слушай, приникнув ухом к земле. А в десяти шагах уже ни черта не видно, а шорохами так богата апрельская ночь, так много из темноты несется подозрительных звуков, что любой из них будит тревогу: «Не идет ли, не ползет ли красноармейская разведка?» Как будто издали доносится треск сломанной бурьянины, сдержанное пыхтенье... Молодой казачишка Выпряжкин вытирает перчаткой набежавшую от напряжения слезинку, толкает локтем соседа. Тот дремлет, свернувшись калачом, положив в голова́ кожаный подсумок; японский патронташ давит ему ребра, но он ленится лечь поудобней, не хочет пускать в плотно запахнутые полы шинели струю ночного холода. Шорох бурьяна и сопенье нарастают и неожиданно звучат вот, возле самого Выпряжкина. Он приподнимается на локте, недоуменно смотрит сквозь плетнистый бурьян и с трудом различает очертания большого ежа. Еж торопко подвигается вперед по мышиному следу, опустив крохотную свиную мордочку, сопя и черкая иглистой спиной по сухим бурьянным былкам. Вдруг он чувствует в нескольких шагах от себя присутствие чего-то враждебного и, подняв голову, видит рассматривающего его человека. Человек облегченно выдыхает воздух, шепчет:

— Черт поганый! Как напужал-то...

А еж стремительно прячет голову, втягивает ножки и с минуту лежит нащетинившимся клубком, потом медленно распрямляется, касается ногами холодной земли и катится скользящим серым комом, натыкаясь на подсолнечные будылья, приминая сухой прах сопревшей повители. И снова прядется тишина. И ночь — как сказка...

По хутору отголосили вторые кочета. Небо прояснилось. Сквозь редкое рядницe облачков показались первые звезды. Потом ветер разметал облака, и небо глянуло на землю бесчисленными золотыми очами.

Вот в это-то время Выпряжкин и услышал впереди отчетливый шаг лошади, хруст бурьяна, звяк чего-то металлического, а немного погодя — и поскрипывание седла.

Услышали и остальные казаки. Пальцы легли на спуски винтовок.

— Сготовьсь! — шепнул помощник взводного.

На фоне звездного неба возник, словно вырезанный, силуэт всадника. Кто-то ехал шагом по направлению к хутору.

— Сто-о-ой!.. Кто едет?.. Что пропуск?..

Казаки вскочили, готовые стрелять. Всадник остановился, подняв вверх руки.

— Товарищи, не стреляйте!

— Что пропуск!

— Товарищи!..

— Что пропуск? Взво-о-од...

— Стойте!.. Я один... Сдаюсь!..

— Погодите, братцы! Не стрелять!.. Живого возьмем!..

Помощник взводного подбежал к конному, Выпряжкин схватил коня за поводья. Всадник перенес ногу через седло, спешился.

— Ты кто таков? Красный? Ага, братцы, он! Вот у него и звезда на папахе. По-па-ал-ся, ааа!..

Всадник, разминая ноги, уже спокойно говорил:

— Ведите меня к вашему начальнику. Я имею передать ему сообщение большой важности. Я — командир Сердобского полка и прибыл сюда для ведения переговоров.

— Команди-и-ир?.. Убить его, братцы, гада! Дай, Лука, я ему зараз...

— Товарищи! Убить меня вы можете всегда, но прежде дайте мне сообщить вашему начальнику то, для чего я приехал. Повторяю: это огромной важности дело. Пожалуйста, возьмите мое оружие, если вы боитесь, что я убегу...

Красный командир стал расстегивать портупею.

— Сымай! Сымай! — торопил его один из казаков.

Снятые наган и сабля перешли в руки помкомвзвода.

— Обыщите сердобского командира! — приказал он, садясь на принадлежавшего красному командиру коня.

Захваченного обыскали. Помкомвзвода и казак Выпряжкин погнали его в хутор. Он шел пешком, рядом с ним шагал Выпряжкин, нес наперевес австрийский карабин, а позади ехал верхом довольный помкомвзвода.

Минут десять двигались молча. Конвоируемый часто закуривал, останавливаясь, полой шинели прикрывая гаснущие на ветру спички. Запах хороших папирос вывел Выпряжкина из терпения.

— Дай-ка мне,—попросил он.
— Пожалуйста!

Выпряжкин взял кожаный походный портсигар, набитый папиросами, достал из него папироску, а портсигар сунул себе в карман. Командир промолчал, но спустя немного, когда вошли в хутор, спросил:

— Вы куда меня ведете?
— Там узнаешь.
— А все же?
— К командиру сотни.
— Вы меня ведите к командиру бригады Богатыреву.
— Нету тут такого.
— Как это — нет? Мне известно, что он вчера прибыл со штабом в Бахмуткин и сейчас здесь.
— Нам про это неизвестно.
— Ну, полноте, товарищи! Мне известно, а вам неизвестно... Это не есть военный секрет, особенно когда он уже стал известен вашим врагам.
— Иди, иди!
— Я иду. Так вы меня сведите к Богатыреву.
— Помалкивай! Мне с тобой, по правилам службы, не дозволено гутарить.
— А портсигар взять — это дозволено по правилам службы?
— Мало ли что!.. Ступай, да язык придави, а то и шинелю зараз сопру. Ишь обидчивый какой!

Сотенного насилу растолкали. Он долго тер кулаками глаза, зевал, морщился и никак не мог уразуметь того, что ему говорил сияющий от радости помкомвзвода.

— Кто такой? Командир Сердобского полка? А ты не брешешь? Давай документы.

Через несколько минут он вместе с красным командиром шел на квартиру командующего бригадой Богатырева. Богатырев вскочил, как встрепанный, едва услышал о том, что захвачен и приведен командир Сердобского полка. Он застегнул шаровары, набросил на свои плотные плечи подтяжки, зажег пятилинейную лампочку, спросил у стоявшего навытяжку возле двери красного командира:

— Вы командир Сердобского полка?
— Да, я командир Сердобского полка Вороновский.
— Садитесь.
— Благодарю.
— Как вас... При каких условиях захватили?

— Я сам ехал к вам. Мне надо поговорить с вами наедине. Прикажите посторонним выйти.

Богатырев махнул рукой, и сотенный, пришедший с красным командиром, и стоявший с открытым ртом хозяин дома — рыжебородый старовер — вышли. Богатырев, потирая голо остриженную темную и круглую, как арбуз, голову, сидел за столом в одной грязной нижней рубахе. Лицо его, с отечными щеками и красными полосами от неловкого сна, выражало сдержанное любопытство.

Вороновский, невысокий плотный человек, в ловко подогнанной шинели, стянутой наплечными офицерскими ремнями, расправил прямые плечи; под черными подстриженными усами его скользнула улыбка.

— Надеюсь, с офицером имею честь? Разрешите два слова о себе, а потом уж о той миссии, с которой я к вам прибыл... Я в прошлом — дворянин по происхождению и штабс-капитан царской службы. В годы войны с Германией служил в Сто семнадцатом Любомирском стрелковом полку. В тысяча девятьсот восемнадцатом году был мобилизован по декрету Советского правительства как кадровый офицер. В настоящее время, как вам уже известно, командую в Красной Армии Сердобским полком. Находясь в рядах Красной Армии, я давно искал случая перейти на вашу... на сторону борющихся с большевиками...

— Долго вы, господин штабс-капитан, искали случая...

— Да, но мне хотелось искупить свою вину перед Россией и не только самому перейти (это можно было бы осуществить давно), но и увести с собой красноармейскую часть, те ее элементы, конечно, наиболее здоровые, которые коммунистами были обмануты и вовлечены в эту братоубийственную войну.

Бывший штабс-капитан Вороновский глянул узко поставленными серыми глазами на Богатырева и, заметив его недоверчивую улыбку, вспыхнул, как девушка, заторопился:

— Естественно, господин Богатырев, что вы можете питать ко мне и к моим словам известное недоверие... На вашем месте я, очевидно, испытывал бы такие же чувства. Вы разрешите мне доказать вам это фактами... Неопровержимыми фактами...

Отвернув полу шинели, он достал из кармана защитных брюк перочинный нож, нагнулся так, что заскрипели наплечные ремни, и осторожно стал подпарывать плотно

зашитый борт шинели. Спустя минуту извлек из распоротой бортовки пожелтевшие бумаги и крохотную фотографическую карточку.

Богатырев внимательно прочитал документы. В одном из них удостоверялось, что «предъявитель сего есть действительно поручик 117-го Любомирского стрелкового полка Вороновский, направляющийся после излечения в двухнедельный отпуск по месту жительства — в Смоленскую губернию». На удостоверении стояла печать и подпись главврача походного госпиталя № 8 14-й Сибирской стрелковой дивизии. Остальные документы на имя Вороновского непреложно говорили о том, что Вороновский подлинно был офицером, а с фотографической карточки на Богатырева глянули веселые, узкие в поставе глаза молодого подпоручика Вороновского. На защитном щегольском френче поблескивал офицерский Георгий, и девственная белизна погонов резче оттеняла смуглые щеки подпоручика, темную полоску усов.

— Так что же? — спросил Богатырев.

— Я приехал сообщить вам, что мною, совместно с моим помощником, бывшим поручиком Волковым, красноармейцы сагитированы, и весь целиком состав Сердобского полка, разумеется — за исключением коммунистов, готов в любую минуту перейти на вашу сторону. Красноармейцы — почти все крестьяне Саратовской и Самарской губерний. Они согласны драться с большевиками. Нам необходимо сейчас же договориться с вами об условиях сдачи полка. Полк сейчас находится в Усть-Хоперской, в нем около тысячи двухсот штыков, в комячейке — тридцать восемь, плюс взвод из тридцати человек местных коммунистов. Мы захватим приданную нам батарею, причем прислугу, вероятно, придется уничтожить, так как там преобладающее большинство коммунистов. Среди моих красноармейцев идет брожение на почве тягот, которые несут их отцы от продразверстки. Мы воспользовались этим обстоятельством и склонили их на переход к казакам... к вам, то есть. У моих солдат есть опасения, как бы при сдаче полка не было над ними учинено насилия... Вот по этому вопросу,— это, конечно, частности, но...— я и должен с вами договориться.

— Какое насилие могет быть?

— Ну, убийства, ограбления...

— Нет, этого не допустим!

— И еще: солдаты настаивают на том, чтобы Сердобский полк был сохранен в своем составе и дрался с больше-

виками вместе с вами, но самостоятельной боевой единицей.

— Этого сказать я вам...

— Знаю! Знаю! Вы снесетесь с вашим высшим командованием и поставите нас в известность.

— Да, я должен сообщить в Вёшки.

— Простите, у меня очень мало времени, и если я опоздаю на лишний час, то мое отсутствие может быть замечено комиссаром полка. Я считаю, что мы договоримся об условиях сдачи. Поторопитесь сообщить мне решение вашего командования. Полк могут перебросить к Донцу или пришлют новое пополнение, и таким образом...

— Да, я сейчас же с коннонарочным пошлю в Вёшки.

— И еще: прикажите вашим казакам возвратить мне оружие. Меня не только обезоружили,— Вороновский оборвал свою гладкую речь и полусмущенно улыбнулся,— но и взяли... портсигар. Это, конечно, пустяки, но портсигар мне дорог как фамильная вещь...

— Вам его вернут. Как вам сообщить, когда получу ответ из Вёшек?

— К вам сюда, в Бахмуткин, придет через два дня женщина из Усть-Хоперской. Пароль... ну, допустим — «единение». Ей вы сообщите. Безусловно на словах...

* * *

Через полчаса один из казаков Максаевской сотни наметом скакал на запад, в Вешенскую...

На другой день личный ординарец Кудинова прибыл в Бахмуткин, разыскал квартиру командира бригады и, даже коня не привязав, вошел в курень, передал Григорию Богатыреву пакет с надписью: «В. срочно. Совершенно секретно». Богатырев с живейшим нетерпеньем сломал сургучную печать. На бланке Верхне-Донского окружного совета размашисто, рукою самого Кудинова, было написано:

Доброго здоровья, Богатырев! Новость очень радостная. Уполномочиваем тебя вести с сердобцами переговоры и любой ценой склонить их на сдачу. Предлагаю пойти им на уступки и посулить, что примем полк целиком и даже обезоруживать не будем. Непременным условием поставь захват и выдачу коммунистов, комиссара полка, а главное — наших вешенских, еланских и устьхоперских коммунистов. Пускай обязательно захватят батарею, обоз, материальную часть. Всемерно ускорь это дело! К месту, куда прибудет полк, стяни побольше своих сил, потихоньку окружи и сейчас же приступи к обезоруживанию. Ежели зашеборшат,—

выбей их всех до одного человека. Действуй осторожно, но решительно. Как только обезоружишь,— направляй гуртом весь полк в Вешенскую. Гони их правой стороной, так удобнее, затем, что на этой и фронт будет дальше, и степь голая,— не уйдут, ежели опамятуются и вздумают убегать. Направляй их над Доном, по хуторам, а внахирку за ними пошли две конных сотни. В Вешках мы их по два, по три бойца рассортируем по сотням, поглядим, как они будут своих бить. А там — не наше дело печаль: соединимся со своими, какие за Донцом, они их тогда пускай судят и делают с ними что хотят. По мне хоть всех пускай перевешают. Не жалко. Радуюсь твоей успешности. Каждодневно сообщай нарочным.

Кудинов

В приписке стояло:

Ежели наших местных коммунистов сердобцы выдадут,— гони их под усиленным конвоем в Вешки, тоже по хуторам. Но сначала пропусти сердобцев. В конвой поручи отобрать самых надежных казаков (полютей да стариковатых), пускай они их гонют и народу широко заранее оповещают. Нам об них и руки поганить нечего, их бабы кольями побьют, ежели дело умело и с умом поставить. Понял? Нам эта политика выгодней: расстреляй их,— слух дойдет и до красных — мол, пленных расстреливают; а этак проще, народ на них натравить, гнев людской спустить, как цепного кобеля. Самосуд — и все. Ни спроса, ни ответа!

XLVIII

12 апреля 1-й Московский полк был жестоко потрепан в бою с повстанцами под хутором Антоновом Еланской станицы.

Плохо зная местность, красноармейские цепи с боем сошли в хутор. Редкие казачьи дворы, словно на островах, угнездились на крохотных участках твердой супесной земли, а замощенные хворостом улицы и проулки были проложены по невылазной болотистой топи. Хутор тонул в густейшей заросли ольшаника, в мочажинной, топкой местности. На искрайке его протекала речка Еланка, мелководная, но с илистым, стрямким дном.

Цепью пошли стрелки 1-го Московского сквозь хутор, но едва миновали первые дворы и вошли в ольшаник, как обнаружилось, что цепью пересечь ольшаник нельзя. Командир 2-го батальона — упрямый латыш — не слушал доводов ротного, еле выручившего из глубокого просова свою застрявшую лошадь, скомандовал: «Вперед!» — и первый смело побрел по зыбкой, покачивающейся почве. Заколебавшиеся было красноармейцы двинулись следом за ним, на руках неся пулеметы. Прошли саженей пятьдесят, по колено увязая в иле, и вот тут-то с правого фланга покатилось по цепи: «Обходят!», «Казаки!», «Окружили!».

Две повстанческие сотни действительно обошли батальон, ударили с тыла.

В ольшанике 1-й и 2-й батальоны потеряли почти треть состава, отступили.

В этом бою самодельной повстанческой пулей был ранен в ногу Иван Алексеевич. Его на руках вынес Мишка Кошевой и, за малым не заколов красноармейца, скакавшего по дамбе, заставил взять раненого на патронную двуколку.

Полк был опрокинут, отброшен до хутора Еланского. Поражение губительно отозвалось на исходе наступления всех красноармейских частей, продвигавшихся по левой стороне Дона. Малкин из Букановской вынужден был отойти на двадцать верст севернее, в станицу Слащевскую; а потом, теснимый повстанческими силами, развивавшими бешеное наступление и во много раз численно превосходившими малкинскую дружину, за день до ледохода переправился через Хопер, утопив нескольких лошадей, и двинулся на станицу Кумылженскую.

1-й Московский, отрезанный ледоходом в устье Хопра, переправился через Дон на правобережье; ожидая пополнения, стал в станице Усть-Хоперской. Вскоре туда прибыл Сердобский полк. Кадры его по составу резко отличались от кадров 1-го Московского. Рабочие — москвичи, туляки, нижегородцы, составлявшие боевое ядро Московского полка,— дрались мужественно, упорно, неоднократно сходясь с повстанцами врукопашную, ежедневно теряя убитыми и ранеными десятки бойцов. Только ловушка в Антоновом временно вывела полк из строя, но, отступая, он не оставил врагам ни единой обозной двуколки, ни единой патронной цинки. А рота сердобцев в первом же бою под хутором Ягодинским не выдержала повстанческой конной атаки; завидя казачью лаву, бросила окопы и, несомненно, была бы вырублена целиком, если бы не пулеметчики-коммунисты, отбившие атаку шквальным пулеметным огнем.

Сердобский полк наспех сформировался в городе Сердобске. Среди красноармейцев — сплошь саратовских крестьян поздних возрастов — явно намечались настроения, ничуть не способствовавшие поднятию боевого духа. В роте было удручающе много неграмотных и выходцев из зажиточно-кулацкой части деревни. Комсостав полка наполовину состоял из бывших офицеров; комиссар — слабохарактерный и безвольный человек — не пользовался среди красноармейцев авторитетом; а изменники — командир полка, начштаба и двое ротных командиров,— задумав сдать полк, на глазах ничего не видевшей ячейки вели пре-

ступную работу по деморализации красноармейской массы через посредство контрреволюционно настроенных, затесавшихся в полк кулаков, вели против коммунистов искусную агитацию, сеяли неверие в успешность борьбы по подавлению восстания, подготовляя сдачу полка.

Штокман, стоявший на одной квартире с тремя сердобцами, тревожно присматривался к красноармейцам и окончательно убедился в серьезнейшей угрозе, нависшей над полком, после того как однажды резко столкнулся с сердобцами.

27-го, уже в сумерки, на квартиру пришли двое сердобцев второй роты. Один из них, по фамилии Горигасов, не поздоровавшись, с поганенькой улыбочкой посматривая на Штокмана и лежавшего на кровати Ивана Алексеевича, сказал:

— Довоевались! Дома хлеб у родных забирают, а тут приходится воевать неизвестно за что...

— Тебе неизвестно, за что ты воюешь? — резко спросил Штокман.

— Да, неизвестно! Казаки — такие же хлеборобы, как и мы! Знаем, против чего они восстали! Знаем...

— А ты, сволочь, знаешь, чьим ты языком говоришь? Белогвардейским! — вскипел обычно сдержанный Штокман.

— Ты особенно-то не сволочи! А то получишь по усам!.. Слышите, ребята? Какой нашелся!

— Потише! Потише, бородатый! Мы вас, таковских, видывали! — вмешался другой, низенький и плотный, как мучной куль.— Ты думаешь, если ты коммунист, так можешь нам на горло наступать? Смотри, а то мы из тебя выбьем норов!

Он заслонил собою щупленького Горигасова, напирал на Штокмана, заложив куцые сильные руки за спину, играя глазами.

— Вы что же это?.. Все белым духом дышите? — задыхаясь, спросил Штокман и с силой оттолкнул наступавшего на него красноармейца.

Тот качнулся, вспыхнул, хотел было ухватить Штокмана за руку, но Горигасов его остановил:

— Не связывайся!

— Это — контрреволюционные речи! Мы вас будем судить, как предателей Советской власти!

— Весь полк не отправишь в трибунал! — ответил один из красноармейцев, стоявших вместе со Штокманом на одной квартире.

Его поддержали:

— Коммунистам и сахар и папиросы, а нам — нету!

— Брешешь! — крикнул Иван Алексеевич, приподнимаясь на кровати.— То же, что и вы, получаем!..

Слова не говоря, Штокман оделся, вышел. Его не стали задерживать, но проводили насмешливыми восклицаниями.

Штокман застал комиссара полка в штабе. Он вызвал его в другую комнату, взволнованно передал о стычке с красноармейцами, предложил произвести аресты их. Комиссар выслушал его, почесывая огненно-рыжую бородку, нерешительно поправляя очки в черной роговой оправе.

— Завтра соберем собрание ячейки, обсудим положение. А арестовывать этих ребят я не считаю возможным в данной обстановке.

— Почему? — резко спросил Штокман.

— Знаете ли, товарищ Штокман... Я сам замечаю, что у нас в полку неблагополучно, вероятно — существует какая-то контрреволюционная организация, но прощупать ее не удается. А в сфере ее влияния — большинство полка. Крестьянская стихия, что поделаешь! Я сообщил о настроениях красноармейцев и предложил отвести полк и расформировать его.

— Почему вы не считаете возможным арестовать сейчас же этих агентов белогвардейщины и направить их в Ревтрибунал дивизии? Ведь такие разговоры — прямая измена!

— Да, но это может вызвать нежелательные эксцессы и даже восстание.

— Вот как? Так почему же вы, видя такое настроение большинства, давно не сообщили в политотдел?

— Я же вам сказал, что сообщил. Из Усть-Медведицы что-то медлят с ответом. Как только полк отзовут, мы строго покараем всех нарушителей дисциплины, и, в частности, тех красноармейцев, которые говорили сообщенное вами сейчас...— Комиссар, нахмурясь, шепотом добавил: — У меня на подозрении Вороновский и... начштаба Волков. Завтра же после собрания ячейки я выеду в Усть-Медведицу. Надо принять срочные меры по локализации этой опасности. Прошу вас держать в секрете наш разговор.

— Но почему нельзя сейчас созвать собрание коммунистов? Ведь время не терпит, товарищ!

— Я понимаю. Но сейчас невозможно. Большинство коммунистов в заставах и секретах... Я настоял на этом, так как доверять беспартийным в таком положении — неосмотрительно. Да и батарея, а в ней большинство коммунистов,

только сегодня ночью прибудет с Крутовского. Вызвал в связи вот с этими волнениями в полку.

Штокман вернулся из штаба, в коротких чертах передал Ивану Алексеевичу и Мишке Кошевому разговор с комиссаром полка.

— Ходить ты еще не можешь? — спросил он у Ивана Алексеевича.

— Хромаю. Раньше-то боялся рану повредить, ну, а уж зараз, хочешь — не хочешь, а придется ходить.

Ночью Штокман написал подробное сообщение о состоянии полка и в полночь разбудил Кошевого. Засовывая пакет ему за пазуху, сказал:

— Сейчас же добудь себе лошадь и скачи в Усть-Медведицу. Умри, а передай это письмо в политотдел Четырнадцатой дивизии... За сколько часов будешь там? Где думаешь лошадь добыть?

Мишка, кряхтя, набивал на ноги рыжие ссохшиеся сапоги, с паузами отвечал:

— Лошадь украду... у конных разведчиков, а доеду до Усть-Медведицы... самое многое... за два часа. Лошади-то в разведке плохие, а то бы... за полтора! В атарщиках служил... Знаю, как из лошади... всею резвость выжать.

Мишка перепрятал пакет, сунув его в карман шинели.

— Это зачем? — спросил Штокман.

— Чтобы скорее достать, ежели сердобцы схватят.

— Ну? — все недопонимал Штокман.

— Вот тебе и «ну»! Как будут хватать — достану и заглону его.

— Молодец! — Штокман скупо улыбнулся, подошел к Мишке и, словно томимый тяжким предчувствием, крепко обнял его, с силой поцеловал холодными дрожащими губами.— Езжай.

Мишка вышел, благополучно отвязал от коновязи одну из лучших лошадей конной разведки, шагом миновал заставу, все время держа указательный палец на спуске новенького кавалерийского карабина,— бездорожно выбрался на шлях. Только там перекинул он ремень карабина через плечо, начал вовсю «выжимать» из куцехвостой саратовской лошаденки несвойственную ей резвость.

XLIX

На рассвете стал накрапывать мелкий дождь. Зашумел ветер. С востока надвинулась черная буревая туча. Сердобцы, стоявшие на одной квартире со Штокманом и Иваном

Алексеевичем, встали, ушли, едва забрезжило утро. Полчаса спустя прибежал еланский коммунист Толкачев,— как и Штокман со своими ребятами, приставший к Сердобскому полку. Открыв дверь, он крикнул задыхающимся голосом:

— Штокман, Кошевой, дома? Выходите!

— В чем дело? Иди сюда! — Штокман вышел в переднюю комнату, на ходу натягивая шинель.— Иди сюда!

— Беда! — шептал Толкачев, следом за Штокманом входя во вторую комнату.— Сейчас пехота хотела разоружить возле станицы... возле станицы подъехавшую с Крутовского батарею. Была перестрелка... Батарейцы отбили нападение, орудийные замки сняли и на баркасах переправились на ту сторону...

— Ну, ну? — торопил Иван Алексеевич, со стоном натягивая на раненую ногу сапог.

— А сейчас возле церкви — митинг... Весь полк...

— Собирайся живо! — приказал Ивану Алексеевичу Штокман и схватил Толкачева за рукав теплушки.— Где комиссар? Где остальные коммунисты?..

— Не знаю... Кое-кто убежал, а я — к вам. Телеграф занят, никого не пускают... Бежать надо! А как бежать? — Толкачев растерянно опустился на сундук, уронив меж колен руки.

В это время по крыльцу загремели шаги, в хату толпою ввалились человек шесть красноармейцев-сердобцев. Лица их были разгорячены, исполнены злой решимости.

— Коммунисты, на митинг! Живо!

Штокман обменялся с Иваном Алексеевичем взглядом, сурово поджав губы:

— Пойдем!

— Оружие оставьте. Не в бой идете! — предложил было один из сердобцев, но Штокман, будто не слыша, повесил на плечо винтовку, вышел первый.

Тысяча сто глоток вразноголось ревели на площади. Жителей Усть-Хоперской станицы не было видно. Они попрятались по домам, страшась событий (за день до этого по станице упорные ходили слухи, что полк соединяется с повстанцами и в станице может произойти бой с коммунистами). Штокман первый подошел к глухо гомонившей толпе сердобцев, зашарил глазами, разыскивая кого-либо из командного состава полка. Мимо провели комиссара полка. Двое держали его за руки. Бледный комиссар, подталкиваемый сзади, вошел в гущу непостроенных красноармейских рядов. На несколько минут Штокман потерял

его из виду, а потом увидел уже в середине толпы стоящим на вытащенном из чьего-то дома ломберном столе. Штокман оглянулся. Позади, опираясь на винтовку, стоял охромевший Иван Алексеевич, а рядом с ним те красноармейцы, которые пришли за ними.

— Товарищи красноармейцы! — слабо зазвучал голос комиссара.— Митинговать в такое время, когда враг от нас — в непосредственной близости... Товарищи!

Ему не дали продолжать речь. Около стола, как взвихренные ветром, заколебались серые красноармейские папахи, закачалась сизая щетина штыков, к столику протянулись сжатые в кулаки руки, по площади, как выстрелы, зазвучали озлобленные короткие вскрики:

— Товарищами стали!

— Кожаную тужурочку-то скидывай!

— Обманул!

— На кого ведете?!

— Тяни его за ноги!

— Бей!

— Штыком его!

— Откомиссарился!

Штокман увидел, как огромный немолодой красноармеец влез на столик, сцапал левой рукой короткий рыжий оклад комиссаровой бородки. Столик качнулся, и красноармеец вместе с комиссаром рухнули на протянутые руки стоявших кругом стола. На том месте, где недавно был ломберный стол, вскипело серое месиво шинелей; одинокий отчаянный крик комиссара потонул в слитном громе голосов.

Тотчас же Штокман ринулся туда. Нещадно расталкивая, пиная тугие серошинельные спины, он почти рысью пробирался к месту, откуда говорил комиссар. Его не задерживали, а кулаками и прикладами толкали, били в спину, по затылку, сорвали с плеча винтовку, с головы — красноверхий казачий малахай.

— Куда тебя, че-о-орт?..— негодующе крикнул один из красноармейцев, которому Штокман больно придавил ногу.

У опрокинутого вверх ножками столика Штокману преградил дорогу приземистый взводный. Серой смушки папаха его была сбита на затылок, шинель распахнута настежь, по кирпично-красному лицу катил пот, разгоряченные, замаслившиеся неуемной злобой глаза косили.

— Куда пре-ошь?

— Слово! Слово рядовому бойцу!..— прохрипел Штокман, едва переводя дух, и мигом поставил столик на ноги.

Ему даже помогли взобраться на стол. Но по площади еще ходил перекатами яростный рев, и Штокман во всю мочь голосовых связок заорал: — Мол-ча-а-ать!..— и через полминуты, когда поулегся шум, надорванным голосом, подавляя кашель, заговорил: — Красноармейцы! Позор вам! Вы предаете власть народа в самую тяжелую минуту! Вы колеблетесь, когда надо твердой рукой разить врага в самое сердце! Вы митингуете, когда Советская страна задыхается в кольце врагов! Вы стоите на границе прямого предательства! По-че-му?! Вас продали казачьим генералам ваши изменники-командиры! Они — бывшие офицеры — обманули доверие Советской власти и, пользуясь вашей темнотой, хотят сдать полк казакам. Опомнитесь! Вашей рукой хотят помочь душить рабоче-крестьянскую власть!

Стоявший неподалеку от стола командир 2-й роты, бывший прапорщик Вейстминстер, вскинул было винтовку, но Штокман, уловив его движение, крикнул:

— Не смей! Убить всегда успеешь! Слово — бойцу-коммунисту! Мы — коммунисты всю жизнь... всю кровь свою... капля по капле...— голос Штокмана перешел на исполненный страшного напряжения тенорок, лицо мертвенно побледнело и перекосилось,—...отдавали делу служения рабочему классу... угнетенному крестьянству. Мы привыкли бесстрашно глядеть смерти в глаза! Вы можете убить меня...

— Слыхали!

— Будет править арапа!

— Дайте сказать!

— А ну, замолчать!

— ...убить меня, но я повторяю: опомнитесь! Не митинговать надо, а идти на белых! — Штокман провел узко сведенными глазами по притихшей красноармейской толпе и заметил невдалеке от себя командира полка Вороновского. Тот стоял плечом к плечу с каким-то красноармейцем; насильственно улыбаясь, что-то шептал ему.— Ваш командир полка...

Штокман протянул руку, указывая на Вороновского, но тот, приложив ко рту ладонь, что-то встревоженно шепнул стоявшему рядом с ним красноармейцу, и не успел Штокман докончить фразы, как в сыром воздухе, напитанном апрельской влагой молодого дождя, приглушенно треснул выстрел. Звук винтовочного выстрела был неполон, тих, будто хлопнули нахвостником кнута, но Штокман, лапая руками грудь, упал на колени, поник обнаженной седова-

той головой... И тотчас же, качнувшись, снова вскочил на ноги.

— Осип Давыдович! — простонал Иван Алексеевич, увидев вскочившего Штокмана, порываясь к нему, но его схватили за локти, шепнули:

— Молчи! Не рыпайся! Дай сюда винтовку, сво-ла-ачь!

Ивана Алексеевича обезоружили, обшарили у него карманы; повели с площади. В разных концах ее обезоруживали и хватали коммунистов. В проулке, около осадистого купеческого дома вспышкой треснули пять или шесть выстрелов,— убили коммуниста-пулеметчика, не отдававшего пулемет Льюиса.

А в это время Штокман, со вспузырившейся на губах розовой кровицей, судорожно икая, весь мертвенно-белый, с минуту раскачивался, стоя на ломберном столе, и еще успел выкрикнуть, напрягши последние, уходящие силы, остаток воли:

— ...Вас ввели в заблуждение!.. Предатели... они заработают себе прощение, новые офицерские чины... Но коммунизм будет жить!.. Товарищи!.. Опомнитесь!..

И снова стоявший рядом с Вороновским красноармеец вскинул к плечу винтовку. Второй выстрел опрокинул Штокмана навзничь, повалил со стола под ноги красноармейцев. А на стол молодо вскочил один из сердобцев, длиннортый и плоскозубый, с изъеденным оспою лицом, зычно крикнул:

— Мы много тут слухали разных посулов, но это все, дорогие товарищи, есть голая брехня и угрозы. Скопырнулся, лежит этот бородатый оратор, но собаке — собачья смерть! Смерть коммунистам — врагам трудового крестьянства! Я скажу, товарищи, дорогие бойцы, что наши теперь открытые глаза. Мы знаем, против кого надо идти! К примеру, у нас в Вольском уезде что было говорено? Равенство, братство народов! Вот что было говорено обманщиками-коммунистами... А что на самом деле получилось? Хотя бы мой папашка — прислал нам сообщение и слезное письмо, пишет: грабеж идет несусветный среди белого дня! У того же у моего папашки хлебец весь вымели и мельничушку забрали, а декрет так провозглашает за трудовое крестьянство? Если мельничушка эта трудовым по́том моих родителей нажитая, тогда, я вас спрашиваю,— это не есть грабеж коммунистов? Бить их в дым и кровь!

Оратору не пришлось закончить речь. С запада в станицу Усть-Хоперскую на рысях вошли две конные повстанческие сотни, с южного склона Обдонских гор спускалась

казачья пехота, под охраной полусотни съезжал со штабом командир 6-й повстанческой отдельной бригады хорунжий Богатырев.

И тотчас же из надвинувшейся с восхода тучи хлынул дождь, где-то за Доном, над Хопром разостлался глухой раскат грома.

Сердобский полк начал торопливо строиться, сдвоил ряды. И едва с горы показалась штабная конная группа Богатырева, бывший штабс-капитан Вороновский еще не слыханным красноармейцами командным рыком и клекотом в горле заорал:

— По-о-олк! Смирррр-на-ааа!..

L

Григорий Мелехов пять суток прожил в Татарском, за это время посеял себе и теще несколько десятин хлеба, а потом, как только из сотни пришел исхудавший от тоски по хозяйству, завшивевший Пантелей Прокофьевич,— стал собираться к отъезду в свою часть, по-прежнему стоявшую по Чиру. Кудинов секретным письмом сообщил ему о начавшихся переговорах с командованием Сердобского полка, попросил отправиться, принять командование дивизией.

В этот день Григорий собрался ехать в Каргинскую. В полдень повел к Дону напоить перед отъездом коня и, спускаясь к воде, подступившей под самые прясла огородов, увидел Аксинью. Показалось ли Григорию, или она на самом деле нарочно мешкала, лениво черпая воду, поджидая его, но Григорий невольно ускорил шаг, и за короткую минуту, пока подошел к Аксинье вплотную, светлая стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним...

Аксинья повернулась на звук шагов, на лице ее — несомненно притворное — выразилось удивление, но радость от встречи, но давняя боль выдали ее. Она улыбнулась такой жалкой, растерянной улыбкой, так не приставшей ее гордому лицу, что у Григория жалостью и любовью дрогнуло сердце. Ужаленный тоской, покоренный нахлынувшими воспоминаниями, он придержал коня, сказал:

— Здравствуй, Аксинья дорогая!

— Здравствуй.

В тихом голосе Аксиньи прозвучали оттенки самых чужеродных чувств — и удивления, и ласки, и горечи...

— Давно мы с тобой не гутарили.
— Давно.
— Я уж и голос твой позабыл...
— Скоро!
— А скоро ли?

Григорий держал напиравшего на него коня под уздцы, Аксинья, угнув голову, крючком коромысла цепляла ведерную дужку, никак не могла зацепить. С минуту простояли молча. Над головами их, как кинутая тетивой, со свистом пронеслась чирковая утка. Ненасытно облизывая голубые меловые плиты, билась у обрыва волна. По разливу, затопившему лес, табунились белорунные волны. Ветер нес мельчайшую водяную пыль, пресный запах с Дона, могущественным потоком устремлявшегося в низовья.

Григорий перевел взгляд с лица Аксиньи на Дон. Затопленные водой бледноствольные тополя качали нагими ветвями, а вербы, опушенные цветом — девичьими сережками, пышно вздымались над водой, как легчайшие диковинные зеленые облака. С легкой досадой и огорчением в голосе Григорий спросил:

— Что же?.. Неужели нам с тобой и погутарить не об чем? Что же ты молчишь?

Но Аксинья успела овладеть собой; на похолодевшем лице ее уже не дрогнул ни единый мускул, когда она отвечала:

— Мы свое, видно, уже отгутарили...
— Ой ли?
— Да так уж, должно быть! Деревцо-то — оно один раз в году цветет...
— Думаешь, и наше отцвело?
— А то нет?
— Чудно́ все это как-то...— Григорий допустил коня к воде и, глядя на Аксинью, грустно улыбнулся.— А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж дети у меня большие, да и сам я наполовину седой сделался, сколько годов промеж нами пропастью легли... А все думается о тебе. Во сне тебя вижу и люблю донынче. А вздумаю о тебе иной раз, начну вспоминать, как жили у Листницких... как любились с тобой... и от воспоминаний этих... Иной раз, вспоминаючи всю свою жизнь, глянешь,— а она, как порожний карман, вывернутый наизнанку...
— Я тоже... Мне тоже надо идтить... Загутарились мы.

Аксинья решительно подняла ведра, положила на выгнутую спину коромысла покрытые вешним загаром руки, было пошла в гору, но вдруг повернулась к Григорию ли-

цом, и щеки ее чуть приметно окрасил тонкий, молодой румянец.

— А ить, никак, наша любовь вот тут, возле этой пристани и зачиналась, Григорий. Помнишь? Казаков в энтот день в лагеря провожали,— заговорила она, улыбаясь, и в окрепшем голосе ее зазвучали веселые нотки.

— Все помню!

Григорий ввел коня на баз, поставил к яслям. Пантелей Прокофьевич, по случаю проводов Григория с утра не поехавший боронить, вышел из-под навеса сарая, спросил:

— Что же, скоро будешь трогаться? Зерна-то дать коню?

— Куда трогаться? — Григорий рассеянно взглянул на отца.

— Доброго здоровья! Да на Каргины-то.

— Я нынче не поеду!

— Что так?

— Да так... раздумал...— Григорий облизал спекшиеся от внутреннего жара губы, повел глазами по небу.— Тучки находят, должно дождь будет; а мне какой же край мокнуть по дождю?

— Краю нет,— согласился старик, но не поверил Григорию, так как несколько минут назад видел со скотиньего база его и Аксинью, разговаривавших на пристаньке. «Опять ухажи начались,— с тревогой думал старик.— Опять как бы не пошло у него с Натальей наперекосяк... Ах, туды его мать с Гришкой! И в кого он такой кобелина выродился? Неужли в меня?» Пантелей Прокофьевич перестал отесывать топором березовый ствол на дрожину, поглядел в сутулую спину уходившего сына и, наскоро порывшись в памяти, вспомнил, каким сам был смолоду, решил: «В меня, чертяка! Ажник превзошел отца, сучий хвост! Побить бы его, чтобы сызнова не начинал морочить Аксинье голову, не заводил смятения промеж семьи. Дак как его побить-то?»

В другое время Пантелей Прокофьевич, доглядев, что Григорий разговаривает с Аксиньей вдвоем, наиздальке от людей, не задумался бы потянуть его вдоль спины чем попадя, а в этот момент — растерялся, ничего не сказал и даже виду не подал, что догадался об истинных причинах, понудивших Григория внезапно отложить отъезд. И все это — потому, что теперь Григорий был уже не «Гришкой» — взгальным молодым казаком, а командиром дивизии, хотя и без погонов, но «генералом», которому подчинялись тысячи казаков и которого все называли теперь не

иначе как Григорием Пантелеевичем. Как же мог он, Пантелей Прокофьевич, бывший всего-навсего в чине урядника, поднять руку на генерала, хотя бы и родного сына? Субординация не позволяла Пантелею Прокофьевичу даже помыслить об этом, и оттого он чувствовал себя в отношении Григория связанно, как-то отчужденно. Всему виной было необычайное повышение Григория! Даже на пахоте, когда третьего дня Григорий сурово окрикнул его: «Эй, чего рот раззявил! Заноси плуг!..» — Пантелей Прокофьевич стерпел, слова в ответ не сказал... За последнее время они как бы поменялись ролями: Грнгорий покрикивал на постаревшего отца, а тот, слыша в голосе его командную хрипотцу, суетился, хромал, припадая на искалеченную ногу, старался угодить...

«Дождя напужался! А его, дождя-то, и не будет, откель ему быть, когда ветер с восходу и единая тучка посередь неба мельтешится! Подсказать Наталье?»

Озаренный догадкой, Пантелей Прокофьевич сунулся было в курень, но раздумал; убоявшись скандала, вернулся к недотесанной дрожине...

А Аксинья, как только пришла домой, опорожнила ведра, подошла к зеркальцу, вмазанному в камень печи, и долго взволнованно рассматривала свое постаревшее, но все еще прекрасное лицо. В нем была все та же порочная и манящая красота, но осень жизни уже кинула блеклые краски на щеки, пожелтила веки, впряла в черные волосы редкие паутинки седины, притушила глаза. Из них уже глядела скорбная усталость.

Постояла Аксинья, а потом подошла к кровати, упала ничком и заплакала такими обильными, облегчающими и сладкими слезами, какими не плакала давным-давно.

Зимою над крутобережным скатом Обдонской горы, где-нибудь над выпуклой хребтиной спуска, именуемого в просторечье «тиберем», кружат, воют знобкие зимние ветры. Они несут с покрытого голызинами бугра белое крошево снега, сметают его в сугроб, громоздят в пласты. Сахарно-искрящаяся на солнце, голубая в сумерки, бледно-сиреневая по утрам и розовая на восходе солнца — повиснет над обрывом снежная громадина. Будет она, грозная безмолвием, висеть до поры, пока не подточит ее из-под исподу оттепель или, обремененную собственной тяжестью, не толкнет порыв бокового ветра. И тогда, влекомая вниз, с глухим и мягким гулом низринется она, сокрушая на своем пути мелкорослые кусты терновника, ломая, застенчиво жмущиеся по склону деревца боярышника, стре-

мительно влача за собой кипящий, вздымающийся к небу серебряный подол снежной пыли...

Многолетнему чувству Аксиньи, копившемуся подобно снежному наносу, нужен был самый малый толчок. И толчком послужила встреча с Григорием, его ласковое: «Здравствуй, Аксинья дорогая!» А он? Он ли не был ей дорог? Не о нем ли все эти годы вспоминала она ежедневно, ежечасно, в навязчивых мыслях возвращаясь все к нему же? И о чем бы ни думала, что бы ни делала, всегда неизменно, неотрывно в думках своих была около Григория. Так ходит по кругу в чигире слепая лошадь, вращая вокруг оси поливальное колесо...

Аксинья до вечера пролежала на кровати, потом встала, опухшая от слез, умылась, причесалась и с лихорадочной быстротой, как девка перед смотринами, начала одеваться. Надела чистую рубаху, шерстяную бордовую юбку, покрылась, мельком взглянула на себя в зеркальце, вышла.

Над Татарским сизые стояли сумерки. Где-то на разливе полой воды тревожно гагакали казарки. Немощно бледный месяц вставал из-под обдонских тополей. На воде лежала волнующаяся рябью зеленоватая стежка лунного света. Со степи еще засветло вернулся табун. По базам мычали не наевшиеся молодой зеленки коровы. Аксинья не стала доить свою корову. Она выгнала из закута белоноздрого телка, припустила его к матери, и телок жадно прирос губами к тощему вымени, вертя хвостом, напряженно вытянув задние ноги.

Дарья Мелехова только что подоила корову и с цедилкой и ведром в руке направилась в курень, как ее окликнули из-за плетня:

— Даша!

— Кто это?

— Это я, Аксинья... Зайди зараз ко мне на-час.

— Чего это я тебе понадобилась?

— Дюже нужна! Зайди! Ради Христа!

— Процежу вот молоко, зайду.

— Ну так я погожу тебя возле база.

— Ладно!

Спустя немного Дарья вышла. Аксинья ждала ее возле своей калитки. От Дарьи исходил теплый запах парного молока, запах скотиньего база. Она удивилась, увидев Аксинью не с подоткнутым подолом, а разнаряженную, чистую.

— Рано ты, соседка, управилась.

— Моя управа короткая без Степана. Одна корова за

мной, почти не стряпаюсь... Так, всухомятку что-нибудь пожую — и все...

— Ты чего меня кликала?

— А вот зайди ко мне в курень на-час. Дело есть...

Голос Аксиньи подрагивал. Дарья, смутно догадываясь о цели разговора, молча пошла за ней.

Не зажигая огня, Аксинья, как только вошла в горенку, открыла сундук, порылась в нем и, ухватив руку Дарьи своими сухими и горячими руками, стала торопливо надевать ей на палец кольцо.

— Чего это ты? Это, никак, кольцо? Это мне, что ли?..

— Тебе! Тебе. От меня... в память...

— Золотое? — деловито осведомилась Дарья, подходя к окну, при тусклом свете месяца рассматривая на своем пальце колечко.

— Золотое. Носи!

— Ну, спаси Христос!.. Чего нужно, за что даришь?

— Вызови мне... вызови Григория вашего.

— Опять, что ли? — Дарья догадчиво улыбнулась.

— Нет, нет! Ой, что ты! — испугалась Аксинья, вспыхнув до слез.— Мне с ним погутарить надо об Степане... Может, он ему отпуск бы исхлопотал...

— А ты чего же не зашла к нам? Там бы с ним и погутарила, раз у тебя до него дело,— съехидничала Дарья.

— Нет, нет... Наталья могет подумать... Неловко...

— Ну уж ладно, вызову. Мне его не жалко!

* * *

Григорий кончил вечерять. Он только что положил ложку, обсосал и вытер ладонью смоченные взваром усы. Почувствовал, что под столом ноги его касается чья-то чужая нога, повел глаза и заметил, как Дарья чуть приметно ему мигнула.

«Ежели она мною покойного Петра хочет заменить и зараз что-нибудь скажет про это,— побью! Поведу ее на гумно, завяжу над головою юбку и выпорю, как суку!» — озлобленно подумал Григорий, все это время хмуро принимавший ухаживанья невестки. Но, вылезши из-за стола и закурив, он не спеша пошел к выходу. Почти сейчас же вышла и Дарья.

Проходя в сенцах мимо Григория, на лету прижавшись к нему грудью, шепнула:

— У, злодеюка! Иди уж... Кликала тебя.

— Кто? — дыхом спросил Григорий.

— Она.

Спустя час, после того как Наталья с детьми уснула, Григорий в наглухо застегнутой шинели вышел с Аксиньей из ворот астаховского база. Они молча постояли в темном проулке и так же молча пошли в степь, манившую безмолвием, темнотой, пьяными запахами молодой травы. Откинув полу шинели, Григорий прижимал к себе Аксинью и чувствовал, как дрожит она, как сильными редкими толчками бьется под кофтенкой ее сердце...

LI

На другой день, перед отъездом Григорий коротко объяснился с Натальей. Она отозвала его в сторону, шепотом спросила:

— Куда ночью ходил? Откель это так поздно возвернулся?

— Так уж и поздно!

— А то нет? Я проснулась — первые кочета кричали, а тебя ишо все не было...

— Кудинов приезжал. Ходил к нему по своим военным делам совет держать. Это — не твоего бабьего ума дело.

— А чего же он к нам не заехал ночевать?

— Спешил в Вёшки.

— У кого же он остановился?

— У Абощенковых. Они ему какой-то дальней родней доводются, никак.

Наталья больше ни о чем не спросила. Заметно было в ней некое колебание, но в глазах посвечивала скрытность, и Григорий так и не понял — поверила или нет.

Он наскоро позавтракал. Пантелей Прокофьевич пошел седлать коня, а Ильинична, крестя и целуя Григория, зашептала скороговоркой:

— Ты бога-то... бога, сынок, не забывай! Слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил... Господи! Да ты, Гришенька, опамятуйся! У тебя ить вон, гля, какие дети растут, и у энтих, загубленных тобой, тоже небось детки поостались... Ну, как же так можно? В измальстве какой ты был ласковый да желанный, а зараз так и живешь со сдвинутыми бровями. У тебя уж, гляди-кось, сердце как волчиное исделалось... Послухай матерю, Гришенька! Ты ить тоже не заговоренный, и на твою шею шашка лихого человека найдется...

Григорий невесело улыбнулся, поцеловал сухую мате-

ринскую руку, подошел к Наталье. Та холодно обняла его, отвернулась, и не слезы увидел Григорий в сухих ее глазах, а горечь и потаенный гнев... Попрощался с детишками, вышел...

Придерживая стремя ногой, держась за жесткую конскую гриву, почему-то подумал: «Ну вот, опять по-новому завернулась жизня, а на сердце все так же холодновато и пусто... Видно, и Аксютка зараз не сумеет заслонить эту пустоту...»

Не оглядываясь на родных, толпившихся возле ворот, он шагом поехал по улице и, проезжая мимо астаховского куреня, искоса поглядывая на окна, увидел в просвете крайнего в горнице окна Аксинью. Она, улыбаясь, махнула ему расшитой утиркой и сейчас же скомкала ее, прижала ко рту, к потемневшим от бессонной ночи глазницам...

Григорий поскакал шибкой полевой рысью. Выбрался на гору и тут увидел на летнем шляху медленно подвигавшихся навстречу ему двух всадников и подводу. В верховых узнал Антипа Бреховича и Стремянникова — молодого черненького и бойкого казачишку с верхнего конца хутора. «Битых везут»,— догадался Григорий, поглядывая на бычиную подводу. Еще не поравнявшись с казаками, спросил:

— Кого везете?

— Алешку Шамиля, Томилина Ивана и Якова Подкову.

— Убитые?

— Насмерть!

— Когда?

— Вчера перед закатом солнца.

— Батарея целая?

— Целая. Это их, батарейцев-то наших, отхватили красные на квартире в Калиновом Углу. А Шамиля порубили так... дуриком!

Григорий снял папаху, слез с коня. Подводчица, немолодая казачка с Чира, остановила быков. На повозке рядком лежали зарубленные казаки. Не успел Григорий подойти к ней, как ветерком уже нанесло на него сладковато-приторный запах. Алешка Шамиль лежал в середине. Синий старенький чекменишка его был распахнут, холостой рукав был подложен под разрубленную голову, а култышка давным-давно оторванной руки, обмотанная грязной тряпочкой, всегда такая подвижная, была судорожно прижата к выпуклому заслону бездыханной груди. В мертвом оскале белозубого Алешкиного рта навек застыла лютая

злоба, но полубяневшие глаза глядели на синее небо, на проплывавшее над степью облачко со спокойной и, казалось, грустной задумчивостью...

У Томилина лицо было неузнаваемо; да, собственно, и лица-то не было, а так, нечто красное и бесформенное, наискось стесанное сабельным ударом. Лежавший на боку Яков Подкова был шафранно-желт, кривошей, оттого что ему почти начисто срубили голову. Из-под расстегнутого ворота защитной гимнастерки торчала белая кость перерубленной ключицы, а на лбу, повыше глаза, черной лучистой прозвездью кровянел пулевой надрез. Кто-то из красноармейцев, видимо сжалившись над трудно умиравшим казаком, выстрелил в него почти в упор, так что даже ожог и черные пятнышки порохового запала остались на мертвом лице Якова Подковы.

— Ну, что же, братцы, давайте помянем своих хуторян, покурим за упокой их,— предложил Григорий и, отойдя в сторону, отпустил подпруги на седле, разнуздал коня и, примотав повод к левой передней ноге его, пустил пощипать шелковистой, стрельчато-вытянувшейся зеленки.

Антип и Стремянников охотно спешились, стреножили коней, пустили на попас. Прилегли. Закурили. Григорий, поглядывая на клочковатошерстого, еще не вылинявшего быка, тянувшегося к мелкому подорожнику, спросил:

— А Шамиль как погиб?

— Веришь, Пантелевич,— через свою дурь!

— Как?

— Да видишь, как оно получилось,— начал Стремянников.— Вчера, солнце с полден, выехали мы в разъезд. Платон Рябчиков сам послал нас под командой вахмистра... Чей он, Антип, вахмистр наш, с каким вчера ездили?

— А чума его знает!

— Ну да черт с ним! Он — незнакомый нам, чужой сотни. Да-а-а... Стал быть, едем мы себе, четырнадцать нас казаков, и Шамиль с нами. Он вчера весь день был веселый такой, значится сердце его ничего ему не могло подсказать! Едем, а он култышкой своей мотает, повод на луку кинул и гутарит: «Эх, да когда уж наш Григорий Пантелеев приедет! Хучь бы выпить с ним ишо да песенки заиграть!» И так, покеда доехали до Латышевского бугра, все раздишканивал:

Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи.
Из берданочков стреляли,
Все — донские казачки!

И вот таким манером съехали мы — это уже возле ажник Топкой балки — в лог, а вахмистр и говорит: «Красных нигде, ребята, не видать. Они, должно, ишо из слободы Астаховой не выгружались. Мужики — они ленивые рано вставать, небось до се полуднуют, хохлачьих курей варют-жарют. Давайте и мы трошки поотдохнем, а то уж и кони наши взмокрели».— «Ну, что ж, говорим, ладно». И вот спешились, лежим на траве, одного дозорного выслали на пригорок. Лежим, гляжу, Алешка, покойник, возля своего коня копается, чересподушечную подпругу ему отпущает. Я ему говорю: «Алексей, ты бы подпруги-то не отпущал, а то, не дай бог такого греха, прийдется естренно выступать, а ты когда ее подтянешь, подпругу-то, своей калекой-рукой?» Но он оскаляется: «Ишо скорей тебя управлюсь! Ты чего меня, кужонок зеленый, учишь?» Ну, с тем ослобонил подпругу, коня разнуздал. Лежим, кто курит, кто сказочками займается, а кто дремлет. А дозорный-то наш тем часом тоже придремал. Лег — туды ж его в перемет! — под кургашек и сны пущает. Только слышу — вроде издалека конь пырскнул. Лень мне было вставать, но все ж таки встал, вылез из того лога на бугор. Глядь, а с сотенник от нас по низу балочки красные едут. Попереди у них командир на гнедом коне. Конь под ним, как илев. И дисковый пулемет везут. Я тут кубырком в лог, шумлю: «Красные! По коням!» И они могли меня узрить. Зараз же слышим — команду у них там подают. Попа́дали мы на коней, вахмистр было палаш обнажил, хотел в атаку броситься. А где же там в атаку, коли нас — четырнадцать, а их полусотня, да ишо пулемет при них! Кинулись мы ве́рхи бечь, они было полосканули из пулемета, но только видют, что пулеметом им нас не посечь, затем что спасает нас балка. Тогда они пошли в угон за нами. Но у нас кони резвей, отскакали мы, сказать, на лан длиннику, упали с коней и зачали весть отстрел. И только тут видим, что Алешки Шамиля с нами нету. А он, значит, когда поднялася томаха — к коню, черк целой рукою-то за луку, и только ногой — в стремю, а седло — коню под пузо. Не вспопашился вскочить на коня и остался Шамиль глаз на глаз с красными, а конь прибег к нам, из ноздрей ажник полымем бьет, а седло под пузой мотается. Такой полохливый зараз стал, что и человека не подпущает, храпит, как черт! Вот как Алексей дуба дал! Кабы не отпущал чересподушечную,— живой бы был, а то вот...— Стремянников улыбнулся в черненькие усики, закончил: — Он надысь все игрывал:

Уж ты, дедушка-ведьмедюшка,
Задери мою коровушку,—
Опростай мою головушку...

Вот ему и опростали ее, головушку-то... Лица не призначишь! Там из него крови вышло, как из резаного быка... После, когда отбили красных, сбегли в этот ложок, видим — лежит. А крови под ним — огромадная лужчина, весь подплыл.

— Ну, скоро будем ехать? — нетерпеливо спросила подводчица, сдвигая с губ кутавший от загара лицо головной платок.

— Не спеши, тетка, в лепеши. Зараз доедем...

— Как же не спешить-то? От этих убиенных такой чижелый дух идет, ажник с ног шибает!

— А с чего же ему легкому духу быть? И мясу жрали покойники, и баб шшупали. А кто этими делами займается, энтот ишо и помереть не успеет, а уж зачинает приванивать. Гутарють, кубыть у одних святых после смерти парение идет, а по-моему — живая брехня. Какой бы святой ни был, а все одно после смерти, по закону естества, должно из него вонять, как из обчественного нужника. Все одно и они, святые-то, через утробу пищу примают, и кишок в них обретается положенные человеку от бога тридцать аршин...— раздумчиво заговорил Антип.

Но Стремянников неизвестно отчего вскипел, крикнул:

— Да на черта они тебе нужны? Связался со святыми! Давай ехать!

Григорий попрощался с казаками, подошел к повозке прощаться с мертвыми хуторянами и только тут заметил, что они все трое разуты добоса, а три пары сапог подостланы голенищами им под ноги.

— Зачем мертвых разули?

— Это, Григорь Пантелевич, наши казаки учинили... На них, на покойниках-то, добрая обувка была, ну, в сотне и присоветовали: доброе с них поснять для энтих, у кого плохонькая на ногах справа, а плохонькую привезть в хутор. У покойников ить семьи есть. Ну детва ихняя и плохую износит... Аникушка так и сказал: «Мертвым ходить уж не придется и вéрхи ездить — тоже. Дайте мне Алешкины сапоги, под ними подошва дюже надежная. А то я, покуда добуду с красного ботинки, могу от простуды окочуриться».

Григорий поехал и, отъезжая, слышал, как между казаками возгорался спор. Стремянников звонким тенорком кричал:

— Брешешь ты, Брехович! На то и батяня твой был Брех! Не было из казаков святых! Все они мужичьего роду.

— Нет, был!

— Брешешь, как кобель!

— Нет, был!

— Кто?

— А Егорий-победоносец?

— Тюууу! Окстись, чумовой! Да рази ж он ка́зак?

— Чистый донской, родом с низовой станицы, кубыть Семикаракорской.

— Ох, и гнешь! Хучь попарил бы спервоначалу. Не казак он!

— Не казак? А зачем его при пике изображают?

Дальше Григорий не слышал. Он тронул рысью, спустился в балочку и, пересекая Гетманский шлях, увидел, как подвода и верховые медленно съезжают с горы в хутор.

Почти до самой Каргинской ехал Григорий рысью. Легонький ветерок поигрывал гривой ни разу не запотевшего коня. Бурые длинные суслики перебегали дорогу, тревожно посвистывали. Их резкий предостерегающий посвист странным образом гармонировал с величайшим безмолвием, господствовавшим в степи. На буграх, на вершинных гребнях сбоку от дороги взлетывали самцы-стрепеты. Снежно-белый, искрящийся на солнце стрепеток, дробно и споро махая крыльями, шел ввысь, и достигнув зенита в подъеме, словно плыл в голубеющем просторе, вытянув в стремительном лете шею, опоясанную бархатисто-черным брачным ожерелком, удаляясь с каждой секундой. А отлетев с сотню саженей, снижался, еще чаще трепеща крылами, как бы останавливаясь на месте. Возле самой земли, на зеленом фоне разнотравья в последний раз белой молнией вспыхивало кипенно-горючее оперенье крыльев и гасло: стрепет исчезал, поглощенный травой.

Призывное, неудержимо-страстное «тржиканье» самцов слышалось отовсюду. На самом шпиле причирского бугра, в нескольких шагах от дороги, Григорий увидел с седла стрепетиный точок: ровный круг земли, аршина полтора в поперечнике, был плотно утоптан ногами бившихся за самку стрепетов. Ни былки не было внутри точка; одна серая пылица, испещренная крестиками следов, лежала ровным слоем на нем, да по обочинам на сухих стеблях бурьяна и полыни, подрагивая на ветру, висели бледно-пестрые с розовым подбоем стрепетиные перья, вырванные в бою из спин и хлупей ратоборствовавших стрепетов.

Неподалеку вскочила с гнезда серенькая, невзрачная стрепетка. Горбясь, как старушонка, проворно перебирая ножками, она перебежала под куст увядшего прошлогоднего донника и, не решаясь подняться на крыло, затаилась там.

Незримая жизнь, оплодотворенная весной, могущественная и полная кипучего биения, разворачивалась в степи: буйно росли травы; сокрытые от хищного человеческого глаза, в потаенных степных убежищах понимались брачные пары птиц, зверей и зверушек, пашни щетинились неисчислимыми остриями выметавшихся всходов. Лишь отживший свой век прошлогодний бурьян — перекати-поле — понуро сутулился на склонах, рассыпанных по степи сторожевых курганов, подзащитно жался к земле, ища спасения, но живительный, свежий ветерок, нещадно ломая его на иссохшем корню, гнал, катил вдоль и поперек по осиянной солнцем, восставшей к жизни степи.

Григорий Мелехов приехал в Каргинскую перед вечером. Через Чир переправился вброд; на стойле, около казачьей слободки, разыскал Рябчикова.

Наутро принял от него командование над разбросанными по хуторам частями своей 1-й дивизии и, прочитав последние присланные из штаба сводки, посоветовавшись со своим начштадивом Михаилом Копыловым, решил наступать на юг до слободы Астахово.

В частях ощущалась острая нехватка патронов. Необходимо было с боем добыть их. Это и было основной целью того наступления, которое Григорий решил предпринять.

К вечеру в Каргинскую было стянуто три полка конницы и полк пехоты. Из двадцати двух ручных и станковых пулеметов, имевшихся в дивизии, решено было взять только шесть: на остальные не было лент.

Утром дивизия пошла в наступление. Григорий, кинув где-то по дороге штаб, взял на себя командование 3-м конным полком, выслал вперед конные разъезды, походным порядком тронулся на юг, направлением на слободу Пономаревку, где, по сведениям разведки, сосредоточивались красноармейские пехотные полки 101-й и 103-й, в свою очередь готовившиеся наступать на Каргинскую.

Верстах в трех от станицы его догнал нарочный, вручил письмо от Кудинова.

Сердобский полк сдался нам! Все солдатишки разоружены, человек двадцать из них, которые было забухтели, Богатырев свел со света: приказал порубить. Сдали нам четыре орудия (но замки проклятые коммунисты-батарейцы успели поснять); более 200 снарядов и 9 пулеметов. У нас — великое ликование! Красноармейцев распихаем по пешим сот-

ням, заставим их бить своих. Как там у тебя? Да, чуть не забыл, захвачены твои земляки-коммунисты: Котляров, Кошевой и много еланских. Всем им наведут ухлай по дороге в Вешки. Ежели дюже нуждаешься в патронах, сообщи с сим подателем, вышлем штук 500.

Кудинов

— Ординарца! — крикнул Григорий.

Прохор Зыков подскакал тотчас же, но, видя, что на Григории лица нет, от испуга даже под козырек взял:

— Чего прикажешь?

— Рябчикова! Где Рябчиков?

— В хвосте колонны.

— Скачи! Живо его сюда!

Платон Рябчиков, на рыси обойдя походную колонну, поравнялся с Григорием. На белоусом лице его кожа была вышелушена ветрами, усы и брови, припаленные вешним солнцем, отсвечивали лисьей рыжиной. Он улыбался, на скаку дымил цигаркой. Темно-гнедой конь, сытый телом, нимало не сдавший за весенние месяцы, шел под ним веселой иноходью, посверкивая нагрудником.

— Письмо из Вешек? — крикнул Рябчиков, завидя около Григория нарочного.

— Письмо,— сдержанно отвечал Григорий.— Примай на себя полк и дивизию. Я выезжаю.

— Ну что же, езжай. А что за спешка? Что пишут? Кто? Кудинов?

— Сердобский полк сдался в Усть-Хопре...

— Ну-у-у? Живем ишо? Зараз едешь?

— Зараз.

— Ну, с богом. Покеда вернешься, мы уже в Астаховом будем!

«Захватить бы живым Мишку, Ивана Алексеева... Дознаться, кто Петра убил... и выручить Ивана, Мишку от смерти! Выручить... Кровь легла промеж нас, но ить не чужие ж мы?!» — думал Григорий, бешено охаживая коня плетью, намётом спускаясь с бугра.

LII

Как только повстанческие сотни вошли в Усть-Хоперскую и окружили митинговавших сердобцев, комбриг 6-й бригады Богатырев с Вороновским и Волковым удалились на совещание. Происходило оно тут же, возле площади, в одном из купеческих домов, и было коротко. Богатырев, не снимая с руки плети, поздоровался с Вороновским, сказал:

— Все хорошо. Это вам зачтется. А вот как это орудий вы не могли сохранить?

— Случайность! Чистая случайность, господин хорунжий! Артиллеристы были почти все коммунисты, они оказали нашим отчаянное сопротивление, когда их начали обезоруживать: убили двух красноармейцев и, сняв замки, убежали.

— Жалко! — Богатырев кинул на стол защитную фуражку с живым следом недавно сорванной с околыша офицерской кокарды и, вытирая грязным носовым платком голо остриженную голову, пот на побуревшем лице, скуповато улыбнулся: — Ну, да и это хорошо. Вы сейчас ступайте и скажите своим солдатам... Погутарьте с ними толком, чтобы они не того... не этого... чтобы они всё оружие сдали.

Вороновский, покоробленный начальственным тоном казачьего офицера, запинаясь, переспросил:

— Всё оружие?

— Ну я вам повторять не буду! Сказано — всё догола, значит, всё.

— Однако ведь вами, господин хорунжий, и вашим командованием было же принято условие полк не разоружать? Как же так?.. Ну, я понимаю, разумеется, что пулеметы, орудия, ручные гранаты — всё это мы безусловно должны сдать, а что касается вооружения красноармейцев...

— Красноармейцев теперича нет! — зло приподнимая бритую губу, повысил голос Богатырев и хлопнул по обрызганному грязью голенищу витою плетью.— Нету зараз красноармейцев, а есть солдаты, которые будут защищать донскую землю. Па-нят-на?.. А не будут, так мы сумеем их заставить! Нечего в похоронки играть! Шкодили тут на нашей земле, да ишо какие-то там условия выдумляешь! Нету промеж нас никаких условий! Панят-на?..

Начштаба Сердобского полка, молоденький поручик Волков, обиделся. Взволнованно бегая пальцами по пуговицам стоячего воротника своей черной суконной рубахи, ероша каракулевые завитки курчавейшего черного чуба, он резко спросил:

— Следовательно, вы считаете нас пленными? Так, что ли?

— Я тебе этого не сказал, а стало быть, нечего и наянливаться со своими угадками! — грубо оборвал его казачий комбриг, переходя на «ты» и уже явно выказывая, что собеседники его находятся от него в прямой и полной зависимости.

На минуту в комнате стало тихо. С площади доносился глухой гомон. Вороновский несколько раз прошелся по комнате, похрустел суставами пальцев, а потом на все пуговицы застегнул свой теплый, цвета хаки френч и, нервически помаргивая, обратился к Богатыреву:

— Ваш тон оскорбителен для нас и недостоин вас как русского офицера! Я вам это прямо говорю. И мы еще посмотрим, коли вы нас на это вызвали... посмотрим, как нам поступить... Поручик Волков! Приказываю вам: идите на площадь и скажите старшинам, чтобы ни в коем случае оружие казакам не сдавали! Прикажите полку стать в ружье. Я сейчас окончу разговор с этим... с этим господином Богатыревым и приду на площадь.

Лицо Богатырева черной лапой испятнил гнев, комбриг хотел что-то сказать, но, уже осознавая, что сильно переборщил, сдержался и тотчас же круто переменил обращение. Рывком нахлобучив фуражку, все еще люто поигрывая махорчатой плетью, заговорил, и в голосе его появились неожиданная мягкость и предупредительность:

— Господа, вы не так меня изволили понять. Я, конечно, воспитаниев не получал особых таких, в юнкерских школах не проходил наук и, может, не так объяснялся, ну да ить оно и не всякое лыко должно быть в строку. Мы ить все ж таки свои люди! Обиды промеж нас не должно быть. Как я сказал? Я сказал только, что надо зараз же ваших красноармейцев разоружить, особо какие из них для нас и для вас ненадежные... Я про этих и говорил!

— Так позвольте же! Надо было объясниться яснее, господин хорунжий! И потом, согласитесь, что ваш вызывающий тон, все ваше поведение...— Вороновский пожал плечами и уже миролюбивей, но с оттенком неостывшего негодования продолжал: — Мы сами думали, что колеблющихся, неустойчивых надо обезоружить и передать в ваше распоряжение...

— Вот-вот! Это самое!

— Так ведь и я же говорю, что мы решили сами их обезоружить. А что касается нашего боевого ядра, то мы его сохраним. Сохраним во что бы то ни стало! Я сам или вот поручик Волков, которому вы, не будучи с ним коротко знакомы, сочли позволительным для себя «тыкать»... Мы возьмем на себя командование и сумеем с честью смыть с себя позор нашего пребывания в рядах Красной Армии. Вы должны предоставить нам эту возможность.

— Сколько штыков будет в этой вашей ядре?

— Приблизительно около двухсот.

— Ну, что же, ладно,— нехотя согласился Богатырев. Он встал, приоткрыл дверь в коридор, зычно крикнул: — Хозяйка! — и, когда в дверях появилась пожилая, покрытая теплым платком женщина, приказал: — Пресного молока! На одной ноге мне!

— Молока у нас нет, извините, пожалуйста.

— Для красных небось было, а как нам — нету? — кисло улыбнулся Богатырев.

Снова неловкая тишина установилась в комнате. Поручик Волков прервал ее:

— Мне идти?

— Да,— со вздохом отвечал Вороновский.— Идите и прикажите, чтобы были разоружены те, которые намечены у нас по спискам. Списки у Горигасова и Вейстминстера.

Только задетое офицерское самолюбие понудило его сказать, что, дескать, «мы еще посмотрим, как нам поступить». На самом деле штабс-капитан Вороновский прекрасно понимал, что игра его сыграна и отступать уже некуда. По имевшимся у него сведениям, из Усть-Медведицы уже двигались и с часу на час должны были прибыть силы, брошенные штабармом на разоружение мятежного Сердобского полка. Но и Богатырев успел осознать, что Вороновский — надежный и абсолютно безопасный человек, которому теперь попятиться назад уже нельзя. Комбриг, на свою ответственность, согласился на сформирование из надежной части полка самостоятельной боевой единицы. На этом совещание окончилось.

А тем временем на площади повстанцы, не дожидаясь результатов совещания, уже приступили к энергичным действиям по разоружению сердобцев. По обозным полковым фурманкам и двуколкам шарили жадные казачьи глаза и руки, повстанцы брали нарасхват не только патроны, но и толстоподошвенные желтые красноармейские ботинки, мотки обмоток, теплушки, ватные штаны, продукты. Человек двадцать сердобцев, воочию убедясь, как выглядит казачье самоуправство, попытались было оказать сопротивление. Один из них ударил прикладом обыскивавшего его повстанца, спокойно переложившего кошелек красноармейца к себе в карман, крикнул:

— Грабитель! Что берешь?! Даешь назад, а то — штыком!

Его поддержали товарищи. Взметнулся возмущенный крик:

— Товарищи, к оружию!

— Нас обманули!

— Не давай винтовок!

Возникла рукопашная, и сопротивлявшихся красноармейцев оттеснили к забору; конные повстанцы, поощряемые командиром 3-й конной сотни, вырубили их в две минуты.

С приходом на площадь поручика Волкова разоружение пошло еще успешнее. Под проливным дождем обыскивали выстроившихся красноармейцев. Тут же неподалеку от строя складывали в «костры» винтовки, гранаты, имущество полковой телефонной команды, ящики винтовочных патронов и пулеметных лент...

Богатырев прискакал на площадь и, во все стороны поворачиваясь перед строем сердобцев на своем разгоряченном, переплясывающем коне, угрожающе подняв над головой толстенную витую плеть, крикнул:

— Слу-шай сюда! Вы с нонешнего дня будете биться с злодеями-коммунистами и ихними войсками. Кто пойдет с нами бесперечь — энтот будет прощен, а кто взноровится — тому вот такая же будет награда! — и указал плетью на порубленных красноармейцев, уже раздетых казаками до белья, сваленных в бесформенную, мокнущую под дождем белую кучу.

По красноармейским рядам рябью прошел тихий шепот, но никто не сказал полным голосом ни одного слова протеста, ни один не изломал рядов...

Всюду толпами и вразбивку шныряли пешие и верховые казаки. Они плотным кольцом окружали площадь. А возле церковной ограды, на пригорке, стояли повернутые в сторону красноармейских шеренг полоротые, выкрашенные в зеленое сердобские пулеметы, и около них, за щитками в готовности присели намокшие казаки-пулеметчики...

Через час Вороновский и Волков отобрали по спискам «надежных». Их оказалось сто девяносто четыре человека. Вновь сформированная часть получила название «1-го отдельного повстанческого батальона»; в этот же день она вышла на позиции к хутору Белавинскому, откуда вели наступление кинутые с Донца полки 23-й мироновской дивизии. По слухам, шли мироновские полки: 15-й под командой Быкадорова, а 32-й вел знаменитый Мишка Блинов. Шли они, сокрушая противостоявшие им повстанческие сотни. Одну из них, спешно выставленную каким-то хутором Усть-Хоперского юрта, искрошили в дым. Против Блинова и решил Богатырев выставить батальон Вороновского, опробовать стойкость его в боевом крещении...

Остальные сердобцы, восемьсот с лишним человек, были направлены пешим порядком по-над Доном в Вешенскую — так, как в письме на имя Богатырева в свое время приказывал командующий повстанческими силами Кудинов. Вназирку за ними пошли обдонским бугром три конные сотни, вооруженные сердобскими пулеметами.

Перед отъездом из Усть-Хоперской Богатырев отслужил в церкви молебен и, едва кончился возглас попа, молившего о даровании победы «христолюбивому казачьему воинству»,— вышел. Ему подвели коня. Сел, поманил к себе командира одной из сотен, заслоном оставленных в Усть-Хоперской,— перегнувшись с седла, шепнул ему на ухо:

— Коммунистов охраняй дюжей, чем пороховой погреб! Завтра с утра гони их в Вешенскую под надежным конвоем. А нонче пошли по хуторам гонцов, чтобы оповестили, каких типов гоним. Их народ будет судить своим судом!

С тем уехал.

LIII

Над хутором Сингиным Вешенской станицы в апрельский полдень появился аэроплан. Привлеченные глухим рокотом мотора, детишки, бабы и старики выбежали из куреней: задрав головы, приложив к глазам щитки ладоней, долго глядели, как аэроплан в заволоченном пасмурью поднебесье, кренясь, описывает коршунячьи круги. Гул мотора стал резче, звучней. Аэроплан шел на снижение, выбрав для посадки ровную площадку за хутором, на выгоне.

— Зараз начнет бонбы метать! Держися! — испуганно крикнул какой-то догадливый дед.

И собравшаяся на проулке толпа брызнула врассыпную. Бабы волоком тянули взревевшихся детишек, старики с козлиной сноровкой и проворством прыгали через плетни, бежали в левады. На проулке осталась одна старуха. Она тоже было побежала, но то ли ноги подломились от страха, то ли споткнулась о кочку, только упала, да так и осталась лежать, бесстыже задрав тощие ноги, безголосо взывая:

— Ой, спасите, родимые! Ой, смертынька моя!

Спасать старуху никто не вернулся. А аэроплан, страшно рыча, с буревым ревом и свистом пронесся чуть повыше амбара, на секунду закрыл своей крылатой тенью белый свет от вытаращенных в смертном ужасе старухиных очей,— пронесся и, мягко ударившись колесами о влажную землю хуторского выгона, побежал в степь. В этот-то мо-

мент со старухой и случился детский грех. Она лежала полумертвая, ничего ни под собой, ни вокруг себя не слыша, не чуя. Понятно, что она не могла видеть, как наиздальке из страшной приземлившейся птицы вышли два человека в черной кожаной одежде и, нерешительно потоптавшись на месте, озираясь, тронулись к двору.

Но схоронившийся в леваде, в прошлогодней заросли ежевичника, старик ее был мужественный старик. Хоть сердце у него и колотилось, как у пойманного воробья, но он все же имел смелость смотреть. Он-то и узнал в одном из подходивших к его двору людей — офицера Богатырева Петра, сына своего полчанина. Петр, доводившийся Григорию Богатыреву — командиру 6-й повстанческой отдельной бригады — двоюродным братом, отступил с белыми за Донец. Но это был, несомненно, он.

Старик с минуту пытливо вглядывался, по-заячьи присев и свесив руки. Окончательно убедившись, что медленно, вразвалку идет доподлинный Петр Богатырев, такой же голубоглазый, каким видели его в прошлом году, лишь немного обросший щетинкой давно не бритой бороды,— старик поднялся на ноги, попробовал, могут ли они его держать. Ноги только слегка подрагивали в поджилках, но держали исправно, и старик иноходью засеменил из левады.

Он не подошел к поверженной в прах старухе, а прямиком направился к Петру и его спутнику, издали снял с лысой головы свою выцветшую казачью фуражку. И Петр Богатырев узнал его, приветствовал помахиванием руки, улыбкой. Сошлись.

— Позвольте узнать, истинно ли это вы, Петро Григорич?

— Я самый, дедушка!

— Вот сподобил господь на старости годов увидать летучую машину! То-то мы ее и перепужались!

— Красных поблизости нету, дедушка?

— Нету, нету, милый! Прогнали их ажник куда-то за Чир, в хохлы.

— Наши казаки тоже восстали?

— Встать-то — встали, да уж многих и обратно положили.

— Как.

— Побили, то есть.

— Ааа... Семья моя, отец — все живые?

— Все. А вы из-за Донца? Моего Тихона не видали там?

— Из-за Донца. Поклон от Тихона привез. Ну ты,

дедушка, покарауль нашу машину, чтобы ребятишки ее не трогали, а я — домой... Пойдемте!

Петр Богатырев и его спутник пошли. А из левад, из-под сараев, из погребов и всяческих щелей выступил спасавшийся там перепуганный народ. Толпа окружила аэроплан, еще дышавший жаром нагретого мотора, пахучей гарью бензина и масла. Обтянутые полотном крылья его были во многих местах продырявлены пулями и осколками снарядов. Невиданная машина стояла молчаливая и горячая, как загнанный конь.

Дед — первый встретивший Петра Богатырева — побежал в проулок, где лежала его поваленная ужасом старуха, хотел обрадовать ее сведениями о сыне Тихоне, отступившем в декабре с окружным правлением. Старухи в проулке не было. Она успела дойти до куреня и, забившись в кладовку, торопливо переодевалась: меняла на себе рубаху и юбку. Старик с трудом разыскал ее, крикнул:

— Петька Богатырев прилетел! От Тихона низкий поклон привез!— и несказанно возмутился, увидев, что старуха его переодевается.— Чего это ты, старая карга, наряжаться вздумала? Ах, фитин твоей матери! И кому ты нужна, чертяка облезлая? Чисто — молоденькая!

...Вскоре в курень к отцу Петра Богатырева пришли старики. Каждый из них входил, снимал у порога шапку, крестился на иконы и чинно присаживался на лавку, опираясь на костыль. Завязался разговор. Петр Богатырев, потягивая из стакана холодное неснятое молоко, рассказал о том, что прилетел он по поручению донского правительства, что в задачу его входит установить связь с восставшими верхнедонцами и помочь им в борьбе с красными доставкой на самолетах патронов и офицеров. Сообщил, что скоро Донская армия перейдет в наступление по всему фронту и соединится с армией повстанцев. Попутно Богатырев пожурил стариков за то, что плохо воздействовали на молодых казаков, бросивших фронт и пустивших на свою землю красных. Закончил он свою речь так:

— ...Но уже поскольку вы образумились и прогнали из станиц советскую власть, то донское правительство вас прощает.

— А ить у нас, Петро Григорич, советская власть зараз, за вычетом коммунистов. У нас ить и флак не трех цветов, а красный с белым,— нерешительно сообщил один из стариков.

— Даже в обхождении наши молодые-то, сукины дети,

неслухменники, один одного «товарищем» козыряют! — вставил другой.

Петр Богатырев улыбнулся в подстриженные рыжеватые усы и, насмешливо сощурив круглые голубые глаза, сказал:

— Ваша советская власть — как лед на провесне. Чуть солнце пригреет — и она сойдет. А уж зачинщиков, какие под Калачом фронт бросали, как только вернемся из-за Донца, пороть будем!

— Пороть, окаянных, до крови!

— Уж это форменно!

— Пороть! Пороть!

— Всенародно сечь, покеда пообмочутся! — обрадованно загомонили старики.

* * *

К вечеру, оповещенные коннонарочным, на взмыленной тройке, запряженной в тарантас, прискакали в Сингин командующий повстанческими войсками Кудинов и начштаба Илья Сафонов.

Грязи не обмахнув с сапог и брезентовых плащей, донельзя обрадованные прилетом Богатырева, они чуть не на рысях вбежали в богатыревский курень.

LIV

Двадцать пять коммунистов, выданных повстанцам Сердобским полком, под усиленным конвоем выступили из Усть-Хоперской. О побеге нельзя было и думать. Иван Алексеевич, хромая в середине толпы пленных, с тоскою и ненавистью оглядывал окаменевшие в злобе лица казаков-конвоиров, думал: «Наведут нам концы! Если не будет суда — пропадем!»

Среди конвоиров преобладали бородачи. Командовал ими старик старовер, вахмистр Атаманского полка. С самого начала, как только вышли из Усть-Хоперской, он приказал пленным не разговаривать, не курить, не обращаться с вопросами к конвоирам.

— Молитвы читайте, анчихристовы слуги! На смерть идете, нечего грешить в остатние часы! У-у-у! Забыли бога! Предались нечистому! Заклеймились вражьим клеймом! — И то поднимал наган-самовзвод, то теребил надетый на шею витой револьверный шнур.

Среди пленных было лишь двое коммунистов из комсостава Сердобского полка,— остальные, за исключением Ивана Алексеевича, все иногородние станицы Еланской, рослые и здоровые ребята, вступившие в партию с момента прихода в станицу советских войск, служившие милиционерами, председателями хуторских ревкомов, после восстания бежавшие в Усть-Хоперскую и влившиеся в Сердобский полк.

В прошлом почти все они были ремесленниками: плотники, столяры, бондари, каменщики, печники, сапожники, портные. Старшему из них на вид было не более тридцати пяти, самому молодому — лет двадцать. Плотные, красивые здоровяки, с крупными руками, раздавленными тяжелым физическим трудом, широкоплечие и грудастые, по внешнему виду они резко отличались от сгорбленных стариков конвоиров.

— Судить нас будут, как думаешь? — шепнул шагавший рядом с Иваном Алексеевичем один из еланских коммунистов.

— Едва ли...

— Побьют?

— Должно быть.

— Да ведь у них же нет расстрелов? Казаки так говорили, помнишь?

Иван Алексеевич промолчал, но и у него искрой на ветру схватилась надежда: «А ить верно! Им нас нельзя будет расстрелять. У них, у сволочей, лозунг был выкинутый: «Долой коммуну, грабежи и расстрелы!» Они, по слухам, только на каторгу осуждали... Осудят к розгам, к каторге. Ну, да это не страшно! На каторге посидим до зимы, а зимою, как только Дон станет, наши опять их нажмут!..»

Вспыхнула было надежда и погасла, как искра на ветру: «Нет, побьют! Озлели, как черти! Прощай, жизня!.. Эх, не так бы надо! Воевал с ними и их же жалел сердцем... Не жалеть надо было, а бить и вырубать все до корня!»

Он стиснул кулаки, зашевелил в бессильной ярости плечами и тотчас же споткнулся, чуть не упал от удара сзади в голову.

— Ты чего кулачья сучишь, волчий блуд? Ты чего, спрашиваю, кулачья сучишь?! — загремел, наезжая на него конем, вахмистр, начальник конвоя.

Он ударил Ивана Алексеевича еще раз плетью, рассек ему лицо наискось от надбровной кости до крутого, с ямочкой посредине, подбородка.

— Кого бьешь? Меня ударь, папаша! Меня! Он же раненый, за что ты его,— с просящей улыбкой, с дрожью в голосе крикнул один из еланцев и, шагнув из толпы, выставил вперед крутую плотницкую грудь, заслонив Ивана Алексеевича.

— И тебе хватит! Бейте их, станишники! Бей коммунов!

Плеть с такой силой разрубила защитную летнюю рубаху на плече еланца, что лоскутья свернулись, как листья, припаленные огнем. Омочив их, из раны, из стремительно вздувшегося рубца потекла черная убойная кровь...

Вахмистр, задыхаясь от злобы, топча конем пленных, врезался в гущу толпы, начал нещадно работать плетью...

Еще один удар обрушился на Ивана Алексеевича. В глазах его багряные сверкнули зарницы, качнулась земля и словно бы наклонился зеленый лес, опушиной покрывавший противоположное песчаное левобережье.

Иван Алексеевич схватился своей мослаковатой рукой за стремя, хотел рвануть с седла озверевшего вахмистра, но удар тупяком шашки опрокинул его на землю, в рот поползла удушливая ворсистая пресная пыль, из носа и ушей, обжигая, хлестанула кровь...

Конвойные били их, согнав в кучу, как овец, били долго и жестоко. Будто сквозь сон, слышал лежавший на дороге ничком Иван Алексеевич глухие вскрики, гулкий топот ног вокруг себя, бешеное всхрапывание лошадей. Клуб теплой лошадиной пены упал ему на обнаженную голову, и почти сейчас же где-то очень близко, над его головой, прозвучало короткое и страшное мужское рыдание, крик:

— Сволочи! Безоружных бьете!.. У-у-у!..

На раненую ногу Ивана Алексеевича наступила лошадь, тупые шипы подковы вдавились в мякоть голени, вверху зазвучали гулкие и быстро чередующиеся звуки ударов... Минута — затем грузное мокрое тело, остро пахнущее горьким потом и солонцеватым запахом крови, рухнуло рядом с Иваном Алексеевичем, и он, еще не окончательно потеряв сознание, услышал: из горла упавшего человека, как из горлышка опрокинутой бутылки, забулькала кровь...

А потом их толпою согнали в Дон, заставили обмыть кровь. Стоя по колено в воде, Иван Алексеевич мочил жарко горевшие раны и опухоли от побоев, разгребал ладонью смешанную со своей же кровью воду, жадно пил ее, боясь, что не успеет утолить неутишно всполыхавшую жажду.

По дороге их обогнал верховой казак. Темно-гнедая

лошадь его, по-весеннему ярко лоснившаяся от сытости и пота, шла шибкой игристой рысью. Верховой скрылся в хуторе, и не успели пленные дойти до первых базов, как им навстречу уже высыпали толпы народа.

При первом взгляде на бежавших навстречу им казаков и баб Иван Алексеевич понял, что это — смерть. Поняли и все остальные.

— Товарищи! Давайте попрощаемся! — крикнул один из коммунистов-сердобцев.

Толпа, вооруженная вилами, мотыгами, кольями, железными ребрами от арб, приближалась...

Дальше было все, как в тягчайшем сне. Тридцать верст шли по сплошным хуторам, встречаемые на каждом хуторе толпами истязателей. Старики, бабы, подростки били, плевали в опухшие, залитые кровью и темнеющие кровоподтеками лица пленных коммунистов, бросали камни и комки сохлой земли, засыпали заплывшие от побоев глаза пылью и золой. Особенно свирепствовали бабы, изощряясь в самых жесточайших пытках. Двадцать пять обреченных шли сквозь строй. Под конец они уже стали неузнаваемыми, непохожими на людей — так чудовищно обезображены были их тела и лица, иссиня-кровяно-черные, распухшие, изуродованные, и вымазанные в смешанной с кровью грязи.

Вначале каждый из двадцати пяти норовил подальше идти от конвойных, чтобы меньше доставалось ударов; каждый старался попасть в середину своих смешанных рядов, от этого двигались плотно сбитой толпой. Но их постоянно разделяли, расталкивали. И они потеряли надежду хоть в какой бы то ни было мере сохранить себя от побоев, шли уже враздробь, и у каждого было лишь одно мучительное желание: превозмочь себя, не упасть, ибо упавший встать уже не смог бы. Ими овладело безразличие. А сначала каждый закрывал лицо и голову руками, беззащитно поднимая ладони к глазам, когда перед самыми зрачками синё вспыхивали железные жала вил-тройчаток или тускло посверкивала тупая белесая концевина кола; из толпы избиваемых пленных слышались и мольбы о пощаде, и стоны, и ругательства, и нутряной животный рев нестерпимой боли. К полудню все молчали. Лишь один из еланцев, самый молодой, балагур и любимец роты в прошлом, ойкал, когда на голову его опрокидывался удар. Он и шел-то будто по горячему, приплясывая, дергаясь всем телом, волоча перебитую жердью ногу...

Иван Алексеевич, после того, как обмылся в Дону, потвердел духом. Завидя бежавших навстречу им казаков

и баб, наспех попрощался с ближним из товарищей, вполголоса сказал:

— Что же, братцы, умели мы воевать, надо суметь и помереть с гордостью... Об одном мы должны помнить до последнего выдоха. Одна нам остается мысленная утеха, что хотя нас и уколотят, но ить Советскую власть колом не убьешь! Коммунисты! Братцы! Помремте твердо, чтобы враги над нами не надсмехалися!

Один из еланцев не выдержал,— когда на хуторе Бобровском его начали умело и жестоко бить старики, он закричал дурным, мальчишеским криком, разорвал ворот гимнастерки, стал показывать казакам, бабам висевший у него на шее, на черном от грязи и пота гайтане, маленький нательный крест.

— Товарищи! Я недавно вступил в партию!.. Пожалейте! Я в бога верую!.. У меня двое детишек!.. Смилуйтесь! У вас тоже дети есть!..

— Какие мы тебе «товарищи»! Цыц!

— Детей вспомнил, идолов гад? Крест вынул? Всхомянулся? А наших небось расстреливал, казнил, про бога не вспоминал? — с придыханием спросил у него ударивший его два раза курносый старик с серьгой в ухе. И, не дождавшись ответа, снова размахнулся, целя в голову.

Кусочки того, что воспринимали глаза, уши, сознание,— все это шло мимо Ивана Алексеевича, внимание его ни на чем не задерживалось. Словно камнем оделось сердце, и дрогнуло оно единственный раз. В полдень вошли они в хутор Тюковновский, пошли по улице сквозь строй, осыпаемые проклятиями и ударами. И вот тут-то Иван Алексеевич, глянув искоса в сторону, увидел, как мальчишка лет семи вцепился в подол матери и со слезами, градом сыпанувшими по исказившимся щекам, с визгом, истошно закричал:

— Маманя! Не бей его! Ой, не бей!.. Мне жалко! Боюсь! На нем кровь!..

Баба, замахнувшаяся колом на одного из еланцев, вдруг вскрикнула, бросила кол,— схватив мальчонка на руки, опрометью кинулась в проулок. И у Ивана Алексеевича, тронутого детским плачем, ребячьей волнующей жалостью, навернулась непрошеная слеза, посолила разбитые, спекшиеся губы. Он коротко всхлипнул, вспомянув своего сынишку, жену, и от этого вспыхнувшего, как молния, воспоминания родилось нетерпеливое желание: «Только бы не на ихних глазах убили! И... поскорее...»

Шли, еле волоча ноги, раскачиваясь от устали и распи-

равшей суставы боли. На выгоне за хутором, увидев степной колодец, стали упрашивать начальника конвоя, чтобы разрешил напиться.

— Нечего распивать! И так припозднились! Ходу! — крикнул было вахмистр.

Но за пленных вступился один из стариков конвоиров:

— Поимей сердце, Аким Сазоныч! Они ить тоже люди.

— Какие такие люди? Коммунисты — не люди! И ты меня не учи! Я над ними начальник али ты?

— Много вас, таковских начальников-то! Иди, ребятки, пей!

Старичишка спешился, зачерпнул в колодце цибарку воды. Его обступили пленные, к цибарке потянулось сразу двадцать пять пар рук, обуглившиеся, отекшие глаза загорелись, зазвучал хриплый, прерывистый шепот:

— Дай мне, дедушка!

— Хоть немножко!..

— Глоток бы!..

— Товарищи, не все доразу!

Старик заколебался, кому же дать первому. Помедлив несколько томительных секунд, он вылил воду в скотское долбленое корыто, врытое в землю, отошел, крикнул:

— Что вы, как быки, лезете! По порядку пейте!

Вода, растекаясь по зелено-замшелому, заплесневелому днищу корыта, устремилась в накаленный солнцем, пахнущий сырой древесиной угол. Пленные из последних сил бросились к корыту. Старик раз за разом зачерпнул одиннадцать цибарок,— хмурясь от жалости, поглядывая на пленных, наполнил корыто.

Иван Алексеевич напился, стоя на коленях, и, подняв освеженную голову, увидел с предельной, почти осязательной яркостью: изморозно-белый покров известняковой пыли на придонской дороге, голубым видением вставшие вдали отроги меловых гор, а над ними, над текучим стременем гребнистого Дона, в неохватной величавой синеве небес, в недоступнейшей вышине — облачко. Окрыленное ветром, с искрящимся, белым, как парус, надвершием, оно стремительно плыло на север, и в далекой излучине Дона отражалась его опаловая тень.

LV

На секретном совещании верховного командования повстанческими силами решено было просить донское правительство, атамана Богаевского, о помощи.

Кудинову было поручено написать письмо с изъявлением раскаяния и сожаления о том, что в конце 1918 года верхнедонцы пошли на переговоры с красными, бросили фронт. Письмо Кудинов написал. От имени всего восставшего казачества Верхнего Дона он давал обещание в дальнейшем стойко, до победного конца сражаться с большевиками, просил помочь повстанцам переброской на аэропланах через фронт кадровых офицеров для руководства частями и винтовочных патронов.

Петр Богатырев остался на Сингином, потом переехал в Вешенскую. Летчик отправился обратно с кудиновским письмом в Новочеркасск.

С того дня между донским правительством и повстанческим командованием установилась тесная связь. Почти ежедневно стали прилетать из-за Донца новехонькие, выпущенные французскими заводами аэропланы, доставлявшие офицеров, винтовочные патроны и в незначительном количестве снаряды для трехдюймовых орудий. Летчики привозили письма от верхнедонских казаков, отступивших с Донской армией, из Вешенской везли на Донец казакам ответы родных.

Сообразуясь с положением на фронте, со своими стратегическим планами, новый командующий Донской армией, генерал Сидорин, начал присылать Кудинову разработанные штабом планы операции, приказы, сводки, информации о перебрасываемых на повстанческий фронт красноармейских частях.

Кудинов только несколько человек избранных посвящал в переписку с Сидориным, от остальных все это держалось в строжайшем секрете.

LVI

Пленных пригнали в Татарский часов в пять дня. Уже близки были быстротечные весенние сумерки, уже сходило к закату солнце, касаясь пылающим диском края распростертой на западе лохматой сизой тучи.

На улице, в тени огромного общественного амбара сидела и стояла пешая сотня татарцев. Их перебросили на правую сторону Дона на помощь еланским сотням, с трудом удерживавшим натиск красной конницы, и татарцы по пути на позиции всею сотнею зашли в хутор, чтобы проведать родных и подживиться харчишками.

Им в этот день надо было выходить, но они прослышали о том, что в Вешенскую гонят пленных коммунистов, среди

которых находится и Мишка Кошевой с Иваном Алексеевичем, что пленные вот-вот должны прибыть в Татарский, — а поэтому и решили подождать. Особенно настаивали на встрече с Кошевым и Иваном Алексеевичем казаки, доводившиеся роднею убитым в первом бою вместе с Петром Мелеховым.

Татарцы, вяло переговариваясь, прислонив к стене амбара винтовки, сидели и стояли, курили, лузгали семечки; их окружали бабы, старики и детвора. Весь хутор высыпал на улицу, а с крыш куреней ребятишки неустанно наблюдали — не гонят ли?

И вот ребячий голос заверещал:

— Показалися! Гонют!

Торопливо поднялись служивые, затомошился народ, взметнулся глухой гул оживившегося говора, затопотали ноги бежавших навстречу пленным ребятишек. Вдова Алешки Шамиля, под свежим впечатлением еще не утихшего горя, кликушески заголосила.

— Гонют врагов! — басисто сказал какой-то старик.

— Побить их, чертей! Чего вы смотрите, казаки?!

— На суд их!

— Наших исказнили!

— На шворку Кошевого с его дружком!

Дарья Мелехова стояла рядом с Аникушкиной женой. Она первая узнала Ивана Алексеевича в подходившей толпе избитых пленных.

— Вашего хуторца пригнали! Покрасуйтеся на него, на сукиного сына! Похристосуйтеся с ним! — покрывая свирепо усиливающийся дробный говор, бабьи крики и плач, захрипел вахмистр — начальник конвоя — и протянул руку, указывая с коня на Ивана Алексеевича.

— А другой где? Кошевой Мишка где?

Антип Брехович полез сквозь толпу, на ходу снимая с плеча винтовочный погон, задевая людей прикладом и штыком болтающейся винтовки.

— Один ваш хуторец, окромя не было. Да по куску на человека и этого хватит растянуть... — говорил вахмистр-конвоир, сгребая красной утиркой обильный пот со лба, тяжело перенося ногу через седельную луку.

Бабьи взвизгивания и крик, нарастая, достигли предела напряжения. Дарья пробилась к конвойным и в нескольких шагах от себя, за мокрым крупом лошади конвоира увидела зачугуневшее от побоев лицо Ивана Алексеевича. Чудовищно распухшая голова его со слипшимися в сохлой

крови волосами была вышиной с торчмя поставленное ведро. Кожа на лбу вздулась и потрескалась, щеки багрово лоснились, а на самой макушке, покрытой студенистым месивом, лежали шерстяные перчатки. Он, как видно, положил их на голову, стараясь прикрыть сплошную рану от жалящих лучей солнца, от мух и кишевшей в воздухе мошкары. Перчатки присохли к ране, да так и остались на голове...

Он затравленно озирался, разыскивая и боясь найти взглядом жену или своего маленького сынишку, хотел обратиться к кому-нибудь с просьбой, чтобы их увели отсюда, если они тут. Он уже понял, что дальше Татарского ему не уйти, что здесь он умрет, и не хотел, чтобы родные видели его смерть, а самую смерть ждал со все возраставшим жадным нетерпением. Ссутулясь, медленно и трудно поворачивая голову, обводил он взглядом знакомые лица хуторян и ни в одном встречном взгляде не прочитал сожаления или сочувствия,— исподлобны и люты были взгляды казаков и баб.

Защитная вылинявшая рубаха его топорщилась, шуршала при каждом повороте. Вся она была в бурых подтеках стекавшей крови, в крови были и ватные стеганые красноармейские штаны, и босые крупные ноги с плоскими ступнями и искривленными пальцами.

Дарья стояла против него. Задыхаясь от подступившей к горлу ненависти, от жалости и томительного ожидания чего-то страшного, что должно было совершиться вот-вот, сейчас, смотрела в лицо ему и никак не могла понять: видит ли он ее и узнает ли?

А Иван Алексеевич все так же тревожно, взволнованно шарил по толпе одним дико блестевшим глазом (другой затянула опухоль) и вдруг, остановившись взглядом на лице Дарьи, бывшей от него в нескольких шагах, неверно, как сильно пьяный, шагнул вперед. У него кружилась голова от большой потери крови, его покидало сознание, но это переходное состояние, когда все окружающее кажется нереальным, когда горькая одурь кружит голову и затемняет свет в глазах, беспокоило, и он с огромным напряжением все еще держался на ногах.

Увидев и узнав Дарью, шагнул, качнулся. Какое-то отдаленное подобие улыбки тронуло его некогда твердые, теперь обезображенные губы. И вот эта-то похожая на улыбку гримаса заставила сердце Дарьи гулко и часто забиться: казалось ей, что оно бьется где-то около самого горла.

Она подошла к Ивану Алексеевичу вплотную, часто и бурно дыша, с каждой секундой все больше и больше бледнея.

— Ну, здорово, куманек!

Звенящий, страстный тембр ее голоса, необычайные интонации в нем заставили толпу поутихнуть.

И в тишине глуховато, но твердо прозвучал ответ:

— Здорова, кума Дарья.

— Расскажи-ка, родненький куманек, как ты кума своего... моего мужа...— Дарья задохнулась, схватилась руками за грудь. Ей не хватало голоса.

Стояла полная, туго натянутая тишина, и в этом недобром затишном молчании даже в самых дальних рядах услышали, как Дарья чуть внятно докончила вопрос:

— ...как ты мужа моего, Петра Пантелеевича, убивал-казнил?

— Нет, кума, не казнил я его!

— Как же не казнил? — еще выше поднялся Дарьин стенящий голос.— Ить вы же с Мишкой Кошевым казаков убивали? Вы?

— Нет, кума... Мы его... я не убивал его...

— А кто же со света его перевел? Ну кто? Скажи!

— Заамурский полк тогда...

— Ты! Ты убил!.. Говорили казаки, что тебя видали на бугре! Ты был на белом коне! Откажешься, проклятый?

— Был и я в том бою...— Левая рука Ивана Алексеевича трудно поднялась на уровень головы, поправила присохшие к ране перчатки. В голосе его явственная оказалась неуверенность, когда он проговорил: — Был и я в тогдашнем бою, но убил твоего мужа не я, а Михаил Кошевой. Он стрелял его. Я за кума Петра не ответчик.

— А ты, вражина, кого убивал из наших хуторных? Ты сам чьих детишков по́ миру сиротами пораспустил? — пронзительно крикнула из толпы вдова Якова Подковы.

И снова, накаляя и без того накаленную атмосферу, раздались истерические бабьи всхлипы, крик и голошенье по мертвому «дурным голосом»...

Впоследствии Дарья говорила, что она не помнила, как и откуда в руках ее очутился кавалерийский карабин, кто ей его подсунул. Но когда заголосили бабы, она ощутила в руках своих присутствие постороннего предмета, не глядя, на ощупь догадалась, что это — винтовка. Она схватила ее сначала за ствол, чтобы ударить Ивана Алексеевича прикладом, но в ладонь ее больно вонзилась мушка, и она перехватила пальцами накладку, а потом повернула, вски-

нула винтовку и даже взяла на мушку левую сторону груди Ивана Алексеевича.

Она видела, как за спиной его шарахнулись в сторону казаки, обнажив серую рубленую стену амбара; слышала напуганные крики: «Тю! Сдурела! Своих побьешь! Погоди, не стреляй!» И подталкиваемая зверино-настороженным ожиданием толпы, сосредоточенными на ней взглядами, желанием отомстить за смерть мужа и отчасти тщеславием, внезапно появившимся оттого, что вот сейчас она совсем не такая, как остальные бабы, что на нее с удивлением и даже со страхом смотрят и ждут развязки казаки, что она должна поэтому сделать что-то необычное, особенное, могущее устрашить всех,— движимая одновременно всеми этими разнородными чувствами, с пугающей быстротой приближаясь к чему-то предрешенному в глубине ее сознания, о чем она не хотела, да и не могла в этот момент думать, она помедлила, осторожно нащупывая спуск, и вдруг, неожиданно для самой себя, с силой нажала его.

Отдача заставила ее резко качнуться, звук выстрела оглушил, но сквозь суженные прорези глаз она увидела, как мгновенно — страшно и непоправимо — изменилось дрогнувшее лицо Ивана Алексеевича, как он развел и сложил руки, словно собираясь прыгнуть с большой высоты в воду, а потом упал навзничь, и с лихорадочной быстротой задергалась у него голова, зашевелились, старательно заскребли землю пальцы раскинутых рук...

Дарья бросила винтовку, все еще не отдавая себе ясного отчета в том, что она только что совершила, повернулась спиной к упавшему и неестественным в своей обыденной простоте жестом поправила головной платок, подобрала выбившиеся волосы.

— А он еще двошит...— сказал один из казаков, с чрезмерной услужливостью сторонясь от проходившей мимо Дарьи.

Она оглянулась, не понимая, о ком и что это такое говорят, услышала глубокий, исходивший не из горла, а откуда-то словно бы из самого нутра, протяжный на одной ноте стон, прерываемый предсмертной икотой. И только тогда осознала, что это стонет Иван Алексеевич, принявший смерть от ее руки. Быстро и легко пошла она мимо амбара, направляясь на площадь, провожаемая редкими взглядами.

Внимание людей переметнулось к Антипу Брехович, он, как на учебном смотру, быстро, на одних носках подбегал к лежавшему Ивану Алексеевичу, почему-то пряча за

спиной оголенный ножевой штык японской винтовки. Движения его были рассчитаны и верны. Присел на корточки, направил острие штыка в грудь Ивана Алексеевича, негромко сказал:

— Ну, издыхай, Котляров! — и он налег на рукоять штыка со всей силой.

Трудно и долго умирал Иван Алексеевич. С неохотой покидала жизнь его здоровое, мослаковатое тело. Даже после третьего удара штыком он все еще разевал рот, и из-под ощеренных, залитых кровью зубов неслось тягуче-хриплое:

— А-а-а!..

— Эх, резак, к чертовой матери! — отпихнув Бреховича, сказал вахмистр, начальник конвоя, и поднял наган, деловито прижмурив левый глаз, целясь.

После выстрела, послужившего как бы сигналом, казаки, допрашивавшие пленных, начали их избивать. Те кинулись врассыпную. Винтовочные выстрелы, перемежаясь с криками, прощелкали сухо и коротко...

* * *

Через час в Татарский прискакал Григорий Мелехов. Он насмерть загнал коня, и тот пал по дороге из Усть-Хоперской, на перегоне между двумя хуторами. Дотащив на себе седло до ближайшего хутора, Григорий взял там плохонькую лошаденку. И опоздал... Пешая сотня татарцев ушла бугром на Усть-Хоперские хутора, на грань Усть-Хоперского юрта, где шли бои с частями красной кавалерийской дивизии. В хуторе было тихо, безлюдно. Ночь темной ватолой крыла окрестные бугры, Задонье, ропщущие тополя и ясени...

Григорий въехал на баз, вошел в курень. Огня не было. В густой темноте звенели комары, тусклой позолотой блестели иконы в переднем углу. Вдохнув с детства знакомый, волнующий запах родного жилья, Григорий спросил:

— Есть кто там дома? Маманя! Дуняшка!

— Гриша! Ты, что ли? — Дуняшкин голос из горенки.

Шлепающая поступь босых ног, в вырезе дверей белая фигура Дуняшки, торопливо затягивающей поясок исподней юбки.

— Чего это вы так рано улеглись? Мать где?

— У нас тут...

Дуняшка замолчала. Григорий услышал, как она часто, взволнованно дышит.

— Что тут у вас? Пленных давно прогнали?

— Побили их.

— Ка-а-ак?..

— Казаки побили... Ох, Гриша! Наша Дашка, стерва проклята-я...— в голосе Дуняшки послышались негодующие слезы,—...она сама убила Ивана Алексеевича... стрельнула в него...

— Чего ты мелешь? — испуганно хватая сестру за ворот расшитой рубахи, вскричал Григорий.

Белки Дуняшкиных глаз сверкнули слезами, и по страху, застывшему в ее зрачках, Григорий понял, что он не ослышался.

— А Мишка Кошевой? А Штокман?

— Их не было с пленными.

Дуняшка коротко, сбивчиво рассказала о расправе над пленными, о Дарье.

— ...Маманя забоялась ночевать с ней в одной хате, ушла к соседям, а Дашка откель-то явилась пьяная... Пьянее грязи пришла. Зараз спит...

— Где?

— В амбаре.

Григорий вошел в амбар, настежь открыл дверь. Дарья, бесстыже заголив подол, спала на полу. Тонкие руки ее были раскинуты, правая щека блестела, обильно смоченная слюной, из раскрытого рта резко разило самогонным перегаром. Она лежала, неловко подвернув голову, левой щекой прижавшись к полу, бурно и тяжко дыша.

Никогда еще Григорий не испытывал такого бешеного желания рубануть. Несколько секунд он стоял над Дарьей, стоная и раскачиваясь, крепко сцепив зубы, с чувством непреодолимого отвращения и гадливости рассматривая это лежащее тело. Потом шагнул, наступил кованым каблуком сапога на лицо Дарьи, черневшее полудужьями высоких бровей, прохрипел:

— Ггга-дю-ка!

Дарья застонала, что-то пьяно бормоча, а Григорий схватился руками за голову и, гремя по порожкам ножнами шашки, выбежал на баз.

Этою же ночью, не повидав матери, он уехал на фронт.

LVII

8-я и 9-я Красные армии, не смогшие до начала весеннего паводка сломить сопротивление частей Донской армии и продвинуться за Донец, все еще пытались на отдельных

участках переходить в наступление. Попытки эти в большинстве оканчивались неудачей. Инициатива переходила в руки донского командования.

К середине мая на Южном фронте все еще не было заметных перемен. Но вскоре они должны были произойти. По плану, разработанному еще бывшим командующим Донской армией генералом Денисовым и его начштаба генералом Поляковым, в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвенской заканчивалось сосредоточение частей так называемой ударной группы. На этот участок фронта были стянуты лучшие силы из обученных кадров молодой армии, испытанные низовские полки: Гундоровский, Георгиевский и другие. По грубому подсчету, силы этой ударной группы состояли из шестнадцати тысяч штыков и сабель при двадцати четырех орудиях и ста пятидесяти пулеметах.

По мысли генерала Полякова, группа совместно с частями генерала Фицхелаурова должна была ударить в направлении слободы Макеевки, сбить 12-ю красную дивизию и, действуя во фланги и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на территорию Верхне-Донского округа, чтобы соединиться с повстанческой армией, а затем уже идти в Хоперский округ «оздоровлять» заболевших большевизмом казаков.

Около Донца велась интенсивная подготовка к наступлению, к прорыву. Командование ударной группой поручено было генералу Секретеву. Успех начинал явно клониться на сторону Донской армии. Новый командующий этой армией, генерал Сидорин, сменивший ушедшего в отставку ставленника Краснова — генерала Денисова, и вновь избранный войсковой наказный атаман генерал Африкан Богаевский были союзнической ориентации. Совместно с представителями английской и французской военных миссий уже разрабатывались широкие планы похода на Москву, ликвидации большевизма на всей территории России.

В порты Черноморского побережья прибывали транспорты с вооружением. Океанские пароходы привозили не только английские и французские аэропланы, танки, пушки, пулеметы, винтовки, но и упряжных мулов, и обесцененное миром с Германией продовольствие и обмундирование. Тюки английских темно-зеленых бриджей и френчей — с вычеканенным на медных пуговицах вздыбившимся британским львом — заполнили новороссийские пакгаузы. Склады ломились от американской муки, сахара,

шоколада, вин. Капиталистическая Европа, напуганная упорной живучестью большевиков, щедро слала на юг России снаряды и патроны, те самые снаряды и патроны, которые союзнические войска не успели расстрелять по немцам. Международная реакция шла душить истекавшую кровью Советскую Россию... Английские и французские офицеры-инструкторы, прибывшие на Дон и Кубань обучать казачьих офицеров и офицеров Добровольческой армии искусству вождения танков, стрельбы из английских орудий, уже предвкушали торжества вступления в Москву...

А в это время у Донца разыгрывались события, решавшие успех наступления Красной Армии в 1919 году.

Несомненно, что основной причиной неудавшегося наступления Красной Армии было восстание верхнедонцев. В течение трех месяцев оно, как язва, разъедало тыл красного фронта, требовало постоянной переброски частей, препятствовало бесперебойному питанию фронта боеприпасами и продовольствием, затрудняло отправку в тыл раненых и больных. Только из 8-й и 9-й Красных армий на подавление восстания было брошено около двадцати тысяч штыков.

Реввоенсовет республики, не будучи осведомлен об истинных размерах восстания, не принял вовремя достаточно энергичных мер к его подавлению. На восстание бросили вначале отдельные отряды и отрядики (так, например, школа ВЦИКа выделила отряд в двести человек), недоукомплектованные части, малочисленные заградительные отряды. Большой пожар пытались затушить, поднося воду в стаканах. Разрозненные красноармейские части окружали повстанческую территорию, достигавшую ста девяноста километров в диаметре, действовали самостоятельно, вне общего оперативного плана, и, несмотря на то, что число сражавшихся с повстанцами достигало двадцати пяти тысяч штыков,— эффективных результатов не было.

Одна за другой были кинуты на локализацию восстания четырнадцать маршевых рот, десятки заградительных отрядов; прибывали отряды курсантов из Тамбова, Воронежа, Рязани. И уже тогда, когда восстание разрослось, когда повстанцы вооружились отбитыми у красноармейцев пулеметами и орудиями, 8-я и 9-я армии выделили из своего состава по одной экспедиционной дивизии, с артиллерией и пулеметными командами. Повстанцы несли крупный урон, но сломлены не были.

Искры верхнедонского пожара перекинулись и в со-

седний Хоперский округ. Под руководством офицеров там произошло несколько выступлений незначительных казачьих групп. В станице Урюпинской войсковой старшина Алимов сколотил было вокруг себя изрядное число казаков и скрывавшихся офицеров. Восстание должно было произойти в ночь на 1 мая, но заговор своевременно был раскрыт. Алимов и часть его сообщников, захваченные на одном из хуторов Преображенской станицы, были расстреляны по приговору Ревтрибунала, восстание, вовремя обезглавленное, не состоялось, и, таким образом, контрреволюционным элементам Хоперского округа не удалось сомкнуться с повстанцами Верхне-Донского округа.

В первых числах мая на восстание выехал из Москвы председатель реввоенсовета республики Троцкий. Со станции Лиски в специальном вагоне, прицепленном к паровозу, он прибыл на станцию Чертково, где в этот момент выгружался отряд школы ВЦИКа и стояло несколько сводных красноармейских полков. Чертково была одна из конечных станций по Юго-Восточной железной дороге, непосредственно граничивших с западным участком повстанческого фронта. Казаки Мигулинской, Мешковской и Казанской станиц в то время огромнейшими конными массами скоплялись на грани Казанского станичного юрта, вели отчаянные бои с перешедшими в наступление красноармейскими частями.

На привокзальном плацу Троцкий держал к красноармейцам и курсантам речь. На левом фланге построенного квадрата войск стояли курсанты, составившие винтовки в козлы. Красноармейцы были в строю с винтовками, в полной боевой готовности. Тотчас же после речи им надлежало походным порядком идти на фронт.

В середине речи Троцкого, призывавшего к скорейшему и беспощадному подавлению восстания, к мужественной борьбе с врагами революции, где-то на бугре пулемет выстукал две очереди и смолк.

По станции распространились слухи, что казаки окружили Чертково и вот-вот начнут наступление. И, несмотря на то, что до фронта было не менее пятидесяти верст, что впереди были красноармейские части, которые сообщили бы в случае прорыва казаков,— на станции началась паника. Построенные красноармейские ряды дрогнули. Где-то за церковью зычный командный голос орал: «В ружье-е-о-о!» По улицам забегал, засуетился народ. Троцкий послал на телеграф одного из своих приближенных, а сам скомкал свою до этого горячую речь, наспех закончил

ее и проследовал к вокзалу. Через пять минут паровоз, привозивший председателя реввоенсовета республики, пронзительно свистнул и, набирая скорость, загрохотал на Лиски.

Паника оказалась ложной. За казаков приняли эскадрон красноармейцев, подходивший к станции со стороны слободы Маньково. Курсанты и два сводных полка выступили в направлении станицы Казанской.

Через день казаками был почти целиком истреблен только недавно прибывший Кронштадтский полк.

После первого же боя с кронштадтцами ночью произвели набег. Полк, выставив заставы и секреты, ночевал в степи, не рискнув занять брошенный повстанцами хутор. В полночь несколько конных казачьих сотен окружили полк, открыли бешеную стрельбу, широко используя изобретенное кем-то средство устрашения — огромные деревянные трещотки! Трещотки эти по ночам заменяли повстанцам пулеметы: во всяком случае, звуки, производимые ими, были почти неотличимы от подлинной пулеметной стрельбы.

И вот, когда окруженные кронштадтцы услышали в ночной непроглядной темени говор многочисленных «пулеметов», суматошные выстрелы своих застав, казачье гиканье, вой и гулкий грохот приближавшихся конных лав, они бросились к Дону, пробились, но были конной атакой опрокинуты. Из всего состава полка спаслось только несколько человек, сумевших переплыть распахнувшийся в весеннем разливе Дон.

В мае с Донца на повстанческий фронт стали прибывать все новые подкрепления красных. Подошла 33-я Кубанская дивизия, и Григорий Мелехов почувствовал впервые всю силу настоящего удара. Кубанцы погнали его 1-ю дивизию без передышки. Хутор за хутором сдавал Григорий, отступая на север, к Дону. На чирском рубеже возле Каргинской он задержался на день, а потом, под давлением превосходящих сил противника, вынужден был не только сдать Каргинскую, но и срочно просить подкреплений.

Кондрат Медведев прислал ему восемь конных сотен своей дивизии. Его казаки были экипированы на диво. У всех было в достатке патронов, на всех была справная одежда и добротная обувь — все добытое с пленных красноармейцев. Многие казаки-казанцы, не глядя на жару, щеголяли в кожаных куртках, почти у каждого был либо наган, либо бинокль... Казанцы на некоторое время задержали наступление шедшей напролом 33-й

Кубанской дивизии. Воспользовавшись этим, Григорий решил обыденкой съездить в Вешенскую, так как Кудинов неотступно просил его приехать на совещание.

LVIII

В Вешенскую он прибыл рано утром.

Полая вода в Дону начала спадать. Приторно-сладким клейким запахом тополей был напитан воздух. Около Дона сочные темно-зеленые листья дубов дремотно шелестели. Обнаженные грядины земли курились паром. На них уже выметалась острожалая трава, а в низинах еще блистала застойная вода, басовито гудели водяные быки и в сыром, пронизанном запахом ила и тины воздухе, несмотря на то, что солнце уже взошло, густо кишела мошкара.

В штабе дребезжала старенькая пишущая машинка, было людно и накурено.

Кудинова Григорий застал за странным занятием: он, не глянув на тихо вошедшего Григория, с серьезным и задумчивым видом обрывал ножки у пойманной большой изумрудно-зеленой мухи. Оторвет, зажмет в сухом кулаке и, поднося его к уху, сосредоточенно склонив голову, слушает, как муха то басовито, то тонко брунжит.

Увидев Григория, с отвращением и досадой кинул муху под стол, вытер о штанину ладонь, устало привалился к обтертой до глянца спинке кресла.

— Садись, Григорий Пантелеевич.

— Здорово, начальник!

— Эх, здорова-то здорова, да не семенна, как говорится. Ну, что там у тебя? Жмут?

— Жмут вовсю!

— Задержался по Чиру?

— Сколь надолго? Казанцы выручили.

— Вот какое дело, Мелехов,— Кудинов намотал на палец сыромятный ремешок своего кавказского пояска и, с нарочитым вниманием рассматривая почерневшее серебро, вздохнул.— Как видно, дела наши будут ишо хуже. Что-то такое делается около Донца. Или там наши дюже пихают красных и рвут им фронт, или же они поняли, что мы им — весь корень зла, и норовят нас взять в тисы.

— А что слышно про кадетов? С последним аэропланом что сообщали?

— Да ничего особенного. Они, браток, нам с тобой своих стратегий не расскажут. Сидорин — он, брат, дока! Из него не сразу вытянешь. Есть такой план у них — по-

рвать фронт красных и кинуть нам подмогу. Сулились помочь. Но ить посулы — они не всегда сбываются. И фронт порвать нелегкое дело, знаю, сам рвал с генералом Брусиловым. Почем мы с тобой знаем, какие у красных силы на Донце? Может, они с Колчака сняли несколько корпусов и сунули их, а? Живем мы в потемках! И дальше своего носа ничего зрить не можем!

— Так о чем ты хотел гутарить? Какое совещание? — спросил Григорий, скучающе позевывая.

Он не болел душой за исход восстания. Его это как-то не волновало. Изо дня в день, как лошадь, влачащая молотильный каток по гуменному посаду, ходил он в думках вокруг все этого же вопроса и наконец мысленно махнул рукой: «С Советской властью нас зараз не помиришь, дюже крови много она нам, а мы ей пустили, а кадетская власть зараз гладит, а потом будет против шерсти драть. Черт с ним! Как кончится, так и ладно будет!»

Кудинов развернул карту; все так же не глядя в глаза Григорию, сказал:

— Мы тут без тебя держали совет и порешили...

— С кем это ты совет держал, с князем, что ли? — перебил его Григорий, вспомнив совещание, происходившее в этой же комнате зимой, и подполковника-кавказца.

Кудинов нахмурился, потускнел.

— Его уж в живых нету.

— Как так? — оживился Григорий.

— А я разве тебе не говорил? Убили товарища Георгидзе.

— Ну, какой он нам с тобой товарищ... Пока дубленый полушубок носил, до тех пор товарищем был. А — не приведи господи — соединилися бы мы с кадетами да он в живых бы остался, так на другой же день усы бы намазал помадой, выхолился бы и не руку тебе подавал, а вот этак, мизинчиком,— Григорий отставил свой смуглый и грязный палец и захохотал, блистая зубами.

Кудинов еще пуще нахмурился. Явное недовольство, досада, сдерживаемая злость были в его взгляде и голосе.

— Смеяться тут не над чем. Над чужою смертью не смеются. Ты становишься вроде Ванюшки-дурачка. Человека убили, а у тебя получается: «Таскать вам не перетаскать!»

Слегка обиженный, Григорий, и виду не показал, что его задело кудиновское сравнение; посмеиваясь, отвечал:

— Таких-то и верно — «таскать бы не перетаскать». У меня к этим белоликим да белоруким жалости не запасено.

— Так вот, убили его...

В бою?

— Как сказать... Темная история, и правды не скоро дознаешься. Он же по моему приказу при обозе находился. Ну, и вроде не заладил с казаками. За Дударевкой бой завязался, обоз, при котором он ездил, от линии огня в двух верстах был. Он, Георгидзе-то, сидел на дышлине брички (так казаки мне рассказывали), и, дескать, шалая пуля его чмокнула в песик. И не копнулся вроде... Казаки, сволочи, должно быть, убили...

— И хорошо сделали, что убили!

— Да оставь ты! Будет тебе путаться.

— Ты не серчай. Это я шутейно.

— Иной раз шутки у тебя глупые проскакивают... Ты — как бык: где жрешь, там и надворничаешь. По-твоему, что же, следует офицеров убивать? Опять «долой погоны»? А за ум тебе взяться не пора, Григорий? Хромай, так уж на одну какую-нибудь!

— Не сепети, рассказывай!

— Нечего рассказывать! Понял я, что убили казаки, поехал туда и погутарил с ними по душам. Так и сказал: «За старое баловство взялись, сукины сыны? А не рано вы опять начали офицеров постреливать? Осенью тоже их постреливали, а посля, как сделали вам закрутку, и офицеры понадобились. Вы же, говорю, сами приходили и на коленях полозили: «Возьми на себя команду, руководствуй!» А зараз опять за старое?» Ну, постыдил, поругал. Они отреклись: мол, «сроду мы его не убивали, упаси бог!» А по глазам ихним б... вижу — они ухондокали! Чего же ты с них возьмешь? Ты им мочись в глаза, а им все — божья роса.— Кудинов раздраженно скомкал ремешок, покраснел.— Убили знающего человека, а я без него зараз как без рук. Кто план накинет? Кто посоветует? С тобою вот так только погутарим, а как дело до стратегии-тактики дошло, так и оказываемся мы вовзят негожими. Петро Богатырев, спасибо, прилетел, а то словом перекинуться не с кем бы... Э, да ну, к черту, хватит! Вот в чем дело: если наши от Донца фронт не порвут, то нам тут не удержаться. Решено, как и раньше говорили, всею тридцатитысячной армией идти на прорыв. Если тебя собьют — отступай до самого Дона. От Усть-Хопра до Казанской очистим им правую сторону, пороем над Доном траншеи и будем обороняться.

В дверь резко постучали.

— Войди. Кто там? — крикнул Кудинов.

Вошел комбриг-6 Богатырев Григорий. Крепкое крас-

ное лицо его блестело потом, вылинявшие русые брови были сердито сдвинуты. Не снимая фуражки с мокрым от пота верхом, он присел к столу.

— Чего приехал? — спросил Кудинов, посматривая на Богатырева со сдержанной улыбкой.

— Патронов давай.

— Дадены были. Сколько же тебе надобно? Что у меня тут, патронный завод, что ли?

— А что было дадено? По патрону на брата? В меня смалят из пулеметов, а я только спину гну да хоронюсь. Это война? Это — одно... рыдание! Вот что!..

— Ты погоди, Богатырев, у нас тут большой разговор,— но, видя, что Богатырев поднимается уходить, добавил: — Постой, не уходи, секретов от тебя нету... Так вот, Мелехов, если уж на этой стороне не удержимся, то тогда идем на прорыв. Бросаем всех, кто не в армии, бросаем все обозы, пехоту сажаем на брички, берем с собой три батареи и пробиваемся к Донцу. Тебя мы хочем пустить головным. Не возражаешь?

— Мне все равно. А семьи наши как же? Пропадут девки, бабы, старики.

— Уж это так. Лучше пущай одни они пропадают, чем всем нам пропадать.

Кудинов, опустив углы губ, долго молчал, а потом достал из стола газету.

— Да, ишо новость: Троцкий приехал руководить войсками. Слухом пользовались, что зараз он в Миллерове, не то в Кантемировке. Вот как до нас добираются!

— На самом деле? — усомнился Григорий Мелехов.

— Верно, верно! Да вот, почитай. Прислали мне казанцы. Вчера утром за Шумилинской разъезд наш напал на двух верховых. Обое красные курсанты. Ну, порубили их казаки и у одного — немолодой на вид, говорили, может и комиссар какой — нашли в планшетке вот эту газету по названию «В пути» от двенадцатого этого месяца. Расчудесно они нас описывают! — Кудинов протянул Мелехову газету с оторванным на козью ножку углом.

Григорий бегло взглянул на заголовок статьи, отмеченной химическим карандашом, начал читать:

ВОССТАНИЕ В ТЫЛУ

Восстание части донского казачества тянется уже ряд недель. Восстание поднято агентами Деникина — контрреволюционными офицерами. Оно нашло опору в среде казацкого кулачества. Кулаки потянули за собой значительную часть казаков-середняков. Весьма возможно, что в том или

другом случае казаки терпели какие-либо несправедливости от отдельных проходивших воинских частей или от представителей Советской власти. Этим умело воспользовались деникинские агенты, чтобы раздуть пламя мятежа. Белогвардейские прохвосты притворяются в районе восстания сторонниками Советской власти, чтобы легче втереться в доверие к казаку-середняку. Таким путем контрреволюционные плутни, кулацкие интересы и темнота массы казачества слились на время воедино в бессмысленном и преступном мятеже в тылу наших армий Южного фронта. Мятеж в тылу у воина то же самое, что нарыв на плече у работника. Чтобы воевать, чтобы защищать и оборонять Советскую страну, чтобы добить помещичье-деникинские шайки, необходимо иметь надежный, спокойный, дружный рабоче-крестьянский тыл. Важнейшей задачей поэтому является сейчас очищение Дона от мятежа и мятежников.

Центральная Советская власть приказала эту задачу разрешить в кратчайший срок. В помощь экспедиционным войскам, действующим против подлого контрреволюционного мятежа, прибыли и прибывают прекрасные подкрепления. Лучшие работники-организаторы направляются сюда для разрешения неотложной задачи.

Нужно покончить с мятежом. Наши красноармейцы должны проникнуться ясным сознанием того, что мятежники Вешенской, или Еланской, или Букановской станиц являются прямыми помощниками белогвардейских генералов Деникина и Колчака. Чем дальше будет тянуться восстание, тем больше жертв будет с обеих сторон. Уменьшить кровопролитие можно только одним путем: нанося быстрый, суровый сокрушающий удар.

Нужно покончить с мятежом. Нужно вскрыть нарыв на плече и прижечь его каленым железом. Тогда рука Южного фронта освободится для нанесения смертельного удара врагу.

Григорий докончил читать, мрачно усмехнулся. Статья наполнила его озлоблением и досадой. «Черкнули пером и доразу спаровали с Деникиным, в помощники ему зачислили...»

— Ну как, здорово? Каленым железом собираются прижечь. Ну да мы ишо поглядим, кто кому приварит! Верно, Мелехов? — Кудинов подождал ответа и обратился к Богатыреву: — Патронов надо? Дадим! По тридцать штук на всадника, на всю бригаду. Хватит?.. Ступай на склад, получай. Ордер тебе выпишет начальник отдела снабжения, зайди к нему. Да ты там, Богатырев, больше на шашку, на хитрость налегай, милое дело!

— С паршивой овцы хучь шерсти клок! — улыбнулся обрадованный Богатырев и, попрощавшись, вышел.

После того как договорился с Кудиновым относительно ожидавшегося отхода к Дону, ушел и Григорий Мелехов. Перед уходом спросил:

— В случае, ежели я всю дивизию приведу на Базки, переправиться-то будет на чем?

— Эка выдумал! Конница вся вплынь через Дон пойдет. Где это видано, чтобы конницу переправляли?

— У меня ить обдонцев мало, имей в виду. А казаки

с Чиру — не пловцы. Всю жизню середь степи живут, где уж им плавать. Они все больше по-топоровому.

— При конях переплывут. Бывало, на маневрах плавали, и на германской припадало.

— Я про пехоту говорю.

— Паром есть. Лодки сготовим, не беспокойся.

— Жители тоже будут ехать.

— Знаю.

— Ты всем обеспечь переправу, а то я тогда из тебя душу выну! Это ить не шутка, ежли у нас народ останется.

— Да сделаю, сделаю же!

— Орудия как?

— Мортирки взорви, а трехдюймовые вези сюда. Мы большие лодки поскошуем и перекинем батареи на эту сторону.

Григорий вышел из штаба под впечатлением прочитанной статьи.

«Помощниками Деникина нас величают... А кто же мы? Выходит, что помощники и есть, нечего обижаться. Правда-матка глаза заколола...» Ему вспомнились слова покойного Якова Подковы. Однажды в Каргинской, возвращаясь поздно вечером на квартиру, Григорий зашел к батарейцам, помещавшимся в одном из домов на площади; вытирая в сенцах ноги о веник, слышал, как Яков Подкова, споря с кем-то, говорил: «Отделились, говоришь? Ни под чьей властью не будем ходить? Хо! У тебя на плечах не голова, а неедовая тыкла! Коли хочешь знать, мы зараз, как бездомная собака: иная собака не угодит хозяину либо нашкодит, уйдет из дому, а куда денется? К волкам не пристает — страшновато, да и чует, что они звериной породы, и к хозяину нельзя возвернуться — побьет за шкоду. Так и мы. И ты попомни мои слова: подожмем хвост, вдоль пуза вытянем его по-кнутовому и поползем к кадетам. «Примите нас, братушки, помилосердствуйте!» Вот оно что будет!»

Григорий после того боя, когда порубил под Климовкой матросов, все время жил в состоянии властно схватившего его холодного, тупого равнодушия. Жил, понуро нагнув голову, без улыбки, без радости. На какой-то день всколыхнули его боль и жалость к убитому Ивану Алексеевичу, а потом и это прошло. Единственное, что оставалось ему в жизни (так, по крайней мере, ему казалось), это — с новой и неуемной силой вспыхнувшая страсть к Аксинье. Одна она манила его к себе, как манит путника в знобящую черную осеннюю ночь далекий трепетный огонек костра в степи.

Вот и сейчас, возвращаясь из штаба, он вспомнил о ней, подумал: «Пойдем мы на прорыв, а она как же? — и без колебаний и долгих размышлений решил: — Наталья останется с детьми, с матерью, а Аксютку возьму. Дам ей коня, и пущай при моем штабе едет».

Он переехал через Дон на Базки, зашел на квартиру, вырвал из записной книжки листок, написал:

«Ксюша! Может, нам придется отступить на левую сторону Дона, так ты кинь все свое добро и езжай в Вёшки. Меня там разыщешь, будешь при мне».

Записку заклеил жидким вишневым клеем, передал Прохору Зыкову и, багровея, хмурясь, за напускной строгостью скрывая от Прохора свое смущение, сказал:

— Поедешь в Татарский, передашь эту записку Астаховой Аксинье. Да так передай, чтобы... ну, к примеру, из наших кто не доглядел, из моей семьи. Понял? Лучше ночью занеси и отдай ей. Ответа не надо. И потом вот что: даю тебе отпуск на двое суток. Ну, езжай!

Прохор пошел к коню, но Григорий, спохватившись, вернул его.

— Зайди к нашим и скажи матери либо Наталье, чтобы они загодя переправили на энту сторону одежду и другое что ценное. Хлеб пущай зароют, а скотину вплынь перегонют через Дон.

LIX

22 мая началось отступление повстанческих войск по всему правобережью. Части отходили с боем, задерживаясь на каждом рубеже. Население хуторов степной полосы в панике устремилось к Дону. Старики и бабы запрягали все имевшееся в хозяйстве тягло, валили на арбы сундуки, утварь, хлеб, детишек. Из табунов и гуртов разбирали коров и овец, гнали их вдоль дорог. Огромнейшие обозы, опережая армию, покатились к придонским хуторам.

Пехота, по приказу штаба командующего, начала отход на день раньше. Татарские пластуны и иногородняя Вешенская дружина 21 мая вышли из хутора Чеботарева Усть-Хоперской станицы, проделали марш в сорок с лишним верст, ночевать расположились в хуторе Рыбном Вешенской станицы.

22-го с зари бледная наволочь покрыла небо. Ни единой тучки не было на его мглистом просторе, лишь на юге, над кромкой обдонского перевала, перед восходом солнца поя-

вилось крохотное ослепительно-розовое облачко. Обращенная к востоку сторона его будто кровоточила, истекая багряным светом. Солнце взошло из-за песчаных, прохладных после росы бурунов левобережья, и облачко исчезло в невиди. В лугу резче закричали дергачи, острокрылые рыбники голубыми хлопьями падали на россыпи Дона в воду, поднимались ввысь с серебряно сверкающими рыбешками в хищных клювах.

К полудню установилась небывалая для мая жара. Пáрило, словно перед дождем. Еще до зари с востока по правой стороне Дона потянулись к Вешенской валки беженских обозов. По Гетманскому шляху неумолчно поцокивали колеса бричек. Ржанье лошадей, бычиный мык и людской говор доносились с горы до самого займища.

Вешенская иногородняя дружина, насчитывавшая около двухсот бойцов, все еще находилась в Рыбном. Часов в десять утра был получен приказ из Вешенской: дружине перейти на хутор Большой Громок, выставить на Гетманском шляху и по улицам заставы, задерживать всех направляющихся в Вешенскую казаков служивского возраста.

К Громку подкатилась волна движущихся на Вешенскую беженских подвод. Запыленные, черные от загара бабы гнали скот, по обочинам дорог ехали всадники. Скрип колес, фырканье лошадей и овец, рев коров, плач детишек, стон тифозных, которых тоже везли с собой в отступ, опрокинули нерушимое безмолвие хутора, потаенно захоронившегося в вишневых садах. Так необычен был этот многообразный и слитный гомон, что хуторские собаки окончательно охрипли от бреха и уже не бросались, как вначале, на каждого пешехода, не провожали вдоль проулков подводы, от скуки увязываясь за ними на добрую версту.

Прохор Зыков двое суток погостил дома, передал записку Григория Аксинье Астаховой и словесный наказ Ильиничне с Натальей, двадцать второго выехал в Вешенскую.

Он рассчитывал застать свою сотню на Базках. Но орудийный гул, глухо докатываясь до Обдонья, звучал еще как будто где-то по Чиру. Прохора что-то не потянуло ехать туда, где возгорался бой, и он решил добраться до Базков, там обождать, пока к Дону подойдет Григорий со своей 1-й дивизией.

Всю дорогу до самого Громка Прохор ехал, обгоняемый подводами беженцев. Ехал он не спеша, почти все время

шагом. Ему некуда было торопиться. От Рубежина он пристал к штабу недавно сформированного Усть-Хоперского полка.

Штаб перемещался на рессорных дышловых дрожках и на двух бричках. У штабных шли привязанные к задкам повозок шесть подседланных лошадей. На одной из бричек везли какие-то бумаги и телефонные аппараты, а на дрогах — раненого пожилого казака и еще одного, страшно исхудалого, горбоносого, не поднимавшего от седельной подушки головы, покрытой серой каракулевой офицерской папахой. Он, очевидно, только что перенес тиф. Лежал, до подбородка одетый шинелью; на выпуклый бледный лоб его, на тонкий хрящеватый нос, поблескивающий испариной, садилась пыль, но он все время просил укутать ему ноги чем-нибудь теплым и, вытирая пот со лба костистой, жилистой рукой, ругался:

— Сволочи! Стервюги! Под ноги дует мне, слышите! Поликарп, слышишь? Укройте полстью! Здоровый был — нужен был, а зараз...— и вел по сторонам нездешним, строгим, как у всех перенесших тяжелую болезнь, взглядом.

Тот, кого он называл Поликарпом,— высокий молодцеватый старовер,— на ходу спешивался, подходил к дрожкам.

— Вы так дюжей могете простыть, Самойло Иванович.

— Прикрой, говорят!

Поликарп послушно исполнял приказание, отходил.

— Это кто же такой есть? — спросил у него Прохор, указывая глазами на больного.

— Офицер усть-медведицкий. Они у нас при штабе находились.

Вместе со штабом ехали и усть-хоперские беженцы с Тюковного, Бобровского, Крутовского, Зимовного и других хуторов.

— Ну, а вас куда нечистая сила несет? — спросил Прохор у одного старика беженца, восседавшего на мажаре, доверху набитой разным скарбом.

— Хотим в Вёшки проехать.

— Посылали за вами, чтобы в Вёшки ехали?

— Оно, милок, не посылали, да ить и кому же смерть мила? Небось, поедешь, когда в глазах страх.

— Я к тому спрашиваю: чего вы в Вёшки мететесь? В Еланской переправились бы на энту сторону — и вся недолга.

— На чем? Там, гутарил народ, парома нету.

— А в Вёшках на чем? Паром под твою хурду дадут? Частя побросают на берегу, а вас с арбами начнут переправлять? То-то, дедушка, глупые вы люди! Едут черт-те куда и неизвестно зачем. Ну, чего ты это на арбу навалил? — с досадой спрашивал Прохор, равняясь с арбой, указывая на узлы плетью.

— Мало ли тут чего нету! И одежда, и хомуты вот, мука и разное прочее, надобное по хозяйству... Кинуть было нельзя. К пустому куреню бы приехал. А то вот я запрег пару коней да три пары быков, все поклал, что можно было, баб посажал и поехал. Ить, милый, все наживалось своим горбом, со слезьми и с пóтом наживалось, разве ж не жалко кинуть? Кабы можно было, курень бы — и то увез, чтобы красным не достался, холера им в бок!

— Ну, а к примеру, к чему ты это грохот тянешь с собой? Или вот стулья, на какую надобность прешь их? Красным они ничуть не нужны.

— Да ить нельзя же было оставить! Эка, чудак ты... Оставь, а они либо поломают, либо сожгут. Нет, у меня не поджилвутся. Разъязви их в душу! Все начисто забрал!

Старик махнул кнутом на вяло переступавших сытых лошадей, повернулся назад и, указывая кнутовищем на третью сзади бычиную подводу, сказал:

— Вон энта закутанная девка, что быков погоняет,— моя дочь. У ней на арбе свинья с поросятами. Она была супоросая, мы ее, должно быть, помяли, когда вязали да на арбу клали. Она — возьми да и опоросись ночью, прямо на арбе. Слышишь, как поросятки скавчат? Нет, от меня краснюки не дюже разживутся, лихоман их вытряси!

— Нешто не попадешься ты мне, дед, возля парома! — сказал Прохор, злобно уставившись на потную широкую рожу старика.— Нешто не попадешься, а то так и загремят в Дон твои свиньи, поросята и все имение!

— Это через что же такое? — страшно удивился старик.

— Через то, что люди гибнут, всего лишаются, а ты, старая чертяка, как паук, все тянешь за собой! — закричал обычно смирный и тихий Прохор.— Я таких говноедов до смерти не люблю! Мне это — нож вострый!

— Проезжай! Проезжай мимо! — обозлился старик, сопя, отворачиваясь.— Начальство какое нашлось, чужое добро он поспихал бы в Дон... Я с ним, как с хорошим человеком... У меня самого сын-вахмистр зараз с сотней задерживает красных... Проезжай, пожалуйста! На чужое

добро нечего завидовать! Своего бы наживал поболе, вот оно бы и глаза не играли!

Прохор тронул рысью. Позади пронзительно, тонко завизжал поросенок, встревоженно заохала свинья. Поросячий визг шилом вонзался в уши.

— Что это за черт? Откуда поросенок? Поликарп!..— болезненно морщась и чуть не плача, закричал лежавший на дрожках офицер.

— Это поросеночек с арбы упал, а ему ноги колесом потрощило,— отвечал подъехавший Поликарп.

— Скажи им... Езжай, скажи хозяину поросенка, чтобы он его прирезал. Скажи, что тут больные... И так тяжело, а тут этот визг. Скорее! Скачи!

Прохор, поравнявшись с дрожками, видел, как горбоносый офицерик морщился, с остановившимся взглядом прислушиваясь к поросячьему визгу, как тщетно пытался прикрыть уши своей серой каракулевой папахой... Подскакал Поликарп.

— Он не хочет резать, Самойло Иваныч. Говорит, что он, поросенок, выходится, а нет — так мы, мол, его на вечер прирежем.

Офицерик побледнел, с усилием приподнялся и сел на дрогах, свесив ноги.

— Где мой браунинг? Останови лошадей! Где хозяин поросенка? Я сейчас покажу... На какой подводе?

Хозяйственного старика все-таки заставили приколоть поросенка.

Прохор, посмеиваясь, тронул рысью, обогнал валку усть-хоперских подвод. Впереди, в версте расстояния, по дороге ехали новые подводы и всадники. Подвод было не меньше двухсот, всадников, ехавших враздробь,— человек сорок.

«Светопреставление будет возля парома!» — подумал Прохор.

Догнал подводы. Навстречу ему, от головы движущегося обоза, на прекрасном темно-гнедом коне намётом скакала баба. Поравнявшись с Прохором, натянула поводья. Конь под ней был оседлан богатым седлом, нагрудная прозвездь и уздечка посверкивали серебром, даже крылья седла были нимало не обтерты, а подпруги и подушки лоснились глянцем добротной кожи. Баба умело и ловко сидела в седле, в сильной смуглой руке твердо держала правильно разобранные поводья, но рослый служивский конь, как видно, презирал свою хозяйку: он выворачивал налитое кровью глазное яблоко, изгибал шею и, обнажая

желтую плиту оскала, норовил цапнуть бабу за круглое, вылезшее из-под юбки колено.

Баба была по самые глаза закутана свежевыстиранным, голубым от синьки головным платком. Сдвинув его с губ, спросила:

— Ты не обгонял, дяденька, подводы с ранеными?

— Обгонял много подвод. А что?

— Да вот беда,— протяжно заговорила баба,— мужа не найду. Он у меня с лазаретом из Вусть-Хопра едет. У него ранения в ногу была. А зараз вроде загноилась рана, он и переказал мне с хуторными, чтобы коня ему привела. Это его конь,— баба хлопнула плетью по конской шее, осыпанной росинками пота,— я подседлала коня, поехала в Вусть-Хопер, а лазарета там уже нету, уехал. И вот сколько ни моталась, никак не нападу на него.

Прохор, любуясь круглым красивым лицом казачки, с удовольствием вслушиваясь в мягкий тембр ее низкого, контральтового голоса, крякнул:

— Эх, мамушка! На черта тебе мужа искать! Пущай его с лазаретом едет, а тебя — такую раскрасавицу, да ишо с таким конем в приданое любой в жены возьмет! Я и то рискнул бы.

Баба нехотя улыбнулась, перегнувшись полным станом, натянула на оголившиеся колени подол юбки.

— Ты без хаханьков скажи: не обгонял лазарета?

— Вон в энтой валке есть и больные и раненые,— со вздохом отвечал Прохор.

Баба взмахнула плетью, конь ее круто повернулся на одних задних ногах, бело сверкнул набитой в промежножье пеной, пошел рысью, сбиваясь с ноги, переходя на намет.

Подводы двигались медленно. Быки лениво мотали хвостами, отгоняли гудящих слепней. Стояла такая жара, так душен и сперт был предгрозовый воздух, что у дороги сворачивались и блекли молодые листки невысоких подсолнухов.

Прохор снова ехал рядом с обозом. Его поражало множество молодых казаков. Они или отбились от своих сотен, или просто дезертировали, пристали к семьям и вместе с ними ехали к переправе. Некоторые, привязав к повозкам строевых лошадей, лежали на арбах, переговариваясь с бабами, нянча детишек, другие ехали верхами, не снимая ни винтовок, ни шашек. «Побросали частя и бегут»,— решил Прохор, поглядывая на казаков.

Пахло конским и бычьим потом, нагретым деревом

бричек, домашней утварью, коломазью. Быки шли понуро, тяжко нося боками. С высунутых языков их до самой придорожной пыли свисали узорчатые нити слюны. Обоз двигался со скоростью четырех-пяти верст в час. Подводы с лошадиными упряжками не перегоняли быков. Но едва лишь где-то далеко на юге мягко разостлался орудийный выстрел, как все пришло в движение: измешав порядок, из длинной вереницы подвод съехали в стороны пароконные и одноконные повозки, запряженные лошадьми. Лошади пошли рысью, замелькали кнуты, послышалось разноголосое: «Но, поди!», «Но-о-о, чертовы сыны!», «Трогай!» По бычьим спинам гулко зашлепали хворостины и арапники, живее загремели колеса. В страхе все ускорило движение. Тяжелыми серыми лохмами поднялась от дороги жаркая пыль и поплыла назад, клубясь, оседая на стеблях хлебов и разнотравья.

Маштаковатый конишка Прохора на ходу тянулся к траве, срывая губами то ветку донника, то желтый венчик сурепки, то кустик горчука; срывал и ел, двигая сторожкими ушами, стараясь выкинуть языком гремящие, натершие десны удила. Но после орудийного выстрела Прохор толкнул его каблуками, и конишка, словно понимая, что теперь не время кормиться, охотно перешел на тряскую рысь.

Канонада разрасталась. Садкие, бухающие звуки выстрелов сливались, в душном воздухе колеблющейся октавой стоял раскатистый, громовитый гул.

— Господи Исусе! — крестилась на арбе молодая баба, вырывая изо рта ребенка коричнево-розовый, блестящий от молока сосок, запихивая в рубаху тугую желтоватую кормящую грудь.

— Наши бьют али кто? Эй, служивый! — крикнул Прохору шагавший рядом с быками старик.

— Красные, дед! У наших снарядов нету.

— Ну, спаси их царица небесная!

Старик выпустил из рук налыгач, снял старенькую казачью фуражку; крестясь на ходу, повернулся на восток лицом.

На юге из-за гребня, поросшего стрельчатыми всходами поздней кукурузы, показалось жидковатое черное облако. Оно заняло полгоризонта, мглистым покровом задернуло небо.

— Большой пожар, глядите! — крикнул кто-то с подводы.

— Что бы это могло быть?

— Где горит? — сквозь дребезжащий гул колес зазвучали голоса.

— По Чиру.

— Красные по Чиру хутора жгут!

— Сушь, не приведи господь...

— Гляди, какая туча черная занялась!

— Это не один хутор горит!

— Вниз по Чиру от Каргиновской полышет, там ить бой зараз...

— А может, и по Черной речке? Погоняй, Иван!

— Ох, и горит!..

Черная мгла простиралась вширь, занимала все большее пространство. Все сильнее становился орудийный рев. А через полчаса на Гетманский шлях южный ветерок принес прогорклый и тревожный запах гари с пожара, бушевавшего в тридцати пяти верстах от шляха по чирским хуторам.

LX

Дорога по Большому Громку в одном месте шла мимо огорожи, сложенной из серого камня-плитняка, а потом круто заворачивала к Дону, спускалась в неглубокий суходольный ярок, через который был перекинут бревенчатый мост.

В сухую погоду теклина яра желто отсвечивала песком, цветастой галькой, а после летнего ливня с бугра в яр стремительно скатывались мутные дождевые потоки, они сливались, вода шла на низ стеной, вымывая и ворочая камни, с гулом ввергаясь в Дон.

В такие дни мост затопляло, но ненадолго; через час-два бешеная нагорная вода, недавно разорявшая огороды и вырывавшая плетни вместе со стоянка́ми, спадала, на оголенной подошве яра свежо сияла влажная, пахнущая мелом и сыростью омытая галька, по краям коричневым глянцем блистал наносный ил.

По обочинам яра густо росли тополя и вербы. В тени их стояла прохлада даже в самую жаркую пору летнего дня.

Прельстившись холодком, возле моста расположилась застава Вешенской иногородней дружины. В заставе было одиннадцать человек. Пока в хуторе не появлялись беженские подводы, дружинники, лежа под мостом, играли в карты, курили, некоторые, растелешившись, очищали швы рубах и исподников от ненасытных солдатских

вшей, двое отпросились у взводного — пошли на Дон купаться.

Но отдых был кратковременным. Вскоре к мосту привалили подводы. Они двигались сплошным потоком, и сразу в сонном тенистом проулке стало людно, шумно, душно, словно вместе с подводами свалилась в хутор с обдонского бугра и едкая степная духота.

Начальник заставы, он же командир 3-го взвода дружины,— высокий сухой унтер-офицер с подстриженной бурой бородкой и большими, по-мальчишески оттопыренными ушами,— стоял около моста, положив ладонь на потерханную кобуру нагана. Он беспрепятственно пропустил десятка два подвод, но, усмотрев на одной арбе молодого, лет двадцати пяти, казака, коротко приказал:

— Стой!

Казак натянул вожжи, нахмурился.

— Какой части? — строго спросил взводный, подойдя к арбе вплотную.

— А вам чего надо?

— Какой части, спрашиваю. Ну?

— Рубеженской сотни. А вы кто такие есть?

— Слазь!

— А кто вы такие?

— Слазь, говорят тебе!

Круглые ушные раковины взводного жарко вспыхнули. Он отстегнул кобуру, вытащил и передал в левую руку наган. Казак сунул вожжи жене, соскочил с арбы.

— Почему не в части? Куда едешь? — допрашивал его взводный.

— Хворал. Еду зараз на Базки... С семейством нашим еду.

— Документ о болезни есть?

— Откель он могет быть? Фершала не было при сотне.

— А, не было?.. Ну-ка, Карпенко, отведи его в школу!

— Да вы кто такие из себя?

— А вот там мы тебе покажем, кто мы такие!

— Я должен в свою часть направляться! Не имеешь прав меня задерживать!

— Сами тебя направим. Оружие при тебе?

— Винтовка одна.

— Бери, да живо у меня, а то враз нашвыряю! Какой молодой, с-с-сукин сын, а под бабу лезешь, хоронишься! Мы, что ли, тебя должны защищать? — И с презрением кинул вслед: — Каз-зу-ня!

Казак вынул из-под полсти винтовку, взял жену за

руку, целоваться при людях не стал, лишь черствую женину руку на минуту задержал в своей руке, шепнул что-то, пошел следом за дружинником к хуторской школе.

Скопившиеся в проулке подводы с громом устремились по мосту.

Застава за час задержала человек пятьдесят дезертиров. Из них некоторые при задержании сопротивлялись, особенно — один немолодой, длинноусый, бравый на вид казачок с хутора Нижне-Кривского Еланской станицы. На приказ начальника заставы сойти с брички он ударил по лошадям кнутом. Двое дружинников схватили лошадей под уздцы, остановили уже на той стороне моста. Тогда казачок, недолго думая, выхватил из-под полы американский винчестер, вскинул его к плечу.

— Дороги!.. Убью, сволочь!

— Слазь, слазь! У нас приказ стрелять, кто не подчиняется. Мы тебя скорее посодим на мушку!

— Муж-жи-ки-и-ии!.. Вчера красные были, а ноне казакам указываете?.. Шерсть вонючая!.. Отойди, вдарю!..

Один из дружинников в новеньких зимних обмотках стал на переднее колесо брички и после короткой схватки вырвал винчестер из рук казака. Тот по-кошачьи изогнулся, скользнул рукой под ватолу, выхватил из ножен шашку; стоя на коленях, потянулся через прицепную раскрашенную люльку и чуть-чуть не достал концом клинка головы вовремя отпрыгнувшего дружинника.

— Тимоша, брось, Тимонюшка! Ох, Тимоша!.. Да не надо же!.. Не связывайся! Убьют они тебя!..— плакала, ломая руки, дурнолицая исхудалая жененка разбушевавшегося казака.

Но он, поднявшись на бричке во весь рост еще долго размахивал сине поблескивавшим клинком, не подпускал к бричке дружинников, хрипло матерился, бешено ворочал по сторонам глазами. «О-той-ди-и-и!.. Зарублю!» По исчерна-смуглому лицу его ходили судороги, под длинными желтоватыми усами вскипала пенистая слюна, голубоватые белки все больше наливались кровью.

Его с трудом обезоружили, повалили, связали. Воинственность лихого казачка объяснялась просто: в бричке пошарили и нашли распочатый ведерный кувшин крепчайшего самогона-первака...

В проулке образовался затор. Так плотно стиснулись повозки, что потребовалось выпрягать быков и лошадей, на руках вывозить арбы к мосту. Хряпали, ломались дышла и оглобли, зло взвизгивали кони, быки, облепленные слеп-

иями, не слушая хозяйских окриков, ошалев от нуды, лезли на плетни. Ругань, крик, щелканье кнутов, бабьи причитания еще долго звучали около моста. Задние подводы, там, где можно было разминуться, повернули назад, снова поднялись на шлях, с тем чтобы спуститься к Дону на Базках.

Арестованных дезертиров направили под конвоем на Базки, но так как все они были вооружены, то конвой не смог их удержать. Сейчас же за мостом между конвойными и конвоируемыми возникла драка. Спустя немного дружинники вернулись обратно, а дезертиры организованным порядком сами пошли в Вешенскую.

Прохора Зыкова тоже задержали на Громке. Он предъявил отпускную бумажку, выданную Григорием Мелеховым, и его пропустили, не чиня препятствий.

Уже перед вечером он приехал на Базки. Тысячи подвод, приваливших с чирских хуторов, запрудили все улицы и проулки. Возле Дона творилось нечто неописуемое. Беженцы заставили подводами весь берег на протяжении двух верст. Тысяч пятьдесят народа ждали переправы, рассыпавшись по лесу.

Против Вешенской на пароме переправляли батареи, штабы и войсковое имущество. Пехоту перебрасывали на маленьких лодках. Десятки их сновали по Дону, перевозя по три-четыре человека. У самой воды около пристани вскипала дикая давка. А конницы, оставшейся в арьергарде, все еще не было. С Чира по-прежнему доносились раскаты орудийных выстрелов, и еще резче, ощутимей чувствовался терпкий, прогорклый запах гари.

Переправа шла до рассвета. Часов в двенадцать ночи подошли первые конные сотни. С рассветом они должны были начать переправу.

Прохор Зыков, узнав о том, что конные части 1-й дивизии еще не прибыли, решил дождаться своей сотни на Базках. С трудом провел он коня в поводу мимо повозок, сплошняком сбитых к изгороди базковской больницы, не расседлывая, привязал к грядушке чьей-то арбы, разнуздал, а сам пошел между повозками искать знакомых.

Возле дамбы издали увидал Аксинью Астахову. Она шла к Дону, прижимая к груди небольшой узелок, накинув внапашку теплую кофту. Яркая, бросающаяся в глаза красота ее привлекала внимание толпившихся у берега пехотинцев. Они говорили ей что-то похабное, на потных, запыленных лицах их в улыбках бело́ вспыхивали зубы, слышны были смачный хохот и игогоканье. Рослый белово-

лосый казак в распоясанной рубахе и сбившейся на затылок папахе сзади обнял ее, коснулся губами смуглой точеной шеи. Прохор видел, как Аксинья резко оттолкнула казака, что-то негромко сказала ему, хищно ощерив рот. Кругом захохотали, а казак снял папаху, сипло пробасил: «Эх, тетуня! Ды хучь разок!»

Аксинья ускорила шаг, прошла мимо Прохора. На полных губах ее дрожала презрительная усмешка. Прохор не окликнул ее, он шарил по толпе глазами, искал хуторян. Медленно подвигаясь между повозками, мертво протянувшими к небу оглобли и дышла, услышал пьяные голоса, смех. Под арбой на разостланной дерюге сидело трое стариков. Меж ног у одного из них стояла цибарка с самогоном. Подгулявшие старики по очереди черпали сомогон медной кружкой, сделанной из орудийной гильзы, пили, закусывали сушеной рыбой. Резкий запах самогона и солонцеватый душок просоленной рыбы заставили проголодавшегося Прохора остановиться.

— Служивый! Выпей с нами за все хорошее! — обратился к нему один из стариков.

Прохор не заставил себя упрашивать, сел, перекрестился, улыбаясь, принял из рук хлебосольного деда кружку со сладко пахнущим самогоном.

— Пей, покедова живой! Вот чебачком закуси. Стариками не надо, парнишша, гребовать. Старики — народ умственный! Вам, молодым, ишо учиться у нас надо, как жизню проводить и... ну и как водочку пить,— гундосил другой дедок, с провалившимся носом и разъеденной до десен верхней губой.

Прохор выпил, опасливо косясь на безносого деда. Между второй и третьей кружкой не вытерпел, спросил:

— Прогулял нос, дедушка?

— Не-е-ет, милый! Это от простуды. Ишо с малюшки дюже от простуды хварывал, через это и попортился.

— А я было погрешил на тебя, думаю: не от дурной ли хворости нос осел? Как бы не набраться этой чепухи! — чистосердечно признался Прохор.

Успокоившись дедовым заверением, он жадно припал губами к кружке и уже без опаски без передышки опорожнил ее до дна.

— Пропадает жизня! Как тут не запьешь? — орал хозяин самогона, плотный и здоровый дед.— Вот привез я двести пудов пшеницы, а с тыщу бросил дома. Пять пар быков пригнал, и придется все это тут кинуть, через Дон ить не потянешь за собой! Все мое нажитое пропадает!

Песни играть хочу! Гуляй, станишники! — Старик побагровел, глаза его увлажнились слезами.

— Не кричи, Трофим Иваныч. Москва — она слезам не дюже верит. Живы будем — ишо наживем,— уговаривал гундосый старик приятеля.

— Да как же мне не кричать?! — с исказившимся от слез лицом повышал голос старик.— Хлеб пропадает! Быки подохнут! Курень сожгут красные! Сына осенью убили! Как можно мне не кричать! Для кого наживал? За лето десять рубах, бывало, сопреют на плечах от поту, а зараз остаюся нагий и босый... Пей!

Прохор под разговор съел широкого, как печной заслон, чебака, выпил кружек семь самогону, до того набрался, что с чрезвычайными усилиями встал на ноги.

— Служивый! Защита наша! Хошь, коню твоему зерна дам? Сколько хошь?

— Мешок! — безразличный ко всему окружающему бормотнул Прохор.

Старик насыпал ему травяной чувал отборного овса, помог поднять на плечо.

— Чувал принеси! Не забудь, ради Христа! — просил он, обнимая Прохора и плача пьяными слезами.

— Нет, не принесу. Говорю — не принесу, значится не принесу...— невесть отчего упорствовал Прохор.

Раскачиваясь, он пошел от арбы. Чувал гнул его, кидая в стороны. Прохору казалось, что идет он по одетой скользкой гололедкой земле, ноги его расползались и дрожали, как у некованой, вступившей на лед сторожкой лошади. Сделав еще несколько неверных шагов, остановился. Никак не мог припомнить: была на нем шапка или нет? Привязанный к бричке гнедой белолобый мерин учуял овес, потянулся к чувалу, куснул угол. В прорыв, мягко шурша, потекло зерно Прохору стало легче, и он снова пошел.

Может быть, и донес бы остатки овса до своего коня, но огромный бык, мимо которого он проходил, вдруг сбоку, по бычиному обыкновению, лягнул его ногой. Быка измучили оводы и мошкара, он ошалел от жары и нуды, не подпускал к себе людей. Прохор, бывший в этот день не первой жертвой бычиной ярости, отлетел в сторону, ударился головой о ступку колеса, тотчас же уснул.

Очнулся за полночь. Над ним в сизой вышине, клубясь, стремительно неслись на запад свинцово-серые тучи. В просветы на миг выглядывал молодой пологий месяц, и снова тучевою наволочью крылось небо, и словно бы усиливался в темноте резкий, прохладный ветер.

Совсем близко за арбой, около которой лежал Прохор, шла конница. Под множеством обутых в железные подковы лошадиных копыт земля стонала и охала. Пырскали кони, чуя близкий дождь; вызванивали о стремена шашки, вспыхивали рдяные огоньки цигарок. От проходивших сотен наносило конским потом и кислотным душком ременной амуниции.

Прохор — как и всякий служивый казак — сроднился за годы войны с этим смешанным, только коннице присущим запахом. Казаки пронесли его по всем дорогам от Пруссии и Буковины до донских степей, и он, нерушимый душок кавалерийской части, был столь же близок и знаком, как и запах родного куреня. Жадно шевельнув куцыми ноздрями, Прохор приподнял тяжелую голову.

— Это какая часть, братцы?

— Конная...— игриво ответил басок из темноты.

— Да чья, спрашиваю, часть?

— Петлюры...— отвечал тот же басок.

— Эка сволочь! — Подождал немного, повторил вопрос: — Какой полк, товарищи?

— Боковский.

Прохор хотел встать, но в голове тяжко билась кровь, к горлу подступала тошнота. Прилег, снова уснул. К заре потянуло с Дона сыростью и холодом.

— Не помер? — сквозь сон услышал он голос над собой.

— Теплый... и выпитый! — отвечал кто-то над самым Прохоровым ухом.

— Тяни его к черту! Развалился, как падло! А ну, дай ему под дыха́ло!

Древком пики всадник больно толкнул еще не пришедшего в себя Прохора в бок, чьи-то руки сцапали его за ноги, поволокли в сторону.

— Растягивай повозки! Подохли! Нашли время дрыхнуть! Красные вот-вот на хвост наступают, а они спят, как дома! Отодвигай повозки в стороны, зараз батарея пойдет! Живо!.. Загородили дорогу... Ну, и на-ро-о-од! — загремел властный голос.

Спавшие на повозках и под повозками беженцы зашевелились. Прохор вскочил на ноги. На нем не было ни винтовки, ни шашки, не было и сапога на правой ноге,— все это умудрился растерять он после вчерашней пьянки. Недоумевающе оглянувшись, хотел было поискать под арбой, но соскочившие с лошадей ездовые и номера подошедшей батареи безжалостно опрокинули арбу вместе со

стоявшими на ней сундуками, вмиг очистили проход для орудий.

— Тро-га-а-ай!..

Ездовые вскочили на лошадей. Туго дрогнув, натянулись широкие сшивные постромки. Высокие колеса одетого в чехол орудия лязгнули на выбоине. Зарядный ящик зацепился осью за дышлину брички, отломил ее.

— Бросаете фронт? Вояки, разъязви вашу! — крикнул с брички гундосый старик, с которым вечером выпивал Прохор.

Батарейцы проезжали молча, спешили к переправе. Прохор в предрассветных сумерках долго искал винтовку и коня. Так и не нашел. Возле лодок снял и другой сапог, кинул его в воду и долго мочил голову, стянутую обручами невыносимой боли.

Конница начала переправляться на восходе солнца. Полтораста расседланных лошадей 1-й сотни спешенные казаки подогнали к Дону повыше колена, от которого Дон под прямым углом сворачивает на восток. Командир сотни, по глаза заросший рыжей щетинистой бородкой, горбоносый и свирепый на вид, был разительно похож на дикого кабана. Левая рука его висела на грязной окровяненной перевязи, правая — безустально играла плетью.

— Не давай коням пить! Гони! Гони их! Да что ты... мать... мать... мать... воды боишься, что ли? Заброди!.. Он у тебя не сахарный, не размокнет!..— кричал он на казаков, загонявших лошадей в воду, и под рыжими усами его обнажались клыкастые белые зубы.

Лошади табунились, неохотно шли в знобкую воду, казаки покрикивали, секли их плетьми. Первым поплыл вороной белоноздрый конь с широкой розоватой прозвездью во лбу. Он, как видно, плавал не впервые. Вислозадый круп его омывала волна, мочалистый хвост относило на сторону, а шея и спина были наружи. За ним шли остальные лошади, разрезая стремя, с гулом и фырканьем погружаясь в закипевшую воду. Казаки на шести баркасах поехали следом. Один из провожатых, стоя на носу баркаса, на всякий случай приготовил веревочный аркан.

— Наперед не заезжай! Направляй их наискосок течению! Не давай, чтобы их сносило.

Плеть в руке сотенного ожила, описала круг, щелкнув, опустилась на голенище измазанного известкой сапога.

Быстрое течение сносило лошадей. Вороной легко плыл впереди остальных, выделившись на два лошадиных корпуса. Он первый выбрался на песчаную отмель левобережья.

В этот момент из-за кустистых ветвей осокоря глянуло солнце, розовый луч упал на вороного коня, и глянцевая от влаги шерсть его на миг вспыхнула черным неугасимым пламенем.

— За кобылкой Мрыхина поглядывай! Подсоби ей!.. На ней уздечка. Да греби же! Греби!..— хрипло кричал похожий на кабана сотенный.

Лошади благополучно переплыли. На той стороне их ждали казаки. Они разбирали лошадей, накидывали уздечки. С этой стороны начали перевозить седла.

— Где вчерась горело? — спросил Прохор у казака, подносившего к лодке седла.

— По Чиру.

— Снарядом зажгло?

— Каким там снарядом? — сурово отвечал казак.— Красные подпаливают...

— Все начисто? — изумился Прохор.

— Да не-е-ет... Богатые курени жгут, какие железом крытые, либо у кого подворье хорошее.

— Какие же хутора погорели?

— С Вислогузова до Грачева.

— А штаб Первой дивизии — не знаешь, где зараз?

— На Чукаринском.

Прохор вернулся к беженским подводам. Всюду над бескрайно тянувшимся станом схватывался под ветерком горький дымок костров из сушняка, разобранных плетней и сухого скотиньего помета: бабы варили завтраки.

За ночь прибыло еще несколько тысяч беженцев со степной полосы правобережья.

Возле костров, на арбах и повозках пчелиный гул голосов:

— Когда она приспеет нам — очередь переправляться? Ох, не дождешься!

— Накажи господь,— высыплю хлеб в Дон, чтобы красным не достался!

— Возле парома ми-и-иру — как туча стоит!

— Болезная моя, как же мы сундуки-то бросим на берегу?

— Наживали-наживали... Господи-Сусе, кормилец наш!

— Было бы на своем хуторе переехать...

— Понесла нелегкая сила в эти Вёшки, эх!

— Калинов Угол, гутарили, начисто спалили.

— Гребтилось на паром добраться...

— Ну, а то помилуют, что ли!

— У них приказ: всех казаков от шести лет и до самых ветхих годов — рубить.

— Зашшучут нас на энтой стороне... Ну, что тогда?

— Вот мяса нашатают!..

Около раскрашенной тавричанской брички ораторствует статный седобровый старик, по виду и властным замашкам — хуторской атаман, не один год носивший атаманскую насеку с медным надвершием:

— ...спрашиваю: «Стало быть, миру погибать надо на берегу? Когда же мы сумеемся со своими гуньями на энту сторону перекинуться? Ить нас же вырубят красные на кореню!» А ихнее благородие говорит мне: «Не сумлевайся, папаша! До сих пор будем позиции занимать и отстаивать, покеда весь народ переедет. Костьми ляжем, а жен-детей-стариков в трату не дадим!»

Седобрового атамана окружают старики и бабы. Они с величайшим вниманием выслушивают его речь, потом поднимается общий суматошный крик:

— А почему батарея смоталась?

— За малым людей не потоптали, скакали на переправу!..

— И конница пришла...

— Григорий Мелехов, гутарили, фронт бросил.

— Что это за порядки? Жителев побросали, а сами?..

— А войска тяпают передом!..

— Кто нас будет оборонять?

— Кавалерия вон вплынь пошла!..

— Всякому своя рубаха...

— То-то и оно!

— Кругом предали нас!

— Гибель подходит, вот что!

— Высылать надо к красным стариков с хлебом-солью. Может, смилуются, не будут казнить.

На въезде в проулок, около большого кирпичного здания больницы, появляется конник. Винтовка висит у него на передней седельной луке, сбоку покачивается выкрашенное в зеленое древко пики.

— Да это мой Микишка! — обрадованно вскрикивает распокрытая пожилая баба.

Она бежит к всаднику, перепрыгивая через дышла, протискиваясь между возками и лошадьми. Верхового хватают за стремена, останавливают. Он поднимает над головой серый пакет с сургучной печатью, кричит:

— С донесением в главный штаб! Пропустите!

— Микишенька! Сынок! — взволнованно кричит пожи-

лая баба. Растрепанные черные с проседью космы волос ее падают на сияющее лицо. Она с дрожащей улыбкой всем телом прижимается к стремени, к потному лошадиному боку, спрашивает:

— На нашем хуторе был?

— Был. Зараз в нем красные...

— Курень наш?..

— Курень целый, а Федотов сожгли. Наш сарай было занялся, но они сами затушили. Фетиска оттель прибегла, рассказывала, что старшой у красных сказал: «Чтоб ни одна бедняцкая хата не сгорела, а буржуев жгите».

— Ну, слава те господи! Спаси их Христос! — крестится баба.

Суровый старик негодующе говорит:

— А ты чего же, милушка моя! Суседа спалили — так это «слава те господи»?

— Черт его не взял! — горячо и быстро лопочет баба.— Он себе ишо выстроит, а я за какую петлю строилась бы, ежли б сожгли! У Федота — кубышка золота зарытая, и у меня... весь век по чужим людям, у нужды на поводу!

— Пустите, маманя! Мне с пакетом надо поспешать,— просит всадник, наклоняясь с седла.

Мать идет рядом с лошадью, на ходу целует черную от загара руку сына, бежит к своей повозке, а всадник юношеским тенорком кричит:

— Сторонись! С пакетом к командующему! Сторонись!

Лошадь его горячится, вертит задом, выплясывает. Люди неохотно расступаются, всадник едет с кажущейся медлительностью, но вскоре исчезает за повозками, за спинами быков и лошадей, и только пика колышется над многолюдной толпой, приближаясь к Дону.

LXI

За день на левую сторону Дона были переброшены все повстанческие части и беженцы. Последними переправлялись конные сотни Вешенского полка 1-й дивизии Григория Мелехова.

До вечера Григорий с двенадцатью отборными сотнями удерживал натиск красной 33-й Кубанской дивизии. Часов в пять от Кудинова получил уведомление о том, что воинские части и беженцы переправлены, и тогда только отдал приказ об отступлении.

По разработанному заранее плану, повстанческие сотни Обдонья должны были переправиться и разместиться каждая против своего хутора. К полудню в штаб стали поступать донесения от сотен. Большинство их уже расположилось по левобережью против своих хуторов.

Туда, где между хуторами были интервалы, штаб перебросил сотни из казаков степной полосы побережья. Кружилинская, Максаево-Сингинская, Каргинская пешая, Латышевская, Лиховидовская и Грачевская сотни заняли промежутки между Пегаревкой, Вешенской, Лебяжинским, Красноярским, остальные отошли в тыл, на хутора Задонья — Дубровку, Черный, Гороховку — и должны были, по мысли Сафонова, составить тот резерв, который понадобился бы командованию в случае прорыва.

По левой стороне Дона, от крайних к западу хуторов Казанской станицы до Усть-Хопра, на сто пятьдесят верст протянулся повстанческий фронт.

Переправившиеся казаки готовились к позиционным боям: спешно рыли траншеи, рубили и пилили тополя, вербы, дубы, устраивали блиндажи и пулеметные гнезда. Все порожние мешки, найденные у беженцев, насыпали песком, укладывали внакат, бруствером, перед сплошной линией траншей.

К вечеру рытье траншей всюду было закончено. За Вешенской в сосновых посадках замаскировались 1-я и 3-я повстанческие батареи. На восемь орудий имелось всего-навсего пять снарядов. На исходе были и винтовочные патроны. Кудинов с коннонарочными разослал приказ, строжайше запрещавший отстреливаться. В приказе предлагалось выделить из сотен по одному, по два наиболее метких стрелка, снабдить их достаточным числом патронов, с тем чтобы эти сверхметкие стрелки уничтожали красных пулеметчиков и тех красноармейцев, которые будут показываться на улицах правобережных хуторов. Остальным разрешалось стрелять только в том случае, если красные вздумают предпринять попытку к переправе.

Григорий Мелехов уже в сумерках объехал разбросанные вдоль Дона части своей дивизии, ночевать вернулся в Вешенскую.

Разводить огни в займище было воспрещено. Не было огней и в Вешенской. Все Задонье тонуло в лиловой мгле.

Рано утром на базковском бугре появились первые красные разъезды. Вскоре они замаячили по всем курганам правобережья от Усть-Хоперской до Казанской. Красный фронт могущественной лавой подкатывался к Дону. Потом

разъезды скрылись, и до полудня бугры мертвели в пустынной тяжкой тишине.

По Гетма́нскому шляху ветер кружил белесые столбы пыли. На юге все еще стояла багрово-черная мгла пожарища. Разметанные ветром тучи скапливались снова. По бугру легла крылатая тучевая тень. Жиганула белая при дневном свете молния. Серебристой извилистой росшивью она на миг окаймила синюю тучу, сверкающим копьем метнулась вниз и ударила в тугую выпуклую грудину сторожевого кургана. Гром словно расколол нависшую тучевую громадину: из недр ее хлынул дождь. Ветер косил его, нес белесыми пляшущими волнами по меловым косогорам обдонских отрогов, по увядшим от жара подсолнухам, по поникшим хлебам.

Дождь обновил молодую, но старчески серую от пыли листву. Сочно заблистали яровые всходы, подняли круглые головы желтолицые подсолнухи, с огородов пахнуло медвяным запахом цветущей тыквы. Утолившая жажду земля долго дышала паром...

За полдень на сторожевых насыпных курганах, редкой цепью лежавших по обдонскому гребню, протянувшихся над Доном до самого Азовского моря, снова появились разъезды красноармейцев.

С курганов желтобурунное плоское Задонье, изрезанное зелеными островами ендов, было видно на десятки верст. Красноармейские разъезды с опаской стали съезжать в хутора. С бугра цепями повалила пехота. За сторожевыми курганами, на которых некогда дозорные половцев и воинственных бродников караулили приход врага, стали красные батареи.

Расположившаяся на Белогорской горе батарея начала обстрел Вешенской. Первая граната разорвалась на площади, а потом серые дымки снарядных разрывов и молочно-белые, тающие на ветру шапки шрапнелей покрыли станицу. Еще три батареи начали обстреливать Вешенскую и казачьи траншеи у Дона.

На Большом Громке яростно возговорили пулеметы. Два «гочкиса» били короткими очередями, а баритонистый «максим» рассыпа́л неумолчную железную дробь, пристрелявшись по звеньям перебегавшей за Доном повстанческой пехоты. К буграм подтягивались обозы. На поросших терновником склонах гор рыли окопы. По Гетманскому шляху цокотали колеса двуколок и фурманок, за ними длинным клубящимся подолом тянулась пыль.

Орудийный гул шел по всему фронту. С господство-

вавших над местностью Обдонских гор красные батареи обстреливали Задонье до позднего вечера. Изрезанное траншеями повстанцев займище молчало на всем протяжении от Казанской до Усть-Хоперской. Коноводы укрылись с лошадьми в потайных урёмах[1], непролазно заросших камышом, осокой и кугой. Там коней не беспокоил гнус, в оплетенной диким хмелем чаще было прохладно. Деревья и высокий белотал надежно укрывали от красноармейских наблюдателей.

Ни души не было на зеленой луговой пойме. Изредка лишь на лугу показывались согбенные от страха фигурки беженцев, пробиравшихся подальше от Дона. Красноармейский пулемет выщелкивал по ним несколько очередей, тягучий посвист пуль кидал перепуганных беженцев на землю. Они лежали в густой траве до сумерек и только тогда на рысях уходили к лесу, без оглядки спешили на север, в ендовы, гостеприимно манившие густейшей зарослью ольшаника и берез.

* * *

Два дня Вешенская была под усиленным артиллерийским обстрелом. Жители не показывались из погребов и подвалов. Лишь ночью оживали изрытые снарядами улицы станицы.

В штабе высказывали предположения, что столь интенсивный обстрел есть не что иное, как подготовка к наступлению, к переправе. Были опасения, что красные начнут переправу именно против Вешенской, с целью занять ее и, вонзившись клином в протянувшийся по прямой линии фронт, расчленить его надвое, а затем уже фланговым наступлением с Калача и Усть-Медведицы сокрушить окончательно.

По приказу Кудинова, в Вешенской у Дона было сосредоточено более двадцати пулеметов, снабженных достаточным числом пулеметных лент. Командиры батарей получили приказ расстрелять оставшиеся снаряды только в том случае, если красные вздумают переправляться. Паром и все лодки были заведены в затон выше Вешенской, находились там под сильной охраной.

Григорию Мелехову опасения штабных казались необоснованными. На происходившем 24 мая совещании он

---

[1] Урёма — мелкий лес и кустарник в низменных долинах рек.

высмеял предположения Ильи Сафонова и его единомышленников.

— На чем они будут переправляться против Вёшек? — говорил он.— Да разве ж тут дозволительное для переправы место? Вы поглядите: с энтой стороны голый, как бубен, берег, песчаная ровная коса, у самого Дона — ни лесочка, ни кусточка. Какой же дурак сунется в этой местности переправляться? Один Илья Сафонов при его способностях мог бы в такую пропасть лезть... Пулеметы на таком голом берегу выкосят всех до единого! И ты не думай, Кудинов, что красные командиры дурее нас с тобой. Середь них есть побашковитей нас! В лоб на Вёшки они не пойдут, и нам следовает ждать переправы не тут, а либо там, где мелко, где броды образовываются на россыпях, либо там, где местность потаенная, в складках и в лесу. За такими угрожаемыми местами надо дюже наблюдать, особенно ночьми; казаков предупреждать, чтобы маху не дали, чтобы не проградевали, а к опасным местам загодя подвести резервы, чтобы было что сунуть на случай беды.

— Говоришь — не пойдут на Вёшки? А почему они допоздна кроют по станице из орудий? — задал вопрос помощник Сафонова.

— Это ты уже у них спроси. По одним Вёшкам стреляют, что ли? И по Казанке бьют, по Еринскому, вон с Семеновской горы — и то наворачивают. Они сквозь бьют из орудий. У них снарядов, должно, трошки поболе, чем у нас. Это наша с... артиллерия имеет пять снарядов, да и у энтих стаканы из дуба тесанные.

Кудинов захохотал:

— Ну вот это в точку попал!

— Тут критику нечего наводить! — обиделся присутствовавший на совещании командир 3-й батареи.— Тут надо о деле гутарить.

— Гутарь, кто же тебе на язык наступает? — Кудинов нахмурился, заиграл пояском.— Говорено было не раз вам, чертям: «Не расходуйте без толку снаряды, блюдите для важных случаев!» Так нет, били по чем попадя, по обозам — и то били. А сейчас вот подошло гузном к пузу — вдарить нечем. Чего же обижаться на критику? Правильно Мелехов над вашей дубовой артиллерией надсмехается. Справа ваша истинно смеху достойна!

Кудинов стал на сторону Григория, решительно поддержав его предложение об усиленной охране наиболее подходящих для переправы мест и сосредоточении в непосредственной близости от угрожаемых участков резерв-

ных частей. Было решено из имевшихся в самой Вешенской пулеметов выделить несколько штук для передачи Белогорской, Меркуловской и Громковской сотням, на участках которых переправа была всего возможней.

Предположение Григория о том, что красные не будут предпринимать попыток к переправе против Вешенской, а изберут для этого более удобное место, подтвердилось на другой же день. Утром командир Громковской сотни сообщил, что красные готовятся к переправе. Всю ночь на той стороне Дона слышались гомон, стук молотков, скрип колес. Откуда-то на многочисленных подводах на Громок привозили доски, их сбрасывали, и тотчас же начинали повизгивать пилы, слышно было, как стучали топорами и молотками. По всему можно было судить, красные что-то сооружают. Казаки вначале предполагали, что наводится понтонный мост. Двое смельчаков ночью зашли на полверсты выше того моста, откуда доносились шумы плотницкой работы, растелешились и, под прикрытием надетых на головы кустов, по течению тихо сплыли нaниз. Они были у самого берега, неподалеку от них переговаривались красноармейцы расположившейся под вербами пулеметной заставы, отчетливо слышались голоса и стук топоров в хуторе, но на воде ничего не было видно. Красные если и строили что-то, то, во всяком случае, не мост.

Громковский сотенный усилил наблюдение за неприятельской стороной. На заре наблюдатели, неотрывно смотревшие в бинокль, долго ничего не видели. Но вскоре один из них, считавшийся еще на германской войне лучшим стрелком в полку, приметил в предрассветном сумеречье красноармейца, спускавшегося к Дону с двумя оседланными лошадьми.

— Красный спущается к воде,— шепнул казак товарищу и отложил бинокль.

Лошади забрели по колено, стали пить.

Казак накинул на локоть левой руки длинно отпущенный винтовочный погон, поднял навесную рамку, долго и тщательно выцеливал...

После выстрела одна из лошадей мягко завалилась на бок, другая поскакала в гору. Красноармеец нагнулся, чтобы снять с убитой лошади седло. Казак выстрелил вторично, тихо засмеялся: красноармеец быстро выпрямился, побежал было от Дона, но вдруг упал. Упал ничком и больше уже не поднялся...

Григорий Мелехов, как только получил сообщение о подготовке красных к переправе, оседлал коня, поехал на

участок Громковской сотни. За станицей он вброд переехал узкий усынок озера, рукавом отходившего от Дона и тянувшегося до конца станицы, поскакал лесом.

Дорога лежала лугом, но по лугу было опасно ехать, поэтому Григорий избрал несколько кружный путь: лесом проехал до конца озера Рассохова, по кочкам и белоталу добрался до Калмыцкого брода (узкого протока, густо заросшего кувшинками, резучкой и камышом, соединявшего одну из луговых музг с озером Подстойлицей) и, только перебравшись через стрямкий Калмыцкий брод, остановил коня, дал ему несколько минут отдохнуть.

До Дона было по прямой около двух верст. Ехать к траншеям лугом — значило подвергнуться обстрелу. Можно было дождаться вечерних сумерек, чтобы пересечь ровное полотнище луга затемно, но Григорий, не любивший ожидания, всегда говаривавший, что «хуже всего на свете — это дожидаться и догонять», решил ехать сейчас же. «Ахну намётом во всю конскую резвость, небось не попадут!» — подумал он, выезжая из кустов.

Выбрал зеленую гривку верб, отножиной выходившую из придонского леса, поднял плеть. От удара, обжегшего круп, от дикого гика конь дрогнул всем телом, заложил уши и, все больше набирая скорость, птицей понесся к Дону. Не успел Григорий проскакать полсотни саженей, как с бугра правобережья навстречу ему длинными очередями затакал пулемет. «Тюуть! Тюуть! Тюуть! Тью! Тью!» — по-сурчиному засвистали пули. «Увышал, дядя!» — подумал Григорий, стискивая конские бока, пуская поводья, касаясь щекой вихрившейся под встречным ветром конской гривы. И, словно угадав его мысль, красный пулеметчик, лежавший за зеленым щитком станкового пулемета где-то на беломысом бугре, взял прицел с упреждением, резанул струею пулеметного огня ниже, и уже под передними копытами коня смачно зачмокали, по-змеиному зашипели накаленные в полете пули. Они вгрызались во влажную, еще не просохшую от полой воды почву, брызгали горячей грязью... «Цок! Шшшиу! Цок! Цок!» — и опять над головой и возле конского корпуса: «Тиууу! Тьють!.. Тиииуууу!»

Приподнявшись на стременах, Григорий почти лежал на вытянутой конской шее. Со страшной быстротой катилась навстречу зеленая грядина верб. Когда он достиг уже половины пути, с Семеновского бугра садануло орудие. Железный скрежет снаряда потряс воздух. Близкий грохот разрыва заставил Григория качнуться в седле. Еще не

заглох в ушах его стонущий визг и вой осколков, еще не успели подняться в ближней музге камыши, поваленные буревым давлением воздуха, с шорохом выпрямлявшиеся,— как на горе раздался гром орудийного выстрела, и вой приближавшегося снаряда снова стал давить Григория, прижимать его к седлу.

Ему показалось, что гнетущий, достигший предельного напряжения скрежет на какую-то сотую долю секунды оборвался, и вот в эту-то сотую секунды перед глазами его дыбом встало взметнувшееся черное облако, от сокрушающего удара задрожала земля, передние ноги коня как будто провалились куда-то...

Григорий очнулся в момент падения. Он ударился о землю так сильно, что на коленях его лопнули защитные суконные шаровары, оборвались штрипки. Мощная волна сотрясенного разрывом воздуха далеко отбросила его от коня, и, уже упав, он еще несколько саженей скользил по траве, обжигая о землю ладони и щеку.

Оглушенный падением, Григорий поднялся на ноги. Сверху черным дождем сыпались комки и крохи земли, вывернутые корневища трав... Конь лежал в двадцати шагах от воронки. Голова его была неподвижна, но задние ноги, закиданные землей, мокрый от пота круп и пологий скат репицы дрожали мелкой, конвульсивной дрожью.

Пулемет на той стороне Дона умолк. Минут пять стояла тишина. Над музгой тревожно кричали голубые рыбники. Григорий пошел к коню, преодолевая головокружение. Ноги его тряслись, были странно тяжелы. Он испытывал такое ощущение, какое обычно бывает при ходьбе после долгого и неудобного сидения, когда от временно нарушенного кровообращения отекшие ноги кажутся чужими и каждый шаг звоном отдается во всем теле...

Григорий снял с убитого коня седло и едва вошел в посеченные осколками камыши ближайшей музги, как снова с ровными промежутками застучал пулемет. Полета пуль не было слышно — очевидно, с бугра стреляли уже по какой-нибудь новой цели.

Час спустя он добрался до землянки сотенного.

— Зараз перестали плотничать,— говорил командир сотни,— а ночью непременно опять заработают. Вы бы нам патронишков подкинули, а то ить хучь кричи — по обойме, по две на брата.

— Патроны привезут к вечеру. Глаз не своди с энтого берега!

— И то глядим. Ноне ночью думаю вызвать охотников, чтобы переплыли да поглядели, что они там выстраивают.

— А почему этой ночью не послал?

— Посылал, Григорий Пантелевич, двоих, но они забоялись в хутор идтить. Возле берега проплыли, а в хутор — забоялись... Да и кого же понудишь зараз? Дело рисковое, напхнешься на ихнюю заставу — и враз заворот кровям сделают. Поблизу от своих базов что-то казачки не дюже лихость показывают... На германской, бывало, до черта было рискателей кресты добывать, а зараз не то что в глыбокую разведку — в заставу и то не допросишься идтить. А тут с бабами беда: понашли к мужьям, ночуют тут же в окопах, а выгнать не моги. Вчерась начал их выгонять, а казаки на меня грозятся: «Пущай, дескать, посмирнее себя ведет, а то мы с ним живо управимся!»

Григорий из землянки сотенного пошел в траншеи. Они зигзагом тянулись по лесу саженях в двадцати от Дона. Дубняк, кусты чилизника и густая поросль молодых тополей скрывали желтую насыпь бруствера от глаз красноармейцев. Ходы сообщения соединяли траншеи с блиндажами, где отдыхали казаки. Около землянок валялись сизая шелуха сушеной рыбы, бараньи кости, подсолнечная лузга, окурки, какие-то лоскутья; на ветках висели выстиранные чулки, холстинные исподники, портянки, бабьи рубахи и юбки...

Из первой же землянки высунула простоволосую голову молодая заспанная бабенка. Она протерла глаза, равнодушно оглядела Григория; как суслик в норе, скрылась в черном отверстии выхода. В соседней землянке тихо пели. С мужскими голосами сплетался придушенный, но высокий и чистый женский голос. У самого входа в третью землянку сидела немолодая, опрятно одетая казачка. На коленях у нее покоилась тронутая сединой чубатая голова казака. Он дремал, удобно лежа на боку, а жена проворно искала его, била на деревянном зубчатом гребне черноспинных головных вшей, отгоняла мух, садившихся на лицо ее престарелого «дружечки». Если бы не злобное тарахтенье пулемета за Доном, не гулкое буханье орудий, доносившееся по воде откуда-то сверху, не то с Мигулинского, не то с Казанского юртов, можно было бы подумать, что у Дона станом стали косари,— так мирен был вид пребывавшей на линии огня Громковской повстанческой сотни.

Впервые за пять лет войны Григорий видел столь необычайную позиционную картину. Не в силах сдержать улыбки, он шел мимо землянок, и всюду взгляд его наты-

кался на баб, прислуживавших мужьям, чинивших, штопавших казачью одежду, стиравших служивское бельишко, готовивших еду и мывших посуду после немудрого полуднования.

— Ничего вы тут живете! С удобствами...— сказал сотенному Григорий, возвратясь в его землянку.

Сотенный осклабился:

— Живем — лучше некуда.

— Уже дюжо удобно! — Григорий нахмурился: — Баб отседова убрать зараз же! На войне — и такое!.. Базар тут у тебя али ярмарка? Что это такое? Этак красные Дон перейдут, а вы и не услышите, некогда будет слухать, на бабах будете страдать... Гони всех длиннохвостых, как только смеркнется! А то завтра приеду, и ежели завижу какую в юбке — голову тебе первому сверну!

— Оно-то так...— охотно соглашался сотенный.— Я сам супротив баб, да что с казаками поделаешь? Дисциплина рухнулась... Бабы по мужьям наскучили, ить третий месяц воюем!

А сам, багровея, садился на земляные нары, чтобы прикрыть собою брошенную на нары красную бабью завеску и, отворачиваясь от Григория, грозно косился на отгороженный дерюгой угол землянки, откуда высматривал смеющийся карий глаз его собственной женушки...

LXII

Аксинья Астахова поселилась в Вешенской у своей двоюродной тетки, жившей на краю станицы, неподалеку от новой церкви. Первый день она разыскивала Григория, но его еще не было в Вешенской, а на следующий день допоздна по улицам и переулкам свистали пули, рвались снаряды, и Аксинья не решилась выйти из хаты.

«Вызвал в Вёшки, сулил — вместе будем, а сам лытает черт-те где!» — озлобленно думала она, лежа в горнице на сундуке, покусывая яркие, но уже блекнущие губы. Старуха тетка сидела у окна, вязала чулок, после каждого орудийного выстрела крестилась.

— Ох, господи Исусе! Страсть-то какая! И чего они воюют? И чего они взъелися один на одного?

На улице, саженях в пятнадцати от хаты, разорвался снаряд. В хате, жалобно звякая, посыпались оконные глазки.

— Тетка! Уйди ты от окна, ить могут в тебя попасть! — просила Аксинья.

Старуха из-под очков усмешливо осматривала ее, с досадой отвечала:

— Ох, Аксютка! Ну, и дурная же ты, погляжу я на тебя. Что я, неприятель, что ли, им? С какой стати они будут в меня стрелять?

— Нечаянно убьют! Ить они же не видют, куда пули летят.

— Так уж и убьют! Так уж и не видют! Они в казаков стреляют, казаки им, красным-то, неприятели, а я — старуха, вдова, на что я им нужна? Они знают, небось, в кого им целить из ружьев, из пушков-то!

В полдень по улице, по направлению к нижней луке промчался пригнувшийся к конской шее Григорий. Аксинья увидела его в окно, выскочила на увитое диким виноградом крылечко, крикнула: «Гриша!..» — но Григорий уже скрылся за поворотом, только пыль, вскинутая копытами его коня, медленно оседала на дороге. Бежать вдогонку было бесполезно. Аксинья постояла на крыльце, заплакала злыми слезами.

— Это не Степа промчался? Чегой-то ты выскочила, как бешеная? — спросила тетка.

— Нет... Это — один наш хуторный...— сквозь слезы отвечала Аксинья.

— А чего же ты слезу сронила? — допытывалась любознательная старуха.

— И чего вам, тетинка, надо? Не вашего ума дело!

— Так уж и не нашего ума... Ну, значит, любезный промчался. А то чего же! Ни с того, ни с сего ты бы не закричала... Сама жизню прожила, знаю!

К вечеру в хату вошел Прохор Зыков.

— Здорово живете! А что у вас, хозяюшка, никого нету из Татарского?

— Прохор! — обрадованно ахнула Аксинья, выбежала из горницы.

— Ну, девка, задала ты мне пару! Все ноги прибил, тебя искамши! Он ить какой? Весь в батю, взгальный. Стрельба идет темная, все живое похоронилось, а он — в одну душу: «Найди ее, иначе в гроб вгоню!»

Аксинья схватила Прохора за рукав рубахи, увлекла в сенцы.

— Где же он, проклятый?

— Хм... Где же ему быть? С позициев пеши припер. Коня под ним убили ноне. Злой пришел, как цепной кобель.

«Нашел?» — спрашивает. «Где же я ее найду? — говорю.— Не родить же мне ее!» А он: «Человек не иголка!» Да как зыкнет на меня... Истый бирюк в человечьей коже!

— Чего он говорил-то?

— Собирайся и пойдем, боле ничего!

Аксинья в минуту связала свой узелок, наспех попрощалась с теткой.

— Степан прислал, что ли?

— Степан, тетинка!

— Ну, поклон ему неси. Что же он сам-то не зашел? Молочка бы попил, вареники, вон, у нас осталися...

Аксинья, не дослушав, выбежала из хаты.

Пока дошла до квартиры Григория — запыхалась, побледнела, уж очень быстро шла, так что Прохор под конец даже стал упрашивать:

— Послухай ты меня! Я сам в молодых годах за девками притоптывал, но сроду так не поспешал, как ты. Али тебе терпежу нету? Али пожар какой? Я задвыхаюсь! Ну, кто так по песку летит? Все у вас как-то не полюдски...

А про себя думал: «Сызнова склещились... Ну, зараз их и сам черт не растянет! Они свой интерес справляют, а я должон был ее, суку, под пулями искать... Не дай и не приведи бог — узнает Наталья, да она меня с ног и до головы... Коршуновскую породу тоже знаем! Нет, кабы не потерял я коня с винтовкой при моей пьяной слабости, черта с два я пошел бы тебя искать по станице! Сами вязались, сами развязывайтесь!»

В горнице с наглухо закрытыми ставнями дымно горел жирник. Григорий сидел за столом. Он только что вычистил винтовку и еще не кончил протирать ствол маузера, как скрипнула дверь. На пороге стала Аксинья. Узкий белый лоб ее был влажен от пота, а на бледном лице с такой исступленной страстью горели расширившиеся злые глаза, что у Григория при взгляде на нее радостно вздрогнуло сердце.

— Сманул... а сам... пропадаешь...— тяжело дыша, выговаривала она.

Для нее теперь, как некогда, давным-давно, как в первые дни их связи, уже ничего не существовало, кроме Григория. Снова мир умирал для нее, когда Григорий отсутствовал, и возрождался заново, когда он был около нее. Не совестясь Прохора, она бросилась к Григорию, обвилась диким хмелем и, плача, целуя щетинистые щеки

любимого, осыпая короткими поцелуями нос, лоб, глаза, губы, невнятно шептала, всхлипывала:

— Из-му-чи-лась!.. Изболелась вся! Гришенька! Кровинушка моя!

— Ну вот... Ну вот видишь... Да погоди!.. Аксинья, перестань...— смущенно бормотал Григорий, отворачивая лицо, избегая глядеть на Прохора.

Он усадил ее на лавку, снял с головы ее сбившуюся на затылок шаль, пригладил растрепанные волосы.

— Ты какая-то...

— Я все такая же! А вот ты...

— Нет, ей-богу, ты — чумовая!

Аксинья положила руки на плечи Григория, засмеялась сквозь слезы, зашептала скороговоркой:

— Ну, как так можно? Призвал... пришла пеши, все бросила, а его нету... Проскакал мимо, я выскочила, шумнула, а ты уж скрылся за углом... Вот убили бы, и не поглядела бы на тебя в остатний разочек...

Она еще что-то говорила несказанно-ласковое, милое, бабье, глупое и все время гладила ладонями сутулые плечи Григория, неотрывно смотрела в его глаза своими навек покорными глазами.

Что-то во взгляде ее томилось жалкое и в то же время смертельно-ожесточенное, как у затравленного зверя, такое, отчего Григорию было неловко и больно на нее смотреть.

Он прикрывал глаза опаленными солнцем ресницами, насильственно улыбался, молчал, а у нее на щеках все сильнее проступал полыхающий жаром румянец и словно синим дымком заволакивались зрачки.

Прохор вышел, не попрощавшись, в сенцах сплюнул, растер ногой плевок.

— Заморока, и все! — ожесточенно сказал он, сходя со ступенек, и демонстративно громко хлопнул калиткой.

LXIII

Двое суток прожили они как во сне, перепутав дни и ночи, забыв об окружающем. Иногда Григорий просыпался после короткого дурманящего сна и видел в полусумраке устремленный на него внимательный, как бы изучающий взгляд Аксиньи. Она обычно лежала, облокотившись, подперев щеку ладонью, смотрела, почти не мигая.

— Чего смотришь? — спрашивал Григорий.

— Хочу наглядеться досыта... Убьют тебя, сердце мне вещует.

— Ну, уж раз вещует — гляди,— улыбался Григорий.

На третьи сутки он впервые вышел на улицу. Кудинов одного за другим с утра слал посыльных, просил прийти на совещание. «Не приду. Пущай без меня совещаются»,— отвечал Григорий гонцам.

Прохор привел ему нового, добытого в штабе коня, ночью съездил на участок Громковской сотни, привез брошенное там седло. Аксинья, увидев, что Григорий собирается ехать, испуганно спросила:

— Куда?

— Хочу пробечь до Татарского, поглядеть, как наши хутор обороняют, да, кстати, разузнать, где семья.

— По детишкам скучился? — Аксинья зябко укутала шалью покатые смуглые плечи.

— Скучился.

— Ты бы не ездил, а?

— Нет, поеду.

— Не ездий! — просила Аксинья, и в черных провалах ее глазниц начинали горячечно поблескивать глаза.— Значит, тебе семья дороже меня? Дороже? И туда и сюда потягивает? Так ты либо возьми меня к себе, что ли. С Натальей мы как-нибудь уживемся. Ну, ступай! Езжай! Но ко мне больше не являйся! Не приму. Не хочу я так!.. Не хочу!

Григорий молча вышел во двор, сел на коня.

* * *

Сотня татарских пластунов поленилась рыть траншеи.

— Чертовщину выдумывают,— басил Христоня.— Что мы, на германском фронте, что ли? Рой, братишки, обнаковенные, стал быть, окопчики по колено глубиной. Мысленное дело, стал быть, такую заклёклую землю рыть в два аршина глуби? Да ее ломом не удолбишь, не то что лопатой.

Его послушали, на хрящеватом обрывистом яру левобережья вырыли окопчики для лежания, а в лесу поделали землянки.

— Ну, вот мы и перешли на сурчиное положение,— острил сроду не унывающий Аникушка.— В нурях будем жить, трава на пропитание пойдет, а то все бы вам блинцы с каймаком трескать, мясу, лапшу с стерлядью. А донничку не угодно?

Татарцев красные мало беспокоили. Против хутора не было батарей. Изредка лишь с правобережья начинал

дробно выстукивать пулемет, посылая короткие очереди по высунувшемуся из окопчика наблюдателю, а потом опять надолго устанавливалась тишина.

Красноармейские окопы находились на горе. Оттуда тоже изредка постреливали, но в хутор красноармейцы сходили только ночью, и то ненадолго.

* * *

Григорий въехал на свое займище перед вечером.

Все здесь было ему знакомо, каждое деревцо порождало воспоминания. Дорога шла по Девичьей поляне, на которой казаки ежегодно на Петров день пили водку, после того как «растрясали» (делили) луг. Мысом вдается в займище Алешкин перелесок. Давным-давно в этом, тогда еще безыменном, перелеске волки зарезали корову, принадлежавшую какому-то Алексею — жителю хутора Татарского. Умер Алексей, стерлась память о нем, как стирается надпись на могильном камне, даже фамилия его забыта соседями и сородичами, а перелесок, названный его именем, живет, тянет к небу темно-зеленые кроны дубов и караичей. Их вырубают татарцы на поделку необходимых в хозяйственном обиходе предметов, но от коренастых пней весною выметываются живучие молодые побеги, год-два неприметного роста, и снова Алешкин перелесок летом — в малахитовой зелени распростертых ветвей, осенью — как в золотой кольчуге, в червонном зареве зажженных утренниками резных дубовых листьев.

Летом в Алешкином перелеске колючий ежевичник густо оплетает влажную землю, на вершинах старых караичей вьют гнезда нарядно оперенные сизоворонки и сороки; осенью, когда бодряще и горько пахнет желудями и дубовым листом-падалицей, в перелеске коротко гостят пролетные вальдшнепы, а зимою лишь круглый печатный след лисы протянется жемчужной нитью по раскинутой белой кошме снега. Григорий не раз в юношестве ходил ставить в Алешкин перелесок капканы на лис...

Он ехал под прохладной сенью ветвей, по старым заросшим колесникам прошлогодней дороги. Миновал Девичью поляну, выбрался к Черному яру, и воспоминания хмелем ударили в голову. Около трех тополей мальчишкой когда-то гонялся по музгочке за выводком еще нелетных диких утят, в круглом озере с зари до вечера ловил линей. А неподалеку — шатристое деревцо калины. Оно стоит на

отшибе, одинокое и старое. Его видно с мелеховского база, и каждую осень Григорий, выходя на крыльцо своего куреня, любовался на калиновый куст, издали словно охваченный красным языкастым пламенем. Покойный Петро так любил пирожки с горьковатой и вяжущей калиной...

Григорий с тихой грустью озирал знакомые с детства места. Конь шел, лениво отгоняя хвостом густо кишевшую в воздухе мошкару, коричневых злых комаров. Зеленый пырей и аржанец мягко клонились под ветром. Луг крылся зеленой рябью.

Подъехав к окопам татарских пластунов, Григорий послал за отцом. Где-то далеко на левом фланге Христоня крикнул:

— Прокофич! Иди скорее, стал быть, Григорий приехал!..

Григорий спешился, передал поводья подошедшему Аникушке, еще издали увидел торопливо хромавшего отца.

— Ну, здорово, начальник!

— Здравствуй, батя!

— Приехал?

— Насилу собрался! Ну, как наши? Мать, Наталья где?

Пантелей Прокофьевич махнул рукой, сморщился. По черной щеке его скользнула слеза.

— Ну, что такое? Что с ними? — тревожно и резко спросил Григорий.

— Не переехали...

— Как так?!

— Наталья дня за два легла начисто. Тиф, должно. Ну, а старуха не захотела ее покидать. Да ты не пужайся, сынок, у них там все по-хорошему.

— А детишки? Мишатка? Полюшка?

— Тоже там. А Дуняшка переехала. Убоялась оставаться... Девичье дело, знаешь? Зараз с Аникушкиной бабой ушли на Волохов. А дома я уж два раза был. Середь ночи на баркасе тихочко перееду, ну, и проотведовал. Наталья дюже плохая, а детишечки ничего, слава богу... Без памяти Натальюшка-то, жар у ней, ажник губы кровью запеклись.

— Чего же ты их не перевез сюда? — возмущенно крикнул Григорий.

Старик озлился, обида и упрек были в его дрогнувшем голосе:

— А ты чего делал? Ты не мог прибечь загодя перевезть их?

— У меня дивизия! Мне дивизию надо было переправлять! — запальчиво возразил Григорий.

— Слыхали мы, чем ты в Вёшках займаешься... Семья кубыть и без надобностев? Эх, Григорий! О боге надо подумывать, ежли о людях не думается... Я не тут переправлялся, а то разве я не забрал бы их? Мой взвод в Елани был, а покедова дошли сюда, красные уже хутор заняли.

— Я в Вёшках!.. Это дело тебя не касается... И ты мне...— голос Григория был хрипл и придушен.

— Да я ничего! — испугался старик, с неудовольствием оглядываясь на толпившихся неподалеку казаков.— Я не об этом... А ты потише гутарь, люди, вон, слухают...— и перешел на шепот.— Ты сам не махонькое дите, сам должон знать, а об семье не болей душой. Наталья, бог даст, почунеется, а красные их не забижают. Телушку-летошницу, правда, зарезали, а так — ничего. Поимели милость и не трогают... Зерна взяли мер сорок. Ну, да ить на войне не без урону!

— Может, их зараз бы забрать?

— Незачем, по-моему. Ну, куда ее, хворую, взять? Да и дело рисковое. Им и там ничего. Старуха за хозяйством приглядывает, оно и мне так спокойнее, а то ить в хуторе пожары были.

— Кто сгорел?

— Плац весь выгорел. Купецкие дома все больше. Сватов Коршуновых начисто сожгли. Сваха Лукинична зараз на Андроповом, а дед Гришака тоже остался дом соблюдать. Мать твоя рассказывала, что он, дед Гришака-то, сказал: «Никуда со своего база не тронуся, и анчихристы ко мне не взойдут, крестного знамения убоятся». Он под конец вовзят зачал умом мешаться. Но, как видать, красюки не испужались его креста, курень и подворье ажник дымом охватились, а про него и не слыхать ничего... Да ему уж и помирать пора. Домовину исделал себе уж лет двадцать назад, а все живет... А жгет хутор друзьяк твой, пропади он пропастью!

— Кто?

— Мишка Кошевой, будь он трижды проклят!

— Да ну?!

— Он, истинный бог! У наших был, про тебя пытал. Матери так и сказал: «Как перейдем на энту сторону — Григорий ваш первый очередной будет на шворку. Висеть ему на самом высоком дубу. Я об него, говорит, и шашки поганить не буду!» А про меня спросил и — ощерился. «А энтого, говорит, хромого черти куда понесли? Сидел бы

дома, говорит, на печке. Ну, а уж ежли поймаю, то до смерти убивать не буду, но плетюганов ввалю, покеда дух из него пойдет!» Вот какой распрочерт оказался! Ходит по хутору, пущает огонь в купецкие и в поповские дома и говорит: «За Ивана Алексеевича да за Штокмана всю Вёшенскую сожгу!» Это тебе голос?

Григорий еще с полчаса проговорил с отцом, потом пошел к коню. В разговоре старик больше и словом не намекнул насчет Аксиньи, но Григорий и без этого был угнетен. «Все прослыхали, должно, раз уж батя знает. Кто же мог переказать? Кто, окромя Прохора, видал нас вместе? Неужли и Степан знает?» Он даже зубами скрипнул от стыда, от злости на самого себя...

Коротко потолковал с казаками. Аникушка все шутил и просил прислать на сотню несколько ведер самогона.

— Нам и патронов не надо, лишь бы водочка была! — говорил он, хохоча и подмигивая, выразительно щелкая ногтем по грязному вороту рубахи.

Христоню и всех остальных хуторян Григорий угостил припасенным табаком; и уже перед тем, как ехать, увидел Степана Астахова. Степан подошел, не спеша поздоровался, но руки не подал.

Григорий видел его впервые со дня восстания, всматривался пытливо и тревожно: «Знает ли?» Но красивое сухое лицо Степана было спокойно, даже весело, и Григорий облегченно вздохнул: «Нет, не знает!»

LXIV

Через два дня Григорий возвратился из поездки по фронту своей дивизии. Штаб командующего перебрался в хутор Черный. Григорий около Вешенской дал коню отдохнуть с полчаса, напоил его и, не заезжая в станицу, направился в Черный.

Кудинов встретил его весело, посматривал с выжидающей усмешкой.

— Ну, Григорий Пантелеев, что видал? Рассказывай.

— Казаков видал, красных на буграх видал.

— Много делов ты усмотрел! А к нам три аэроплана прилетали, патронов привезли и письмишки кое-какие...

— Что же тебе пишет твой корешок генерал Сидорин?

— Мой односум-то,— в том же шутливом тоне продолжая начатый разговор, переспросил необычно веселый Кудинов.— Пишет, чтобы из всех силов держался и не

давал красным переправляться. И ишо пишет, что вот-вот двинется Донская армия в решительное наступление.

— Сладко пишет.

Кудинов посерьезнел:

— Идут на прорыв. Говорю только тебе и совершенно секретно! Через неделю порвут фронт Восьмой Красной армии. Надо держаться.

— И то держимся.

— На Громке готовятся красные к переправе.

— До́ се стучат топорами?—удивился Григорий.

— Стучат... Ну, а ты, что видал? Где был? Да ты, случаем, не в Вёшках ли отлеживался? Может, ты и не ездил никуда! Позавчера, никак, всю станицу я перерыл, тебя искал, и вот приходит один посыльный, говорит: «На квартире Мелехова не оказалось, а ко мне из горенки вышла какая-то дюже красивая баба и сказала: «Уехал Григорий Пантелевич»,— а у самой глаза припухлые». Вот я и подумал: «Может, наш комдив с милушкой забавляется, а от нас хоронится?»

Григорий поморщился. Шутка Кудинова ему не понравилась.

— Ты бы поменьше разных брехнев слухал да ординарцев себе выбирал с короткими языками! А ежели будешь посылать ко мне дюже языкастых, так я им загодя буду языки шашкой отрубать... чтобы не брехали чего зря.

Кудинов захохотал, хлопнул Григория по плечу.

— Иной раз и ты шутки не принимаешь? Ну, хватит шутковать! Есть у меня к тебе и дельный разговор. Надо бы раздостать нам «языка» — это одно, а другое — надо бы ночушкой где-нибудь, не выше Казанской грани, переправить на энту сторону сотни две конных и взворошить красных. Может, даже на Громок переправиться, чтобы им паники нагнать, а? Как ты думаешь?

Григорий помолчал, потом ответил:

— Дело неплохое.

— А ты сам,— Кудинов налег на последнее слово,— не поведешь сотни?

— Почему сам?

— Боевитого надо командира, вот почему! Надо дюже боевитого, через то, что это — дело нешутейное. С переправой можно так засыпаться, что ни один не возвернется!

Польщенный Григорий, не раздумывая, согласился:

— Поведу, конечно!

— Мы тут плановали и надумали так,— оживленно заговорил Кудинов, встав с табурета, расхаживая по скри-

пучим половицам горницы: — Глубоко в тыл заходить не надо, а над Доном, в двух-трех хуторах тряхнуть их так, чтобы им тошно стало, разжиться патронами и снарядами, захватить пленных и тем же следом — обратно. Все это надо проделать за ночь, чтобы к рассвету быть уж на броду. Верно? Так вот, ты подумай, а завтра бери любых казаков на выбор и бузуй. Мы так и порешили: окромя Мелехова, некому это проделать! А проделаешь — Донское войско тебе не забудет этого. Как только соединимся со своими, напишу рапорт самому наказному атаману. Все твои заслуги распишу, и повышение...

Кудинов взглянул на Григория и осекся на полуслове: спокойное до этого лицо Мелехова почернело и исказилось от гнева.

— Я тебе что?..— Григорий проворно заложил руки за спину, поднялся.— Я за ради чинов пойду?.. Наймаешь?.. Повышение сулишь?.. Да я...

— Да ты постой!

— ...плюю на твои чины!

— Погоди! Ты не так меня...

— ...Плюю!

— Ты не так понял, Мелехов!

— Все я понял! — Григорий разом вздохнул и снова сел на табурет.— Ищи другого, я не поведу казаков за Дон!

— Зря ты горячку порешь.

— Не поведу! Нету об этом больше речи.

— Так я тебя не силую и не прошу. Хочешь — веди, не хочешь — как хочешь. Положение у нас зараз дюже сурьезное, поэтому и решили им тревоги наделать, не дать приготовиться к переправе. А про повышение я же шутейно сказал! Как ты шуток не понимаешь? И про бабу шутейно тебе припомнил, а потом вижу — ты чегой-то лютуешь, дай, думаю, ишо его распалю! Ить я-то знаю, что ты недоделанный большевик и чины всякие не любишь. А ты подумал, что я это сурьезно? — изворачивался Кудинов и смеялся так натурально, что у Григория на миг даже ворохнулась мыслишка: «А может, он и в самом деле дурковал?» — Нет, это ты... х-х-хо-хо-хо!.. по-го-рячился, браток!.. Ей-богу, в шутку сказал! Подражнить захотел...

— Все одно за Дон идтить я отказываюсь, передумал.

Кудинов играл кончиком пояска, равнодушно, долго молчал, потом сказал:

— Ну что же, раздумал или испугался — это неважно. Важно, что план наш срываешь! Но мы, конешно, пошлем ишо кого-нибудь. На тебе свет клином пока не сошелся...

А что положение у нас зараз дюже сурьезное — сам суди. Нынче из Шумилинской прислал нам Кондрат Медведев новый приказ Троцкова. Он сам направляет на нас войска. Живет, как видно из приказа, в Богучарове и к нам не нынче-завтра будет. Да вот почитай сам, а то ты как раз не поверишь...— Кудинов достал из полевой сумки желтый листок бумаги с бурыми пятнами засохшей на полях крови, подал его.— Нашли у комиссара какой-то Интернациональной роты. Латыш был комиссар. Отстреливался, гад, до последнего патрона, а потом кинулся на целый взвод казаков с винтовкой наперевес... Из них тоже бывают, из идейных-то... Комиссара подвалил сам Кондрат. Он и нашел у него в грудном кармане этот приказ.

На желтом, забрызганном кровью листке мелким черным шрифтом было напечатано:

ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

по Экспедиционным Войскам
8 № 100

Богучар

25 мая 1919 г.

Прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и командах.

Конец подлому Донскому восстанию!

Пробил последний час!

Все необходимые приготовления сделаны. Сосредоточены достаточные силы, чтобы обрушить их на головы изменников и предателей. Пробил час расплаты с Каинами, которые свыше двух месяцев наносили удары в спину нашим действующим армиям Южного фронта. Вся рабоче-крестьянская Россия с отвращением и ненавистью глядит на те Мигулинские, Вешенские, Еланские, Шумилинские банды, которые, подняв обманный красный флаг, помогают черносотенным помещикам: Деникину и Колчаку.

Солдаты, командиры, комиссары карательных войск!

Подготовительная работа закончена. Все необходимые силы и средства сосредоточены. Ваши ряды построены.

Теперь по сигналу — вперед!

Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление. Милость только тем, кто добровольно сдаст оружие и перейдет на нашу сторону. Против помощников Колчака и Деникина — свинец, сталь и огонь!

Советская Россия надеется на вас, товарищи солдаты. В несколько дней мы должны очистить Дон от черного пятна измены. Пробил последний час.

Все, как один,— вперед!

LXV

Девятнадцатого мая Мишка Кошевой был послан Гумановским — начальником штаба экспедиционной бригады 9-й армии — со спешным пакетом в штаб 32-го полка, который, по имевшимся у Гумановского сведениям, находился в хуторе Горбатовском.

В этот же день к вечеру Кошевой прискакал в Горбатовский, но штаба 32-го полка там не оказалось. Хутор был забит многочисленными подводами обоза второго разряда 23-й дивизии. Они шли с Донца под прикрытием двух рот пехоты, направляясь на Усть-Медведицу.

Мишка проблуждал по хутору несколько часов, пытаясь из расспросов установить местопребывание штаба. В конце концов один из конных красноармейцев сообщил ему, что вчера штаб 32-го находился в хуторе Евлантьевском, около станицы Боковской.

Подкормив коня, Мишка ночью приехал в Евлантьевский, однако штаба не было и там. Уже за полночь, возвращаясь на Горбатовский, Кошевой повстречал в степи красноармейский разъезд.

— Кто едет? — издали окликнули Мишку.

— Свой.

— А ну шо ты за свий...— негромко, простуженным баском сказал, подъезжая, командир в белой кубанке и синей черкеске.— Якой части?

— Экспедиционной бригады Девятой армии.

— Бумажка есть из части?

Мишка предъявил документ. Рассматривая его при свете месяца, командир разъезда недоверчиво выспрашивал:

— А кто у вас командир бригады?

— Товарищ Лозовский.

— А дэ вона, зараз, бригада?

— За Доном. А вы какой части, товарищ? Не Тридцать второго полка?

— Ни. Мы Тридцять третьей Кубанськой дивизии. Так ты видкиля ж це йидешь?

— С Евлантьевского.

— А куда?

— На Горбатов.

— Ото ж! Та на Горбатовськом же зараз казакы.

— Не могет быть! — изумился Мишка.

— Я тоби кажу, шо там — казакы-восстаньци. Мы тике шо видтиля.

— Как же мне на Бобровский проехать? — растерянно проговорил Мишка.

— А то вже як знаешь.

Командир разъезда тронул своего вислозадого вороного коня, отъехал, но потом полуобернулся на седле, посоветовал:

— Поняй з намы, а то колы б тоби «секим башка» не зробилы.

Мишка охотно пристал к разъезду. Вместе с красноармейцами он в эту же ночь приехал в хутор Кружилин, где находился 294-й Таганрогский полк, передал пакет командиру полка и, объяснив ему, почему не мог доставить пакет по назначению, испросил разрешения остаться в полку при конной разведке.

33-я Кубанская дивизия, недавно сформированная из частей Таманской армии и добровольцев-кубанцев, была переброшена из-под Астрахани в район Воронеж — Лиски. Одна из бригад ее, в состав которой входили Таганрогский, Дербентский и Васильковский полки, была кинута на восстание. Она-то и обрушилась на 1-ю дивизию Мелехова, отбросив ее за Дон.

Бригада с боем форсированным маршем прошла по правобережью Дона с юрта Казанской станицы до первых на западе хуторов Усть-Хоперской станицы, захватила правым флангом чирские хутора и только потом повернула обратно, задержавшись недели на две в Придонье.

Мишка участвовал в бою за овладение станицей Каргинской и рядом чирских хуторов. 27-го утром в степи, за хутором Нижне-Грушинским, командир 3-й роты 294-го Таганрогского полка, выстроив около дороги красноармейцев, читал только что полученный приказ. И Мишке Кошевому крепко запомнились слова: «...Гнезда бесчестных изменников должны быть разорены, Каины должны быть истреблены...» И еще: «Против помощников Колчака и Деникина — свинец, сталь и огонь!»

После убийства Штокмана, после того, как до Мишки дошел слух о гибели Ивана Алексеевича и еланских коммунистов, жгучей ненавистью к казакам оделось Мишкино сердце. Он уже не раздумывал, не прислушивался к невнятному голосу жалости, когда в руки ему попадался пленный казак-повстанец. Ни к одному из них с той поры он не относился со снисхождением. Голубыми и холодными, как лед, глазами смотрел на станичника, спрашивал: «Поборолся с Советской властью?» — и, не дожидаясь ответа, не глядя на мертвеющее лицо пленного, рубил.

Рубил безжалостно! И не только рубил, но и «красного кочета» пускал под крыши куреней в брошенных повстанцами хуторах. А когда, ломая плетни горящих базов, на проулки с ревом выбегали обезумевшие от страха быки и коровы, Мишка в упор расстреливал их из винтовки.

Непримиримую, беспощадную войну вел он с казачьей сытостью, с казачьим вероломством, со всем тем нерушимым и косным укладом жизни, который столетиями покоился под крышами осанистых куреней. Смертью Штокмана и Ивана Алексеевича вскормилась ненависть, а слова приказа только с предельной яркостью выразили немые Мишкины чувства... В этот же день он с тремя товарищами выжег дворов полтораста станицы Каргинской. Где-то на складе купеческого магазина достал бидон керосина и пошел по площади, зажав в черной ладони коробку спичек, а следом за ним горьким дымом и пламенем занимались ошелеванные пластинами, нарядные, крашеные купеческие и поповские дома, курени зажиточных казаков, жилье тех самых, «чьи плутни толкнули на мятеж темную казачью массу».

Конная разведка первая вступала в покинутые противником хутора; а пока подходила пехота, Кошевой уже пускал по ветру самые богатые курени. Хотел он во что бы то ни стало попасть в Татарский, чтобы отомстить хуторянам за смерть Ивана Алексеевича и еланских коммунистов, выжечь полхутора. Он уже мысленно составил список тех, кого надо сжечь, а на случай, если б его часть пошла с Чира левее Вешенской, Мишка решил ночью самовольно отлучиться и побывать-таки в родном хуторе.

Была и другая причина, понуждавшая его ехать в Татарский... За последние два года, за время, когда урывками виделся он с Дуняшкой Мелеховой, связало их еще не высказанное словами чувство. Это Дуняшкины смуглые пальцы вышивали ярким гарусом подаренный Мишке кисет, это она, потаясь родных, принесла ему зимой перчатки дымчатого козьего пуха, это некогда принадлежавшую Дуняшке расшитую утирку бережно хранил в грудном кармане солдатской гимнастерки Кошевой. И крохотная утирка, три месяца хранившая в своих складках невнятный, как аромат сена, запах девичьего тела, была ему так несказанно дорога! Когда он наедине с собою доставал утирку,— всегда непрошеным приходило волнующее воспоминание: обметанный инеем тополь возле колодца, срывающаяся с сумрачного неба метелица, и твердые дро-

жащие губы Дуняшки, и кристаллический блеск снежинок, тающих на ее выгнутых ресницах...

Он тщательно собирался к поездке домой. Со стены купеческого дома в Каргинской содрал цветастый коврик, приспособил его под попону, и попона получилась на диво нарядная, издали радующая глаз ярчайшим разноцветьем красок и узоров. Из казачьего сундука раздостал почти новые шаровары с лампасами, полдюжины бабьих шалек употребил на три смены портянок, бабьи же нитяные перчатки уложил в сакву, с тем чтобы надеть их не сейчас, в серые будни войны, а на бугре перед въездом в Татарский.

Испокон веков велось так, что служивый, въезжающий в хутор, должен быть нарядным. И Мишка, еще не освободившийся от казачьих традиций, даже будучи в Красной Армии, собирался свято соблюсти старинный обычай.

Конь под ним был справный, темно-гнедой и белоноздрый. Прежнего хозяина его — казака Усть-Хоперской станицы — зарубил Кошевой в атаке. Конь был трофеем, им можно было похвалиться: и статью взял, и резвостью, и проходкой, и строевой выправкой. А вот седло было под Кошевым — так себе седлишко. Подушка потерта и залатана, задняя подпруга — из сыромятного ремня, стремена — в упорно не поддающейся чистке, застарелой ржавчине. Такой же скромной, без единого украшения, была и уздечка. Что-то требовалось предпринять для того, чтобы принарядить хотя бы уздечку. Мишка долго мучился над разрешением этого вопроса, и наконец его озарила счастливейшая догадка. Около купеческого дома, прямо на площади, стояла белая никелевая кровать, вытащенная из горевшего дома купцовыми челядинцами. На углах кровати ослепительно сверкали, отражая солнце, белые шары. Стоило лишь снять их или отломить, а потом привесить к трензелям, как уздечка обрела бы совершенно иной вид. Мишка так и сделал: он отвинтил с углов кровати полые внутри шары, привесил их на шелковых шнурочках к уздечке, два — на кольца удил, два — по сторонам нахрапника,— и шары засверкали на голове его коня белым полуденным солнцем. Отражая солнечные лучи, они сияли нестерпимо! Сияли так, что конь ходил против солнца зажмуркой, часто спотыкаясь и неуверенно ставя ноги. Но, несмотря на то, что зрение коня страдало от блеска шаров, не глядя на то, что конские глаза, пораженные светом, истекали слезами,— Мишка не снял с уздечки ни одного шара. А тут вскоре подошло время выступать из полусожженной, про-

вонявшей горелым кирпичом и пеплом станицы Каргинской.

Полку надлежало идти к Дону, в направлении Вешенской. Потому-то Мишке не стоило особых трудов отпроситься у командира разведки на день проведать родных.

Начальник не только разрешил кратковременный отпуск, но сделал большее.

— Женатый? — спросил он у Мишки.

— Нет.

— Шмару имеешь небось?

— Какую?.. Это что есть такое? — удивился Мишка.

— Ну, полюбовницу!

— А-а-а... Этого нет. Любушку имею из честных девок.

— А часы с цепком имеешь?

— Нету, товарищ.

— Эх, ты! — И командир разведки — ставрополец, в прошлом унтер-сверхсрочник, сам не раз ходивший домой из старой армии в отпуск, знавший на опыте, как горько являться из части голодранцем,— снял со своей широкой груди часы и невероятно массивную цепку, сказал: — Боец из тебя добрый! На, носи дома, пущай девкам пыли в глаза, а меня помяни на третьем взводе. Сам молодой был, девок портил, из баб вытяжа делал, знаю... Цепок — нового американского золота. Ежли кто будет пытать — так и отвечай. А ежели какой настырный попадется и будет лезть и пытать, где проба,— бей того прямо в морду! Есть нахальные гражданы, их надо без словестности в морду бить. Ко мне, бывало, в трактире али в публичном месте, а попросту в б... подлетит какой-нибудь щелкопер из приказчиков или из писарей и захочет при народе острамотить: «Распустили цепок по пузе, как будто из настоящего золота... А где на ем проба, разрешите знать?» А я ему никогда, бывало, не дам опомниться: «Проба? Вот она!» — И добродушный Мишкин командир сжимал бурый, величиной с младенческую голову, кулак, выбрасывал его со свирепой и страшной силой.

Надел Мишка часы, ночью, при свете костра побрился, оседлал коня, поскакал. На заре он въезжал в Татарский.

Хутор был все тот же: так же поднимала к голубому небу вылинявший позолоченный крест невысокая колоколенка кирпичной церкви, все так же теснили хуторской плац кряжистые поповские и купеческие дома, все тем же родным языком шептал тополь над полуразвалившейся хатенкой Кошевых...

Поражало лишь несвойственное хутору великое безмол-

вие, словно паутиной затянувшее проулки. На улицах не было ни души. У куреней были наглухо закрыты ставни, на дверях кое-где висели замки, но большинство дверей было распахнуто настежь. Словно мор прошел черными стопами по хутору, обезлюдив базы и улицы, пустотой и нежилью наполнив жилые постройки.

Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка, ни светлого крика кочетов. Одни воробьи, словно перед дождем, оживленно чирикали под застрехами сараев и на залежах хвороста-сушника.

Мишка въехал к себе на баз. Никто из родных не вышел его встречать. Дверь в сенцы была распахнута настежь, возле порога валялись изорванная красноармейская обмотка, сморщенный, черный от крови бинт, куриные головы, облепленные мухами, уже разложившиеся, и перья. Красноармейцы, видимо, несколько дней назад обедали в хате: на полу лежали черепки разбитых корчажек, обглоданные куриные кости, окурки, затоптанные обрывки газет... Задавив тяжелый вздох, Мишка прошел в горенку. Там все было по-прежнему, лишь одна половина подпола, где обычно осенью сохранялись арбузы, казалась приподнятой.

Мать Мишки имела обыкновение прятать там от детворы сушеные яблоки.

Вспомнив это, Мишка подошел к половице. «Неужели мамаша не ждала меня? Может, она тут чего прихоронила?» — подумал он. И, обнажив шашку, концом ее поддел половицу. Скрипнув, она подалась. Из подпола пахнуло сыростью и гнилью. Мишка стал на колени. Не освоившиеся с темнотой глаза его долго ничего не различали, наконец увидели: на разостланной старенькой скатерти стояла полбутылка с самогоном, сковорода с заплесневелой яишней, лежал наполовину съеденный мышами кусок хлеба; корчажка плотно накрыта деревянным кружком... Ждала сына старая. Ждала, как самого дорогого гостя! Любовью и радостью дрогнуло Мишкино сердце, когда он спустился в подпол. Ко всем этим предметам, в порядке расставленным на старенькой чистенькой скатерке, несколько дней назад прикасались заботливые материнские руки!.. Тут же, привешенная к перерубу, белела холщовая сумка. Мишка торопливо снял ее и обнаружил пару своего старого, но искусно залатанного, выстиранного и выкатанного рубелем белья.

Мыши изгадили еду; одно молоко да самогон остались нетронутыми. Мишка выпил самогон, съел чудесно нахолодавшее в подполе молоко, взял белье, вылез.

Мать, вероятно, была за Доном. «Убоялась оставаться, да оно и лучше, а то казаки все одно убили бы. И так, небось, за меня трясли ее, как грушу...» — подумал он и, помедлив, вышел. Отвязал коня, но ехать к Мелеховым не решился: баз их был над самым Доном, а из-за Дона какой-нибудь искусный стрелок мог легко пометить Мишку свинцовой безоболочной повстанческой пулей. И Мишка решил поехать к Коршуновым, а в сумерках вернуться на плац и под прикрытием темноты запалить моховский и остальные купеческие и поповские дома.

По забазьям прискакал он к просторному коршуновскому подворью, въехал в распахнутые ворота, привязал к перилам коня и только что хотел идти в курень, как на крыльцо вышел дед Гришака. Снежно-белая голова его тряслась, выцветшие от старости глаза подслеповато щурились. Неизносный серый казачий мундир с красными петлицами на отворотах замасленного воротника был аккуратно застегнут, но пустообвислые шаровары спадали, и дед неотрывно поддерживал их руками.

— Здорово, дед! — Мишка стал около крыльца, помахивая плетью.

Дед Гришака молчал. В суровом взгляде его смешались злоба и отвращение.

— Здорово, говорю! — повысил голос Мишка.

— Слава богу,— неохотно ответил старик.

Он продолжал рассматривать Мишку с неослабевающим злобным вниманием. А тот стоял, непринужденно отставив ногу; играл плетью, хмурился, поджимал девически пухлые губы.

— Ты почему, дед Григорий, не отступил за Дон?

— А ты откель знаешь, как меня кличут?

— Тутошный рожак, потому и знаю.

— Это чей же ты будешь?

— Кошевой.

— Акимкин сын? Это какой у нас в работниках жил?

— Его самого.

— Так это ты и есть, сударик? Мишкой тебя нарекли при святом крещении? Хорош! Весь в батю пошел! Энтот, бывало, за добро норовит г... заплатить, и ты, стал быть, таковский?

Кошевой стащил с руки перчатку, еще пуще нахмурился.

— Как бы ни звали и какой бы ни был, тебя это не касаемо. Почему, говорю, за Дон не уехал?

— Не схотел, того и не уехал. А ты что же это? В анчихристовы слуги подался? Красное звездо на шапку навесил? Это ты, сукин сын, поганец, значит, супротив наших казаков? Супротив своих-то хуторных?

Дед Гришака неверными шагами сошел с крыльца. Он, как видно, плохо питался после того, как вся коршуновская семья уехала за Дон. Оставленный родными, истощенный, по-стариковски неопрятный, стал он против Мишки и с удивлением и гневом смотрел на него.

— Супротив,— отвечал Мишка.— И что не видно концы им наведем!

— А в святом писании что сказано? Аще какой мерой меряете, тою и воздастся вам. Это как?

— Ты мне, дед, голову не морочь святыми писаниями, я не за тем сюда приехал. Зараз же удаляйся из дому,— посуровел Мишка.

— Это как же так?

— А все так же.

— Да ты что это?..

— Да нет ничего! Удаляйся, говорю!..

— Из своих куреней не пойду. Я знаю, что и к чему... Ты — анчихристов слуга, его клеймо у тебя на шапке! Это про вас было сказано у пророка Еремии: «Аз напитаю их полынем и напою желчию, и изыдет от них осквернение на всю землю». Вот и подошло, что восстал сын на отца и брат на брата...

— Ты меня, дед, не путляй! Тут не в братах дело, тут арихметика простая: мой папаша на вас до самой смерти работал, и я перед войной вашу пшеницу молотил, молодой живот свой надрывал вашими чувалами с зерном, а зараз подошел срок поквитаться. Выходи из дому, я его зараз запалю! Жили вы в хороших куренях, а зараз поживете так, как мы жили: в саманных хатах. Понятно тебе, старик?

— Во-во! Оно к тому и подошло! В книге пророка Исаии так и сказано: «И изыдут, и узрят трупы человеков, преступивших мне. Червь бо их не скончается, и огнь их не угаснет, и будут в позор всяческой плоти»...

— Ну, мне тут с тобой свататься некогда! — с холодным бешенством сказал Мишка.— Из дому выходишь?

— Нет! Изыди, супостатина!

— Самое через вас, таких закоснелых, и война идет! Вы самое и народ мутите, супротив революции направляете...— Мишка торопливо начал снимать карабин...

После выстрела дед Гришака упал навзничь, внятно сказал:

— Яко... не своею си благодатию... но волею бога нашего приидох... Господи, прими раба твоего... с миром...— и захрипел, под белыми усами его высочилась кровица.

— Примет! Давно бы тебя, черта старого, надо туда спровадить!

Мишка брезгливо обошел протянувшегося возле сходцев старика, взбежал на крыльцо.

Сухие стружки, занесенные в сени ветром, вспыхнули розоватым пламенем, дощатая переборка, отделявшая кладовую от сеней, загорелась быстро. Дым поднялся до потолка и — схваченный сквозняком — хлынул в комнаты.

Кошевой вышел, и, пока зажег сарай и амбар, огонь в курене уже выбился наружу, с шорохом ненасытно лизал сосновые наличники окон, рукасто тянулся к крыше...

До сумерек Мишка спал в соседней леваде, под тенью оплетенных диким хмелем терновых кустов. Тут же, лениво срывая сочные стебли аржанца, пасся его расседланный и стреноженный конь. На вечер конь, одолеваемый жаждой, заржал, разбудил хозяина.

Мишка встал, увязал в торока шинель, напоил коня тут же в леваде колодезной водой, а потом оседлал, выехал на проулок.

На выгоревшем коршуновском подворье еще дымились черные, обугленные сохи, расползался горчайший дымок. От просторного куреня остались лишь высокий каменный фундамент да полуразвалившаяся печь, поднявшая к небу закопченную трубу.

Кошевой направился прямо к мелеховскому базу.

Ильинична под сараем насыпáла в завеску поджожки, когда Мишка, не слезая с седла, открыл калитку, въехал на баз.

— Здравствуйте, тетенька! — ласково приветствовал он старуху.

А та, перепугавшись, и слова не молвила в ответ, опустила руки, из завески посыпались щепки...

— Здорово живете, тетенька!

— Слава... слава богу,— нерешительно ответила Ильинична.

— Живая-здоровая?

— Живая, а уж про здоровье не спрашивай.

— Где же ваши казаки?

Мишка спешился, подошел к сараю.

— За Доном...

— Кадетов дожидаются?

— Мое дело бабье... Я в этих делах не знаю...

— А Евдокея Пантелевна дома?

— И она за Доном.

— Понесла их туда нелегкая! — Голос Мишки дрогнул, окреп в злобе.— Я вам, тетенька, так скажу: Григорий, ваш сынок — самый лютый для Советской власти оказался враг. Перейдем мы на энту сторону — и ему первому шворку на шею наденем. А Пантелей Прокофич занапрасну убег. Старый и хромой человек, ему бы вся статья дома сидеть...

— Смерти дожидаться? — сурово спросила Ильинична и опять стала собирать в завеску щепки.

— Ну, до смерти ему далеко. Плетюганов бы, может, заработал трошки, а убивать его бы не стали. Но я, конечно, не затем к вам заехал.— Мишка поправил на груди часовую цепку, потупился.— Я затем заехал, чтобы проведать Евдокею Пантелевну. Жалко мне страшно, что она тоже в отступе, но и вам, тетенька, как вы ее родная мамаша, скажу. А скажу я так: я об ней давно страдаю, но зараз нам дюже некогда по девкам страдать, мы воюем с контрой и побиваем ее беспощадно. А как только вовзят прикончим ее, установится мирная Советская власть по всему свету, тогда я, тетенька, буду к вам сватов засылать за вашу Евдокею.

— Не время об этом гутарить!

— Нет, время! — Мишка нахмурился, упрямая складка легла у него промеж бровей.— Свататься не время, а гутарить об этом можно. И мне другую времю для этого не выбирать. Нынче я тут, а завтра меня, может, за Донец пошлют. Поэтому я вам делаю упреждению: Евдокею дуриком ни за кого не отдавайте, а то вам плохо будет. Уж ежли из моей части придет письмо, что я убитый,— тогда просватывайте, а зараз нельзя, потому что промеж нас с ней — любовь. Гостинцу я ей не привез, негде его взять, гостинца-то, а ежели вам что из буржуйского, купецкого имения надо,— говорите: зараз пойду и приволоку.

— Упаси бог! Сроду чужим не пользовались!

— Ну это как хотите. Поклон от меня низкий передайте Евдокеи Пантелевне, ежели вы вперед меня ее увидите, а затем прощевайте и, пожалуйста, тетенька, не забудьте моих слов.

Ильинична, не отвечая, пошла в хату, а Мишка сел на коня, поехал к хуторскому плацу.

На ночь в хутор сошли с горы красноармейцы. Оживленные голоса их звучали по проулкам. Трое, направлявшиеся с ручным пулеметом в заставу к Дону, опросили

Мишку, проверили документы. Против хатенки Семена Чугуна встретил еще четырех. Двое из них везли на фурманке овес, а двое — вместе с чахоточной женёнкой Чугуна — несли ножную машину и мешок с мукой.

Чугуниха узнала Мишку, поздоровалась.

— Чего это ты тянешь, тетка? — поинтересовался Мишка.

— А это мы женщину бедняцкого класса на хозяйство ставим: несем ей буржуйскую машину и муку,— бойкой скороговоркой ответил один из красноармейцев.

Мишка зажег подряд семь домов, принадлежавших отступившим за Донец купцам Мохову и Атепину-Цаце, попу Виссариону, благочинному отцу Панкратию и еще трем зажиточным казакам, и только тогда тронулся из хутора.

Выехал на бугор, повернул коня. Внизу, в Татарском, на фоне аспидно-черного неба искристым лисьим хвостом распушилось рыжее пламя. Огонь то вздымался так, что отблески его мережили текучую быстринку Дона, то ниспадал, клонился на запад, с жадностью пожирая строения.

С востока набегал легкий степной ветерок. Он раздувал пламя и далеко нес с пожарища черные, углисто сверкающие хлопья...

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Александрович
ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

ТОМ 3

Редактор Т. Халилова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 4184

Сдано в набор 22.08.84. Подписано в печать 17.04.85. Формат 84×108[1]/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,32. Уч.-изд. л. 21,57. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № III-1833. Заказ № 1553. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.